

ЗНАМЯ

сентябрь

Василий АКСЕНОВ
Иван

Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ
Два стихотворения

Юлий ДУБОВ
Теория катастроф

Михаил КУРАЕВ
Разрешите проявить зрелость!..

Дмитрий РАГОЗИН
Поле боя

Конференц-зал
Национальная специфика
литературы – анахронизм
или неотъемлемое качество?

9/2000



ЗНАМЯ

Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

выходит с января 1931 года

содержание

Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ	3	Два стихотворения
Юлий ДУБОВ	4	Теория катастроф. <i>Повесть</i>
Михаил КУКИН	44	Фотовспышки. <i>Стихи</i>
Дмитрий РАГОЗИН	47	Поле боя. <i>Повесть</i>
Борис РЫЖИЙ	73	Горнист. <i>Стихи</i>
Михаил КУРАЕВ	76	Разрешите проявить зрелость! <i>Рассказ</i>
Иван ВОЛКОВ	87	Крымские сонеты
Роман СЕНЧИН	91	Афинские ночи. <i>Рассказ</i>
Александр МЕДВЕДЕВ	122	Полый посох. <i>Стихи</i>

non fiction

Василий АКСЕНОВ 127 Иван

мемуары. архивы. свидетельства

Александр ТВАРДОВСКИЙ 139 Рабочие тетради 60-х годов.
Продолжение

публицистика

190 Теневая Россия. *Рассказы
о нелегальной экономике.
Окончание*

сентябрь

9/2000

конференц-зал

- Лев АННИНСКИЙ 202 Национальная специфика
Георгий ГАЧЕВ литературы – анахронизм или
Виктор ГОЛЫШЕВ неотъемлемое качество?
Юрий КУБЛАНОВСКИЙ
Валентин КУРБАТОВ
Александр ЭБАНОИДЗЕ
Михаил ЭПШТЕЙН

лекторий

- Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ 214 Утопия Б.Д.

наблюдатель

Рецензии

- Александр Касымов 222 Владимир Гандельсман. Цапля;
Ирина Евса. Наверное,
снилось...; Иосиф Гальперин.
Щепоть
- Александр Уланов 225 Борис Фальков. Тарантелла
- Владимир Шпаков 227 Мишель Турнье. Лесной царь
- Борис Хазанов 229 Леонид Люкс. История России
и Советского Союза от Ленина
до Ельцина
- Василий Костырко 231 А.Б. Каменский. Российская
империя в XVIII веке: традиции
и модернизация; От Петра I до
Павла I: Реформы в России
XVIII века. Опыт целостного
анализа

Фестиваль

- Алена Злобина 232 Рождественский фестиваль
искусств. Новосибирск

Выставка

- Анна Кузнецова 234 Архетипы экспериментального
оптимизма. Живопись. Наталья
Ховстёнкова

Незнакомый журнал

- Леонид Ашкинази 235 «Диаспоры»

Конференция

- Галина Ермошина 237 На другой стороне земли

Сергей Гандлевский
Два стихотворения

* * *

Фальстафу молодости я сказал «прощай»
И сел в трамвай.

В процессе эволюции, не вдруг
Был шалопаем, а стал бирюк.

И тем не менее апрель
С безалкогольной капелью
Мне ударяет в голову, как хмель.

Не водрузить ли несколько скворешен
С похвальной целью?
Не пострелять ли в цель?

Короче говоря, я безутешен.

* * *

Я по лестнице спускаюсь
И тихонько матюкаюсь.
Толстой девочке внизу
Делаю «козу».

Разумеется, при спуске
Есть на психику нагрузки,
Зря я выпил без закуски —
Как это по-русски!

Солнце прячется за тучкой.
Бобик бежит за Жучкой.
Бьётся бабушка над внучкой —
Сделай дяде ручкой.

Юлий Дубов
Теория катастроф

повесть

Почему принято считать, что крайности вредны? Потому что любая крайность есть состояние ненормальное, и спланировать что-либо, равно как и угадать даже не слишком отдаленное во времени развитие событий, решительно невозможно. В нормальной ситуации все движется медленно и равномерно, и кажется, что это будет длиться вечно. Хотя, конечно, имеет место диалектический переход количества в качество, но происходит он тоже весьма неспешно и ни к каким нежелательным последствиям не приводит. Тем более что зачастую сопровождается обратным процессом перехода качества в количество, особенно если речь идет о застолье.

Совершенно по-другому обстоят дела в так называемых экстремальных ситуациях. Чтобы представить себе такую ситуацию в максимально общем виде, не нужно специального математического образования. Да и вообще никакого образования не нужно. Достаточно всего лишь смешать накануне вечером правильный ассортимент напитков, от ограничений по потреблению твердо отказаться, а закусывать чем-нибудь легким, вроде бутербродов с килечкой и яйцом, остывших креветок и безжалостно ошкуренных после снятия целлофана сосисок. И тогда поутру, в темноте внезапно наступившего пробуждения, под бешеный стук сердца, сквозь накатывающиеся волны похмельной головной боли, вам и придется нечто вроде бесконечной гладкой поверхности пространственно-временного континуума, медленно проползающей перед вашими глазами, то вздымаясь лениво, то будто бы падая.

Запомните сразу, что эта поверхность и есть нормальное и необремененное нежелательными последствиями развитие событий.

А вот если на этом общем спокойном фоне вам вдруг доведется углядеть малозаметную складочку вроде той, которая образуется от утюга при попытке погладить обе брючины одновременно, то знайте, что перед вами точка беды.

Потому что обычное передвижение по застилающей ваш взор колышавшейся поверхности есть всего лишь череда плавных подъемов и спусков, а вот если вас занесет на эту складочку, то любое микроскопическое шевеление неизбежно закончится захватывающим дух полетом в бездну, о существовании и глубине которой никак невозможно было догадаться заранее.

Поэтому, находясь в вышеописанном печальном состоянии и заметив где-то на горизонте первые признаки складки, не ждите, пока она подползет к вам близко. Особенно если сердце у вас не так чтобы очень. Лучше всего немедленно бегите к холодильнику и сделайте хотя бы один глоток.

Поверьте — более надежного способа борьбы с непредсказуемостью человечество так и не придумало. Если, конечно, не считать холодного душа. Но это уже вопрос вкуса.

Для непьющих же, добровольно отказавшихся от радостей жизни и пытающихся постигнуть ее смысл через философские размышления, у меня есть другая история.

Известно, что делать людям добро хорошо и приятно. Поэтому многие,

творя для ближних своих совершенно несуразные пакости, пытаются стыдливо замаскировать их под всяческие благодеяния. Облагодетельствованные ими ближние охотно дают себя обмануть, поскольку им намного приятнее верить в существование бескорыстного друга, нежели осознать, что их самым беззастенчивым образом обкрадывают, да при этом еще и облапошивают. Единственное, о чем должен заботиться коварный злодей, так это о том, чтобы не допустить свою жертву в опасно близкую окрестность точки осознания. Потому что, пока этого не произошло, жертва готова на злодея молиться, мыть ему ноги, пить воду и так далее.

Иначе же последствия могут быть весьма и весьма нежелательными.

Вообще многие беды наших людей объясняются пропагандистской шумихой о самом читающем народе в мире, прикрываясь которой, можно ничего и никогда не читать. Или не усваивать прочитанного, что, по результату, одно и то же.

Еще Марк Твен в одной из своих замечательных книжек рассказал поучительную историю о негре, который собрал своих коллег по работе на плантации и сообщил им, что он открыл банк. И что всякий, кто положит к нему в банк один доллар, через месяц получит десять. Коллеги обрадовались и потащили в банк доллары. Негр-банкир доллары собрал, на неделю куда-то сгинул, а потом появился и печально сообщил, что банк лопнул.

Люди! Читайте книжки! И вообще будьте бдительны.

Инвестиционный фонд «Форум» представлял собой обычную финансовую пирамиду. За последние годы у россиян вроде бы выработался устойчивый иммунитет к предприятиям, собирающим деньги у народонаселения, что, впрочем, нимало не мешало покупаться на уловки все новых и новых жуликов. Способствовали этому два обстоятельства. Во-первых, человек, который за свои кровные приобрел хоть один фантик, никогда в жизни не признает прилюдно, что он полный и окончательный дурак. Напротив — он со всем данным ему природой даром убеждения будет внушать окружающим, что именно ему повезло наткнуться на золотую жилу, что именно он владеет сокровенным знанием и что дурят всех и везде, а вот здесь — никого и никогда. И тем самым раздувать армию идиотов до такого размера, что при неизбежном крахе ему уже стыдно за собственную индивидуальную глупость не будет. А во-вторых, двух одинаковых пирамид на свете не бывает, и каждый пирамидостроитель обязательно привнесит в свое творение нечто оригинальное. Так вот, дураки, до того уже не раз погоревшие, лучше всего лояться именно на новизну, поскольку не могут понять своими куриными мозгами, что ежели уж пирамидостроитель что-то там придумал, то вовсе не для того, чтобы дать им поправить материальное положение, а чтобы понадежнее прикрыть собственную задницу.

Бог его знает, как это получилось, но в учредителях фонда «Форум» числилось десятка два вполне приличных предприятий и организаций. Учредили они его еще чуть ли не при советской власти, перечислили какую-то мелочевку в уставный капитал и благополучно о собственном детище забыли. Лет пять фонд просуществовал в замороженном состоянии, напоминая о себе только сдаваемыми в налоговую инспекцию нулевыми балансами, а потом внезапно ожил и сразу же дал о себе знать. Конечно же, директор фонда, некто Халамайзер, вовсе не собирался самолично торговать своими ценными бумагами. Потому что печальный опыт МММ, «Чары», РДС и прочих тибетов был ему знаком не понаслышке. И он предпочитал, чтобы его кусочки «Олби» продавались кем-нибудь другим, а он обеспечивал бы респектабельное прикрытие. Поэтому он привлек около полусотни мелких брокерских контор, раздал им пачки многоцветной макулатуры и поручил дурачить народ. Правда, в договорах с конторами было четко записано, что вся выручка инкассируется на счета фонда, но об этом посторонним знать не полагалось. А полагалось посторон-

ним знать, что через месяц с момента покупки, и ни днем позже, фонд «Форум», учрежденный такими-то и такими-то и чуть ли не Союзом промышленников и предпринимателей, обязуется эти ценные бумаги выкупить по цене покупки плюс тридцать процентов. А через два месяца — по цене покупки плюс пятьдесят процентов. И так далее. Через год — чуть ли не по тройной цене.

Понятно, что тройной цены никто так и не дождался, ибо фонд успел лопнуть несколько раньше, да и речь у нас пойдет о другом. Это, как говорится, была присказка. А вот теперь начинается сказка.

Юра Кислицын был директором и хозяином фондового магазина. Помещение магазина у него сперва было в аренде, потом, поднакопив деньжат, он его выкупил, достроил, отремонтировал и довел до полного блеска. В коммерцию он пришел из Миннефтехимпрома, связей имел предостаточно и первый капитал сколотил на торговле голубыми фишками. От бумаг с неясной родословной обычно держался в стороне, и Халамайзер был его первым грехопадением. Но уж больно трудно было устоять.

Халамайзер прекрасно понимал цену прикормленного места с хорошей репутацией, с ходу объявил Юре двадцать процентов от выручки, выждал минуту, убеждаясь, что рыбка готова клюнуть, и тут же повысил ставку до тридцати пяти.

И Юра согласился, потому что знал, что никому Халамайзер больше восьми процентов не дает.

Он подписал все необходимые документы, принял на ответственное хранение около центнера макулатуры, дождался начала рекламной кампании и стал торговать.

Очереди в Юрин магазин выстраивались с семи утра и не рассасывались до самого закрытия.

И вот в один прекрасный день на столе у Юры зазвонил телефон и милый женский голос сказал из трубки:

— Юрий Тимофеевич? Это приемная Тищенко вас беспокоит. Можете переговорить с Петром Ивановичем?

Пока звучала веселая мелодия, Юра успел листануть справочник и обнаружить в нем заместителя префекта своего округа П.И. Тищенко.

— Здравствуйте, Петр Иванович, — радостно сказал Юра, когда соединение произошло. — Чем могу?

— Я вот что, Юрий... э-э... Тимофеевич, — сумрачно произнес заместитель префекта. — Я тут проезжаю мимо вас... по утрам... Короче, тут такое дело... Очереди у вас... Это вы «Форумом» торгуете?

— «Форумом», — признался Юра. — А что?

— Тут такое дело, Юрий... э-э... Тимофеевич... Есть один человек... От меня, в общем. Я тут с Халамайзером успел переговорить, он сказал, что дал вам скидку приличную... Так вот... Человек подойдет к вам через час. Вы уж там... на пару тыщ зеленых отпустите ему по цене Халамайзера. А? Надо будет, и я вам чем-нибудь помогу. Ну так как?

Юра быстренько начал соображать. На предлагаемой ему сделке он терял немногим больше тысячи долларов, но приобретал расположение важного начальника. Игра явно стоила свеч.

— О чем речь, Петр Иванович! — сказал Юра. — Как фамилия вашего протеже?

— Кого?

— Вашего человека?

— Пис-ку-нов, — по складам выговорил Петр Иванович, на секунду замешкавшись. — Игорь Матвеевич Пискунов. Ветеран войны, между прочим. Вы уж с ним поласковее.

Пискунов, как и было обещано, появился через час. Он был стар, неухожен и грустен. Жеванные серые брюки пузырились на коленях и волнами

спускались на потрескавшиеся от времени ортопедические ботинки. Из-под обтерханного рукава потемневшей от многочисленных стирок рубашки трогательно выглядывали наручные часы «Победа» с разбитым стеклом. На исполованном красными прожилками носу криво сидели очки. Одна из дужек была перебинтована медицинским пластырем. Дрожащей рукой в старческой сеточке морщин он извлек откуда-то завернутую в газету пачку.

— Вот, — каким-то дребезжащим и большим голосом произнес Пискунов. — Вот. И еще я письмо принес.

Пока Юра пересчитывал деньги, Пискунов вытащил из брючного кармана пропотевший листок бумаги, бережно разгладил его рукой и положил на стол.

Это было письмо Комитета по социальной защите населения, в котором П.И. Тищенко слезно умоляли оказать посильное содействие ветерану и инвалиду И.М. Пискунову, перенесшему тяжелую полостную операцию, и оказать ему материальную помощь, необходимую для улучшения жилищных условий. Сверху красовалась резолюция Тищенко: «Тов. Кислицыну Ю.Т. Прошу рассмотреть согласно договоренности».

— Зять, — сказал Пискунов, когда Юра дочитал письмо. — Бывший.

— Что? — не понял Юра.

— Петр Иванович — мой зять, — разъяснил Пискунов. — Бывший зять, то есть. Он на моей дочке был женат, а потом развелся и женился на молодой. Мне не к кому пойти было. Пошел к нему. Он сказал принести письмо. Я принес. Он к вам направил. Вот.

— Понятно, — протянул Юра. — Ну и как же вы хотите за две тысячи улучшить свои жилищные условия?

— Я подожду, — прошептал Пискунов, и на глаза его навернулись старческие слезы. — Я подожду год. Тогда уже будет шесть тысяч. А еще через полгода — девять. Мне хватит. Мне же много не надо. Лишь бы отдельная... Чтобы сестра могла переехать...

Юра не был сентиментальным человеком. Но спокойно смотреть на этого горестного старика и понимать, что тот отдает последнее и что это последнее пойдет вовсе не на покупку мини-квартиры для него, а в карман Халамайзеру, Юра не мог. И он уж решился было вернуть деду деньги и отговорить его от участия в афере, как снова добралась до него приемная Тищенко.

— Тут такое дело, — с места в карьер заявил Тищенко, будто бы беседа их и не прерывалась. — Надо помочь. Вы у него сейчас примите, как договорились. А за бумагами «Форума» скажите, чтобы завтра пришел. С утра. А сейчас трубочку ему дайте.

Пискунов, узнав, что сейчас с ним будут говорить, встал, поскрипывая суставами, неторопливо накрыл пачку денег письмом из Комитета социальной защиты, стыдливо придвинул поближе к себе, взял трубку, согнулся чуть не вдвое и почтительно промычал:

— Слушаю вас.

Он долго слушал, попеременно останавливая взгляд то на Юре, то на замаскированной пачке, потом еще раз произнес: «Слушаю» — и протянул трубку Юре обратно, дав понять, что разговор закончен.

— Мне Петр Иванович сказал, чтобы я все пока у вас оставил, — сообщил дед. — До завтра. А сегодня он хочет с вами встретиться. Переговорить. Я за вами вечером зайду. В половине седьмого. Провожу.

В половине седьмого дед уже терся у входа в фондový магазин. Дождавшись Юру, он двинулся ему навстречу, протягивая вперед полиэтиленовый пакет с чем-то круглым и тяжелым. Из сбивчивых объяснений Юра понял, что дед с первого взгляда полюбил его как родного и хочет сделать ему ценный подарок. Потому что такие хорошие люди встречаются очень-очень редко. Подарок представлял собой две трехлитровые банки с помидорами, которые дед вырастил самолично и замариновал по старинному рецепту. Дед за-

ставил Юру открыть пакет и рассмотреть банки тут же на улице. Каждая банка была аккуратно завернута в газету «Труд», на крышке красовалась аккуратная наклейка с написанной химическим карандашом датой изготовления, а внутри, в мутном рассоле, посреди укропа, чеснока и смородиновых листьев, виднелись удивительно одинаковые по размеру и цвету помидоры. Заметив любопытствующие взгляды из еще не рассосавшейся очереди за бумагами «Форума» и откровенно хамскую ухмылку водителя, Юра заторопился и запихнул деда в «Вольво».

— Прямо поедем, — сказал дед, устраивая пакет с банками на Юриных коленях. — А потом налево. На светофоре.

Хотя внешний вид дедушки Пискунова с утра никак не изменился, к вечеру в нем появилась какая-то уверенность в себе. Он вальяжно и неторопливо рассказывал Юре о правильном ведении приусадебного хозяйства, похлопывал его по колену и называл «молодым человеком», не забывая давать водителю своевременные указания. Когда же Юра, заметив в голосе старика командные нотки и вспомнив слова Тищенко о его ветеранстве, поинтересовался военным прошлым, голос его спутника опять старчески задрожал, он пробормотал что-то невнятное и сказал жалобно, что еще перед войной был вчистую комиссован, но свое отслужил в тыловых частях.

Петр Иванович Тищенко поджидал Юру в ресторане «Прощание славянки». Юра здесь никогда раньше не был и даже ничего об этом заведении не слышал. Но, расставшись у входа с дедом, засеменившим в сторону ближайшей трамвайной остановки, отметил с удивлением внушительный размер автостоянки, выправку и вышколенность охраны, безукоризненную чистоту при входе и внутри. Несмотря на относительно ранний час, в ресторане было довольно много народу, а на столиках, еще остававшихся свободными, стояли таблички с надписью «Заказ».

Петр Иванович, успевший до Юриного прихода немного принять, перешел к делу мгновенно.

— Надо сделать, — приказным тоном сказал он, как только Юра опустился в кресло напротив. — Бывший тесть, понимаешь. Затрахал меня напрочь. В прежние времена мне бы ничего не стоило выписать ордер. Пять минут — и все дела. А сейчас, — он выругался, подцепил вилкой маслину, прожевал и выплюнул косточку на блюдце для хлеба, — ревизоры замучают. Не отмоешься потом. Короче. В следующем месяце мы вводим новый дом. Элитный. Но одна секция — специально для этих... социально незащищенных. Понял? Метр там стоит... — Петр Иванович задумался. — Триста долларов. Или триста пятьдесят, что-то в этом роде. Однокомнатная там тянет тысяч на двадцать.

Юра недоуменно поднял брови. Перед встречей он навел о Тищенко кое-какие справки, и из них следовало, что тот вполне может выложить для бывшего тестя двадцать штук и даже не заметить. Это уж во всяком случае было легче, чем наварить десять к одному на бумажках Халамайзера.

— Тут одна заковыка есть, — сообщил Петр Иванович, заметив реакцию Юры. — Понимаешь... Дед — принципиальный. Все газеты читает, сволочь такая. Я ему — возьми бабки. А он мне — не могу, дескать. Надо будет заявить в налоговую инспекцию, налог заплатить, все такое. Он ведь эти две тысячи тоже не у меня взял — у него машина была, старая «копейка», полгода продавал, пока продал. Я, короче, подумал и решил вот такую штуку сделать... Пусть он на бумагах Халамайзера заработает.

Петр Иванович подмигнул и повторил с удовольствием:

— Пусть заработает. На квартиру. А?

— Хрен он на них заработает, — откровенно сказал Юра. — На них только Халамайзер и заработает. Ну срубит дед тыщонку-две — при хоро-

шей поддержке. И все. Двадцать тысяч никак невозможно. Я вам как профессионал говорю.

— А чего ж мы тут сидим? — В глазах Петра Ивановича промелькнула ярко-зеленая искра. — Мы тут, милый друг, для того и сидим, чтобы заработал. У меня ведь конкретное предложение есть. Только давай в отдельный зальчик перейдем.

Отдельный зал был невелик размером, отделан под венецианскую штукатурку, богато украшен коврами и бархатными портьерами и уставлен копиями флорентийских скульптур. Юра и Петр Иванович сидели за столом, пили французский коньяк, и Петр Иванович раскрывал Юре существо задуманной комбинации.

— Завтра утром он к тебе придет, — объяснял Петр Иванович. — Если по номиналу, ты ему, — он начертил на салфетке цифру, — должен вот столько бумажек отдать. Правильно? Так вот. У тебя есть скидка. Я же понимаю. Если отдашь со скидкой, сразу попадаешь под налоги. Верно? Идея какая. Дашь ему ровно по деньгам, но бумаги первого выпуска. Которые сейчас у Халамайзера в погашение выходят.

Юра замотал головой.

— Не могу. У меня ни одной бумаги первого выпуска не осталось. Все продано к чертовой матери.

— Ой! — обиженно сказал Петр Иванович. — Ля-ля не надо! А то я не знаю, как с тобой Халамайзер рассчитывается.

Конечно же, обговоренная с Халамайзером скидка вовсе не поступала к Юре по официальным каналам. Иначе она бы приводила к заоблачной прибыли и тут же изымалась в виде налогов. Но и наличных Юра у Халамайзера тоже не брал, потому что фондовый рынок давно был под прицелом, и существование «черного нала», да еще в таких размерах, могло привести, в случае чего, к крупным неприятностям. Работа велась по-другому. Халамайзер отдавал скидку неучтенными бумагами первого выпуска. Большая их часть уходила у Юры на зарплату сотрудникам, а остаток он складывал в надежном месте, дожидаясь начала погашения.

То, что это стало известно постороннему человеку, Юре не понравилось.

— Вот что, — решительно сказал Петр Иванович, уловив недовольство собеседника. — Ты же не думаешь всерьез, что про этот ваш шахер-махер никто на свете не догадывается? Давно вы все на карандаше, и ты, и Халамайзер, и остальные все. Вас ведь не трогают? Значит, так надо. И если я к тебе с личной просьбой пришел, то не просто ведь так. Могу и с кем другим договориться. Мне просто про тебя кое-кто щепнул слова, что ты приличный человек и не кинешь. И что не ворует в шесть рук. Поэтому я с тобой откровенно разговариваю. И не покупаю тебя, не обещаю чего, заметь. Прошу помочь. Бабки ты не потеряешь, Халамайзер тебе бумаги тут же вернет. Копейка в копейку. Ну что? Будешь со мной в прятки играть?

Юра подумал немного и решил, что играть с Петром Ивановичем в прятки вряд ли имеет смысл. Но и обозначить проблему тоже не мешает.

— У меня эти бумаги по бухгалтерии не проведены, — признался он. — Их как бы вообще в природе не существует. Как я их продам? И куда эти чертовы две тысячи деню?

На лице Петра Ивановича, одно за другим, стали меняться выражения — от начального столбняка до окончательного презрения.

— Так, — сказал он наконец, — выходит, я о тебе раньше лучше думал. Ты совсем, что ли? Зачем тебе эти деньги через кассу пропускать? Да еще за неоприходованные бумаги? Человек тебе приносит бабки. Так? Берешь бабки, кладешь в карман. Понял? Отдаешь человеку свое личное имущество. В виде бумаг первого выпуска. Понял меня? Или тебе печатными буквами нарисовать? Может, ты на этом теряешь что или как? Ты скажи, я еще подкину.

Заметив, что высказанная конструктивная идея начинает доходить до несообразительного коммерсанта, Петр Иванович заметно повеселел.

— Еще выпьем, — скомандовал он. — Наливай. И давай договоримся так. Ты с ним завтра разбираешься, он сразу бежит к Халамайзеру — я с ним все решил. Бумаги он меняет у Халамайзера на живые деньги. Так что свое он, считай, при себе всегда имеет. Половину оставляет себе — на квартиру. А вторую половину несет к тебе, и ты ему опять первый выпуск выдаешь. И так далее. Через неделю дед уже с квартирой. Чего рожу кривишь?

Юра кривил рожу по вполне понятной причине. Обменять дедовские деньги на бумажки первого выпуска, потерять на этом около тысячи, но приобрести благорасположение небесполезного руководства района, после чего сразу же забыть о квартирных проблемах инвалида Пискунова — это было вполне понятно и приемлемо. Но, судя по всему, сейчас речь уже идет о том, чтобы профинансировать приобретение инвалидом квартиры. А это уже совсем другое дело. И влетит оно не меньше чем в пятнадцать штук. Хотелось бы, однако же, понимать, за что с него собираются состричь такие приличные деньги.

— Эх ты, — с обидой произнес Петр Иванович. — Говно. Прости за ради бога, что такие слова говорю. Вот и Халамайзер твой такой же. Я к нему с просьбой, а он тут же в уме начинает деньги считать. Бизнесмены вы, мать вашу. Слова другого подобрать не могу. Бизнесмены... Будто бы не в советской стране родились. Что ж мне, деньги твои нужны вонючие, а? Да я вам обоим могу по вилле в Швейцарии купить, сидите там и друг другу мацу через забор передавайте. Ты меня прости, но я вот заметил, что стоит человеку бизнесом заняться, как он сразу на жида начинает быть похожим. Сидит, жметя, вычисляет чего-то... Губами шевелит. Ты лучше мозгами пошевели. Я тебя прошу помочь. Не бабки мне дать, а помочь. Бабок у меня у самого немеряно. А уж как я с тобой за дружбу и помощь рассчитаюсь — это мое дело. Уж копейки-то считать не стану. Чтоб тебе легче было, скажу сразу. В этом доме для убогих — только одна секция. А остальные три — для нормальных людей. И квартирки там — квадратов по двести пятьдесят, по триста. По триста пятьдесят. Понял? С каминами. Евроотделка. Ну и цена, само собой. По две с половиной за метр. Хочешь, подъезжай завтра. Посмотри. Пригласится — выбирай любую.

Исключительно из вредности Юра, уже заинтересовавшийся предложением, сказал, что за две с половиной тысячи он купит квартиру и в пределах бульварного кольца.

Петр Иванович даже возражать не стал. Скорее обрадовался.

— Купи, — сказал он. — Купи, родной. Только убедись сперва, что ее расселили как надо. Чтобы к тебе через годик мать-одиночку с тремя детьми обратно не вселили. Через суд. Потом разрешение на перепланировку получи. Потом разрешение на трехфазное подключение, чтобы от кондиционеров и джакузи предохранители не вышибало. Потом трубы во всем доме и на всей улице поменяй, чтобы из крана вода текла, а не моча ржавая. И вот тогда уже, лапонька моя, ты сможешь начать по-настоящему бороться с тараканами. И вот за все за это ты с самого начала будешь платить натуральные живые бабки. Правильного цвета. Сперва при покупке, а потом уже каждый день. Ну, про состояние подъезда и про кучи дерьма в лифте я тебе рассказывать не буду, это само собой образуется лет эдак через десять. Ежели дом к тому времени не сгорит или под землю не провалится. Ты, часом, не слышал, что диггеры про состояние коммуникаций в историческом центре рассказывают? Ты имей в виду на всякий случай, что, пока наш мэр в свой храм последний гвоздь не заколотит, ни хрена в центре делаться не будет. В смысле жилого фонда. Вот так вот.

И замолчал.

— А у вас там? — прервал Юра установившееся молчание. — Как вообще? Как это планируется?

Петр Иванович сладко потянулся.

— А у нас нормально, — ответил он. — Я же объяснил — для себя строим. Хочешь — посмотрим завтра. Часиков в двенадцать. Когда дед от тебя уже уйдет.

Но возникший поутру дедушка Пискунов уходить вовсе не торопился. Получив от Кислицына пачку бумаг первого выпуска, дед дважды пересчитал их, потом устроился на краешке кресла и недоуменно уставился на Юру, явно чего-то дожидаясь. Юра выждал пару минут, потом прокашлялся и сказал:

— Ну так что?

— Как что? — не понял его дед. — А ордер?

— Какой ордер? — встревоженно спросил Юра, которому вдруг показалось, что комиссован дед был не просто так.

— Из кассы ордер, — пояснил дед, поглубже заползая в кресло. — Что вы у меня деньги приняли. А мне продали бумаги. Чтобы все было официально. По закону.

Юра вспомнил, как Тищенко предупреждал его вчера, что дед слегка сдвинулся на почве социалистической законности, и на душе у него полегчало.

— Я вам, Игорь Матвеевич, — объяснил Юра, — не через кассу акции продаю. Понимаете? Я вам свои личные акции продаю. Поэтому никакого ордера тут быть не может. Поняли меня?

— Не понял, — зазвенел дед командным голосом, и на лице его появилась тревога. — Какие-такие личные? Это что это за сделка такая? Спекуляция, что ли?

Юра взглянул на кабинетные часы, выругался про себя, схватил калькулятор и стал растолковывать деду существо сделки. Через полчаса дед, трижды пересчитав курс доллара к рублю и проверив номиналы бумажек «Форума», убедился, что никто ничего незаконного не зарабатывает, и несколько повеселел. Но тревога на лице не проходила.

— А вот я сейчас пойду туда, — медленно проблеял дед, о чем-то размышляя. — Отдам бумаги. А они меня спросят, где я их взял...

— Не спросят, — взревел Юра, понимая, что старый придурок уже отнял у него час жизни и останавливаться на этом не собирается. — Не спросят! Они ни у кого не спрашивают! Просто платят деньги — и все. Все! Поняли меня?

Дед решительно замотал головой.

— Так не бывает, — объявил он, отодвигая от себя форумовские бумаги. — Чтобы деньги платили и ничего не спрашивали, так не бывает. Обязательно спросят! А я им что скажу?

— Скажете, что у меня купили! Лично! У меня! Поняли?

— Ага, — злорадно сказал дед. — И они мне поверят. Фигушки! — И он для убедительности поводит перед Юриным носом фигурой из трех пальцев с нестриженными черными ногтями. — Возраст у меня не тот, чтобы в милиции объясняться. И биография, — голос деда окреп и возвысился, — тоже не та.

Юра почувствовал, что у него начинает подниматься давление, схватил телефонную трубку и трясущейся рукой стал набирать прямой номер Тищенко. С третьей попытки ему удалось дозвониться.

— Угу, — мрачно произнес Тищенко, выслушав сбивчивый Юрин рассказ. — Дай я с ним поговорю.

Юра смотрел на почтительно согнувшегося деда, слушал, как на другом конце провода Тищенко что-то орет свирепым голосом, и с мучительной тоской ждал, когда же закончится этот идиотский спектакль и можно будет ехать осматривать обещанную вчера квартиру. Предложение Тищенко было супер-благодарным. За то, что Юра профинансирует покупку однокомнатной квартиры для этого чертова деда, Тищенко продавал Юре роскошные пятикомнат-

ные апартаменты с оплатой бумагами «Форума» пятого выпуска. Расчет состоял в том, что вскоре после пятого выпуска «Форум» должен был неминуемо накрыться медным тазом, и платить за эти бумаги Халамайзеру уже не придется. Поэтому квартира отдавалась Юре фактически бесплатно. Хотя по бухгалтерии Тищенко все пройдет якобы за живые деньги.

И вот теперь этот психованный ветеран шутит дурацкие шутки и мешает двигаться вперед.

Наконец дед закончил препираться и протянул Юре трубку обратно.

— Вот что, — сказал Тищенко заметно охрипшим голосом. — Достал он меня. Давай так сделаем. У тебя юристы есть? Вот и ладно. Пусть быстренько склепают договорчик. Что ты, Кислицын, продал, а он, Пискунов, купил... Что он тебе деньги, а ты ему бумаги... И так далее. Иначе он не отвяжется. Сделаешь?

Еще через час дед, пропахав носом каждую букву в спешно нарисованном юристами договоре и детально изучив оба Юриных паспорта — российский и заграничный, — удовлетворился, изобразил подпись, сложил свой экземпляр договора вчетверо, запрятал его в брючный карман, пожал Юре руку и засеменил к выходу. У двери он повернулся, сложил обе руки в приветствии и почему-то громко прошептал, выразительно подмигивая:

— Зайгезунд!

Потом подумал и добавил уже обычным голосом:

— Завтра, значит, зайду. Как договорились.

На осмотр своей будущей квартиры у Юры ушло не более получаса. Петр Иванович не кривил душой, когда говорил, что строили для себя. Уходящие в заоблачную четырехметровую высь потолки были безукоризненно ровными. Ноги скользили по отлакированному дубовому паркету — дощечка в дощечку. Огромные, в человеческий рост, окна упирались в мраморные подоконники, а под ними красовались тонкие белые пластины немецких батарей отопления. Квартира была в двух уровнях, и, поднявшись по деревянной лестнице, Юра увидел уже смонтированную сауну с бассейном и шестнадцатиметровым спортзалом для тренажеров.

— Нормально? — поинтересовался Тищенко, сопровождая Юру по квартире. — Или как? А ты губами шевелил... Теперь давай о делах поговорим.

Они устроились на подоконнике и закурили, стряхивая пепел в открытое для этой цели окно.

— Я кое с кем посоветовался, — сказал Тищенко. — Есть одна заковыка... Короче, тебе эту квартиру продать не получится. Я имею в виду — как физическому лицу. Только на твою фирму.

— Почему?

— Не получится. Есть тут одна заковыка... А ты на фирму не хочешь купить?

— Не знаю пока, — признался Юра. — А в чем дело-то?

Петр Иванович пропустил вопрос Юры мимо ушей.

— Тебе так даже удобнее будет, — сказал он. — Во-первых, ты же сейчас где-то живешь, прописан там. В двух местах тебя все равно не пропишут. Во-вторых. Одно дело, когда у фирмы есть имущество, и другое — когда у человека. Богатеньких-то у нас не очень жалуют. И потом. Налог на имущество. Он здесь приличный набегит. Оценка-то не по БТИ будет, а по покупной стоимости. Зачем тебе свои бабки платить? Ну и так далее.

Юра задумался. В принципе, в словах Петра Ивановича был определенный резон. И про налоги. И выписываться из квартиры, оформленной в общую долевую собственность с бывшей женой, ему вовсе не хотелось. Да и вселиться в хоромы, числящиеся за его собственной, принадлежащей ему на все сто процентов фирмой, никаких проблем не составляло. Всего-то и надо будет ему арендовать квартиру у самого себя, подписать с собой договорчик,

да раз в год вносить в кассу пару рублей в качестве арендной платы. И возможные вопросы о том, на каком поле он, простой российский предприниматель, напахал около семисот штук зеленых на апартаменты, никогда не будут заданы.

Вполне возможно, что он и сам бы мог выйти к Петру Ивановичу с такой идеей. Но то, что первым об этом заговорил Тищенко, Юру почему-то насторожило, и кольнуло в сердце предчувствие беды. Кольнуло и исчезло.

— Так в чем заковыка, Петр Иванович? — поинтересовался он.

Петр Иванович пожевал губами.

— В пердуне этом старом, — признался он, помолчав немного. — Понимаешь, я никак не думал, что он так упрется насчет договора. Вот этого... про который я тебе говорил... Получается как. Ты ему продал бумаги. Я тебе продал квартиру. Считаю подарил. А он у меня — бывший тесть. И по документам все бьется. Начнут раскручивать — в миг докопаются. А так получается, что бумаги продал ты, а квартира ушла на какую-то фирму. Оно, конечно, и так раскручивается, но все же не сразу. И договариваться уже можно будет. Ну что, по рукам?

Объяснение Тищенко было настолько логичным и естественным, что Юра сразу повеселел. И долго еще потом, продумывая всю схему, пытался он вернуть в память неожиданно возникшее в момент разговора нехорошее ощущение, но это у него так и не получалось. Уж больно все было логично и естественно.

Тем более что Тищенко оказался не просто человеком слова, но личностью, прямо скажем, уникальной. Не дожидаясь, пока операция с дедом будет завершена, он дал команду — и в течение двух дней элитная квартира была оформлена в собственность Юриной фирмы. Со всеми делами, с регистрацией.

— Смотри, — сказал Тищенко, передавая Юре папку с документами. — Теперь твое дело проследить, когда у Халамайзера пятый выпуск пойдет. И сразу ко мне в бухгалтерию, бумаги приходить. Понял меня? И с дедушкой не затягивай.

Но с дедушкой началась морока — не приведи господь. Как и было договорено, следующим же утром он появился у Юры с вырученными от Халамайзера деньгами и привычно расположился в кресле. Юра протянул ему пачку бумаг первого выпуска на две тысячи долларов и очередной договор купли-продажи. Дед бумагами пренебрег, схватил договор и впился в текст. Дочитав до конца, закатыл жуткий скандал.

Оказалось, что престарелый законник и тыловой ветеран довольно быстро сообразил, что, отдав Юре две тысячи и что-то там подписав, он через полчаса получает на руки в другом месте уже четыре тысячи. И первоначальная идея о девяти тысячах и бесприютной сестре как-то сама собой рассосалась и канула на задворках памяти, уступив место всепоглощающей жажде мгновенного обогащения.

Короче говоря, дед категорически отказывался отложить на вожделенную квартиру первоначальные две тысячи долларов и требовал немедленного обмена всех полученных от Халамайзера денег на бумаги «Форума». На тех же условиях.

— Я в милицию пойду! — орал дед. — В ОБХСС! В райком партии! Я сразу почуял, что здесь что-то не так. Если вчера все было по закону, требую продать мне. Как ветерану партии и труда! Иначе сей же час иду в милицию. Пусть разберутся. Что это за бумаги за такие да откуда они у вас. Пусть, пусть разберутся.

Видя, что деда понесло и что морщинистая шея его уже становится малиновой, Юра не стал напоминать ему, что райкомов партии больше нету, а снова набрал Тищенко.

Тот выругался в трубку, но общаться с дедом отказался.

— Какая разница, — рассудил он. — Сколько там у него? Четыре? Продай ему на четыре. Пусть подавится. Быстрее закончим.

— А он ко мне завтра с восемью не припрется? — шепотом спросил Юра, отворачиваясь от kloкочущего деда.

— Может, — задумчиво согласился Тищенко. — Эдакая сволочь. Он и послезавтра может заявиться.

— С шестнадцатью?

— С шестнадцатью.

— Ну и что мне делать? Он меня за неделю по миру пустит. Мне людям зарплату через три дня выдавать.

— Подъезжай вечером в «Прощание славянки», — пригласил Тищенко. — Часиков в восемь. Скажешь, что ко мне. И дед возьми с собой. Обсудим.

Роскошная обстановка ресторана не усмирила взбунтовавшегося старика, а всего лишь заставила орать злодейским шепотом, от которого собравшаяся публика вздрагивала и оборачивалась. Пришлось перебираться в кабинет. Там дед разошелся не на шутку. Объяснения Юры и Тищенко, что запас бумаг не бесконечен и что продавать их ему в постоянно удваивающихся количествах нет никакой возможности, дед отметал с порога.

— Ничего себе — рыночная экономика! — вопил он. — Ничего себе — спрос и предложение! Это что же получается такое? Как что хорошее появляется, так сразу опять дефицит? Так раньше хоть в райкомах для ветеранов льготы были. А теперь что? За что советскую власть угробили? Чтобы опять дефицит был?

Произнося слово «дефицит», дед ожесточенно брызгал слюной, и видно было, что оно ему жутко не нравится.

— Мало бумаг. Мало! — толковывал ему мрачный и злой Тищенко. — На всех не хватит. Понял, отец? Мы специально их собрали — малую толику — чтобы тебе с квартирой помочь. Понял?

Но верить, что такая замечательная штука, как ежедневное удвоение первоначального капитала, была придумана специально для него, дед отказывался категорически. В его сбивчивом бреде все настойчивее начинала проскакивать идея о том, что вся затея с бумагами была устроена не иначе как властями и исключительно чтобы помочь обнищавшему за годы реформ трудовому народу. А всякие там — и он бросал на Юру и Тищенко недобрые взгляды — скрыли от народа правду и хотят хапнуть куш.

— Само-то, — ехидно вопрошал дед, — само-то? По сто тыщ небось в день захибаете? Долларов? А как мне — то восемь тысяч в зубы — и гуляй. Нет уж! Вот попробуй, только попробуй, — и он грозил Юре корявым пальцем, — мне завтра отказать. Я общественность привлеку. Я — в милицию, — вспомнил он давешнюю угрозу.

Услышав про милицию, Тищенко рассвирепел и так грохнул по столу начальственным кулаком, что столовые приборы взлетели в воздух и жалобно брякнули, собравшись при приземлении в кучу.

— Ты кому милицией грозишь! — взревел он. — Ты с кем говоришь, вошь вохровская? Ты забыл, кто я такой? Сгною, твою мать!

От неожиданного отпора дед присмирел и съезжился на стуле, жалобно заскулив. Но боевой блеск в его блеклых голубых глазках не погас.

Начались переговоры.

Когда Юре стало понятно, о чем идет речь, он попытался было возникнуть, но получил от Тищенко толчок в бок и заткнулся. Двадцать тысяч на квартиру дед уже не хотел. Однокомнатная конура — это оскорбление для ветерана. Опять же сестра. Вдвоем в комнате... Или ему на старости лет предлагают спать в коридоре на сундуке? Ха-ха! И это когда по столам гуляют такие деньги. Он что, мальчик? Не понимает, что на зарплату в такие бабаки не ходят? Короче. Квартира должна быть двухкомнатная, не меньше.

Сорок метров. И деньги на обстановку. Чтобы холодильник был импортный. И цветной телевизор. И на карманные расходы. Тысяч пять, чтобы приодеться. И чтобы сестра порадовалась, увидев, что брат ее живет не подаянием.

Дедовские притязания тянули примерно на шестьдесят тысяч.

— Выйдем, — мрачно сказал Тищенко Юре, когда позиция деда стала более или менее определенной. — Посоветуемся.

Они оставили осипшего от препирательств старика мрачно сверкать глазами в тиши кабинета и вышли в общий зал.

— Даже не знаю, как теперь быть, — признался Тищенко и выругался, оглянувшись. — Вот ведь скотина. Втравил я тебя... Главное дело, понимаешь ли, что по закону у нас все в порядке. Но он же сейчас такой вой поднимет, что мало не покажется. Писать начнет. На приемы бегать. Крови попьет... И послать я его не могу. Обещал первой жене. Так мы с ней договорились, в общем. Что будем делать?

Юра прокручивал в уме идею, которая возникла у него еще за столом. На отношения Тищенко со стариком ему было, по большому счету, наплевать. С его стороны сделка выглядела очень просто. Он вынимает из фирмы бумаг примерно на двадцать тысяч и дарит их деду. За это Тищенко, в свою очередь, продает ему, Юре, за ничего не стоящие бумажки пятого выпуска роскошную квартиру. Реальная стоимость квартиры не меньше семисот тысяч. Доход от сделки — тридцать пять к одному. Теперь Пискунов заартачился и требует шестьдесят штук. Это значит, что доход составит одиннадцать к одному. На этом и надо немедленно останавливаться, пока дед не передумал. Конечно, вынимая из фирмы бумаг еще на сорок с лишним тысяч, он практически обнулит оборотку. Но это означает всего лишь, что придется положить обратно сорок тысяч своих и закрыть вопрос. Такого количества свободных денег у Юры не было, но недели за две добыть их вполне можно.

Но тут Тищенко преподнес Юре сюрприз. По-видимому, он не совсем верно оценил Юрино молчание.

— Я вот что думаю, — сказал Тищенко. — Надо ему бабки отдать, пусть подавится. Давай прикинем. Однокомнатная обошлась бы в двадцать тысяч. Считаю, что ты их уже отдал. Значит, остается еще сорок. С одной стороны, ты это вроде бы не совсем бесплатно делаешь. Правильно? — И Тищенко подмигнул Юре. — А с другой — если бы не я, то у тебя бы проблем не было. Поэтому давай так. Я тебе завтра двадцать штук пришлю. Прямо утром. А с остальным сам разберешься. Ну как?

От таких предложений не отказываются. И Юра понял, что после нескольких лет в бизнесе ему наконец-то посчастливилось встретить истинно порядочного и благородного человека. Конечно же, он согласился.

Окончательное решение деду объявлял сам Тищенко. Общее количество бумаг ограничено, на всех не хватит, и дефицит, что бы дед ни орал, реально существует. Но учитывая его престарелый возраст и заслуги военных лет, удалось изыскать возможность продать ему бумаг еще на двадцать тысяч долларов. И ни на цент больше. В известном деду месте за эти бумаги он выручит искомые шестьдесят тысяч. Но если он после этого еще раз сунется к Кислицыну, пусть пеняет на себя.

По-видимому, старик не ждал такой уступчивости и явно пожалел, что не запросил больше. Но делать было нечего, и он исчез, пообещав Юре на прощание, что завтра с утра забежит, и извинившись за резкость при переговорах. Легко объяснимую, если вспомнить про плохое здоровье и тяжелые годы войны.

— А он разве воевал? — спросил Юра у Тищенко, когда за дедом закрылась дверь. — Он мне что-то говорил, что был комиссован перед войной.

— Да ни дня он не воевал, сволочь старая, — ответил Тищенко. — Всю войну за Уралом проболтался. В лагерной охране. Награды, правда, есть. И на все ветеранские собрания, как на работу, ходит.

Прошло месяца три. Может, даже больше. Халамайзер, как и ожидалось, выбросил в продажу акции пятого выпуска, Юра полностью рассчитался с Тищенко за квартиру и начал закупать и завозить мебель. Занятый квартирой, он напрочь забыл про настырного деда. Но тот вдруг напомнил о себе, появившись у Юры в кабинете промозглым ноябрьским утром.

— Как поживаете? — любезно осведомился старик, опускаясь в кресло и пристраивая на полу брякнувший полиэтиленовый пакет. — Я вам помидорчики принес. Урожая этого года.

Юра с подозрением покосился на пухлый сверток, который дед держал в правой руке.

— Спасибо, — ответил он. — Нормально поживаю. Как у вас? Квартиру получили?

— Однокомнатную, — сказал дед, и взгляд его затуманился от горя. — За восемнадцать с чем-то. Петр Иванович помогли.

— А чего ж так? — удивился Юра. — У вас же шестьдесят тысяч было.

Дед пригорюнился еще сильнее, и по покрасневшему носу его потекла скупая старческая слеза.

— Господь покарал, — признался он, всхлипнув. — За жадность. Сестрица моя... Скончалась, царствие ей небесное. От сердца. В одночасье. Заснула ночью и не проснулась уже. А одному-то мне куда такие хоромы? Сколько мне осталось? Да и операция у меня была тяжелая. Я вам рассказывал? Мне же все порезали внутри, трубки всякие наружу повыводили. Почти полгода так и ходил. Пять метров пройду — отдышаться надо. Сейчас опять вот покалывать начало.

Несмотря ни на что, жалости дедушка Пискунов у Юры уже не вызывал. Юра слишком хорошо помнил, как дед орал и грозил, обвиняя его и Тищенко во всех смертных грехах. И открытое ему Петром Ивановичем лагерное прошлое старика тоже не добавляло симпатий к нему.

— Я попрощаться пришел, — продолжал дед дребезжащим от слез голосом. — Чтобы зла на меня не держали. И попросить хочу. Напоследок.

— О чем?

Дед аккуратно положил на стол сверток.

— Тут сорок тысяч, — сказал он. — Как выдали их мне, так и сохранил. Еще бумажек не продадите?

— Не продам, — решительно заявил Юра, с ненавистью наблюдая, как в еще мокрых от слез глазах старика появляется знакомый ему боевой задор. — Нету больше. Вам же объясняли. Ни одной бумажки первого выпуска больше нет.

— А второго?

— И второго нету. И третьего.

— А какого есть?

— Только пятого. Последнего. Но по нему выплаты начнутся через месяц. Не раньше.

Дед призадумался.

— А сколько будут выплачивать?

— По номиналу плюс тридцать процентов, — сказал Юра, решив не сообщать деду, что «Форум» уже сворачивается, и через месяц его бумагами можно будет оклеивать стены в новой квартире.

— А через два месяца — плюс пятьдесят? — спросил дед, проявив осведомленность в механизмах финансового рынка.

Юра кивнул.

Дед призадумался и зашевелил губами.

— Я куплю, — объявил он, закончив вычисления. — На все.

Юра пожал плечами. В конце концов, он вовсе не занимался водить деда за ручку. Проблема с квартирой решена. И если теперь дед хочет выбросить

деньги в печку, это его личное дело. Обидно, правда, потому что эти деньги изначально принадлежали ему и Тищенко. Но что было, то было. Хотя и обидно.

Но тут дед сделал неожиданный ход конем.

— Я, Юрий Тимофеевич, — сказал дед, поерзав в кресле, — хотел бы... как это... искупить... В общем, вы меня простите, дурака старого, за давешнее. Искупить хочу. Давайте я их опять у вас лично куплю. Как у физического лица. На все сорок тысяч.

Предложение было настолько внезапным, что сперва Юра не поверил своим ушам. Первая же пришедшая ему в голову мысль состояла в том, чтобы послать соскочившего с катушек старика к чертовой матери. В кассу. Пусть делает со своими деньгами что хочет. Но потом он сообразил, что дедовские сорок тысяч все равно можно считать погибшими. Потому что, если он правильно понимает политику Халамайзера, ни процентов на эти деньги, ни самих денег дед уже никогда не увидит. А значит, чем отдавать сорок тысяч в халамайзеровскую прорву, лучше забрать их себе. И честно вернуть половину Тищенко.

Он отправил деда обождать в приемную и позвонил Петру Ивановичу. Тот воспринял информацию с энтузиазмом.

— А как ты с Халамайзером разберешься? — спросил Петр Иванович. — Ты разве ему за бумаги денег не должен будешь?

— Разберусь, — отмахнулся Юра. По мере того, как «Форум» все увереннее двигался к своему неотвратимому крушению, заведенный когда-то Халамайзером железный контроль за деньгами хирел на глазах, и спрятать сорок тысяч до следующей сверки расчетов, которая вполне может и не наступить, ничего не стоило.

— Ну тогда действуй, — разрешил Тищенко. — Мне бы сейчас лишняя двадцаточка тоже не помешала.

Далее последовала традиционная процедура с изучением и подписанием договора, после чего дед бережно перевязал принесенной с собой веревочкой огромный тюк бумаг пятого выпуска, водрузил банки с помидорами на Юрин стол и пропал, широко ухмыльнувшись на прощание и снова загадочно провозгласив:

— Зайгезунд!

И потекло неспешно время. В установленный природой срок развалилась пирамида «Форума», разразилась громом публикаций вся демократическая и недемократическая печать, важные чины из Министерства финансов в очередной раз объявили общественности, что никакой ответственности за сотворенное безобразие нести не могут и что они давно всех предупреждали, отгорели костры, у которых грелись ночами обманутые вкладчики, тщетно дожидаясь обещанных выплат, поступили в суды первые тысячи исковых заявлений и были тут же возвращены обратно, ибо установить надлежащего ответчика в придуманной Халамайзером хитроумной схеме не представлялось возможным. Потому что сам «Форум» никаких бумаг не продавал, а всего лишь выкупал их у населения по договорной цене. А брокеры бумагами торговали, но никакой ответственности за их обратный выкуп не несли. Да и принадлежали эти бумаги не им, а «Форуму». Если бы им, тогда, конечно, другое дело. Но ведь не им же, правда? Да еще Халамайзер откликнулся из синей зарубежной дали, сказал, что собранные «Форумом» деньги очень успешно проинвестированы и скоро принесут всем вкладчикам небывалые дивиденды. И никуда он вовсе и не сбежал, а просто отъехал проследить, чтобы все было в порядке. Проследит и тут же вернется. Так что зря прокуратура суетится. И вообще вся шумиха вокруг «Форума» есть не что иное, как политическая акция, направленная на удушение передового российского предпринимательства силами коммунистической реакции, глубоко окопавшейся во властных структурах. За это ли мы проливали кровь на баррикадах девяносто первого!

Юра Кислицын окончательно освоил новую квартиру, перезнакомился со всеми соседями, отметил новоселье, куда почетным гостем был приглашен Тищенко, подаривший Юре ошеломляющей красоты саксонский сервиз. Сам же Петр Иванович получил повышение по службе и стал префектом своего округа.

И можно было бы считать, что жизнь наладилась, но тут в небе что-то польхнуло и медвежьим ревом прозвучали первые грозовые раскаты.

Чудным весенним утром Юра Кислицын, на выходе из подъезда, вытащил из почтового ящика казенную бумажку. На бумажке написано было противным бюрократическим почерком, что его такого-то числа приглашают посетить районный суд по указанному адресу, куда он вызывается в качестве ответчика по делу номер... В четырнадцать тридцать. Зал номер два.

Юра пожал плечами и, не испытав особой тревоги, передал повестку своему юристу, как только доехал до офиса.

— Сходи, — приказал Юра. — Узнай, что им нужно.

Когда он вернулся с обеда, юрист уже ждал его в приемной, и по его лицу Юра понял, что случилась беда. В руках юрист держал страниц десять убористого машинописного текста.

— Вы почитайте, — сказал юрист. — Мне это очень не нравится.

На десяти страницах излагалось исковое заявление гражданина Пискунова И.М. к гражданину Кислицыну Ю.Т. Суть его состояла в следующем. Гражданин Кислицын Ю.Т., являясь единоличным владельцем фирмы, оперирующей на рынке ценных бумаг, участвовал в мошеннических операциях с так называемыми бумагами инвестиционного фонда «Форум». Мошеннический характер этих операций подтверждается документами, приведенными в приложении. Гражданин Кислицын Ю.Т. не мог этого не понимать, поскольку является обладателем всех необходимых дипломов и лицензий. Копии приведены в приложении. Тем не менее, гражданин Кислицын Ю.Т., приобретя неустановленным путем в личную собственность определенное количество вышеуказанных бумаг, продал их истцу, гражданину Пискунову И.М., заведомо вводя его в заблуждение относительно ценности этих бумаг и возможности получения дивидендов по ним. Копия договора купли-продажи находится в приложении. Истец, обманутый гражданином Кислицыным Ю.Т., потратил на приобретение данных бумаг все свои личные сбережения в сумме сорока тысяч долларов США. Далее он, истец, неоднократно пытался вернуть свои деньги, много ночей провел в очередях и подорвал свое здоровье, и так загубленное войной с фашизмом и тяготами послевоенного строительства. Подтверждается медицинскими справками и официальной бумагой из регионального отделения Союза обманутых вкладчиков. Не располагая более личными сбережениями и получая мизерную пенсию (подтверждается справкой из райотдела социального обеспечения), истец был вынужден распродать имеющееся у него имущество, чтобы приобрести остро необходимые для лечения дорогостоящие импортные медикаменты. Прилагаются копии документов из комиссионных магазинов и медицинских рецептов. Учитывая заведомо и умышленно мошеннический характер исходной сделки с гражданином Кислицыным Ю.Т., истец просит суд удовлетворить его законные требования, состоящие в следующем. Признать сделку купли-продажи ценных бумаг ничтожной с момента заключения и на этом основании обязать ответчика вернуть истцу все полученные от него деньги. Взыскать с ответчика штраф в пользу истца за незаконное пользование чужими денежными средствами в размере три процента от суммы за каждый день с момента заключения сделки. Возместить ответчику понесенные им материальные потери, оплатить расходы на лечение и выплатить разовую материальную компенсацию за невосполнимый ущерб для здоровья. Обязать ответчика ежемесячно выплачивать истцу сумму, определяемую из величины упущенной выгоды (расчет прилагается). И наконец, учитывая перенесенные истцом нравственные и физические страда-

ния, возместить ему моральный ущерб. Оценка морального ущерба также вынесена в приложение.

Всего истец насчитал ни много ни мало, а один миллион двести восемьдесят тысяч долларов.

Дойдя до этого места, Юра оторвался от чтения, посмотрел на юриста и коротко сказал:

— Он рехнулся.

— Может быть, — согласился юрист. — Только деньги он получит.

— Это каким же образом? Ты же знаешь, что суды не принимают заявлений по делам «Форума».

— Это, как видите, приняли, — резонно возразил юрист. — Тут ведь вот какая история. По бумагам «Форума» нет возможности установить право собственности. Значит, нет надлежащего ответчика. А в нашем случае, Юрий Тимофеевич, ответчик имеет место быть, так сказать, во всей красе. В этом вашем договоре черным по белому написано, что вы продали ему бумаги «Форума», принадлежащие вам по праву личной собственности.

Юра отмел возникшее у него острое чувство немедленно найти и придушить деда, потому что оно мешало ему сосредоточиться, и начал трясти юриста. Тот держался уверенно. По всему выходило, что Юра, к моменту совершения сделки, не мог не знать, что «Форум» вот-вот исчезнет. И документальное подтверждение этой Юриной осведомленности развалить будет чрезвычайно тяжело. Или в старике на исходе лет проснулся незаурядный юридический гений, или он нанял для этого дела кого-то из светил. Поэтому шансы проиграть дело чрезвычайно велики. И единственное, что можно посоветовать, это попытаться договориться, не выходя в суд.

— Сколько? — коротко спросил Юра.

Юрист задумался.

— Вообще-то, — осторожно сказал он, — здесь объявляется сумма, явно несоизмеримая с величиной причиненного ущерба. На этом можно попробовать сыграть. Обычная практика — величина ущерба плюс столько же. Значит, получается восемьдесят штук. Но я боюсь, что может не получиться.

— Почему?

— Есть отягчающие обстоятельства, — пояснил юрист. Он начал загибать пальцы. — Ветеран... пенсионер... инвалид... лишен средств к существованию... расходы на лечение... распродажа личного имущества... упущенная выгода — он ведь ее по официальным банковским ставкам считает... Так далее. Думаю, что вдвое скостить можно будет. Так что до суда меньше, чем на пол-лимона договориться вряд ли удастся.

— На пятьсот тысяч? — Юра не поверил своим ушам.

Юрист кивнул, глядя на хозяина с жалостью.

Кислицын побелел от ярости и почувствовал, как во рту появляется неприятный металлический вкус, предвещающий повышение давления.

— Хорошо, — сказал он, по-прежнему стараясь не сорваться. — А если я докажу, что эти сорок тысяч ему никогда не принадлежали? Что это мои собственные деньги?

Юрист ожил на глазах.

— Это меняет дело, — с ходу объявил он. — В корне меняет. А как вы это докажете?

Юра попытался вспомнить, где у него лежат первоначальные договора с мерзким стариком, не вспомнил, махнул рукой и начал рассказывать.

— Все началось с того, что он принес мне две тысячи долларов. Вот они-то и были его собственными. Я продал ему бумаги первого выпуска. На все две тысячи. Назавтра он принес мне уже четыре тысячи, которые за них выручил. Буквально назавтра. Все документально подтверждено. И таскал ко мне деньги, пока не набрал шестьдесят тысяч. Потом за двадцать штук купил

себе новую квартиру. Тоже можно доказать. И уже на последние сорок тысяч купил бумаги пятого выпуска, которые ничего не стоили. Где же тут обездоленный ветеран?

Юрист надолго задумался.

— Вы мне эти документы дайте, — объявил он. — Это хорошо, что они есть. Тут ситуация, как с «Властилиной». К ней ведь иски предъявлялись сразу на все — в том числе и на то, что с ее помощью наварили. Но там ничего не удалось доказать. А здесь есть документы. Можно попробовать. У меня, кстати, еще одна мысль есть.

— Какая?

— А ну как этот сукин сын заработанные на «Форуме» деньги незадекларировал? Наверняка ведь так. Иначе бы у него их вдвое меньше было.

— Ну и что?

— Капнуть на него надо, — пояснил юрист. — В районную налоговую инспекцию. А лучше всего — в полицию. Там возбудят уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупном размере. А я потребую, чтобы оба дела объединили в одно.

— И что это даст?

— Ха! — юрист потер с удовольствием руки. — Вместо инвалида и ветерана против нас будет выступать уголовный преступник. Да и сам он поговорчивее станет. У вас с полицией есть отношения, Юрий Тимофеевич?

Юра кивнул.

— Так я вам советую очень быстро эту штуку начать раскручивать. Просто сегодня же.

— А зачем такая спешка? Суд когда?

— Дело не в суде. Вы исковое заявление до конца дочитали?

Заявление безвинно пострадавшего вохровца заканчивалось тем, что он просил суд, еще до начала рассмотрения дела по существу, принять неотложные меры по обеспечению иска. Наложить арест на счета ответчика во всех банках. Наложить арест на все имущество ответчика. В первую очередь на принадлежащую ему фирму, стопроцентным владельцем которой он является. С учетом того, что он же является и ее генеральным директором, наложить арест на счета упомянутой фирмы и на ее имущество. В составе имущества особо выделить принадлежащее данной фирме на правах собственности помещение фондового магазина. А также недавно приобретенную фирмой пятикомнатную квартиру по адресу... И служебный транспорт — один автомобиль марки «Вольво» и двое «Жигулей».

— Вы ведь квартиру на фирму покупали? — спросил юрист, дождавшись, пока Юра дочитает до конца.

Юра снова кивнул.

— Вот это очень плохо. Если бы на себя и были там прописаны, то тут можно было бы потянуть... А так — не знаю даже.

— Что ты хочешь сказать?

— А то, что исполнительный лист уже выписан. Я с судебным приставом говорил. Сегодня он по другим делам занят, а завтра с утра к нам собирается. Приедет сюда, а потом сразу же на квартиру. Опечатывать.

— И что же делать? — растерянно спросил Юра, переставая ощущать стремительно уходящую из-под ног почву.

— Надо срочно домой, — посоветовал юрист. — Все собрать, что есть. Деньги, ценности, одежду... Перевезти куда-нибудь. Когда опечатают, то все. И дайте указание бухгалтерии. Пусть начинают готовить платежки. Нужно сегодня же обнулить счета. А то они нам завтра всю работу остановят.

Уже в дверях юрист обернулся и спросил:

— Юрий Тимофеевич, я попробую поработать с составом суда? Там небольшие расходы будут. Или как?

Юра кивнул головой, бросил в рот две таблетки, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза, дожидаясь, пока лекарство подействует. У него никак не могло уложиться в голове, что все случившееся происходит наяву и именно с ним. Арест счетов и имущества фирмы, созданной с нуля, своими собственными руками и на чудом спасенные в начале гайдаровской реформы деньги, фирмы, в которую он вложил все, что у него было, бросив, не раздумывая, в прожорливую топку бизнеса и семью и немногих друзей. А фондовый магазин, лучший в Москве, выросший, как в сказке, на месте развалюхи-сарая! Его репутация везунчика и не делающего ошибок бизнесмена! Квартира, наконец, будто бы свалившаяся с неба, квартира, в которую он влюбился с первого взгляда и которую отделял с такой заботой, тратя на это редкие часы свободного времени, квартира, о которой в кругах фондовиков уже говорили как о чем-то особенном, его коллекция российских ценных бумаг, занимавшая целиком одну комнату, коллекция, право посмотреть на которую так ценилось всеми знатоками, приезжавшими даже из-за границы... И сейчас все это, с таким невероятным трудом и риском отлаженное и отстроенное, все это может обрушиться в одночасье. Он представил себе завтрашние статьи в «Коммерсанте», неминуемый шквал соболезующих и скрыто злорадных телефонных звонков, сургучные печати на дверях и перемигивание соседей — и за что, за что! Все из-за этого выжившего из ума старого мерзавца, бесстыдно нажившегося на пирамиде «Форума» и теперь рвущегося отхапать очередной куш. Перед закрытыми глазами его возник жалкий, неопрятный и дурно пахнущий старик, что-то бормочущий слюнявыми губами про божью кару за жадность и обретший вдруг такую роковую и зловещую силу. Будто возникший из горстки глины Голем схватил его за горло неумолимо крепнувшей рукой и стал сжимать узловатые пальцы с нестриженными черными от вьющейся грязи ногтями, безжалостно перекрывая дыхание. Юра вспомнил заискивающий голос старика, дряблые щеки, в морщинах которых терялись вызывающие брезгливость мокрые дорожки, его постоянную готовность перейти от жалобного скулежа к агрессивному напору — и понял, что никакие соглашения и договоренности здесь невозможны. Либо он сотрет в пыль этот призрак из лагерного прошлого, либо... Нет, об этом даже невозможно подумать. Такого не может быть никогда! В этой войне поражение невозможно.

Можно проиграть кому угодно. Можно проиграть тому, кто умнее. Тому, кто богаче. Тому, кто крепче стоит. Но проиграть можно только человеку своего круга. Этому... этому проиграть нельзя. Немыслимо. Вохровская вошь! Кто это сказал? Тищенко! О! Так чего же он ждет!

— М-да, — только и сказал Петр Иванович, выслушав по телефону горестную историю. — И что ты намерен делать?

Юра хотел было сказать, что намерен потребовать от Тищенко немедленно образумить своего зарвавшегося родственника, но его остановила почудившаяся вдруг холодноватая нотка в голосе собеседника, и он ограничился просьбой о немедленной встрече. Сегодня же вечером. Там, где всегда.

— Сегодня не могу, — с сожалением ответил Петр Иванович. — Никак. Давай до завтра. Заезжай ко мне в префектуру, — он пошелестел бумагами, — в двенадцать ровно.

Но не получился у них разговор. Юра провел в кабинете Тищенко не меньше часа, а беседа заняла никак не больше десяти минут. Постоянно звонили телефоны, на которые Тищенко набрасывался, как ястреб, и ежеминутно влетали растрепанные чиновники, заваливавшие хозяина кабинета пачками входящих и исходящих. А один как пришел, так, повинувшись жесту хозяина, и остался, рассевшись в кресле напротив Юры. Конечно же, говорить при нем о деле можно было только туманными намеками. И единственное, о чем Юра успел попросить, так это о звонке в местную налоговую полицию с просьбой принять и помочь.

— Слава, — сказал Тищенко в трубку, — к тебе человек от меня подойдет. — И подмигнул Юре. — У него просьба будет. Помогите.

А когда Юра уже уходил, проводил его словами:

— Если не будет решаться вопрос, звони в любое время.

В приемной Юра задержался около секретарши Зины. В те далекие счастливые дни, когда оформление квартиры шло полным ходом, через Зину проходили все документы, и Юра, в знак благодарности, пригласил Зину в ресторан, откуда, не тратя времени, уволок в койку. С Зиной все было легко и просто, потому что имелся муж. Сперва они встречались еженедельно, раза по два, потом отношения стали затухать, но на нет еще не сошли.

— Какая у него программа сегодня? — спросил Юра, проникая пальцами к укрытому косынкой плечу.

Зина подняла к Юре подведенные глаза, чуть мурлыкнула, свидетельствуя, что принимает ласку и готова к продолжению, и ответила тихо:

— До шести здесь будет. Потом уедет. У Кобры день рождения.

Коброй она называла любовницу Тищенко, которая ежедневно закатывала ей по телефону грандиозные скандалы, требуя, чтобы Зина добывала ей приглашения на фуршеты и презентации, записывала в косметические салоны и обеспечивала транспортом.

Юра решил выловить Тищенко на выходе, чтобы поговорить предметно. А до того побеседовать в налоговой.

Начальник районной налоговой полиции выслушал Юру и коротко спросил:

— Что надо? Конкретно?

— Уголовное дело, — так же коротко ответил Юра. — Как можно быстрее.

Начальник кивнул, нажал кнопку на селекторе и приказал:

— Сергеев? Сейчас к тебе от меня зайдут. Запросишь документы. И чтоб нагрузить — по самые помидоры. Понял меня? Под личный контроль беру.

Юра сговорился со следователем Сергеевым, соединил его со своим юристом, посмотрел на часы и полетел обратно в префектуру поджидать Тищенко.

Появившийся ровно в шесть Тищенко уткнулся грудью в Юру прямо у дверей префектуры. На лице его нарисовались раздражение и еще какое-то непонятное чувство, которые тут же спрятались в начальственных складках.

— Знаю уже, — проворчал он, выставляя вперед ладони. — Уже доложили. Все сделаю. Так что все в порядке.

— Да ничего не в порядке, — взвыл Юра. Юрист фирмы уже сообщил ему по мобильному телефону о появлении судебного пристава, который предъявил исполнительный лист и отбыл в банк арестовывать счета. — У меня счета арестовывают. Завтра будут описывать имущество. И квартиру опечатывать. Где в порядке?

Тищенко заметно раздражился.

— Что ты хочешь, чтобы я сделал? Приставу дал указание? Он меня пошлет. Надо с судом работать.

— Вот я про это и хотел поговорить. Еще утром.

— Да не говорить надо! А конкретно работать с судом! Что ты здесь болтаешься под дверью?

— Так у меня к вам как раз и просьба, Петр Иванович. Поговорите с судьей. Или с председателем суда. Или с кем угодно. Пусть арест снимут. Хотя бы с квартиры. Не на улице же мне ночевать?

— Ой! — сказал Тищенко. — Бездомный нашелся. А то ты не найдешь где переночевать! Зинку, что ли, драть негде? Ладно. Я завтра переговорю с председателем. Решим вопрос. А сейчас — извини. Меня в мэрии ждут.

Видать, к утру следующего дня Тищенко осознал, что обошелся с Юрой не совсем по-людски. Потому что он нашел его по мобильному и сказал:

— Давай так. У меня поговорить не получится. Приезжай в «Прощание

славянки». Прямо сейчас. Позавтракаем вместе. И расскажешь все путем, а не на одной ноге.

Очень странный получился разговор за завтраком в «Прощании славянки». Хотя и обнадеживающий. В очередной раз Юра убедился, что Тищенко — человек нестандартный. От приведения в чувство своего родственника отказался наотрез. Не тот человек. Прямо скажем, редкой пакостности фигура. Ему пошли навстречу, сделали квартиру, а он такую подлянку подбросил. Бессмысленно с ним говорить, пойми ты, дурья башка. Раз он почуял, что пахнет деньгами, то не отвяжется. Надо его замочить в суде. Да ты не дергайся, не в том смысле — замочить, а в смысле — выиграть дело. Но надо аккуратно. Если просто позвонить и приказать, то это будет неправильно. Потому что с телефонным правом мы боремся. И если он пронюхает, что я вмешался, то такое начнется, что запросто можно костей не собрать. Поэтому я со всеми поговорю. И в департаменте юстиции. И с председателем. Чтобы эту суку, как надо, умыли, но по всем нормам закона и с соблюдением всех процедур. А если не получится...

— Что? Может не получится? — жалобно спросил Юра, уже начавший было выбираться из темной бездны безнадежности.

Да нет же! Конечно, все получится. Но если вдруг — вдруг! — что-то не получится, то это все ерунда. Потому что есть еще городской суд, а там со всеми зампредами отношения такие, что лучше некуда. Поэтому не дрейфь. Все будет нормально.

— А исполнительный лист можно отозвать?

— Не знаю, — искренне озадачился Тищенко. — Пойми, здесь нужна ювелирная работа. Ты что хочешь, чтобы суд взял да и вот так, ни с того, ни с сего, отменил свое решение? А он спросит — почему да отчего. И где мы тогда с тобой будем? Ну ты-то где был, там и будешь, а вот со мной и с судьей, который такое решение вынесет, не очень как-то понятно. Ты давай, знаешь что... Скажи своему юристу, пусть не затягивает. Пусть гонит дело на всех парах. А я подмажу где надо. Сейчас надо не исполнительный лист отзывать, а поскорее дело выигрывать. Понял меня?

— Может, мне с судьей встретиться?

— Ни под каким видом, — решительно отмел Тищенко. — Категорически вредно. Как ты с ним будешь встречаться? В кабинете? Там все пишется. В ресторане? Во! Только свидетелей нам не хватало. Я спокойно переговорю с председателем, тот вызовет судью, даст установку. И все. Согласен?

— А если, — осторожно озвучил Юра опасения своего юриста, — старик уже зарядил судью? Говорят, у него адвокат — редкий пройдоха. Тогда что? Тищенко нахмурил брови.

— Ты мне что хочешь сказать? Что у нас судьи — продажные? Так вот. Выброси это из головы. Судьи у нас — наши. Вот так вот.

Потом, когда вся эта история уже подлетала к трагическому финалу, Юра вспомнил эти слова Тищенко и осознал в полной мере их непреходящую правоту. Но это было потом.

В районный суд он, конечно же, не пошел, полностью доверившись словам Тищенко о наличии с председателем суда полного и всеобъемлющего взаимопонимания. Тем более что лишний раз встречаться со сволочным дедом ему вовсе не хотелось. Юре уже доложили, что дед проявляет к его арестованной квартире повышенный интерес и по два раза в день возникает на этаже, проверяя наличие и сохранность сургучных печатей. А через юриста ему стало известно, что дед настырно требовал у пристава переписать еще и все находящееся в квартире имущество, но здесь, по-видимому, сработали связи Тищенко, потому что добиться от судьи нужного решения старику не удалось.

Заверениям Тищенко Юра доверился полностью, хотя его юрист озабоченно мотал головой и все заметнее нервничал по мере приближения решаю-

щего дня. Беспокоили его два момента. Во-первых, категорический приказ Юры гнать дело вперед, без всяких затяжек и проволочек. Налоговая полиция, денно и ночью трудящаяся над пополнением бюджета, явно не успевала обезоружить деда, хотя все изобличающие его материалы были предоставлены заблаговременно. И еще юриста тревожила личность нанятого стариком адвоката. Чем меньше времени оставалось до суда, тем чаще юрист появлялся у Юры в кабинете и тем чаще звучала фамилия Ильи Моисеевича Шварца.

Юре, из всех светил знавшему только Плевако, Резника да Падву, эта фамилия ничего не говорила, но его юрист, пришедший в фирму из милиции, располагал кое-какой информацией, и перспектива столкнуться со Шварцем в суде его вовсе не радовала. Двигая перед собой чашку с остывшим чаем, он рассказывал Юре эпизоды из боевого прошлого Ильи Моисеевича, и видно было, что восхищение перед проницательностью адвоката мешается у него с растущим опасением за исход дела.

В начале своей карьеры Илья Моисеевич служил простым опером где-то за Уралом, куда заботливые родители вывезли его, не дожидаясь полной раскрутки дела врачей. Как он пролез в милицию — никто не знает, но это произошло, и даже по службе ему удалось немножко продвинуться. Желая преуспеть еще больше, Илья Моисеевич куда-то заочно поступил, получил хороший диплом, пораскинул мозгами и подался из милиции напрямик в юридическую консультацию. Первое же дело, которое ему довелось вести, сделало его фигурой, очень известной в определенных кругах. У них в городке умер человек, оставив вдовой молодую жену, прописанную с ним на одной жилплощади. Поскольку перед смертью он долго и тяжело болел, то последние два месяца с ними проживала и его дочка от первого брака. Сразу же после кончины мужа и отца возник естественный вопрос о правах на жилплощадь. Понятно, что молодой вдове на дух не нужна была дочь покойного мужа, да еще и близкая ей по возрасту. Поэтому в суде она стояла на том, что никаких отношений с ныне покойным отцом истица не поддерживала, в доме никогда не бывала, и ей надлежит в иске отказать. Соседи по дому вдову поддерживали и, один за другим, нахально врали, что эту самозванку в глаза никогда не видели. Уже через пятнадцать минут стало ясно, что решение у судьи заготовлено, и осталось дожидаться только, когда соврет последний подготовленный вдовой свидетель. И вот тогда Илья Моисеевич, выступавший на стороне истицы и никак не желавший проиграть свое первое дело, проделал первый хитрый трюк. Он согнулся впополам, покраснел, вспотел и заголосил умирающим голосом, что с ним, похоже, произошло страшное пищевое отравление и что он категорически умоляет перенести заседание на другой день. Выслушав отказ явно заинтересованной в исходе дела судьи, Илья Моисеевич начал громко стонать и очень противно пукать, доведя за какие-нибудь пять минут атмосферу в зале до критической и добившись-таки нужного решения. Полученные же им два дня отсрочки он использовал очень эффективно, упросив районного участкового, своего бывшего кореша, проверить в подъезде вдовы соблюдение паспортного режима. Соседи, которым участковый объяснял, что пришел специально для того, чтобы упрятать за решетку каждого, кто когда-либо проживал в данном подъезде без прописки, радостно давали показания на несчастную истицу, охотно припоминая, как, когда и при каких обстоятельствах она появилась у них в подъезде, сколько месяцев провела в отцовской квартире и так далее. Потом Илья Моисеевич закатил участковому грандиозный банкет, в обмен на что получил копии показаний, и явился на следующее заседание суда уже во всеоружии. После того, как первый свидетель, на голубом глазу, заявил, что истицу видит впервые, Илья Моисеевич выложил на стол соответствующий протокол и потребовал возбудить против данного свидетеля уголовное дело по факту лжесвидетельства со взятием под стражу прямо в зале суда. Этого ему, конечно, добиться не удалось, но все прочие

свидетели со стороны вдовы, узнав про такой поворот событий, немедленно испарились, и дело было выиграно.

— Да черт с ним, со Шварцем, — в очередной раз успокаивал юриста Юра. — Я же тебе русским языком говорю — у нас все схвачено. И документы все на руках. Что ты трясешься?

Хотя под ложечкой и посасывало.

Юрист мрачнел на глазах и ежился в кресле.

— Знаете, сколько стоит такой адвокат, Юрий Тимофеевич? — спрашивал он. — Откуда у деда такие деньги? Что-то здесь не так.

И каждый раз после беседы с юристом Кислицын бросался звонить Тищенко. Сперва тот долго и успокоительно беседовал с Юрой по телефону, потом, видать, Юра со своими тревогами начал ему надоедать, потому что беседы становились все короче, а тон их — все резче. А под конец Юра совсем достал Тищенко, потому что при последнем разговоре Тищенко его просто послал, причем впервые за очень долгое время обротившись на «вы».

И все-таки когда Юра узнал о проигрыше дела в суде первой инстанции, Тищенко был первым человеком, к которому он бросился за помощью. Потому что больше бежать было не к кому.

— Знаю уже, — встретил его Тищенко. — Ну ты и придурок! Ну просто! Ты кого в суд послал? Я сейчас с председателем говорил — он рвет и мечет.

— Юриста фирмы. Он у меня все дела ведет.

— Юриста? Онаниста! Он двух слов связать не может. Ему задают вопрос по существу — он не отвечает. Или несет ахинею. Ему документы показывают — он их в первый раз видит. Ты обалдел, что ли? Подготовленное дело — и так загубить! Почему из полиции бумаги не представили?

— Он мне говорил, что не успевают.

— Что?! — И Тищенко тут же связался с налоговой полицией. — Слава! — с места в карьер обрушился он. — Я к тебе человека присылал... Помнишь?.. Где результат? Что?.. Давно?.. Это точно? Вот, — обратился он к Юре, потрясая в воздухе телефонной трубкой, — вчера утром все было готово. Что теперь скажешь?

Когда Тищенко отгрохотал и успокоился, Юра, не спуская с него виноватых и умоляющих глаз, спросил тихо:

— Что же теперь делать, Петр Иванович? Куда бежать?

Тищенко вышел из-за стола и сел рядом с Юрой.

— Понимаешь, друг, — с неожиданной теплотой и очень тихо сказал он, — по всем понятиям, мне бы с тобой, после таких дел, надо бы распрощаться. И никто бы мне слова плохого не сказал, и совесть была бы спокойна. Согласен со мной?

Юра кивнул. Необъяснимый прокол юриста с налоговой полицией поставил его в положение человека, который всех подвел и своими руками разрушил умело и профессионально подготовленную победу. Он, конечно же, мог продолжать напоминать Тищенко, что деда прислал он и что все беды начались именно из-за него, а не из-за кого-то другого, и что ни одного шага Юра, не посуетовавшись с Тищенко, не делал. Но это все было бы в пользу бедных. Тищенко провел титаническую работу, подключив и полицию, и руководство суда, и претензий к нему быть более не могло. А он все бездарно испортил сам, положившись на своих сотрудников. И рассчитывать на дальнейшую помощь от Тищенко уже не мог.

— Понимать же надо, — произнес Тищенко, внимательно глядя на Юру, — с кем имеешь дело. У тебя такой козырь был на руках. Знаешь, с чего он свою речь на суде начал? Дед, я имею в виду.

— Он еще и говорил?

— А как же! Битых полчаса. Моя молодость, говорит, была погублена войной с немецко-фашистскими захватчиками. А старость, говорит, отравлена

разорившей родную страну приватизацией. Вот тут-то бы бумаги из полиции и выложить на стол! Эх! Да что уж там...

И он махнул рукой.

— Дурака своего выгони, — приказал Тищенко после минуты раздумья. — Я тебе одну юридическую контору порекомендую. Договорчик подпишешь с ними, чтобы все было путем. Это люди, — он показал пальцем в потолок, — свои, короче, люди. Они с председателем городского суда договорятся. Да и я позвоню дополнительно.

Тищенко покопался в ящике стола и достал оттуда пухлый пакет.

— Они тебе три штуки объявят. Вот, возьми. Когда все закончится — разберемся.

Заметив же жест Кислицына, вытянул вперед не признающую возражений руководящую длань:

— Я же понимаю. Эту тварь я тебе устроил. Так что бери и помалкивай. И если что — сразу ко мне. Договорились?

И Юра снова почувствовал, как его переполняет чувство благодарности.

Разборку со своим юристом он провел уже после того, как нанял указанную Тищенко юридическую контору и собственными ушами услышал, как рекомендованный ему адвокат говорит с кем-то из горсуда по установленной в приемной вертушке. Убедившись, что разговор носит вполне товарищеский, а местами даже интимный характер, внес в кассу положенный гонорар и поехал к себе, кипя жаждой мести.

Гадюка-юрист отбивался, как лев, пытаясь свалить вину на кого угодно, но не желая признаваться в собственной халатности. Если верить ему, то решение суда было готово еще до того, как начались слушания сторон. И ни один из документов, которые он принес, требуя приобщить к делу, даже не был зачитан. И без прямого указания председателя суда такое беззаконие просто невозможно. И он предупреждал, что дед не так прост, и что Шварц в эту историю не с неба свалился, и что за дедом кто-то определенно стоит. А что касается налоговой полиции — то он просто не понимает, о чем речь. Он поехал в суд прямо оттуда, чуть даже не опоздал, и никаких бумаг, никакого постановления о возбуждении против деда уголовного дела и в помине не было. И ему об этом в коридоре сказал лично Сергеев, нервно оглаживаясь по сторонам. А еще Сергеев вроде бы дал понять, что ему велено было не слишком напрягаться.

Устав выслушивать сбивчивые объяснения юриста и уже приняв окончательное решение, Юра достал визитную карточку адвоката из новой конторы, набрал номер и включил громкую связь.

— У меня вопрос, — сказал он. — Очень короткий. Я вас просил немедленно связаться с налоговой полицией. Удалось? Вот вы мне скажите, документы по Пискунову у них были вчера готовы или нет?

— Были полностью готовы, — прошепестел из громкоговорителя адвокат. — Я знаю исходящий номер. Вам продиктовать?

— Нет, спасибо. Всего хорошего.

Нажав кнопку, Юра посмотрел на юриста ненавидящим взглядом и, стараясь не сорваться на крик, произнес тихо:

— Ты, гнида, сейчас напишешь заявление. По собственному. И чтобы я тебя больше не видел. И скажи спасибо, что я тебя не изуродовал тут же в кабинете. Пошел вон!

И потянулось время.

Несколько раз уволенный юрист звонил Юре с мрачными и зловещими предсказаниями, пытаясь передать очень важную информацию, но Юра отказывался с ним говорить. Потому что информация эта явно была высосана из пальца.

* * *

Даже спустя год Петр Иванович все еще вспоминал иногда эту историю, правда, все реже и реже. Но с неизменным удовольствием. На фондовый магазин его очень давно вывел шурин, имевший серьезные виды на это помещение и проигравший Кислицыну, который тогда здорово подсуетился. Просто в то время Тищенко еще не был в силе и особо помочь шурина не получилось. Да и заводиться из-за какой-то развалюхи тоже не хотелось. Но по мере того, как развалюха приобретала все более и более цивилизованный вид и вокруг нее начинал закручиваться серьезный бизнес, Петру Ивановичу становилось все обиднее. Ведь в руках держал, можно сказать, но не угадал перспективу, профукал и отдал чужому. Были первоначально кое-какие идеи, связанные с не совсем законным оформлением в собственность, но этот черт Кислицын, видать, относился к юридической стороне вопроса серьезно и выстраивал вокруг своего магазинчика одну баррикаду за другой.

Окончательно укрепил Петра Ивановича в намерении завладеть магазином канувший в неизвестность Халамайзер. Приглашенный Петром Ивановичем в наполовину принадлежащее Тищенко заведение «Прощание славянки», Халамайзер крепко подвыпил и протрепался, что подумывает дать Кислицыну скидку в тридцать пять процентов. А когда Тищенко, ошарашенный небывалой цифрой, поднял в недоумении брови, Халамайзер пояснил:

— Лучшее место в городе. Мои ребята посчитали — через этот магазин оборот идет раз в десять выше, чем через любой другой. И место удачное, и отделано солидно. Кислицын в него вложил около трехсот штук, это точно. А если его продавать сейчас, то можно взять не меньше лимона. И за полтора года эти деньги точно отобьются. Потом можно просто чистые бабки стричь. Классный бизнес. Сам бы взял, да у меня другие планы.

Планы Халамайзера были Петру Ивановичу совершенно понятны, но зароненное им семя пригрелось, набухло и выбросило первые ядовитые ростки.

Возможно, конечно, что Петр Иванович и не стал бы изобретать такой коварный и, прямо скажем, пакостный план, но, во-первых, ему было жалко отдавать миллион, а во-вторых — была еще одна проблемка, которую тоже надо было как-то решать. И чем больше он размышлял, тем соблазнительнее казалось ему склеить обе задачи вместе и решить одним махом.

У Петра Ивановича была любовница, та самая, которую секретарша Зина с ненавистью называла Коброй. Что-то змеиное в ней и вправду было, и явно проявлялось это в постели, так что Петр Иванович, отрываясь от бешено извивающегося под ним тела, был вынужден долго и тщательно маскировать мелкие следы укусов, чтобы не приходилось объясняться с законной супругой. Дошло даже до того, что пришлось завести дома пижаму, в которой он и спал, потяя и страдая. Но главное змеиное качество состояло в том, что Ниночка, обнаруживая в поле зрения интересующий ее предмет, как бы раздувала капюшон и начинала медленно покачивать точеной головкой, от чего вся живность в округе немедленно исчезала и дорога к цели оказывалась расчищенной.

И в некоторый момент Ниночка заявила, что дальнейшее ее проживание в хрущевской пятиэтажке считает бесперспективным. И даже просто неприличным. И опасным. Потому что, когда у подъезда, на глазах у всевидящих старушек по три-четыре часа маячит служебный автомобиль вице-префекта округа, ни к чему хорошему это не может привести. И она знает, что нужно делать. Она должна получить нормальную квартиру, в новом доме, который как раз сейчас строится. Тем более что и ты, Петенька, туда въезжаешь. Видеться сможем каждый день. И ни у кого не будет вопросов. Сделаешь? И она начинала мокрую извилистую дорожку по покрытой укусами и синяками груди своего героя.

Глядя на исчезающую где-то внизу копну пепельно-русых волос, Петр Иванович понимал отчетливо, что долго уклоняться от решения поставленной задачи ему не удастся: И прежде чем его влажно и тепло охватывала любовная истома, вышибающая из головы остатки здравого смысла, он в очередной раз давал себе слово, что завтра же займется... о-о-ох!

Время шло, Ниночка становилась все более настойчивой, амплитуда покачиваний точеной головки угрожающе уменьшилась, зеленые русалочки глаза сузились и усталились, не мигая, и вот тут-то и подспела встреча с Халамайзером.

А через несколько дней пришло озарение.

Самое главное было — не подставиться. И вовсе не потому, что коммерсанта надо бояться, хотя и это не следует сбрасывать со счетов. Нельзя подставляться, ибо кто-то должен все время быть рядом с жертвой, умело и ненавязчиво вести ее к неизбежному краху, отсекая ненужные внешние связи и заменяя их прочными клейкими нитями невидимой паутины. А кто сможет сделать это лучше, чем человек, сам придумавший хитроумную интригу и ежедневно дергающий за ниточки? Надо сделать коммерсанта своим другом, надо чтобы он молился на тебя. Чтобы поверил. И тогда останется всего лишь протянуть руку, и в нее послушно упадет созревший плод.

Кандидатура деда Пискунова пришла просто и естественно. Старик, гордо именовавший себя «ветераном органов», попался в свое время на примитивной взятке, был отмазан Тищенко от неизбежной кары, потом долго и тяжело болел и обязан был Петру Ивановичу по гроб жизни. За обещанную однокомнатную квартиру с обстановкой и десять штук в лапу готов был хоть к черту в зубы. А уж кинуть кого-то из ненавидимого всеми фибрами одряхлевшей партийной души коммерческого сословия — это и за бесплатно можно сделать с наслаждением. Поэтому и легенда о бывшем родстве с Тищенко была разработана лично стариком, а Тищенко впоследствии всего лишь одобрена, и был извлечен на белый свет маскарадный костюм огородного чучела, в котором дед рыхлил грядки на полученной за прошлые заслуги даче. Помидоры, впрочем, были настоящими. Их взращивало многочисленное дедовское семейство, проклинаящее свихнувшегося на натуральном хозяйстве старика, но не осмеливающееся взбунтоваться в открытую, потому что нрав у «ветерана органов» с возрастом отнюдь не смягчился и огреть непокорного граблями он вполне еще мог.

Дальше все уже пошло по накатанной дорожке. Коммерсант с удовольствием и радостным трепетом сунул голову в петлю, подписав с дедом пачку договоров и оформив на свою обреченную отныне фирму облюбованную Ниночкой квартиру. И магазин, за которым когда-то тщетно охотился тищенковский шурин, уже не принадлежал коммерсанту, хотя сам он об этом еще не догадывался.

Но самое главное, о чем Тищенко вспоминал с подлинной гордостью, — было то, что и операция вся обошлась ему лично практически бесплатно. Даже отданные Кислицыну двадцать тысяч, так способствовавшие установлению доверия и завязыванию настоящей мужской дружбы, этот дурак ему вернул. А обещанную деду квартиру оплатил своими бабками. Вот как надо делать бизнес!

Были, конечно, расходы. Были. Недешево обошелся Шварц со своими выкрутасами. Тищенко взял его из-за репутации ни перед чем не останавливающегося пройдохи, но при этом человека слова. И чуть не промахнулся, потому что в какой-то момент Шварц прибежал к нему и стал блеять про сильную юридическую позицию противника, явно намекая при этом, что нужно увеличить гонорар.

Очень уж не любил Петру Ивановичу платить лишних денег. Пришлось напеть Кислицыну правильную песенку, убрать с глаз долой его юриста, и

вправду слишком уж активничавшего, и подставить дураку контору, в которую тот же Шварц открывал дверь левой ногой. И три подаренные Кислицыну тысячи были гениальной находкой. Тем более что частично они ушли на гонорар выученному Шварцем новому адвокату. То есть самому же Шварцу. Что, при окончательном расчете, было учтено.

Надо было видеть, с каким лицом этот идиот брал у Тищенко три тысячи! Чуть не со слезами на глазах!

А потом начался совершеннейший цирк. Очень смешно было смотреть на Кислицына, когда налоговая полиция прислала в городской суд отписочку, указав, что в возбуждении уголовного дела отказано, потому что данная ситуация целиком подпадает под недавно вышедший указ об амнистии. Когда он сидел в кабинете у Тищенко и слушал, как тот орет в трубку на начальника полиции. И когда Шварц рассказывал Тищенко о последней встрече Кислицына с адвокатом, уже после проигрыша дела в городском суде и вступления решения в законную силу. Как адвокат сокрушенно разводил руками и валил все на прежнего юриста, рассказывая заговорщическим шепотом про его сволочный характер и всяческие козни в отместку за увольнение. А клиент сидел перед ним весь белый и никак не мог поверить в поражение.

Нельзя, однако же, считать, что Тищенко обошелся с Кислицыным совсем не по-людски. Устроил же он его в одну из своих фирм замом по общим вопросам. Штука в месяц, да служебный автомобиль, да секретарша... Нормально.

Но ничего не знал Петр Иванович Тищенко про математическую теорию катастроф. И не догадывался поэтому, что своими руками подвел благодетельствованного, потом втихомолку ограбленного и вновь благодетельствованного Юру Кислицына к той самой точке бифуркации, за которой ничего предсказать уже невозможно. И осталось Юре только чуток повернуть голову.

* * *

Поступив на службу и превратившись в результате из капиталиста в пролетария, Кислицын первые дни чувствовал себя совершенно оглушенным. В ушах стоял непрекращающийся звон, а перед глазами бежали серо-черные полосы, как при просмотре видеокассеты с уже закончившейся записью. Он приходил в темную, пропитанную сыростью каморку, выделенную ему в качестве рабочего кабинета, тяжело опускался в кресло, с ненавистью смотрел на белобрысую стерву из бухгалтерии, которая сидела напротив, шуршала бумажками и почему-то считалась его секретаршей, обхватывал голову руками и затахал. Работы не было. Фирма занималась уборкой мусора по заключенным с префектурой договорам, через нее прогонялись нешуточные деньги, часть которых в конвертах и пакетах перекочевывала в карманы Тищенко. Ни к мусору, ни к конвертам Кислицына не подпускали. Высокая должность зама по общим вопросам предполагала распределение бензина между мусоровозами, проведение регулярных инструктажей по правилам дорожного движения и технике безопасности да контроль за выходом машин на линию. Но всего этого можно было и не делать, потому что на успешное решение изначально поставленных перед фирмой задач исполнение или неисполнение правил техники безопасности никак не влияло и повлиять не могло.

Ровно в шесть вечера белобрысая стерва неприязненно взглядывала на шефа, просидевшего весь день без видимых признаков деловой активности, запирала свои бумажки в сейф, мазала губы помадой, собирала пакеты и сумки с купленной в обеденное время едой и удалялась, попрощавшись сквозь зубы. Юра выжидал минут пять, выбирался из-за стола, запирает дверь кабинета, сдавал охране ключи и выходил на улицу. Там он ждал, пока найдут и разбудят его водителя. Тот появлялся с неизменно опухшим и помятым от сна

лицом, заводил допотопную «Волгу», трогался и начинал бесконечный монолог о росте цен, необходимости повысить зарплату и о том, что все начальники своим водителям доплачивают. Видно было, что в Юрины возможности он не верит и потому презирает его, но все равно бормочет свое в силу укоренившейся привычки жаловаться на жизнь и упорного желания урвать халяву.

Первую рюмку Юра опрокидывал, еще не успев поставить чайник. Водка кратковременно обжигала горло, проливалась внутрь, расходилась теплом. Он выжидал минуту, наливал еще. Потом открывал банку с консервами и начинал жадно есть. Запив консервы чаем, наливал стакан, включал телевизор и устраивался на диване, тупо глядя на экран и время от времени отхлебывая. Когда водка заканчивалась, Юрой овладевало чувство жалости к себе, тоски по удавшейся когда-то, а теперь вконец пропавшей жизни. Он вытирал рукавом рубашки набегающие на глаза слезы и что-то бормотал, завершая вечер бессвязными обрывками фраз, клятвами когда-нибудь подняться и вернуться к жизни и проклятиями в адрес погубившего его деда Пискунова и предателя юриста.

Видать, водитель, с интересом наблюдавший за регулярностью приобретения Юрой все возрастающего количества спиртного, донес начальству или просто протрепался среди своих, а потом уж пошло выше, но директор мусорной конторы выловил Юру однажды утром и сказал, глядя в сторону:

— Квасить кончай. Выгоню на хер. Мне тут не надо, чтоб болтали.

И Юра понял, что угроза будет приведена в исполнение. Потому что он — пустое место и никому не нужен.

Но отказаться от завладевшей им привычки он уже не мог. Поэтому вечерами он заходил в подъезд, воровато выглядывая в стекло, ждал, пока машина водителя исчезнет за углом, выходил обратно и бежал к ларьку. Когда же наступила весна и на улице потеплело, он стал подолгу задерживаться у столов с зонтиками. Там пили пиво «Афанасий», непонятого происхождения водку «Аслан», закусывали длинными сосисками, обильно политыми кетчупом, ругали власть и орали песни, подпевая включенному на полную громкость магнитофону.

— Мы этот «Агдам», — выкрикивал Юра, обнимая за плечи соседа по столу и отбивая такт, — выпьем за дам...

Просьпаясь по утрам под гром будильника, он все чаще не мог вспомнить, как добрался домой и чем закончился вечер. А однажды не смог найти левый ботинок и обнаружил его случайно — на лестничной клетке, рядом с дверью в квартиру.

Сон пьющего человека крепок, но короток. И как-то в выходной, в неурочные шесть утра, Юра разлепил глаза и увидел сперва на полу рядом с кроватью пузырьки, надорванные упаковки от лекарств и захватанный стакан воды, а потом перед ним возник призрак из далекого прошлого, голый по пояс и с открытой бутылкой пива в руке.

Только наждачная сухость в горле и раскалывающая голову боль помешали Юре запустить в ненавистного юриста стаканом. Оказалось, что вечером тот поджидал его у подъезда и дождался, но Юра его, похоже, не узнал, потому что долго обнимал, называл почему-то Колей, долго плакал и пригласил на чашку чая. Дома Юре стало плохо, и напугавшийся юрист даже хотел вызвать «Скорую». Потом удалось обойтись валокордином и другими лекарствами, однако оставить человека в таком состоянии юрист не мог и заночевал. А сейчас, когда Юрий Тимофеевич допьет пиво, примет душ и выйдет на кухню, где его ждет завтрак, надо будет серьезно поговорить. Есть интересная информация. Если бы не это, юрист в жизни бы не пришел. Идите, Юрий Тимофеевич, приведите себя в порядок. И побеседуем.

— Мне, по большому счету, все равно, — говорил юрист, теребя тесемки от принесенной с собой папки с бумагами. — Я просто подумал, что вам, Юрий

Тимофеевич, будет любопытно узнать... Чтобы все окончательно расставить по местам. Чтобы знали, кто да почему...

И где-то около девяти Петру Ивановичу Тищенко, нежившемуся в объятиях сладкого утреннего сна, померещился странный звук. Станный и очень неприятный. Будто бы где-то рядом неведомая птица издавала что-то среднее между голубиным воркованием и вороньим карканьем. Звук был настолько гадким, что он натянул на голову одеяло. Но это не помогло. Звук не прекращался и даже не стал тише. И уже окончательно пробудившись, Петр Иванович почему-то подумал даже, что слышится ему вовсе не птица, а чей-то невеселый и несущий непонятную угрозу смех.

В понедельник мусорная контора не узнала осточертевшего всем алкаша-зама. В сырую конуру легким шагом влетел подтянутый и благоухающий одеколоном бизнесмен, вызвал хозяйственников и не допускающим возражений голосом начал диктовать. Вымыть окна. Заменить шторы. Привести в порядок мебель. Срочно сделать перегородку. Секретарша не может сидеть в одном помещении с начальником. На все про все — сутки. Чтобы завтра все блестело. А сейчас я уезжаю. На переговоры.

Водителю Володе, привыкшему целыми днями давить ухо, в этот день пришлось туго. Хозяин, знавший, судя по всему, Москву не хуже любого таксиста, адресов не называл, а только командовал с заднего сиденья:

— Сейчас прямо... На светофоре налево... Под стрелочку... Здесь останови. Я пройду.

Даже накатав около сотни километров, Володя так и не смог бы сказать, куда носило в этот день его начальника. Тот выходил из машины, шел пешком, потом исчезал в толпе, через некоторое время появлялся с противоположной стороны и приказывал:

— Разворачивайся. Едем на Якиманку. Там подождешь.

Единожды только Володя опознал пункт назначения. Он подвез шефа к префектуре, куда тот и зашел быстрым шагом. Что Кислицын делал внутри, Володя, конечно же, не знал.

— Вы к кому? — спросил охранник в форме.

— В приемную Петра Ивановича, — ответил Юра. — Забрать бумаги.

— Документики предъявите, — потребовал охранник.

Изучив удостоверение мусорной конторы, кивнул в сторону:

— Пройдите здесь.

Раму-металлодетектор установили в префектуре недавно, и раньше Юра ее не видел. Он послушно прошел, повернувшись боком. Что-то загудело, и на пульте рядом с охранником загорелась красная лампочка.

— Подойдите сюда, — приказал страж. — Что металлическое есть?

Юра покорно полез в карман пиджака и вытащил вороненый браунинг. Охранник отпрянул и лапнул рукой кобуру.

— Да вы посмотрите внимательно, — рассмеялся Юра. — Это же зажигалка.

Охранник недоверчиво покрутил браунинг в руках, направил на всякий случай в сторону и нажал на курок. Из дула вырвался и загнулся вверх язычок синевато-желтого пламени.

— Вы с этой штукой поаккуратнее, — посоветовал охранник, кладя зажигалку перед собой на стол. — На улице не очень-то доставайте. Имитация боевого оружия. Заберете на обратном пути.

Юра улыбнулся охраннику и побежал вверх по лестнице. Добежав до второго этажа, повел себя странно. Вместо того, чтобы зайти в приемную Тищенко, повернул почему-то налево, быстро дошел до мужского туалета, заперся в кабинке и не спеша, одну за другой, выкурил две сигареты, потом вымыл руки, вытер их салфеткой, причесался перед зеркалом и двинулся к выходу.

Внизу еще раз улыбнулся охраннику, тот лениво махнул ему, протянул зажигалку. Юра сел в машину и скомандовал:

— Едем дальше. Сейчас направо.

Володя послушно жал на газ, крутил баранку и с ненавистью думал о том, что вечерний футбол, похоже, накрывается. Так оно и произошло, потому что в восемь вечера, когда рабочий день уже давно закончился, он еще торчал у конторы, куда столь неожиданно пробудившийся к жизни начальник приехал, чтобы лично проконтролировать ход работ по реконструкции кабинета.

Работы шли полным ходом, однако спервоначалу директор, проинформированный о внезапной активности своего зама, недоуменно поднял бровь. Черт его знает, что творится. Но все-таки человек пришел от Тищенко. И хотя тот строго-настрого приказал к делам его не допускать, просто так от Тищенко не приходят. Ладно. Пусть делают. Про себя он решил, что завтра объяснит — в конторе есть директор. И все надо согласовывать. Но когда вызванный им Кислицын перешагнул порог директорского кабинета, запланированное с вечера внушение странным образом отложилось на неопределенное время.

— У нас проблема, — с ходу заявил преображенный зам. — Кто-то в конторе сливает информацию про объемы выполненных работ. Сейчас решается вопрос о передаче материалов в прокуратуру. Хотите посмотреть?

— Откуда это у вас? — спросил директор, неверящими глазами изучая ксерокопию справки.

Юра повел плечами и, не дожидаясь приглашения, сел в кресло напротив.

— Петра Ивановича проинформировали?

— Зачем? Я это и сам могу остановить. Дело-то в другом.

— В чем?

— Во-первых, утечка информации. — Юра загнул палец. — Сегодня в УЭП капнули, завтра еще куда-нибудь. Тут надо серьезно разбираться. А во-вторых, — он загнул второй палец, — вы уж сами должны определить, надо Петру Ивановичу про это знать или нет. Я ведь не в курсе ваших отношений.

Директор по достоинству оценил намек. То, что официальные данные об объемах выполненных мусороперевозок ни в какой степени не соответствовали истинному положению вещей, было понятно даже ему. Поэтому существовала вторая бухгалтерия, по которой осуществлялись расчеты с Тищенко. Но о том, что и эта вторая бухгалтерия была далека от реальности, знал только сам директор. И если бы справка оказалась у Тищенко на столе, то кара была бы неминуемой.

— Здесь данные неточные, — на всякий случай сказал он.

Юра промолчал и прикрыл глаза, демонстрируя полное равнодушие. Дескать, вам виднее. Мое дело — предупредить.

— Так, — сказал директор, прерывая затянувшуюся паузу и стараясь скрыть предательскую дрожь в голосе. — Ваши предложения?

— Я этот вопрос закрою. Раз и навсегда. А стукача ищите. Сами ищите. Тут я вам не помощник. И еще. Замените мне машину, на этом тракторе ездить невозможно. Потом. Меня не устраивает секретарша. Крысу эту пересадите обратно в бухгалтерию, у меня есть своя кандидатура. А дальше видно будет. По мере развития событий.

Следующее потрясение директор пережил, когда увидел приведенную замом секретаршу. Можно было ожидать, что зам приведет Бабу Ягу. Или Мерилин Монро. Или Царевну-Лягушку. Но оформить секретарем здорового бугая — с малиновой рожей и бицепсами тяжеловеса — это уж слишком! На нем воду возить, а он сидит на телефоне и мурлычет в трубку:

— Юрий Тимофеевич на совещании. Обязательно перезвонит. Обязательно.

— Он у тебя с голоду на двухстах долларах не сдохнет? — не удержался как-то директор.

— Что вы, — печально ответил ему Кислицын. — Это у него внешность такая. Из-за обмена веществ. Исключительно на вегетарианской диете сидит. Инвалид детства.

Но инвалид оказался человеком веселым и на редкость компанейским. Запросил в кадрах списки дней рождения всех сотрудников и лично впрягся в создание атмосферы праздника. При наступлении очередного красного дня ровно в восемнадцать появлялся на пороге соответствующей комнаты с побрякивающим пакетом, скромным букетиком цветов и завернутым в оберточную бумагу параллелепипедом.

— С днем варенья! — провозглашал он. — Книга — лучший подарок!

Как там инвалид обходился с вегетарианской диетой вне стен конторы, никому было не ведомо. А в стенах жрал что придется, только за ушами хрустело, да водку вливал в себя стаканами, произнося тост за тостом, зорко следя, чтобы никто не отставал, не пьянея, а лишь меняя окраску от малиновой до темно-коричневой с отдачей в синеву.

На первый день рождения директор внимания не обратил. Просто не заметил. Зато следующий, после которого сразу два водителя мусоровозов не смогли выйти на работу, вызвал у него серьезное раздражение. Но только он собрался вызвать зама и настрого приказать ему, чтобы тот приструнил свою... тьфу! мать вашу!.. своего секретаря, как зам без вызова возник у него в кабинете, плюхнулся, не дожидаясь приглашения, в кресло и заявил:

— Я вам месяц назад сказал, что кто-то сливает информацию. Ну так что? Будем ждать или как?

И не успел директор начальственно наморщиться, как Кислицын бросил ему на стол бумажку с напечатанной фамилией.

Оказалось, что в ходе вчерашнего мероприятия, того самого, которое вывело из строя лучшую часть водительского корпуса, зашел обычный пьяный треп о личной жизни. И в ходе этого трепа выяснилось, что диспетчерша, выпускающая машины на линию, разошлась со своим мужиком аж полгода назад. Но баба она — в самом соку и нашла себе хахалю. Хяхаль этот ходит к ней дважды в неделю как на работу. А на службе он числится в налоговой полиции, прикомандированным к местной инспекции. Это уж Кислицын самолично установил. И можно себе представить, как вышеупомянутый хахаль ржет, когда сравнивает данные инспекции о списанном бензине и отработанных человеко-часах с тем, что ему рассказывает диспетчерша о реальных выходах машин. А если еще припомнить, что с полгодика назад диспетчершу лишили прогрессивки, то удивляться вообще нечему.

— Я своему Феде сказал, — сообщил Кислицын, пока директор переваривал полученные сведения, — чтобы он не очень-то... гусарил тут. Хотя если бы не он, мы бы ее еще черт знает сколько вычисляли.

— Это он тебе рассказал? — спросил директор недоверчиво.

— Он, — кивнул Кислицын. — Домой ко мне заявился. Верный человек, я его много лет знаю. У него на старой работе такая же штука была. Так что на стукачей он стойку сразу, как собака, делает. Хороший нюх. Пообщается с человеком, рюмочку-другую выпьет — и насквозь видит.

— Так, может, ты зря его это... — сказал директор, — может, пусть себе...

— Это уж как вы прикажете, Лев Алексеевич, — развел Кислицын руками. — В принципе, ничего плохого нет. И коллектив спланивается. Лишь бы без последствий. Без невыходов.

— Пожалуй, — принял директор решение. — Пусть его. Только ты давай... знаешь что... без этих... без частного сыска. Если что, пусть сразу ко мне. Вместе с тобой, конечно.

Так началась новая интересная жизнь. От добываемой Федей информации о побочных заработках сотрудников, их личной жизни и от высказываемых откровенных суждений о способностях и иных качествах руководства

директор ошалел настолько, что вошел во вкус и строго приказал Феде впредь отмечать не только дни рождения, но и другие, не столь памятные даты. День автомобилестроения, например. Или день работников коммунального хозяйства. Он даже дошел до того, что перед очередным сабантуем надиктовывал Феде основные темы, представлявшие для него интерес в данный момент времени.

Естественно, что во всех беседах директора с Федей Кислицын принимал самое горячее участие. Он же и посоветовал директору создать специальный фонд.

— Сколько он их всех может за свои поить? — сказал Кислицын. — Опять же подарки к дням рождения. Деньги копеечные, а все-таки... на нас же работает.

Директор хотел было сказать что-то про бухгалтерию и финансовую дисциплину, но вовремя вспомнил, что справочку из УЭПа зам держал в руках, и кивнул.

— Выделю. Хорош собака! Ему бы в инквизиции работать... Дотошный! О том, откуда Федя взялся, Юра, конечно же, рассказывать не стал.

И потекло неспешно время. Федя стучал на собутыльников, директор делал выводы и проводил одну реорганизацию за другой, проникаясь к заму все большим и большим уважением. Настолько, что даже допустил его кое к каким делам, проигнорировав рекомендацию непосредственного начальника. И не пожалел, потому что первое же Юрино прикосновение к мусорному бизнесу немедленно принесло три тысячи неучтенки. Зелеными. Поэтому, когда Петр Иванович Тищенко посетил контору, Лев Алексеевич вызвал зама в кабинет и сказал:

— Вот, Петр Иванович. Спасибо вам за Кислицына. Честно скажу — просто не нарадуюсь.

Тищенко скосил на Кислицына глаз. Не виделись они довольно давно. Не то чтобы Тищенко не помнил, как и почему они познакомились, а главное — что из этого вышло, но воспоминания эти потонули в пучине подсознания. Поэтому слова Льва Алексеевича вызвали у него всего лишь чувство глубокого удовлетворения от правильности принятого когда-то кадрового решения.

Он покровительственно протянул Кислицыну начальственную длань:

— Молодец. Я знал, что справишься. Ты как вообще?

— Спасибо, Петр Иванович, — ответил Юра. — Все хорошо. Спасибо вам за все. Не знаю, смогу ли когда-нибудь отблагодарить...

Голос его на последних словах предательски дрогнул, и Тищенко удивленно вскинул глаза. Что-то странное померещилось ему в лице благодарящего, и легким шорохом прозвучало в ушах услышанное когда-то не то воркование голубиной парочки, не то противное карканье. Померещилось и исчезло без следа. Осталась лишь искренняя и чуть застенчивая улыбка знающего свое место человека.

Эта же улыбка, будто прилипнув, сохранялась на Юрином лице, когда поздним вечером того же дня он выслушивал Федин доклад.

— Личная охрана, — рассказывал Федя, — ездит за ним на джипе. И еще один человек сидит в «Мерседесе». И у водителей оружие. Всего получается пять человек. Без них он — ни шагу. Если он в префектуре, то два охранника неотлучно дежурят в приемной. Так... Про дом вы просили... Вот они подъезжают. Доводят до подъезда втроем. Один все время рядом. Двое проверяют этажи, потом рапортуют, и он идет в квартиру. Если собирается потом выходить, они остаются и тем же манером его выводят на улицу — один рядом, двое проверяют маршрут следования. Плюс охрана подъезда. Два человека из охранного агентства. Так же и на даче. Примерно.

— А если он остается дома, они уезжают?

— Уезжают. Но я же сказал, там в подъезде охрана. Видеокамеры. Со всех девяти этажей идет сигнал. К примеру, я говорю, что пошел на четвертый этаж, а сам поднимаюсь на шестой. Через тридцать секунд там уже люди будут.

— Понятно. Что еще?

— На улицу он не выходит. Пройтись или еще что — никогда. А зачем? Еду привозят. Сауна, бассейн и все такое — прямо в доме. А если в гости или, к примеру, в театр, то только с охраной.

— Ладно, — сказал Юра, подумав немного. — Я примерно так и представлял себе все это. На этом закончим. Ты можешь спокойно заниматься здесь нашими делами. Может, я тебя еще об одной вещи попрошу... Но это потом.

А через пару дней после этого разговора Юра сидел вечером с Львом Алексеевичем и говорил о самых разных и пустяковых вещах. О том, о сем. И незаметно выплыла тема приближающегося юбилея Петра Ивановича. Полувекового юбилея.

— Не знаю, честно говоря, что и подарить, — признался Лев Алексеевич. — Совершенно ничего в голову не лезет. Котов из контрольно-ревизионного управления подсуетился — видеокамеру дарит. А я замучился просто. Что можно подарить человеку, у которого все есть?

— Ха! — ответил Юра. — Тоже мне проблема! Даже если у кого-то все есть, подарок в наше время совершенно не проблема. Тем более если речь идет о мужике.

— У тебя есть идея?

Не то Юра и вправду задумался всерьез, не то просто сделал вид, но лоб его пересекли морщины, он замолчал, а потом сказал:

— Есть же специальные штуки, только для мужиков. Ключки для гольфа. Коня можно подарить, настоящего...

— А где он его держать будет?

Юра пожал плечами.

— На даче. Специального человека наймет. Я откуда знаю? Это к примеру. Снегоход можно подарить.

— Есть уже.

— Или вот! — в глазах у Юры появились и тут же пропали искорки. — Ружье можно купить. Это настоящая вещь. И главное дело — никогда лишним не будет. Даже если у него уже есть целый арсенал.

— Послушай! — Лев Алексеевич выпрямился, и в глазах у него промелькнул неподдельный интерес. — А ведь это мысль! У него оружия никакого нет. Я слышал: недавно его эти, из мэрии, приглашали в Завидово, а он говорил, что никогда не занимался охотой. А это можно сделать?

— Без проблем! Сейчас же охотничьих магазинов — сколько угодно. И там все, что хочешь, купить можно. Хоть гаубицу. Хоть армейский карабин. Надо только так сделать, чтобы он раньше времени не догадался.

— То есть?

— Придется же разрешение оформлять, — пояснил Юра. — В милицию ходить. Иначе не продадут. И не регистрируют. Если мы ему оружие без документов подарим, нам спасибо никто не скажет. Это все равно будет как подарить краденую машину. Только хуже.

Лев Алексеевич выгудил из-под стола початую бутылку коньяка, разлил по рюмкам. Видно было, что идея начала ему нравиться.

— Ну и что ты предлагаешь?

Юра пригубил коньяк и сказал:

— У вас с его охраной отношения нормальные? У них же наверняка в милиции все схвачено. Надо с ними поговорить. Пусть займутся оформлением. Так, чтобы он ничего не знал. Когда бумаги будут готовы, пойдем с ними вместе в магазин, выберем ствол. Зарегистрировать он его и сам сможет. Там неделю — или около того — дадут на регистрацию. Так что, ежели дня за три

до дня рождения купим, вполне успеет. И пусть спрячут где-нибудь у него в приемной. Приедем поздравлять, они его нам дадут, а мы вручим. Иначе через проходную незаметно не внести.

Нельзя сказать, что слова эти так уж понравились Льву Алексеевичу. Так повелось, что поздравлять начальство всегда ездили только первые лица. И хотя за последние месяцы он оценил зама по достоинству, что-то мешало ему сломать традицию и взять его с собой к Тищенко. Тем более что подарки полагается дарить от себя, а не от коллектива. Даже если коллектив этот состоит всего из двух человек. Но Юра, уловив, по-видимому, ход мыслей руководителя, пояснил:

— Я ведь с Петром Ивановичем немного знаком. Другое дело, что самому мне идти его поздравлять неловко. Кто он и кто я... А вот если вместе... Опять же, у меня свой подарочек будет. Из той же области.

— Какой?

— Зачем человеку ружье без снаряжения? Я ему патроны подарю. Та же самая охрана и купит. И нормально получится — от вас ружье, от меня патроны.

Положительно повезло Льву Алексеевичу с замом. Мало того, что ему приходят в голову исключительно удачные мысли. Взять хотя бы налаженную систему информирования об умонастроениях в конторе. Или эту идею с подарком. Так он еще определенно знает свое место. Не лезет куда не надо.

О том, что Юра только что решил известную исключительно ему и казавшуюся неразрешимой проблему, Лев Алексеевич, конечно же, не догадался. Как и о том, в чем эта проблема заключалась.

Ружье ездили выбирать вместе, взяв с собой одного из охранников Тищенко. Решили брать «Сайгу».

— Нужен двенадцатый калибр, — сказал Юра. — Слона из него не свалишь, но кабана — спокойно. Для начинающего — самое лучшее.

Потом он задержался ненадолго у прилавка с патронами, поманил охранника рукой.

— Берем картечь, — посоветовал Юра. — На кабана, так на кабана. И магазинов — штук пять. Чтобы запас был. Это опытному охотнику одного снаряженного магазина достаточно. А начинающему — чем больше, тем лучше. А то, если промажет, может не успеть снарядить.

— Много приходилось охотиться? — спросил охранник, уважительно отнесясь к Юриным словам.

— Всякое бывало, — туманно ответил Юра.

Когда они сели в машину, он вскрыл коробку с патронами и стал ловко снаряжать только что купленные магазины. Закончив с пятым — последним, протянул их охраннику.

— В приемной спрячете, — приказал он. — Вместе с ружьем. Мы послезавтра приедем поздравлять, заберем.

Последний вечер перед днем рождения Петра Ивановича Тищенко Юра Кислицын провел у себя дома, незатейливо и спокойно. Он разбирал бумаги, перед ним, на столе, стояла ополовиненная бутылка водки, а напротив сидел секретарь Федя.

— Смотри, — говорил Юра, — здесь документы на квартиру, возьмишь с собой и передашь жене. Только не сразу, а когда суматоха утихнет. Лучше всего будет, если не сам станешь передавать, а перешлешь или попросишь кого-нибудь из своих. Вот это отдашь моему юристу. Он знает, что делать. Это я оставляю тебе. Как договаривались, и еще немного. Письма и все такое я сжигаю. Вот примерно так. Да! Завтра с утра выйдешь на работу, я подпишу твоё заявление — и в обед уходи. Все вроде бы...

— Вы окончательно решили, Юрий Тимофеевич? — осторожно спросил Федя.

— У меня, Федя, другого выхода нет, — ответил Кислицын. — Мне по-другому к нему не подобраться. Единственный вариант. Ружье у него в приемной, магазины снаряжены, и никто ничего не ожидает.

Видно было, что Федя о чем-то сосредоточенно размышляет, хочет сказать, но воздерживается.

— Вы же понимаете, — пробормотал он наконец, — вы понимаете... Не стоит эта сволочь...

Юра встал и сладко потянулся.

— Сволочь, может, и не стоит, — ответил он. — Это я столько стою. А то и больше. И никогда никто, если хочет человеком называться, такого не простит. Так что вот... Давай прощаться, майор. Спасибо тебе за все.

Они пожали друг другу руки. Потом Юра, постояв секунду, обнял Федю и спросил весело:

— Ну! Ты вначале думал, что я тебя в такое втраплю? А? Скажи честно. Наверняка ведь нет?

— Я когда сообразил, к чему вы клоните, — сказал Федя, — сразу хотел слинять. Ей-богу. А потом, когда вы рассказали... В общем, давить таких, конечно, надо. Только я бы не так сделал.

— Знаешь, что я тебе скажу, майор... Тут ведь рассуждение простое. Вот живет человек. Хорошо ли, плохо ли, но построил свою жизнь, планирует понемножку, так далее. И вдруг приходит кто-то и, как пешку, всю эту выстроенную жизнь одним пальцем сбрасывает в мусор. И не потому, что ему что-то помешало. А всего лишь потому, что ему все мало и еще захотелось... А на человека ему плевать... Вот таких гадов надо давить. И давить их надо собственными руками. Не по судам шлаться. И не бандитов нанимать. А просто прийти и удавить. И не втихаря, ночью, чтобы никто не узнал. А прилюдно, чтобы другие такие же, прежде чем начинать пакостничать, знали раз и навсегда, что их будут уничтожать нещадно. Что на десятерых, которые смолчат и утрутся, найдется хотя бы один, кто не простит и не забудет. И главное здесь — что ничем не остановить и не испугать. И не защититься от этого ничем. Ни днем, ни ночью, ни с охраной, ни с оружием. За любой стеной, где угодно — найдут и рассчитаются. Как раньше, когда за это платили шпагой, к примеру, в горло или пулей в живот. Так и сейчас. Пусть знают.

У Юры на губах выступила белая пена, он задышался и все сильнее сжимал плечо секретаря Феди, именуемого также майором. Тот с трудом высвободился.

— А не страшно? — спросил он шепотом. — Вы же понимаете... Вам оттуда не выйти...

— А чего мне пугаться? Что терять? Куда идти? На службу, в эту помойную яму? Придурку-директору задницу лизать? Или начинать все сначала? Нет, братец! Это время ушло. С парой тысяч зеленых да с умными идеями бизнес нынче не сделать. Поделили все. Хоть так, хоть эдак — надо будет в услужение идти. А я для этого уже не приспособлен. Да и репутация, спасибо благодетелю Петру Ивановичу, вся в лохмотьях. У нас неудачников не шибко жалуют. Сам знаешь. Стал бы ты со мной вязаться, если бы сам не был в отставке. Разве не так? Или у тебя еще вся жизнь впереди? А?

Майор Федя вроде как бы обиделся.

— Бросьте, Юрий Тимофеевич. Вы же знаете. С моим происхождением отставок не бывает. Может, я сегодня и не нужен. Так завтра понадобится. Я с вами работать начал потому... потому что вы мне показали, что ли, с самого начала. Конечно, когда разобрался, что к чему, была такая мысль, честно скажу... Хотел отойти. Потом передумал. Вас вот только жалко. Ей-богу.

— А ты не жалея, — спокойно сказал Юра. — Вот если бы я стерпел все и остался небо копытить, тогда мог бы и жалость принять. Жалость, она ведь для убогих хороша. Которые сами уже ничего не могут. А те, кто хоть раз в

жизни нормально на ногах постоял, в жалости не очень-то нуждаются. Понял, майор? Ну давай еще раз попросаемся. Иди. У меня еще дел много.

Но никаких дел у Юры Кислицына в эту ночь не было. Сразу же после ухода майора Феда он убрал со стола, вымыл и тщательно вытер посуду, выкурил две сигареты, глядя в черное окно, потом лег и практически мгновенно уснул. Во сне он улыбался, и если бы кто мог его увидеть, то определенно решил бы, что перед ним счастливый и спокойный человек, видящий во сне смеющихся детей, зеленые деревья и только что отпустивший волну мокрый песчаный берег.

На следующий день Юрий Тимофеевич завизировал заявление по собственному желанию, написанное его секретарем, подписал его у Льва Алексеевича, посетовав на непосильную нагрузку последних месяцев, которая окончательно подорвала здоровье инвалида, узнал, что поздравлять Тищенко они стартуют в пятнадцать тридцать, и отъехал куда-то с водителем Володей. Вернулся он в контору со свертками, заперся в кабинете и переоделся в новый, только что купленный черный костюм. Костюм был на два номера больше, и брюки пришлось ушивать прихваченной из дома иголкой с ниткой, но зато бронежилет под пиджаком заметить было никак невозможно.

Ровно в пятнадцать тридцать его новенькая «Волга» пристроилась в хвост «Вольво» Льва Алексеевича и понеслась к префектуре. Юра сидел на заднем сиденье и держал в руках ворох пунцовых роз на длинных стеблях. На красных завернутых лепестках сверкали капельки воды.

«Кровь — не водица», — вспомнил Юра. И прогнал ненужную мысль.

В вестибюле префектуры их встретил охранник, сперва прогнал через раму Льва Алексеевича, который перехватил у Юры букет, а потом проверил и самого Юру.

— Куда зажигалку-то дел? — спросил страж, когда Юра беспрепятственно миновал раму.

Юра весело махнул рукой.

— Выкинул к черту. Решил бросить курить. Вот и выкинул, чтобы не напоминала.

— Давно бросил? — поинтересовался охранник, скосив глаз на стоящую перед ним пепельницу.

— Полчаса назад, — серьезно ответил Юра.

— Ага! — сказал охранник. — Интересно, на сколько тебя хватит.

— Да как сказать, — протянул Юра задумчиво. — Думаю, что теперь уж навсегда.

— Не зарекайся! — крикнул охранник вдогонку, когда Лев Алексеевич и Юра спешили вверх по покрытой ковром лестнице.

Личная охрана Тищенко стояла в приемной и сортировала проходящих. Время от времени один из телохранителей забирал у Зины список с именами вновь прибывших, исчезал за дверью кабинета, потом появлялся, клал перед Зиной бумажку, и она командовала:

— Товарищи из налоговой могут заходить. И архитектурный надзор тоже.

Товарищи хватали временно сложные в угол букеты, выдвигали вперед пакеты и коробочки. Втягивали животы и всасывались в кабинет. Выходить в эту дверь никто не выходил, потому что в комнате отдыха, где юбиляр принимал подношения, была еще одна дверь, и у нее тоже дежурил охранник, выпускающий гостей.

Увидев Кислицына, Зиночка улыбнулась и помахала ему рукой:

— Здравствуйте, Юрий Тимофеевич! Давно не заходили.

Это была чистая правда, потому что с момента поступления в мусорную контору все отношения с Зиной Юра порвал.

Он тоже улыбнулся, подошел к Зине и выудил из внутреннего кармана необъятного пиджака сверток.

— Это, Зиночка, вам. Рад видеть.

Он нагнулся к ее уху.

— Зинуля, у нас с начальником, — он кивнул в сторону мусорного директора, — к тебе просьба большая. Когда будешь нас запускать, сделай так, чтобы мы зашли только вдвоем. Мы, кроме подарка, еще одну штуку должны Петру Ивановичу передать. Лучше, чтобы посторонних не было. Поняла?

Зина посмотрела на Юру и кивнула понимающе. Она была приучена к тому, что часто у разных людей возникает потребность побеседовать с ее шефом без лишних глаз.

В это время Лев Алексеевич уже принял у дежурящего в приемной телохранителя длинный кожаный чемоданчик с ружьем и пакет с магазинами. Протянул пакет Юре.

— Твой подарок.

Юра взял пакет, устроился на диване, с которого только что вскочила очередная группа поздравляющих, и стал ждать вызова.

Ждать пришлось не так чтобы очень долго. Минут тридцать.

Тищенко был уже заметно навеселе и с двумя ярко-красными полосками помады на левой щеке. На столе рядом с блюдом с фруктами и большими подносами с бутербродами красовалось около десятка опорожненных и початых бутылок. На подоконнике, подпирающем снизу заложенную кирпичом и заштукатуренную оконную нишу, стояли рюмки, стопки и фужеры со следами разнообразных напитков. Почти половину комнаты отдыха занимали уже принятые подношения.

Лев Алексеевич аккуратно положил чемоданчик на стол, вручил Тищенко букет и взял протянутую ему рюмку водки.

— Что же можно сказать, — проникновенным голосом произнес он. — Вот прошел еще один год. И наступил юбилей. Как раз год назад в это время мы вот так же сидели... Говорили... Я что хочу сказать. Я помню, Петр Иванович, как вы со мной когда-то беседу проводили. Время тогда сложное было. И если бы не вы, Петр Иванович, мне бы тогда была, прямо скажем, хана. Но вы мне тогда, Петр Иванович, сказали замечательные слова. Помните? Я тебе поверю, вы тогда сказали, и вытащу тебя, но ты, рвань рублевая, — помните, Петр Иванович, — мне за это отслужишь. И вот я тогда вам сказал, что отслужу, и служу по сю пору, и буду служить верой, Петр Иванович, и правдой. И я за вас, Петр Иванович, хочу выпить как за настоящего мужика.

Он преданно посмотрел в хмельные глаза Тищенко, перевел взгляд на Юру, и строго провозгласил:

— За мужика!

— А теперь, — сказал Лев Алексеевич, лихо опрокинув свою рюмку и кладя ладонь поверх черного чемоданчика, — подарок. Сюрприз, так сказать.

— Ух ты, — радостно удивился Тищенко, щелкнув замками и увидев в бархатной нише внутри черное металлическое чудище со складным прикладом. — Это что ж такое?

Лев Алексеевич ткнул Юру в бок, тот вышел вперед и стал объяснять. Он кратко обрисовал стрелковые особенности «Сайги», показал, как регулируется оптический прицел, дважды с лязгом откинул и снова сложил приклад, после чего взял свой скромный пакетик и выложил перед потрясенным Тищенко вторую часть подарка.

— А это, Петр Иванович, — объяснил Юра, — уже снаряженные магазины. Меньше двух снаряженных магазинов ни один охотник с собой никогда не имеет. Потому что для снаряжения нужно время, а его часто не оказывается. Особенно если идешь на кабана...

— На кабана?

— Да. Или еще на кого-нибудь, кто может представлять опасность для жизни, если не убить с первого же выстрела. А теперь, смотрите, Петр Ивано-

вич. Вот так вставляется магазин. Вот это затвор. Его надо передернуть, чтобы патрон пошел в ствол. — Юра с оглушительным лязгом грохнул затвором. — Затвор нельзя придерживать, надо отпускать. Иначе наверняка будет перекос патрона. Вот и все. Карабин готов.

— Здорово, — искренне сказал вроде бы даже протрезвевший от такого подарка Тищенко. — Ну-ка дай я сам попробую.

И вот тут произошло то, чего ни Лев Алексеевич, ни его шеф и наставник никак уж не могли ожидать. Кислицын, вместо того чтобы послушно отдать ружье его законному владельцу, сделал шаг назад, вскинул карабин и нажал курок. Раздался грохот, комнату отдыха затянуло дымом, выброшенная гильза опрокинула стоящую на столе рюмку. Телевизор «Сони», подаренный кем-то из предыдущих гостей, превратился в жалкую кучку из осколков стекла и пластмассы.

— Смотри, — сказал Юра, обращаясь к Тищенко и игнорируя своего непосредственного начальника. — Смотри, гнида, что делает картечь.

Это приглашение было частично обращено и к дежурившему у выхода в коридор телохранителю, который влетел в комнату и сейчас обалдело таранился на почти вплотную приблизившееся к его груди дуло «Сайги».

— Стоять! — приказал Юра всем находящимся в комнате. — И тихо. А ты, — это охраннику, — пиджак расстегни. Медленно. Вот так. Теперь двумя пальцами достань пистолет. Хорошо. Положи сюда. И встань рядом с ними.

Юра взял пистолет охранника, убедился, что обойма на месте, и передернул ствол, внимательно следя исподлобья за пленными. Аккуратно положив пистолет в карман пиджака и продолжая не спускать глаз с трех окаменевших от неожиданности и страха фигур, он подошел к телефону и, не снимая трубку, набрал номер внутренней связи.

— Я взял трех заложников, — сказал он, перебивая верещанье встревоженной непонятным грохотом Зины. — Я вооружен охотничьим ружьем и пистолетом системы «Макаров». Если кто-нибудь попытается войти в комнату, заложники будут немедленно убиты. Можете сообщить в милицию.

Потом он поманил охранника, сделал шаг назад и кивнул в сторону стоящих на столе бутылок.

— Работай, — скомандовал Юра. — День рождения продолжается. Я пить не буду. И юбиляру больше не наливай. С него хватит.

* * *

Оперативную обстановку капитан Коровин понимал хорошо. Вооруженный террорист захватил префекта и еще двоих. Один из заложников был начальником фирмы, в которой террорист работал, а второй — телохранителем префекта. К частным охранным агентствам капитан всегда относился с презрением, считая их совершенно ненужным наростом на теле общества, занятым исключительно обеспечением собственного благосостояния и профессионально ни к чему не пригодным. А сейчас капитан с тайным удовольствием отмечал, что это его мнение подтверждается самой жизнью. Надо быть полным кретином, чтобы влететь в комнату, в которой только что прозвучал выстрел, и дать себя обезоружить.

Еще капитана развлекала остроумная комбинация, в результате которой террористу удалось пронести оружие в одно из самых охраняемых зданий в системе московского руководства. Ведь это надо же — дожждаться дня рождения префекта, через телохранителей купить ружье, спрятать его в приемной, а потом в открытую взять его в руки и пойти якобы поздравлять юбиляра!

Человек, придумавший и реализовавший такую штуку, вызывал у капитана невольную симпатию. Хотя Коровин и понимал, что разойтись с террористом будет непросто. Судя по всему, операция замышлялась и готовилась дав-

но, и считать участие в ней префекта Тищенко простой случайностью никак нельзя. У террориста с Тищенко явно есть какие-то счеты. Поэтому любые сведения о личности преступника и его связи с префектом исключительно важны.

А сейчас, пока Коровин ожидал, что кто-нибудь где-нибудь обнаружит хоть какие-то оперативные материалы на Кислицына, он вынужден был констатировать, что в стратегическом плане занятая бандитом позиция весьма выгодна для последнего. Эта чертова комната отдыха когда-то представляла собой помещение для архива и использовалась по назначению. Потом, во времена победившей демократии, ее стали перестраивать. Вместо обитой листовым железом древесностружечной двери с окошечком, выглядывающим в коридор, была установлена настоящая бронированная дверь, которая сейчас наглухо заперта изнутри. Бесшумно вскрыть ее не удастся, и при первой же попытке взлома террорист немедленно начнет расправу с захваченными заложниками. Можно было бы попробовать отвлекающий маневр, но здесь тоже есть свои проблемы. Единственное окно заложено кирпичом. Хозяин комнаты явно хотел максимально отгородиться от внешнего мира, исключив всякую возможность съема информации. Что же касается второй двери — ведущей из комнаты отдыха в рабочий кабинет Тищенко, — то и к ней приблизиться не удастся, потому что террорист ее предусмотрительно распахнул настежь, полностью обеспечив себе обзор всех пятнадцати метров, отделяющих его от входа в кабинет.

Интересно, что сейчас до приемной, где скучает ожидающая приказа группа захвата, из комнаты отдыха доносятся громко исполняемые песни. Поют двое, явно пьяные в дым. Похоже, что это начальник Кислицына и идиот-телохранитель. Уже прозвучали «Подмосковные вечера», «Вихри враждебные» и песенка Крокодила Гены. После каждого концертного номера эти же двое, явно по команде, троекратно орут «Тищенко — козел». Пронырливый журналист из «Московского комсомольца», похоже, успел это зафиксировать до того, как был обнаружен и выдворен.

Один раз террорист вышел на связь. Требований никаких не предъявил. Вежливо пообщался с капитаном Коровиным, спросил, какие русские народные песни он любит. После этого, собственно, и началось пение. Затем капитан дважды звонил террористу сам, пытался выяснить намерения. Но от разговоров Кислицын уклонился, сообщив лишь, что у них происходит процесс поздравления с юбилеем, скоро должен закончиться, и все будет хорошо.

Чем больше тянулось время, тем сильнее казалось капитану, что вся эта история, и вправду, может закончиться с минуты на минуту. Что заложники выйдут живыми. Что самое главное сейчас — не лезть на рожон, не пытаться штурмовать комнату, тем более что совершенно непонятно, как это сделать, и не поддаваться на поступающие из города истерические вопли с требованиями немедленно что-нибудь предпринять. Потому что здесь явно происходит нечто необычное.

* * *

Юра жутко устал. В когда-то роскошной комнате отдыха отвратительно воняло. Не спасала и не могла спасти открытая дверь в кабинет, потому что именно туда, к столу Тищенко, он отправлял мочиться качающегося от двух выпитых бутылок водки телохранителя (вход в личный туалет префекта пришлось заблокировать, так как снят внутренний замок Юре, не рискующему расстаться с оружием, не удалось). Там же, в кабинете, по второму разу вывернуло и Льва Алексеевича, не привыкшего к подобным дозам спиртного. Первый фонтан рвоты оросил стол с подарками и валяющиеся на полу тело Петра Ивановича Тищенко.

Картина мести, которую Юра так долго вынашивал, померкла и выцвела. Он не стал убивать Тищенко, хотя именно это и планировал с самого начала. Он еще видел, как нажимает курок карабина, и как вырывающаяся из дула картечь с полуметрового расстояния разрывает в клочья брюхо его врага. Но вся его решимость улетучилась, когда первым выстрелом он разнес вдребезги телевизор, и выученная наизусть фраза «смотри, что делает картечь», потрясла его самого не меньше, чем предполагаемую жертву.

Чем больше времени проходило, тем отчетливее он понимал, что убить не сможет.

И он тянул с развязкой, придумывая самые невероятные вещи, лишь бы хоть чуточку подольше ничего не решать. Он раздел Тищенко, разрезав его одежду ножницами, и избил в кровь прикладом карабина. Потом несколько раз ударил лежащего стулом, развалившимся при втором ударе. Но каждый раз придерживал руку, так как что-то не позволяло ему нанести удар в полную силу. И сейчас скулящий и ворочающийся на полу префект, уже обделавшийся от смертного страха, был намного живее, чем он сам. И безусловно живее, чем два других заложника — мертвецки пьяных и лежащих в обнимку под заложным кирпичом окном.

Юра прекрасно знал, что время работает против него, и всячески старался поставить в тупик бригаду, которая наверняка заблокировала все здание. Идея с песнями пришла ему в голову по наитию и почему-то сразу показалась на редкость удачной. Он следил за тем, чтобы Лев Алексеевич и телохранитель дружно выпивали, потом заедали водку остатками фруктов, называл песню, убеждался, что слова более или менее знакомы, и отдавал приказ к исполнению. Юра сам дирижировал, пиная время от времени ногой Тищенко и заставляя его подтягивать. Когда песня заканчивалась, он давал отмашку, и пьяная парочка орала во все горло: «Тищенко — козел!»

Иногда он развлекался, снимая происходящее на подаренную Тищенко видеокамеру.

Но теперь веселье закончилось. Клоуны перепились, песни иссякли. Осталось только — он сам да голый окровавленный префект Тищенко, извозившийся в кале и блевотине.

Что странно — с каждой минутой Тищенко будто бы набирался сил. Он был гол и беззащитен, грязен и мерзостен, он валялся под столом, и на него было направлено ружье, которое могло в любую секунду размазать его по полу. Но в лице его, еще час назад изуродованном гримасой ужаса, залитом слюной и слезами, уже проявлялась былая сила. Будто бы осознаваемая только и исключительно Юрой невозможность нажать на курок непостижимым образом передалась Тищенко, и он понял, что побеждает.

Эта крепнущая уверенность поверженного врага окончательно добывала Юру, уничтожая энергию, с которой он шел на дело, планируя, просчитывая, ошибаясь и вновь продвигаясь вперед. Он физически почувствовал, что история закончилась, присел перед Тищенко на корточки и, не выпуская карабина из рук, взглянул поверженному префекту в лицо.

— Что, сука? — спросил Юра. — Нормальный юбилей получился? Тебе не интересно узнать, как я докопался до твоих штучек? А? Вохровцу своему спасибо скажи. Дедушке Пискунову. Очень дедушка бабки любит. Только разных людей по-разному ценит. Я ему в двадцать штук обошелся. А ты — всего в три.

Юра помолчал. Посмотрел префекту в глаза и убедился, что слова его услышаны. Потом подошел к телефону, набрал приемную и сказал весело:

— Капитан Коровин? Мы гулять закончили. Минуты через три можете приходиться убирать помещение.

Потом подошел к Тищенко, лег рядом с ним, вставил в рот дуло пистолета и нажал на курок.

* * *

Что-то вроде послесловия.

Тищенко после всей этой истории довольно долго лечился. Видать, пережитые им минуты ужаса все же не прошли даром. Что вполне понятно. Попробуйте полежать в голем виде под дулом заряженного картечью охотничьего ружья. Да когда еще по голове бьют обломками стула. Потом он вернулся из санатория, немного поваялся дома, связался с друзьями по телефону и узнал, что под него сильно копают. Не то чтобы были претензии — слава богу, в мэрию он перетаскал столько, что претензий никаких нет и быть не может. Но слишком много вокруг него шума из-за этой истории... Газеты. Гольф обделавшийся префект — это вроде бы и не префект вовсе. Только тень бросает на московское правительство. Поэтому нашли нового, энергичного. Откуда-то из федеральных структур. Не то чтобы распоряжение уже подписано, но из верных источников известно, что подготовлено. Конечно, не бросят Тищенко — нет, не бросят. Такие люди нужны. Обождать бы малость. А там и предложение соответствующее последует.

Предложение последовало через полгода. Что-то не ладилось в московском бюджете, и Тищенко был брошен на добывание денег. На руководство конторой Льва Алексеевича, которого, в свою очередь, бросили еще куда-то.

Оно, конечно, можно это рассматривать как понижение. Но с другой стороны, мы — люди служивые и идем куда прикажут. Хотя по ночам Петр Иванович ворочался и скрипел зубами, вспоминая о былом величии. Но не все ушло, кое-что и осталось.

Случайно промелькнула в разделе криминальной хроники заметочка о старике-пенсionере, которого нашли на пустыре с перебитыми ногами. Он шел через этот пустырь к себе домой, а на него напали двое, повалили на землю и дважды ломом саданули по ногам. И сказали, уходя, что слишком болтлив стал пенсионер на старости лет. Что они имели в виду, дед так и не понял, долго лежал в военном госпитале, потом вышел на костылях. И сказал на прощание провожавшему его до ворот медперсоналу:

— Юность моя загублена войной с немецкими оккупантами. А старость отравлена приватизацией этой вашей. И демократией. Мать вашу так.

Михаил Кукин

ФОТОВСПЫШКИ

* * *

Укрывшись в тень, сижу на берегу,
А дочь с женой бредут по мелководью —
Уж далеко от берега ушли,
А всё по шиколотку им. За ними
Рябит на солнце быстрая Ока,
Синеет даль, высокие обрывы
Среди июльской зелени желтеют...

Смотрю: они о чём-то говорят,
Остановившись, встав вполоборота
Одна к другой — и ясны и красивы
Изгибы рук, и в тишине склонились

Их головы — два ангела вот так же,
Наверное, стояли б на воде.

Жена и дочь — к ним тянется душа,
Спасти от одиночества пытаюсь
И смысл найти. Но дальше взгляд
скользит

Туда, где на коварной глубине
В подводных ямах выют водовороты
Во тьме свои невидимые гнёзда,
Где каждым летом тонет кто-нибудь.

* * *

В небе только тишина —
Видишь, тишиной объята,
Туча отблеском заката
Над землёй озарена?

В этих недрах зреют грозы,
Бури стянуты узлом,
И таинственно и грозно,
Свитый в свиток, дремлет гром.

* * *

Шли прямо вверх воздушные потоки,
И небо ослепляло синевой,
И ржавый лист в берёзовых лесах
Блестел под ярким солнечным лучом.

В полях сверкали золотые травы,
И воды отражали синий свод —
Так под корой предметов проступали
В чистейших красках первоэлементы —
Огонь идей, источник вещества.

Повсюду воцарилась тишина.
И даже город не мешал внимать

Торжественному этому молчанию —
Как будто бы незримая твердыня
Воздвиглась над привычной суетой;
Как будто бы весов незримых чаши
Застыли в совершенном равновесье
И вечность нас настигла на бегу...

Я спал, как мёртвый, в комнате, в углу,
Отбросив недочитанную книгу,
Я уходил, скрывался в темноте
От света и от мира, но и сны
Мои сияли чистою лазурью,
И золото касалось глаз моих.

Подражание латинскому

Хмурый, дождливый сентябрь. В окне, словно дымом табачным,
Небо затянуто — или скрыта от неба земля?
Кризис, инфляция, цены, слякоть на оптовом рынке...
Как хорошо целый день из дому не выходить!

Пусть это слабость, безволие — я всё же хочу оставаться
 В рамках, к которым привык: дружба, веселье, стихи.
 Громов! Гадаев! Внемлите! Сварил я кастрюлю картошки.
 Есть ещё банка опят. Водку везите с собой.

* * *

Привычный быт пробит лучами	Стоит Архангел в облаках.
И весь разорван в лоскуты,	Он медлит, с гневом наблюдая.
И небо хмурыми очами	Ему ещё не подан знак.
На землю смотрит с высоты —	
Там, на ветру, не видим нами,	А мы с друзьями выпиваем,
С трубою медною в руках,	Острим, знакомых обсуждаем —
С лицом, как рдеющее пламя,	Умён, учён и честен всяк.

* * *

Проехал первый лифт. Закаркали вороны.
 Ветвился в полутьме наш разговор бессонный.
 Бессвязный пьяный трёп. Привычный скучный бред.
 Синело за окном. Бледнел настольный свет.
 Бледнели фонари над улицей пустою,
 Над смутною тоской, над вечною тщетою.
 Окурки. Чёрствый хлеб. Остывший жирный плов.
 О, сколько, Господи, ещё таких пиров?

* * *

За окном шумит, бушует ветер,	Сквозняком качает занавеску.
Чуть затихнет — и с цепи сорвётся.	Как мы жить-то будем?
Непроглядна ночь. Почти что чёрен	Ну, там завтра, послезавтра — ясно.
Рыхлый снег февральский.	А потом? Хотя бы через месяц?
И зачем я выпил? Грусть напала.	Через год? Никто нам не ответит.
Словно в глубь какую загляделся.	Неизвестно это.

* * *

Прохожий, подходя к стенам Микен,	Её бессонниц страшные часы?
Дивясь тяжёлым, грубым этим глыбам,	Смотри, как камень давит камень, как
Припомни стародавнее злодейство —	Упорствуют они друг против друга,
И хищный профиль	Ребром к ребру прижатые рукой
львицы Клитемнестры	Гигантов одноглазых — так Судьба
Из древней тьмы	Сшибала лбами всех, кто здесь царил,
в глазах твоих всплывёт.	И выросла из этого громада
Что в этой кладке? Тяжкий гнёт царя?	Трагедии отцов, детей и жён,
Его души надменная твердыня?	Трагедии страстей, обид и мести —
Угрюмый гнев униженной царицы?	Как таковой трагедии вообще.

* * *

Грязно-серая весна.	Мир, в котором кое-как
В мокром воздухе тревога.	Жизнь проходит, протекает.
Ночью дует из окна,	Глядь — уже седой висок.
За окном видна дорога.	И всё цепче обнимает,
Вот какой он, жизни холод!	Всё сильнее обдувает
Не укроешься никак...	Этот мерзкий холодок.
Словно надвое расколот	

* * *

Здесь я работал. По утрам спешил	В две строчки заявленье об уходе
По этой улочке. Сменялись лужи	Я написал, и в утренней толпе
Блестящим снегом. Обнажался парк	Меня на этой станции метро
И снова нежно зеленел весной.	Теперь не встретишь...
Так незаметно годы шли — однажды	

* * *

Обнявшись, мы лежали в тишине —
Вокруг вращался мир, гремели грозы,
Пророки возвещали мор и глад,
Кипела пена бурных волн житейских,
И древние созвездия текли...
Обнявшись, мы лежали в тишине,
И в некий час (был час перед закатом) .
Очнулись, ничего не узнавая,
Не понимая, где мы и зачем.

* * *

Когда в душе покой и тишина, Не забывай о том, что жизнь страшна, Что так же кратки эти вспышки счастья, Как фотовспышки, что вообще разлад Нормален, что и в самый миг объятья	Ты одинок, что ничего назад Не возратить, что впереди провалы На истинном, казалось бы, пути, Что легче пасть, чем этот груз нести. И, главное — что времени так мало.
---	--

* * *

Там, где голые деревья, И размокшая дорога, И унылые дома — Там теперь всё по-другому: Открываешь дверь — за дверью Снежно-белая зима.	Ветки тонкие под снегом, Занесённые машины, Убелённые дворы. Хорошо ходить под Богом — Жить в заснеженной долине У невидимой горы.
---	---

* * *

В одном из писем Плиния Лаврентум
Описан так: выходит на три моря
Триклиний, волны к стенам подступают
И брызги в шторм до окон достают.

В другую сторону, в дверном проёме,
Сквозь атрий, и перистиль, и площадку,
Видны леса, синеющие горы —
Прекрасная, задумчивая даль.

Так малый мир большим охвачен миром,
Так смотрит человек, куда захочет,
И в грудь его вмещаются просторы,
И мысли его ясной нет преград!

Так слеп он, и живёт, не замечая,
Что всё уже готово рухнуть в бездну,
Что в трещинах всё это мирозданье
И новый ветер рвётся через них!

* * *

Свет фонаря выхватывает угол И наста глянцевитое пятно. Сплошная тьма, дремучая, как уголь — И всё же ей сомкнуться не дано.	Так Время подступает к нам ночами Вплотную — и клубится, словно дым. И лишь душа, убогая, в печали, Стоит, не отступая, перед ним.
---	---

Дмитрий Рагозин

Поле боя

П О В Е С Т Ь

1

Убегая, догоняя, падая, поднимаясь, раздираю с трудом липкие веки, еще радуясь сонному бессилию, обращенному на живописную изнанку души, и слышу зябкое кудяхтанье побудки. Горнист у нас никудышный.

Началось! Мы заждались этой заунывной ноты.

Вынув онемевшую руку из темной дремоты, дотрагиваюсь пальцем до провисшего брезента и получаю в загадя сморщенное лицо струйку ледяной воды. На минуту кажется, что я уже в госпитале, забинтованный, набитый ватой, с головой, плохо пришитой к туловищу, которому уже никогда не привстать.

Зашевелились суконные одеяла, вылезают бритые лбы с оттопыренными ушами. Мартынов сразу хватается за папиросу, жадно всасывает горький дым, кашляет. Ярцевич зевает и крестит рот. Жилин чешет пятку, невнятно бормоча, чешет под мышками, чешет живот, чешет спину, потом ложится обратно, завертываясь в одеяло, пряча голову под подушку.

Никто еще ничего не понимает. Что произошло? Неужели сегодня, вот сейчас? Еще не верят тому, что уже приводит в движение их одеревеневшие члены.

На карачках выползаю из палатки, отстегнув тяжелую сырую полу, под завалом туч розовеет бледная полоска зари. Холодно. Невзрачно. Тошно.

Вынырнув из тумана, озабоченно дергаясь, проковылял лейтенант, увидев меня, буркнул: «Давайте, давайте быстрее!» — и поспешно ушел, спотыкаясь.

Сырой ветер хлопает брезентом. Вот-вот пойдет дождь. Сапоги скользят по темной траве, выдавливают желтую глину. Где-то вдали застрекотал нетерпеливый пулемет и тотчас умолк, поперхнувшись.

Из палаток выбираются хмурые люди, щупают недоверчиво свои заспанные лица, застегивают пуговицы, тихо переговариваются.

Уже получили приказ? Где строиться? Куда бежать? По сколько на брата дают патронов? Когда наступаем?

Всех нас заражает тоскливое беспокойство. Надо что-то делать. Нельзя же вот так топтаться на месте, да и не умеем мы толком обороняться. Уж лучше бежать напропалую вперед, ни о чем не думая.

Добродушно ропщем: «Почему вчера не предупредили? Держат нас за скотов. Гонят на забой...»

Приносят чан с жидкой овсяной кашей. Потирая озябшие руки, ребята

Дмитрий Георгиевич Рагозин родился в 1962 году в Москве. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. Работает в ИНИОН РАН.

Первая публикация — рассказ «Яд и стрелы» («Новая ежедневная газета», 1995). В журнале «Новая Юность» в 1996 году была опубликована повесть «Половина».

В «Знамни» печатается впервые.

толпятся со своими мисками. Пряхин, облизав, бросает ложку далеко в кусты, весело заявляя, что, мол, больше не понадобится, последний раз жую.

Постепенно хмурость проходит, в лицах появляется что-то озорное, грубая удале бодрит: «Мы им нынче покажем!..»

Толпимся у доски туалетной будки туалета, следим друг за другом, играя хребца, надеемся найти у соседа признаки трусости.

Разве могли мы знать, кряхтя над общей дырой, что нам суждено участвовать в битве, которая войдет в историю? Конечно, мы догадывались, что нас недаром собрали на этом поле, одели, обули, накормили, дали в руки винтовку, мы были уверены, что рано или поздно битва состоится, но мы и думать не могли, что эта битва будет решающей, что от нашего проворства и выносливости будет зависеть судьба грядущих поколений. Мы так прикинули к будничному ходу вещей, что малейшее отклонение в сторону истории кажется нам чем-то поистине удивительным, хотя и нежеланным. Нам дают возможность в одночасье стать героями, а мы по привычке ноем и жалуемся на боль в паху. Вот и я, прежде чем ринуться в бой, который, как оказалось, уже *в разгаре*, достал из внутреннего кармана карточку с кокетливой мордашкой. Машенька, знала бы ты, как далеко я захожу, мысленно следуя за тобой по пятам!..

То, что издали виделось гладкой плоской равниной, при ближайшем рассмотрении состояло из множества самых разнообразных возвышенностей, низин, оврагов, рытвин, колдобин, скатов, ям, бугорков, грядок, выемок и насыпей. Добавьте к этому белевшие там и сям огромные валуны, конические кучи песка и норы. Возможно, эти неровности, эти изъязны были подготовлены заранее, ввиду удобства ведения боевых действий, впрочем, не стоит обольщаться. Нас слишком много, рядовых, чтобы каждый имел себе место под солнцем и дождем. Кто-то уже дышал тем воздухом, которым мы никак не можем наддышаться. Кто-то уже лежал там, где лягут наши кости. Отточия, мы появляемся из-под пера в минуту замешательства...

Вероятнее всего, выходя по приказу на поле, мы видим под ногами следы другой, давнишней битвы, сохраненные природой в назидание или из безразличия. Я вдруг вспомнил, что ребенком бывал здесь с классом на экскурсии. Учитель, взобравшись на валун, объяснял, махая руками, где стояли когорты, где полегли фаланги. Ветер трепал его длинные волосы, закрывая круглые стеклышки очков. Его не слушали. Кто-то нашел мертвую лягушку со вспоротым животом, и мы разглядывали ее, тайком передавая за спиной.

Долина, приютившая битву, была со всех сторон окружена пологими холмами. Она была идеальным местом для столкновения двух великих армий, не считающих потерь. Не случайно именно здесь, как я уже сказал, из века в век происходили решающие сражения. Беспрекословная сила с голубыми глазами младенца влекла полководцев на это муравчатое лоно. Они застенчиво потирали потные руки и глотали слюнки в предвкушении. Они строили друг другу рожи и хохотали, хватаясь за живот. Им неймется, не нам. Эти дяди в аксельбантах и портупях, вопреки мучительным позывам неизжитого детства, умеют устроить свою жизнь так, чтобы и к водочке была икорка, и к девочке трюмо. Мы, злыдни, испытываем к ним тупую зависть, даже не пытаюсь им подражать. Надо родиться таким шалопаем в погонах, чтобы хохотать над донесением бледного, забрызганного грязью и кровью связного. У них что ни день, то праздник, а битва почитай что маскарад с конфетти и серпантинном. Фейерверки для них хлеб насущный. Они посылают стихи в столичные журналы и танцуют до упаду. С нами они говорят на фантастическом языке, который, по их представлению, должен быть нам понятен, все эти «ой ли», «эфтот», «откелева», «токмо». Отмершие слова кажутся им более доходчивыми для тех, кого посылают на верную смерть. Нет, они не испытывают к нам презрения, ниже брезгливости. Напротив, им даже нравится порой сходить в наш темный, жаркий, зловонный подпол. У них это почитается особым изыском, а

наши нравы служат неистощимым источником рискованных шуток, приятных для дамских ушей. Лапти и туески нарасхват у блестящей молодежи, которая ищет вдохновения в наших отхожих местах. Я отвлекся.

Бы бы не узнали меня на поле боя. Лицо горит, волосы дыбом, глаза пылают, изо рта валит дым. Тут уж невольно делаешься героем: знамена плещут, взрывы сотрясают землю. Пошла потеха!

Ничего не видать, знай стреляй и режь, на мгновение задумаешься, так из тебя первого выпустят кишки. Тут, брат, не зевай — бей налево и направо, не мешкай: рука дрогнет, считай, пропал. А свинец так и сечет, хоть стой, хоть падай, смерть все равно кого надо подкосит. Вот и усыпана вся земля вокруг талисманами, амулетами, крестами, ладанками да иконками. На судьбу-злодейку надейся, а сам не плошай — и ворон выклевывает глаза, самое вкусное.

Тот, кто однажды столкнулся лицом к лицу с врагом, уже никогда не вернет себе былого счастья, когда он сидел на закате в саду, подбрасывая ракеткой волан, начиненный еловой шишкой, и поглядывал на мелькающее за стеклами уже освещенной веранды палевое платье с буфами. Шел по темной аллее, читая следы ее каблучков. Заглянув в старую беседку, где на столе блестели забытые кем-то очки, спустился, хватаясь за ветви, к пруду и, вдыхая густой болотистый запах, слышал тихий плеск за осокой...

Как известно, битва начинается со всеобщей неразберихи. Меня, выпавшего из порядка, захватила толпа наступающих новобранцев. Они брели нестройными рядами, закрыв от страха глаза, разинув рты, и палили наобум по небесам, завешенным тучами. Они держались друг за друга, чтобы не оказаться один на один с врагом. Больше всего они почему-то боялись попасть в окружение. Это все, что им успели вдолбить, перед тем как погрузили в вагоны, — не дайте себя обойти! И они шарахались из стороны в сторону, спотыкаясь о свекольную ботву, им казалось, что о них забыли, отдали на растерзание ядер и картечи, заткнули ими топографическую дыру. Думаю, они ошибались. В плане стратегии новобранцам на поле боя испокон веков отводят важнейшую роль. Пугливым безрассудством они должны отвлекать на себя значительные силы противника. Их не жалко. Их выпускают, когда необходимо захватить инициативу, в переломный момент, и, необученных, неокрепших, бросают на самые ответственные участки. Действуя вразброд и вразнобой, эти почти дети берут без боя то, что нам дается только после изнурительной *правильной* осады. Потери среди них огромны, но это, что называется, легковосполнимые потери. Я поспешил улизнуть от их искренней дружбы, как только мне позволил рельеф местности. Лучше медленно, чем впопыхах.

Во время битвы только кажется, что все метят друг в друга, в действительности каждый занят своим мелким будничным делом. Один, спрятавшись за валуном, жадно хлебает из котелка кашу, дрожит медная пуговица на расстегнутом воротнике. Другой, насвистывая, роет яму, чтобы закопать только что подбитого товарища. Третий, лежа на сырой траве, нервно листает устав, как будто ищет нужную цитату. Четвертый, неся в сторону санчасти свою оторванную руку, мечтает о том, как, вернувшись домой, будет ночью лежать на сеновале и разглядывать звезды. Конечно, как обычно, ходятяся и такие, которые куда-то бегут, стреляют, вопят. Но все так заняты собой, что не обращают внимания на то, что не мешает им заниматься своим делом, будь то бег с препятствиями или игра на губной гармошке.

К тому же, чем дольше кипит битва, тем меньше военачальников, они остаются в прошлой жизни, на биваке, высокие, стройные, надменные. Там они просиживают бессонные ночи над картами будущих сражений. Они обдумывают маневры, загодя высчитывая потери. Их тонкие, благородные лица приводят в смущение нас, грязных, голодных, оборванных, насилу оторвавшихся от обозных грудей. Мы виноваты, что стройная в идее битва неминуемо скатывается в безобразное побоище. Мы всё в конечном итоге делаем по-своему,

до нас не доходят приказы. У нас нет профиля, наши морды расквашены, и язык заплетается.

Гулко ухает канонада, то там, то здесь поднимаются бұрые фонтаны грязи, падают комья с выючимися лиловыми червями. Время, как противник, никак не хочет идти на попятную. Тщетно память, вооруженная до зубов, пытается восстановить в первоизданной яркости то, что вылиняло за давностью лет. Но по законам военного быта невыразимое в словах подлежит уничтожению. Двоим, как говорится, не уснуть в холодной постели.

Набегавшись, наглотавшись горького дыма, растратив впустую весь свой боезапас, я спустился в окоп, прорытый накануне скорее от безделья, чем из предусмотрительности. Слева от меня блажил неподражаемый Вася Мухин, веселый забияка в пышных усах. Он был пьян в стельку и, пуча красные глаза, рыча, строчил из пулемета. Когда кончалась лента, он всякий раз порывался выскочить из окопа, карабкался на осыпающийся скат, его насилиу стаскивали вниз. Справа, сжавшись в комок, трясся от страха Яша Безухов. Ему уже перевалило за сорок, но он оставался малым дитятей. Каждый день ему приносили письма из дома прямо сюда, в поле. Он читал, размазывая слезы по широкому лицу. Высокий, сутулый, неряшливый, нечистоплотный, он даже летом, в жару, мерз и кутал горло шарфом. Чаще всего он сидел в уголку и, чему-то улыбаясь, рассматривал ладони. На стрельбах он ни разу не попал по мишеням, хотя целился всегда с большим усердием.

Впрочем, и я постоянно промахиваюсь. Не было еще такого человека, которого я бы сразил с первого раза. Расстояние тут безразлично. Даже негодай, в которого я стреляю в упор, как правило, остается невредим. Машет руками, пританцовывает.

Вскоре бедному Яше осколком прошибло лоб, его унесли, а освободившееся место поспешил занять Андрей Румянцев. Его у нас в полку не любили. Он был добровольцем, из идейных, прямо со студенческой скамьи. Едва появившись в казарме, начал отращивать бороду. После занятий на плацу приставал ко всем со своими проповедями. Настоящий патриот, он с фактами на руках доказывал, что все известные истории битвы оканчивались нашей победой, и даже те, в которых мы по каким-то причинам не смогли принять участия. Однажды к нам в часть приехал его отец, щуплый старичок с бакенбардами и грустными рыбьими глазами, по всему видно, сановник, уговаривал непутевого вернуться домой, обещал достать свидетельство о слабоумии, но тот ни в какую: «Мое место здесь! — кричит. — На передовой!»

В бою выяснилось, что он и впрямь отменный рубака. Никогда еще не видел я подобной жестокости, со смаком протыкал он штыком набегающих пехотинцев. Пуля-дура догнала его, когда он потрошил очередного захватчика. Пришлось мне волочить его, бормочущего: «Ни шагу назад!», в санчасть, и только затем, чтобы услышать равнодушное: «Трупы не принимаем».

Одна медсестра — я должен о ней сказать хотя бы несколько слов, ударная волна потом вывернула ее наизнанку. От нее осталось мокрое место. У нее были серые глаза в черных ресницах, волосы выбивались из-под холщовой косынки, руки в резиновых зеленых перчатках, на фартуке пятна крови (только что помогала зашивать живот ординарцу — вдевала нитку в иголку). Как она посмотрела на меня! Я превратился в цветущий куст жасмина. Этот запах не выветривается. Я и раньше ее встречал, среди коек, под пологом, но никак не отличал от прочих женщин, ради которых пальцем лень пошевелить. А тут вдруг что-то на меня нашло, между мясорубкой и оперным театром, стрела стремительного счастья... Конечно, отойдя от палатки с ранеными, ринувшись опрометью в бой, я забыл и серые глаза, и черные ресницы, другие картины встали на моем пути, но потом, пережив себя, пробравшись в тыл, я то и дело встречал этот взгляд, идущий откуда-то сверху, сквозь моросящий дождь, осенью, в пустынном городском саду: «Хочу...»

Удивительно, как много женского пола на поле боя. Доходит до неприличия. Вот только видимость оставляет желать лучшего. Ничего не попишешь, из смешения тел косяком лезет то, что застит свет. Одна забота — не взвыть, не разрыдаться.

Слухи самые нелепые в этом смутном противоборстве расходятся с невероятной быстротой. Сказанное в шутку на краю битвы повторяют через пять минут на передовой с суеверным ужасом. Кто-то видел слепого юношу, играющего на флейте. Кому-то встретилась у реки корова с двумя головами. Шепотом передают рассказы о людях в красных колпаках, о говорящих птицах, о стеклянных змеях. Передают друг другу на ухо, не прерывая резни. Когда твоя рука посылает на тот свет незнакомца, поверишь во что угодно. Химеры наполняют душу мрачной решимостью. Зубы скрежещут, кости трещат. Бьешь напрапалую. Весь исходишь отравленными стрелами.

Но иногда кажется, что ударяешься лбом о стену, расписанную залихватски батальными кровоподтеками. Краска осыпается, сквозь пятна сырости и плесени проступает кладка. За окном уже покашливают ранние осенние сумерки. Старый слуга, шаркая, пронесит подсвечник с тремя свечами. Моя тень поднимается и опускается. Лоб гудит.

И вот мы опять наступаем стройными рядами. Безрадостный натиск, бег переходит в крик. Со всех сторон сыплются тумачи. Нас избивают невидимые полчища. Неужто правда на той стороне? Мы покрываемся ранами, мы истекаем кровью, мы падаем, лежим, тяжело хрипя, мы лежим бездыханно.

Улучив минуту, я сполз бочком по скользкой размытой глине в узкий овражек и зачерпнул ладонью из ручья, вода оказалась необыкновенно чистой, холодной, вкусной. Дождь накрапывал с тихой монотонностью, как ни в чем не бывало. Вдруг слышу за спиной визгливый окрик: «А вы что здесь прохладжаетесь?» Повернулся, вижу вверху офицера в темных очках и под зонтиком. «Марш обратно! Какой ваш номер?» — он раскрыл блокнот, придерживая зонтик под мышкой. Он, должно быть, решил, что я собираюсь раньше времени удрать с поля боя, хотя я еще об этом и не помышлял, а думал передохнуть, набраться сил для новых подвигов. Никогда раньше, на учениях, на марше, в казарме, я не видел это оливковое лицо с желваками, стиснутые губы, уши нетопыря... Такого не забудешь вовек. Схватив ружьецо, путаясь в полах промокшей шинели, я выбрался из укрытия и рванул навстречу свистящим пулям. Кажется, все это не слишком занимательно...

— Нет, нет, продолжайте!

На этот раз меня ненадолго хватило. Я отстал от орущей оравы и, без единого желанья, пошел бродить по бездействующим пустошам в обход кровопролития. Первый, кого я встретил, был наш связист Перепелкин. Желтый чуб щегольски торчал из-под маленькой фуражки. Его тонкая, изящная фигурка была перетянута ремнями, гимнастерка на груди слегка приподымалась, и что-то девичье выступало на румянном личике, уж не подводит ли шельмец глаза, не подкрашивает ли губы? Любимчик высшего командования, он заслужил своим легким поведением столько наград, сколько нам, доходягам, и не снилось. Но никто не был на него в обиде. Даже низшие чины его не гнушались, напротив, баловали, ценили, одаривали. Несмотря на своих высоких кровителей, он не задавался, был услужлив со всеми. Каждый из нас был обязан ему какой-нибудь приятной мелочью. Находились и такие, которые считали его полубогом. Даже умирающего он мог воодушевить. Он и сейчас, когда все летело в тартарары, сохранял кокетливое обаяние. Предложил мне баночку с леденцами. Я рассказал ему о том, что видел и слышал. Он выслушал, улыбаясь. Происходящее здесь, на поле боя, его забавляло, он не воспринимал всерьез огонь, взрывы, дым. Бесплезно было жаловаться ему на пороки сражения, он не понимал.

Отойдя от него на несколько шагов, я поспешил выплюнуть сладкую липкую гадость. Я не мог на связного сердиться. Я бы скорее испытал досаду, если бы он проявил интерес к нашим мрачным потехам. Пусть себе проказничает, мы-то знаем свое дело.

Я спешил вернуться туда, где режут, жгут и насилуют. Полчища насекомых застали взор. В сапоги набился песок. Солнце, слепящее, горячее, облезлое, выбралось из сизой пелены. Утирая пот, понукая зудящее от темени до пят тело, я вдруг заметил на пригорке лежащую навзничь тучную белую тушу. Воры, которых на поле боя хватает, унесли одежду. Глаза закатились, волосатые ноздри жадно, со свистом вбирали воздух. Я не сразу разглядел у него на боку маленькую ранку, из которой тонкой дугой сочилась бурая водица. Между тем, казалось, что все его жизненные силы ушли в чудовищно вздыбленный член. Губы медленно шевелились, лепя слова. Я расслышал только «письмо, письмо...» В руке он сжимал конверт. Я с трудом разжал его пальцы с желтыми грязными ногтями, поднес конверт к близоруким глазам и — Боже милостивый! — прочитал адрес, по которому я отправил караван писем. Как странно было видеть чужим мерзким почерком выведенное драгоценное «Маше Трегубовой в собственные руки»... Не помня себя, я схватил его за толстую скользкую шею, но, увы, поздно, он уже утратил то, что ему не принадлежало и что я так хотел у него отнять.

Тоска опрокинула меня в прошлое, но каким бесконечно далеким показался мне тот жаркий день, когда она приехала в наш военный городок. После завтрака — манная каша и крутое яйцо с чаем — нас вывели из барака с жестяным навесом, и мы шли строем, подгоняемые офицериком в щегольских сапожках, неохотно хрипя бравурную песню, когда, скосив глаза, я заметил на обочине любимую в пестром сарафане. Подняв подбородок, она тщетно пыталась найти меня среди неразличимых лиц. Мы смогли встретиться только после изнурительных упражнений с соломенными чучелами, после обеда — кислые щи, гречневая каша, компот из сухих груш — в рощице за складом боеприпасов. Она с готовностью расстегнула ворот и подняла подол. Я бережно спустил ее ажурные трусики, которые она час назад купила в офицерском магазине вкупе с бутылкой лимонада, печеньем и кулком маленьких зеленых яблок, но, увы, сколько ни пыжился, ничего у меня не получилось. Мое возбуждение было чисто умозрительным. Маша целовала меня, обжигая слезами, бормоча: «Бедненький мой стручок...» А я — я смотрел по сторонам.

Довольно о грустном. Пока я, склонившись над умирающим, предавался воспоминаниям, битва набирала обороты. Ярость противников уже без разбора косила направо и налево. Я поспешил занять свое место в строю, когда мое внимание привлек человек в незнакомой желто-синей форме. Ему было лет пятьдесят, седые пряди обрамляли суровое пунцовое лицо, резкие и точные движения свидетельствовали не только о прекрасной выучке, но и о богатом опыте. Он одновременно виртуозно работал и беспечно играл. Его рука не знала отдыха, зоркие глаза мгновенно выхватывали из робкой толпы очередную жертву. Он губил с пламенным хладнокровием. Мне показалось, что я где-то его уже видел. Я был бы не прочь с ним познакомиться, но сейчас такая попытка могла стоить мне жизни. Он не разделял своих и чужих, заботясь лишь о красоте ухваток. Впрочем, не исключено, что при других обстоятельствах, в тылу, это был скучный, заурядный человек, не имеющий своих представлений. Трудно отыскать людей, которые блещут всегда и везде.

Не буду утомлять вас картинами кровопролитных свалок и перепуганных погонь. К тому же я мало что успел увидеть, будучи прямым участником этих заварух *à l'impromptu*. Мне не удастся соединить запавшие в меня фрагменты так, чтобы получить себе в пользование стонущую карусель. Меня бросает из стороны в сторону, как донесение, направленное начальником взвода, убитым наповал, полковому повару, раненному навывлет. Я беру что попало. Я

даже не могу отойти помочиться, чтобы кто-нибудь не запустил в меня раскаленным ядром. В какой-то момент мне показалось, что все эти серые безмозглые массы, прущие наобум, только и думают о том, как бы унять мою прыть. Без меня им будет легче, намного легче. По счастью, я быстро опомнился и ясно увидел, что, напротив, в пылу сражения меня никто не замечает. Град камней летит мимо. Мне даже стало обидно, как будто я не стою пули. Как будто я ничего не значу в этом эпохальном побоище, мол, без вас обойдутся, и еще скажите спасибо, любезный, что с вами цацкаются, дают место в строю, заносят в список.

На безопасном расстоянии от эпохального побоища, поперек свекольных грядок желтел кособоко автомобиль с большими побитыми фарами. В раскрытой дверце сидел толстый интендант Островский и мрачно курил. Лентяй и балагур, он был известен в полку гомерическими масштабами воровства, сходявшего ему с рук, и невоздержанностью на язык, часто доводившей его до беды. Он повсюду таскал за собой юную супругу, почти девочку с косичками, в красной юбчонке и белых гольфах. И сейчас она полулежала на заднем сиденье и расчесывала золотые кудельки, глядя в круглое зеркальце.

— Посмотри, что они пишут! — Островский протянул мне газетный листок. — «Полный разгром», «беспорядочное отступление», «позорное поражение», и заметь, вся эта мерзость тиснута в печать еще до того, как протрубила труба и забарабанил барабан! Торопятся, торопятся, подлецы! Нет на них управы.

Островский вздохнул и бросил иссякший окуроч.

— Наши штабные тоже хороши! — буркнул он. — Получаю еще засветло приказ, если нынче дойдет до боевых действий, времени даром не терять — собирать трофеи. Ладно. Весь день ношусь как угорелый по колдобинам, задницу отшиб, мозги вытряс, а что в результате? Ты только посмотри...

Он схватил в сердцах мешок и вытряхнул содержимое на землю. Колода карт, детская соска, несколько дешевых колечек со стеклышками, пустая бутылка, щипцы для завивки волос...

— Ну куда это годится! И я же потом буду виноват. Эти молокососы в штабе видят всё с птичьего полета, а туда же — командовать! Вот мы и отдуваемся за то, что их плохо учили. А тут еще Лизка-негодница, — Островский плаксиво осклабился, — давеча пропала; я чуть с ума не сошел, насилу сыскал, привязанную к дереву с клепом во рту. И это притом, что деревце тут — раздва и обчелся! Тыфу!.. Пора на покой. Армия и без меня справится, я со своими старыми понятиями (честь, доблесть, слава для меня не пустой звук) только мешаю этой машине, лязгающей несмазанными суставами и гусеницами. Если бы не Лизок, я бы уже давно на все махнул рукой. Да ей, вишь, нравится эта пальба и суматоха. Подавай ей убитых и раненых, обожженных и обезображенных! У ней, мол, такое направление развития, мамка не доглядела. Вот и трясусь на старости лет день-деньской в казенной колымаге по лужам и рыгвинам. А теперь еще и мотор заглох, ну и ладно. Что мне, больше всех нужно? Тебе, я вижу, не терпится обратно в бой, иди, иди. Лизонька, детка, не кривляйся, видишь, человек помирать собрался!..

И вновь рать идет на рать, размахивая знаменами, музицируя, поднимая пыль... Сошлись, столкнулись, сбились в башню на колесах, воющую от боли. Я кидался в отчаянии в хрипящую и хрустящую гущу, скалящую зубы, но выходил из нее всякий раз цел и невредим, только перепачканный кровью и блевотиной. Я фатально опаздывал туда, где раздавали медали за отвагу.

Есть на поле боя подвижные островки тишины, циник скажет — *проруби*. Их невозможно предвидеть, их не опознать со стороны. Попадаешь в них внезапно и безрассудно. Кругом немой вихрь разящих всадников и распоротых пехотинцев, беззвучно моросят стрелы, дрожит тетива, кони встают на дыбы, разевая пасть, — ты не слышишь ничего, кроме тонкого мелодичного

перезвона. Это длится не дольше минуты. Как только возвращается, валится, обрушивается шум, ты опять попадаешь в ржущую мешанину, еще более беззащитный и уязвимый, чем когда-либо. Тишина ведет тебя на смерть, и ты вопишь, раздирая глотку, чтобы развеять ее губительные чары.

Вообще говоря, на поле боя не хватает зеркала в позолоченной раме с лакированным подзеркальником на изогнутых лапках. Хочется раздвоиться, отослать свою копию в хрупкую сияющую бездну, кануть с потрохами. Круглое зеркальце в горячей Лизиной ладонке было минутным паллиативом. А ведь бесформенному месиву зеркало в тысячу раз нужнее, чем нос задравшей красотке. Изнываешь без этих светлых отдушин, преломляющих грубый натиск битвы в трепетную радугу.

Нужно не один год провести в казарме, чтобы, попав на поле боя, почувствовать себя по-настоящему свободным. После всех этих упражнений с чугунными шарами и резиновыми кольцами, после полных измывательств и скотских забав, ежедневной муштры, унижительных поощрений, писем из дома, зачитанных по дороге до дыр, сырых полотенец, решеток, нужников — какое блаженство ринуться безоглядно по пажити, еще дремлющей на холодной заре, схватывать на бегу позабытый запах травы, запах сырой земли, чувствовать на лице живое движение ветра, знать, что в любой миг тебя могут сразить, подкошить, обесмертить! Прочь оковы, прочь сновидения!..

Поскользнувшись, я кубарем скатился в глубокую воронку. На дне уже барахтался человек в гражданском костюме.

— Эй, вы, поосторожней! — заверещал он, возмущенно отпихиваясь и поправляя шляпу. — Нельзя же, в самом деле, казенным сапогом ходить по частному лицу!

— Что вы здесь делаете? — оторопел я.

Незнакомец засопел, спесиво скривил голую мордочку с бакчами:

— Заблудился, пошел, видать, не туда. Сразу предупреждаю — я ни за тех, ни за других. Честно говоря, мне наплевать, кто кому перешибет хребет, кто воздвигнет монумент и на чьих костях. Мне это не любопытно. У меня своих забот не расхлебать. Бесплодная жена, толстая, больная, скучная, и любовница на шестом месяце, поэтесса, лапочка, пупочка. Я по натуре фотограф, но не выношу всех этих жалких приспособлений с рычажками и пружинками. Надеюсь, здесь мне ничто не угрожает? Я готов заплатить любому, — он помахал перед моим носом толстым бумажником, — кто выведет меня из этого головоутиательства, извините за не вполне уместное выражение. Не могу же я до конца дней своих сидеть в этой яме среди корешков и личинок. Это паршиво, как ни верти. Никогда не мог проникнуть в душу людей, бегущих по полю с ружьем наперевес, вы не обижайтесь!..

Я не обижался. Я только упрекал себя за то, что начинаю злоупотреблять боевыми передышками, будто исподволь готовлю себе путь к отступлению. Требуется большое искусство, чтобы удержаться на кромке сражения. Даже в чистом поле на каждом шагу двери, за дверьми — коридоры, в конце коридоров — что-то розовое в черных кружевах.

Намаявшись, я потерял чувство меры, чувство времени.

— Который час? — спросил я у пробегающего майора, обвешанного пулеметными лентами. Тот остановился, тяжело переводя дыхание, не понимая, что от него хочет этот празднующийся, посмотрел на часы, поднес к уху, встряхнул, приложил к другому уху...

— Не фурычат! — сказал он разочарованно. Ему явно было стыдно, что он, офицер, не может указать время простому солдату. По опыту зная, как опасен униженный чин, я поспешил отойти от него подальше, однако не оставил надежды выведать точное время.

Мне повезло. Возле горы пустых ящиков лежал человек во вражеском мундире. На глазу у него сидела янтарно-зеленая муха, вереница рыжих му-

равьев просачивалась в левую ноздрю и струилась из правой, во рту, шумно шелестя крыльями, копошились осы, большой черный жук пытался протиснуться в ухо. На скрюченной руке блестел циферблат и лихорадочно кружилась стрелка. Три с четвертью, как я и думал. Еще воевать и воевать.

Впрочем, не успел я пройти и десяти шагов, как мне попался мой приятель Денисов, у которого на часах не было еще и двенадцати. Я не знал, кому верить, мертвому или живому.

Раз уж скоро полдень, Денисов предложил перекусить, у него в ранце нашлась бутылка вина и бутерброды в целлофановом пакете с растекшимся маслом. Мы расположились под деревом, обмотанным какими-то веревками. Вино пили прямо из бутылки, теплое, с кислой пеной. Вокруг не утихала перестрелка, по развороченному полю колобродили одуревшие толпы. Одна из пуль угодила в бутылку, когда мы передавали ее из рук в руки, и отбила горлышко. Пришлось пить с осторожностью, чтобы не порезать губы об острые края и не проглотить осколок.

Денисов разомлел, заулыбался, его широкое рябое лицо светилось.

— Вот повоюем, — говорил он, — и отправимся по хатам, к бабам, восстанавливать поголовье!..

Это был крепкий деревенский парень с унаследованными от предков понятиями о красоте, добре, правде. Он не боялся тяжелой, неблагодарной работы, сила у него была богатырская. Запросто ломал пятак и за колесо вынимал из грязи машину нашего полкового командира. Через час его уже не было с нами. Он подорвался на mine, спрятанной в детскую куклу. «Чего зыришь, недотрога?» — стали его последними словами. Auf Wiedersehen, товарищ!

Как прекрасна баталия, когда солнце выходит из-за туч! Природа поощряет кровавые затеи. Мы хорошо смотримся на зеленой траве с переливчатыми потрохами. Жаль, что так редки эти ясные мгновения. Как правило, во время битвы моросит дождь, превращая арену в потоки грязи. Попробуй, накрывшись брезентом, зажечь спичку! Письма приходят с голубыми каракулями смывтых чернил. Чтобы утолить жажду, надо запрокинуть бритую голову и пошире разинуть пасть. И стоять неподвижно до тех пор, пока не подобьют. Может быть, я так устроен, что запоминаю лишь часы серости и сырости. Яркий блеск в синеве притупляет мои силы восприятия. Я пропускаю великолепные зрелища и ложусь лицом к замаранной стене. Слышите, как стонут подо мной пружины?

Вообще-то память у меня выносливая, ей нипочем даже обожженные молнией деревья и трещины на вспученной мостовой, но есть вещи, которых я не запоминаю то ли от бессилия, то ли по нежеланию. Вероятно, все эти вещи связаны происхождением с моим домом, поскольку дом, где я родился, где доживают родители, где подрастают братья и сестры, — самое существенное из того, что мне никак не удастся вспомнить. Это не значит, что позади меня день и ночь маячит дыра с рваными краями. Как будто мне уже невозможно обернуться, чтобы не сгореть дотла! Нет, там, в прошлом, всегда что-то есть, что-то занимает место моего дома, яркие, беспорядочные картинки — колченогий стул с кокетливо изогнутой спинкой, неровный паркет смежных комнат, рояль, к которому после смерти тети Шуры боялся подходить, ржавая цепь сливного бачка в темной уборной, тяжелая картонная коробка с гвоздями под буфетом. За окном — заснеженные гаражи, склады, железная дорога в синих сумерках мигает красными и зелеными огоньками... Но чем дальше я вглядываюсь, тем настойчивее сомнение, что это вовсе не мой дом, это пришло со стороны, оплошно спущенная декорация. Ведь вчера, стоя навтыжку перед прапорщиком, брызгающим слюной, я припоминал совсем другие комнаты — большой круглый стол, накрытый клетчатой клеенкой с порезом у левого локтя, балкон с веником в углу, холодные стены, велосипед в длинном коридоре,

пыльный абажур с бантами... Хуже того, я знаю, что и этот порядок недолго продержится, завтра уже что-нибудь новое займет мой дремлющий ум.

То же происходит с моими родителями, они убегают от поползновений памяти. Я обломал ногти, пытаюсь раскрыть шкатулку. Письма из дома — как страницы, вырванные из книги, которой я не держал в руках. Я не понимаю настойчивых намеков. Я спотыкаюсь на незнакомых именах. Вот мне пишут, что умер от грыжи Феликс Игнатьевич, но, убейте меня, я не слышал ни о каком Феликсе Игнатьевиче и не знаю, должен я всплакнуть или усмехнуться, получив траурную весть. Я не узнаю лиц на фотографиях, которые мне присылают пачками. Кто эти лоснящиеся люди, сидящие вокруг торта? Может быть, что-то путают на почте, им наплевать, кто кого поздравляет с рождением двойни. У них там теряют больше, чем находят.

Но и те, которые самозванно входят в мои мысли, обращенные в прошлое, остаются под вопросом. Этот толстый старик с застоявшимся страхом в желтых глазах и женщина в нелепом зеленом платье... Завтра они исчезнут вместе с пыльным диваном и пыльной шторой, беззвучно, безропотно, уступая место трепетным теням на прогретой солнцем веранде...

Между прочим, за все время течения битвы, мутного, с песком и щепками, точно вверху работает вполсилы лесопильня или спичечная фабрика, я ни разу не подумал о своей безопасности. Это, однако, странно. Лишиться жизни не входило в мои планы ни при каких обстоятельствах. Я был доволен собой в той степени, чтобы держаться на удалении от смрадных алтарей отечества. Еще в казарме я подумывал о том, чтобы при первой опасности зарыться головой в суглинок и дышать через полую тростинку, пока наверху не умолкнет топот сапог. Я был готов сдаться в плен, как только наши порядки дрогнут. В том, что они дрогнут, я тогда в холодной, сырой, прокуренной казарме не сомневался. Вокруг лампочки гудели мухи. Рохлин, развернув портянку, с любовью рассматривал свою опухшую лилово-сизую ногу. На тумбочке лежали бритва и обмылок в жестяном корытце. Не лучше ли залезть на дерево и спрятаться в сухой, но еще не опавшей листве? Или переодеться во вражескую форму и сдаться в плен своим, а потом в глубоком, теплом тылу, отложив книгу и хлебнув из стакана крепкого чая, писать длинные, длинные объяснения, мол, произошла ошибка, поди проверь...

Я не мог и представить, что, очутившись на поле боя, так сказать, во всеоружии, сломя голову брошусь в самую сердцевину побоища, как будто жизнь и смерть выпали из моего потрепанного азбуковника.

Я совершал чудеса героизма, не думая, во что они мне обойдутся. Я носился как угорелый под морозящим дождем, вопя: «Держитесь, гады!» Возьмись кто-либо тогда предостеречь меня, я бы выслушал его в недоумении, как если бы где-нибудь в Саратове меня начали страшить тропической малярией. Никакая внешняя сила, даже на колесах, не могла бы угнаться за моей свободой. Я был неуловим для рышущей гибели, как отражение. Выше меня не было никого. Облака проплывали где-то на уровне солнечного сплетения. Я как никогда владел своими членами. Я глядел на себя одновременно из прошлого и будущего, направляя шаги в обход настоящего. Мне не нужен был приказ, ни письменный, ни устный, чтобы выползти из залитого водой окопа и броситься со связкой гранат под гусеницы танка. Я ждал случая, чтобы отличиться.

Теперь мне уже трудно понять то воодушевление, а еще труднее рассказывать о нем. Отчетливо помню свои хаотичные перемещения по полю боя и хотел бы приписать их удивительному настрою души, который выветрился из меня, как только смолкли орудия. Но не могу исключить, что все мои поступки в те часы были лишены какого-либо смысла, метались по трафарету ужаса, складывались сами по себе, накатывая из ближайшей пустоты, как лунные арабески, получающие картинность задним числом, под рокот гитары, в заспанной памяти, когда робкие пальцы заняты ее пуговками и тесемками.

В разгар битвы на меня напала неодолимая сонливость, связав в переносном смысле по рукам и ногам. Я продолжал, как заведенный, крошить и дупцевать, но при этом смотрел на себя как бы со стороны, безучастный, прикованный, удаленный. Я перешагнул порог сновидений, и теперь меня тревожило только то, что-вся эта кровавая орава устремится по моим следам, через пробитую мною брешь, туда, в мягкую, обволакивающую, нежащую пустыню. Я хотел отвернуться. Я заворачивался в черный плащ и опускал на глаза капюшон. Я делал вид, что их не вижу. Я надеялся удержаться на краю, не пятясь, никому не угождая. При всем том — страшная вялость, равнодушие, безразличие. Как будто не я проливаю кровь, как будто не меня режут на куски. Сон, иначе не скажешь. Даже не возникает вопроса, откуда взялись эти сырые казематы, стража с тусклыми факелами и узницы в помятых бальных нарядах. Чтобы выйти из кинотеатра, надо запастись связкой ключей, фальшивым паспортом и кинжалом. Путь долог и ступенчат. Что это только сон, я не сомневался. Внезапно протекло страстное вертикальное желание сбросить этот интересный ворох темного счастья, отказаться напрочь от сказочной неуязвимости, вернуть себе боль, стыд и беспокойство, мелкую дрянь почасового существования. Обратно в грязный песок, в мутную водицу! Еще чуть-чуть настоящего бессмертия, висящего на волоске. Хватит дремать на ходу. Я отогнал птицу, одну, другую, третью и, будто посвежевший, вернулся в строй, на линию фронта, которая напоминала мне то, как в детстве я любил, положив пятерню на бумагу, обводить растопыренные пальцы тупым толстым красным карандашом.

Мы вели войну без правил, это надо признать. Нет, никто не покушался на правила, мы благоговели перед обязательствами, взятыми на себя человеком перед лицом Бога, но все эти наказания, заветы, установления отшатнулись от нас, недостойных, непристойных, непредусмотренных. С нашей стороны, вытопанной и загаженной, было бы вопиющей дерзостью подчиняться законам, выбитым на мраморных плитах. Мы не можем позволить себе запреты, идущие из глубины веков. Мы пересекаем наискосок таблицу добродетелей, то сбиваясь в свирепого зверя, то разбредаясь по полю недобитыми недоносками.

В сражении каждый из нас, от генерала до рядового, действовал на свой страх и риск. Мы убивали от своего имени, точно ставили размашистую подпись несмываемыми чернилами. Мы на ходу сочиняли диспозицию частей и соединений. Мало-помалу произошло разложение неисполненного долга в неоплаченные долги. Батальное целое сложилось, говоря философски (а как еще нам, *ветеранам*, говорить?), из самобытных единиц, движущихся по своему усмотрению. И что удивительно, никогда еще так слаженно не крутилась машина «Поле боя».

Каждый сам по себе бежит, протыкает, рубит, вопит, падает бездыханно. Войско трепещет, никнет, извивается. Поручик Дроздов предается фантазиям на тему полураздвинутых ног. Медленно проходит толстая грязная собака с костью в зубах. Двое щуплых солдат закидывают через высокий борт грузовика тюки с сукоными одеялами. На дне лужи желтеет кем-то потерянная медаль. Эти неглавные события ведут в расположение противника. Между ним и нами курсируют сломанные вещи, искалеченные существа, ущербные мысли. Такой обмен неполноценным важен с точки зрения поддержания боеготовности личного состава с обеих сторон. Особенно хороши гнилые яблоки. Ими усеяны передовые позиции.

Обрюзгший, в кителе, расходящемся на животе, Полуниин, заведующий нашей походной библиотекой, сидел на ящике и глядел понуро на груды сваленных книг. Красные черви кишели в бурой шелухе. Отсыревшие страницы горели неохотно. Вяло завивались голубые дымки. Порхали черные бабочки с черепами на крыльях. «Pharsalia», «Dunciade», «La Pucelle»... Все уже читано и перечитано, рассказано и позабыто на школьной скамье.

Я осторожно вытянул из кучи тонкую книжку, еще не тронутую ленивым пламенем.

— А эта как сюда попала? — удивился я, стряхивая пепел с парчовой обложки.

Полунин выдавил на меня глаза из оплывших складок и, раздвинув вязкий беззубый рот, дохнул тяжело, сокрушенно:

— Наши отступают.

Я не поверил:

— Быть того не может! Только что мы кричали «ура!» и шли в наступление, победа была у нас в руках, как неоперившийся птенец. Что случилось? Нас предали?

— Если бы! — Полунин взял у меня из послушно разжавшихся пальцев книжку и с досадой швырнул в горящую кучу. — Будем считать, что нам не повезло... Хотя, если разобраться, можно было заранее предсказать исход битвы, которую поспешили занести в историю. Только ведь никто не хотел замечать то, что топорщилось. Обычная наша беспечность! Упавали на науки и искусства, пренебрегая настроением и положением вещей. Наши большие головы считают зазорным глядеть у себя между ног. У них только оды и гимны на уме. Вот и идем всем скопом на попятную, улепетьваем что есть сил, а сил уже нет...

Пробежав взглядом по серой равнине, окруженной низкими холмами, я и сам убедился, что битва проиграна. Увы, жизнь моя с сорванными погонами начиналась заново, выползая из маленького трусливого нуля. Я уже чувствовал по отношению к полю боя и всем оставшимся на нем лежать отвращение, досаду, брезгливость. Даже ромашка, цветущая у обочины, казалось, издавала зловоние.

Ветер бросил мне прямо в лицо мокрый лист от какого-то обобранного дерева, точно отвесил оплеуху. Сама природа давала понять, что мне здесь не место. Да и в небе чего-то явно не хватало. Со всех сторон доносились стоны и стенания... Что это за люди в красных колпаках? Куда они идут? Кого уносят? Я испугался собственного отражения в луже, позолоченной последними длинными лучами солнца. Неужели я так изменился за этот день? Неужели битва меня обезобразила? Кому я такой нужен — сплюснутый, протекающий, липкий? Разве не оставил я здесь, на поле боя, свои мысли и замечания, как какой-нибудь разудалый критик, писака, бумагомаратель? Увы, не верится в росчерк вечного пера.

Стоя посреди безжизненного поля боя, я был вынужден выбирать между беспорядочным отступлением и обдуманном бегством, и никто не посмеет меня упрекнуть в том, что я выбрал последнее. Сложность заключалась в направлении бегства. Главное, не угодить сдуру в стан противника, где сейчас уже наверняка пируют, рекой течет шампанское и хохот сотрясает фанерные перегородки. Не сомневаюсь, что меня бы там приняли за своего, но сейчас мне меньше всего хотелось веселиться. Я был настроен на дождь и стужу, на мглистые леса и непроходимые болота. Я тосковал по одиночеству, мне была невыносима мысль о танцах, о рюмках, о скрипящих стульях и хлопающих дверях.

Я не имел плана бегства на случай разгрома. Досадное упущение! Я полагался на командиров, которые, как мне думалось, знают, чем кончится битва, до того как она началась. К тому же мне еще с детства внушили, что поражения я не переживу. Но когда я увидел, что наши боеприпасы благополучно иссякли, рать полегла бездыханно, бинты и вата все ушли в дело, я понял, что пришло время удирать в направлении, противоположном тому, по которому мы (где теперь это пресловутое «мы») наступали. Счастливая мысль.

За какие-то мгновения я стал неуправляем. Хотите верить, хотите нет: даже если бы мне тогда всучили письменный приказ защищать «до последней кап-

ли крови» яму, в которой я никак не мог отдышаться, я бы не подчинился. Впрочем, никто мне ничего не приказывал. Бросив последнюю гранату (дура не взорвалась), я побрел в сторону холмов, покрытых копотью отгоревшего заката. Я шел медленно, спотыкаясь, потом вдруг начал бежать, вытаскивая сапоги из чавкающей красноватой жижи, падал, утыкаясь носом в размытый зернистый песок, карабкался по мшистым склонам, выдирая с корнем пучки жирной колючей травы. Ягоды лопались в руках и растекались густой белой кашей. Москиты облепили лицо и шею. Моросил дождь, всё вокруг было желтым, бурым, серым. Я тащился в неполном затмении, кляня постыдное будущее с перспективой мощных улиц и прижимистых домов с фальшиво горящими окнами. Слава меня обошла на цыпочках. Я лишился, и не по своей вине, посмертных наград. Я потерял себя на поле боя. Я бормотал что-то нечленораздельное. Я уже ничего не мог разглядеть в морковной тьме, я забылся.

2

Помешалось — и не только у меня в голове: леса и реки, города и пастбища, вагоны и баржи. Восход и закат поменялись местами. Душа ушла в пятки. Розы пахли рыбой. Странное и дикое встречало на каждом повороте. Меня не считали за человека, видя униформу болотного цвета и шрамы на лице. Меня впускали в дом только затем, чтобы выгнать. Меня кормили из отвращения, выставляя за дверь крупу в оловянной миске. От меня ждали злобы и хитрости. Я исхудал, истощился. Я стал ходячей дурной приметой. Я не укладывался в понятия о чести и достоинстве. Шагая по улице, я поднимал пыль, которая потом еще долго висела между домами эпическим барельефом.

Человек в черном плаще и черной шляпе, под которой висели длинные желтые волосы, звал меня к себе. Вдовец, он содержал двух маленьких дочурок. Я опрометчиво начал рассказывать о битве, но как только человек, не снимавший черной шляпы, узнал, в какой день произошло сражение и на каком месте, его красное лицо побелело от ярости, и с воплем «чтобы духу твоего здесь не было!» спустил меня с лестницы.

Женщина с рыжим пучком подала мне в окно пиджак своего покойного мужа. Я обменял пиджак на перочинный ножик у такого же, как и я, ободранного странника, который, быть может, тоже когда-то давно потерял всё, что имел, в исторической битве, но уже позабыл и время, и место, и свое звание.

Я упрямо продолжал числить себя в живых. Я любил спать на чердаках, где всегда навалом старых матрасов, под воркование голубей, а утром выбраться на крышу и смотреть сверху на дома, тронутые холодным румянцем.

Не раз меня препровождали в участок, сажали в сырую камеру по подозрению в краже и даже убийстве, молча били наполненными песком чулками, ни о чем не спрашивая, а на следующий день выпускали, сунув денег на дорогу и буркнув: «Проваливай!». Опять и опять эти бурые стены, исписанные стихами, решетка на окне под потолком, сломанный вентилятор в углу, как труп гигантского насекомого, засохшая блевотина на железной двери.

Всюду я рассказывал одну и ту же историю, которую случайные слушатели пропускали мимо ушей. Напрасно я кричал до хрипоты, топал, размахивал руками. За мной утвердилась слава невыносимого. Как будто так просто слить по-тихому и не мешать людям жить счастливо. Все, кого я встречал на своем пути, относились ко мне с брезгливым подозрением, особенно женщины, которые старались не подпускать меня к своим чадам. Я подавал им дурной пример. Я бросал тень на их будущее. Я не обещал им ничего хорошего в том возрасте, когда они смогут сознательно и добровольно исполнять приказы. Я заглядывал в освещенное окно, пугая ужинающую семью. А когда сердобольные позволяли мне говорить что вздумается, я вдруг терял дар речи, мямлил,

мычал, жестикулировал, рассказывал о том, что меня ничуть не занимало, но упрямо лезло на язык, сквозь зубы, изо рта, заглушая выстрелы и стоны. На меня находило онемение. Я откидывался назад, полуоткрытые губы в пене вместе с мутным взглядом закотившихся глаз неприятно поражали окружающих. Я ни о чем не думал, ничего не переживал в эти минуты... Я в эти минуты отсутствовал. Где же я был, неужто опять там, где пушки изрыгали пламя и кровь забрызгала низкие тучи?

Разве можно, говорил я, придя в себя, наверстать потерянные годы? Вложиться в одно телодвижение тьму недодуманных желаний? Сесть на колченогий стул и, протянув дрожащую руку к горячему стакану, попасть в точку, к которой безуспешно многие годы тянулась душа. Выйти, наконец, из дома, где не топят батареи и отключен свет, люди в очках кутаются в дырявые халаты и говорят шепотом...

В ходе боевой операции я превратился в жалкое зрелище. Кто захочет меня узнать, не узнает. Любившая разлюбит. А поскольку в характере моем уживаются, как вы, верно, успели заметить, тоска и тщеславие, мне не оставалось ничего другого, как взять себе другое имя, придумать себе новое прошлое, новую битву. Раскаиваюсь, что не внял короткому позыву и не дал стрелкача по мшистой тропе в темные дебри, и теперь мне приходится на каждом шагу выслушивать ахи и охи: «Вы еще легко отделались!», а за спиной: «Эка его угораздило!». Стыжусь всего того, до чего я в свое время не додумался. Глядишь, лежал бы сейчас на турецком диване и курил сладкие пахитоски.

Вы только представьте. Блестящий паркет, зеркала. Звон шпор. Вздох за ширмой, где зеленюю по золоту вьется дракон. Сдернутые с рук перчатки падают в китайскую вазу. Сопки, тростник, мошкара, многое пришлось пережить, прежде чем жесткая ладонь легла на мраморную грудь, вылупившуюся из корсажа. В ухе гудит эхо бесславной войны. Красный отсвет проигранной битвы на гладко выбритых желваках смуглого не улыбающегося лица. Так и мы, солдаты в строю какофонии, лезем из-под ковра, сходим с обойных орнаментов, течем с потолка, чтобы приласкать взопревшую тушу...

Мне довелось ночевать в пяти стогах сена. У каждого своя статья, свой запах и вкус, особенные сны ползут в голову сухими трубчатыми стеблями, но каждый раз спозаранок неизбежные вилы утыкаются в бок.

Я старался не оставлять следов, уничтожая за собой все, что могло намекнуть на мое приближение.

Чего я боялся?

Мне казалось, что власть переменялась, движется в обратном направлении.

Меня принимали за обычного в наших краях бродягу, никто не хотел верить, что я — это все, что осталось от великой армии. По сути, я был несчастным свидетелем их поражения. Мой вид пробуждал у них неприятные ассоциации с чем-то подсмотренным в детстве. Я воплощал что-то предосудительное.

Больше месяца меня продержали в клинике для душевнобольных, называя не известным мне именем, вбивая в меня дребедень чужой жизни, доказывая мне с документами на руках, что я — некто Козодоев Виктор Евстафьевич, руководитель хора слепых девочек. Какие-то люди посещали меня с пирогами и припрятанной водкой, разлапистые тетки и сухонькие, тряские мужички уговаривали смириться, покориться, поверить, не сопротивляться. Я устало кивал, вытирая жирные от их подношений пальцы о синий халат без пуговиц. То были смутные, вялые, недостоверные дни. Толстозадые медсестры курили и играли в домино на дворе, за чадающей кухней, а застенчивые, испитые санитары, пригладив кудри, задумчиво вальсируя, подметали длинные белые коридоры.

Я убежал однажды ночью, при дружелюбном молчании луны, перемахнув

стену с битыми стеклами, ободрав локти, вывихнув ногу. Плача от боли, ковчег по пустынной дороге, пока не упал.

Битва вошла в меня целиком со всем выводком причин и следствий. Она не переставала даже на бегу шевелиться во мне, не только в голове, но и в других более или менее приличных частях тела. Неужели я смогу от нее избавиться только вместе с моей жизнью, да и после смерти — неизвестно, под чьи мы встаем знамена.

В мое отсутствие, отчасти вынужденное, город сильно изменился, переделся, сбросил серую робу, нацепил прихотливый наряд. Всюду бегут светящиеся радуги, играют оркестры, со стен румяные гигантессы гарантируют качество мыла, в витринах подбоченились манекены, ночь блестит и сверкает, там, где прежде пугали сырые подворотни, гнилые заборы, загаженные стены, нынче зеленовато-голубым сиянием уходят в зеркальную глубину вереницы увеселительных заведений. Но увы, сделаешь два шага в сторону, и те же дохнут гнилые провалы, грязь клокочет, и хриплый голос поет, надрываясь, о полюшке-поле...

Бродя по городу, я слишком, слишком живо представлял свою неминуемую встречу с Машей (у меня в кармане терлось завещанное трупом письмо). Я видел, как она, застигнутая врасплох, отложит свернутое в рулон тесто и вытрет фартуком белые по локоть руки. Смахнет тылом ладони слезу со щеки. Приоткроет немо бледные губы. Слегка нахмурится, сдвинет брови, вглядываясь в то, что осталось от меня, с недоверием, как будто я призрак, поднявшийся с того света. Посмотрит через плечо, открыта ли дверь, чтобы при случае с визгом убежать. Суп в кастрюле, рыбный, закипит, заливая шипящий огонь. Она улыбнется, припоминая что-то далекое-далекое. Поспешит скрыть опасение, что я — другой, изменившийся, переиначенный, что ей со мной будет худо, да и она уж не та, горемычная, оба будем разочарованы, разбиты, припечатаны к серой промокательной бумаге, вздернуты на одной дыбе, натянуты, два чулка, на одну гладко выбритую ногу. Или того обыкновеннее, наше натужное молчание прервет гнусавый голос из соседней комнаты: «Машенька, голубушка, куда ты подевала горчичный пластырь?». Она сделает недовольное лицо, продолжая улыбаться, разведет смущенно руками, залопочет быстро, уклончиво: «Ты где остановился? Я тебе напишу, позвоню, а теперь уходи, я не виновата, сам знаешь, как это бывает. У меня было безвыходное положение, он мне помог, спас, я ему обязана жизнью...» Но уже доносится глухой кашель, шарканье ног, и в дверях появляется с платком у носа старик с козлиной бородой и рачьими глазами. Все это отчетливо пробежало через мои мысли, перепрыгивая легкие барьеры — яму с водой, песчаный вал, плетеную изгородь. Но ничто не могло сломить моей решимости разыскать любимую, увидеть хоть в щелочку, в каком бы то ни было виде, спасти или погубить. Только заляпанная объявлениями стена могла меня остановить.

Один из листков привлек мое внимание. Еще бы! Крупным шрифтом приглашались все желающие услышать рассказ «очевидца», вернувшегося с битвы, «унесшей так много драгоценных жизней». Петитом были обещаны «леденящие факты», «забавные анекдоты», «моральные наблюдения» и «душщипательные подробности, о которых газеты предпочитают умалчивать».

Так я оказался в тесном полуподвальном зале, набитом до отказа женщинами всех возрастов и габаритов. Лампы, установленные на заднике сцены, больно били в глаза слепящим светом, так что оратор, бодро скакнувший на возвышение, был едва различим, растянувшись длинной тенью по притихшим рядам. От запаха духов, от провисших декольте, от мелодичного поскрипывания стульев у меня кружилась голова. На меня косились. Я боялся раскашляться. Глядя на низкий потолок, испещренный желтыми вздутыми пятнами, я с трудом следил за речью оратора. Надо отдать ему должное. Выступал он великолепно. Брал аудиторию приступом, размахивал сразу обеими руками,

притопывал, кричал, вдруг переходил на доверительный шепот, чтобы взвиться пронзительным визгом.

То, что он рассказывал, не имело ничего общего с битвой, которую я испытал на собственной коже. Я был уверен, что он и близко не подходил ни к какому распыленному оружию, не оборонялся по колено в вонючей жиже, не втыкал штык в мягкое брюхо. Сражение рассматривал он с тех позиций, на которых еще не стоял ни один воин. Иногда казалось, что он вот-вот приблизится к истине, схватит битву за жесткую холку, но нет, опять не то, детский лепет, книжный морок, старческое брюзжание — силой правды отброшен назад в витиеватость.

Дамы были от него без ума. Они слушали его затаив дыхание, потев от напряженного восторга, тихо похрюкивая, они заполняли дружной овацией его редкие передышки.

После представления мне удалось, работая локтями, пробраться к паяцу через возбужденную, жарко сплоченную женственность (*Weiblichkeit*). Из-за слепящего света, крепкого запаха и лживых утверждений у меня раскальвалась голова. Я с трудом соображал, путаясь в лентах и отпихивая ворохи кружев. Но, совершив этот безжалостный бросок через тьму тел противоположного пола, я поставил себя в двусмысленное и щекотливое положение. Я откровенно набивался на публичный разговор с тем, кого хотел уличить во лжи. Так нетерпеливый террорист, взорвав дряхлого сановника, лишается цели для борьбы, которая и составляет содержание его подпольной жизни. Хорошо, если жандармы успеют его схватить. Опытные охотники неизменно промахиваются. Замахнувшись на обманщика, я признал себя обманутым до того, как мы встретились лицом к лицу.

Его лицо было розоватым, в волнах седины, с резким драматическим профилем, смягченным стеклышком пенсне. Спустившись со сцены, он говорил медленно, запинаясь, с трудом подбирая слова и почти всегда невпопад. Он как-то странно взглянул на меня, не то в испуге, не то с сомнением, но, к моему удивлению, сразу же согласился поговорить на стороне и даже пригласил к себе домой, чтобы избежать назревающего скандала.

Я хотел хорошенько расспросить его, прежде чем выдать мой титул («отход бойни»). Понудить его выложить свою ложь всю до конца, до нелепого конца. Пусть договорится до ерунды, выболтает штатскую душонку. Пусть скажет все, что может сказать, и тогда, после его длинных, обстоятельных периодов, я произнесу шепотом одно подлинное слово (я еще не придумал, какое именно), которое вдрызг сокрушит его искусный вымысел. Я отыграюсь на нем за пролитую кровь, за выпитые помои. Я разоблачу самозванца, изведу его тень, заставлю вертеться волчком под барабанный бой. Я до такой степени не сомневался в своей победе, что даже не задумался, почему этот благополучный говорун приглашает в свой дом неведомого голодранца, от которого можно ждать чего угодно (а не только грязных следов на ковре и желтых пятен на полотенце). Между тем я чувствовал, что, уклонись я от его приглашения, он стал бы меня уговаривать, прельщать, заманивать. Зачем-то я был ему нужен. Наверно, другой на моем месте из осторожности не принял бы приглашения, а если бы и принял, то уж точно бы не исполнил, откладывая со дня на день, но я был ослеплен легкостью предстоящего триумфа. Я заранее потешался выгодами превосходства. Ведь я был настоящий герой рядом с заурядным персонификатором.

Он жил в большом прямоугольном доме, в большой прямоугольной квартире, впрочем, обставленной довольно бедно. Проделав ряд суетливых движений между шкафом, этажеркой и столом, он показал мне фуражку генерала армии, горсть патронов, карту (поднес к лампе, чтобы стали видны дырочки, оставшиеся от флажков), строевой устав в роскошном сафьяновом переплете. Он считал, что эти предметы вполне доказывают правдивость его рассказов.

Он ждал от меня покорного одобрения, безоговорочного признания, а я едва сдерживал желание дать ему размашистую оплеуху и тем отчасти отомстить за обогнанных покойников.

Вошла его дочь и села в дальнем темном углу, бросив на меня испуганный и одновременно испепеляющий взгляд, отток глубокого внутреннего смятения. На ней было черное готическое платье со множеством складок и высокими башенками в плечах. На бледном вытянутом лице губы, казалось, были измазаны черной смородиной. Я прикинул, что ей лет двадцать пять, не больше.

То, с каким жаром ее отец предъявлял мне всё новые и новые доказательства своего участия в битве, говорило о том, что он и сам осознает шаткость своего положения. Будучи человеком пронизательным и по-своему умным, он уже понял, что мне от него нужно. Своим молчанием я опровергал его самые неотразимые аргументы. Он все чаще апеллировал к Богу, к *sic volo, sic jubeo, k credo quia absurdum*. Он терял терпение и вместе с терпением терял *fundamentum*, но тем отчаяннее хватался за всякого рода *mutatis mutandis* и *sine qua non*. В конце концов, он всегда мог выпроводить меня за порог, я был безопасен в любом качестве, но ему непременно нужно было убедить меня в том, что он не обманщик, как будто, обманув меня, он бы сам утвердился в своей правоте. В запале он не принимал во внимание, что согласиться с ним означало для меня перечеркнуть свою жизнь, усомниться в том, что я реально существую, молчу, слушаю. Дочь закрыла лицо руками и вышла из комнаты. Он не мог остановиться.

Под конец, в качестве *ultimum ratio*, он провел меня в комнату, где на круглом столике под стеклянным колпаком стояли друг против друга две группы солдатиков, желтых и синих. Он бережно снял колпак, выкатил медную пушечку, насыпал из холщового мешочка порошок, опустил шарик, поднес спичку. Раздался хлопок, и шарик, описав дугу, сшиб желтого солдатика с выражением миниатюрного идиотизма на лице. Он посмотрел на меня торжествующе, но тотчас смутился и, поняв, что на меня ничто не действует, с сожалением распрощался.

Моросил дождь. Зинаида догнала меня, тщетно пытаюсь раскрыть на бегу зонтик, ломая спицы. Некоторое время мы шли молча, не глядя друг на друга.

«Все верят папе, вы один не верите, — выпалила она обиженно, обреченно и продолжила, несмотря на мой протестующий жест: — Зачем вы над ним насмехаетесь? У вас еще вся жизнь впереди... Пусть он все придумал, это еще не повод, чтобы унижать человека! Знали бы вы, сколько ему и без ваших никчемных битв пришлось испытать на своем веку! Он воспитывал меня один, пожертвовал своим театральным призванием, чтобы одеть меня и накормить, отказывал себе в самом необходимом, чтобы купить мне коробочку леденцов, и вот теперь, на старости лет, вынужден изгаляться на подмостках и выслушивать насмешки от таких, как вы, безжалостных проходимцев!.. Нет, я не умаляю ваших заслуг перед родиной, вы достойно исполнили свой долг там, под открытым небом, но это не дает вам права отбирать у других людей их последнюю надежду на пропитание. Если у вас нет рассудка, имейте хотя бы жалость. Прошу вас, оставьте папу в покое!..»

Зонтик наконец с треском раскрылся. Это было похоже на приключение, маленькое, темное, сырое. Мы дошли до конца улицы. Я остановился и взглянул на Зинаиду вопросительно, не проронив ни слова. По ее бледному мокрому лицу, жутко освещенному фонарем, скользнула клетчатая тень смятения. Она явно хотела еще что-то сказать, но не решалась, ожидая, что я каким-то образом приду ей на помощь. Я стал прощаться, делая неловкие жесты руками в перчатках. В моей несчастной голове, как нарочно, пронеслись взрывы, клубы дыма, языки пламени, которых никакой дождь не потушит...

Я устроился работать на завод, хотя знал наверняка, что долго там не продержусь. Не та натура. Я ходил целый день по огромному сумеречному

цеху и, просовывая длинный носик жестяной лейки, подмасливал огромные вращающиеся колеса. Вокруг не было ни души. Несколько раз я видел из закопченного окна, как в ворота бесшумно въезжает автомобиль, на дорожку выскакивает управляющий, маленький, обрюзгший, и в окружении охранников семенит к административному корпусу.

Меня совершенно не интересовало, что я произвожу в течение рабочего дня. Никто не удосужился объяснить мне назначение механизмов, которые я ублажал скорее инстинктивно, чем по инструкции.

Однажды, выйдя из проходной, я увидел Зинаиду в черном платке.

— Нет, с отцом все в порядке, отправился в лекционное турне, обещал писать письма...

Она пошла быстро вдоль заводской стены, и мне не оставалось ничего другого, как идти за ней следом.

— Вы верите в будущую жизнь? — внезапно спросила она, не оборачиваясь, приподымая слегка край платья, чтобы не испачкаться.

— Я даже в прошедшую не верю.

Мы вышли в поле.

По-прежнему шагая чуть впереди меня, между серым-серым небом и желтым-желтым жнивьем, продуваемая ветром, она рассказала мне, больше всхлипами, чем словами, про своего жениха.

Когда начался набор в действующую армию накануне решающего сражения, Виктор получил повестку и, радостно взволнованный, прибежал к невестке. Каково же было его удивление, когда она у него на глазах порвала повестку и заявила с сухой дрожью в голосе, что, если он исполнит предписание, между ними все будет кончено. Она твердо сказала, что не намерена рисковать своим счастьем ради никому не нужных завоеваний. Она спрятала Виктора на чердаке, сама запирала дверь на ключ, носила еду и книги. Через неделю бедняга прыгнул с крыши, написав пальцем на пыльном чердачном оконце: «Не сдамся!».

На кладбище золотые березки в сером косом дожде тихо шелестели. По глянцевым плитам расползались бурые, желтые, алые листья. Зинаида дрожащим пальцем указала на могилу с невысокой усеченной пирамидой из темно-красного гранита. С удивлением я прочитал свои инициалы — одну и ту же букву, выбитую трижды. Зинаида пристально следила за моей реакцией в какой-то крошечной надежде...

Где-то я уже о таком читал. В казарме эта книжка ходила по рукам, любовно замусоленная, обтрепанная, без обложки, потеряв название и автора, пока полковник, грубый самодур, не нашел ее под матрасом у Степы Болотникова. Разразился скандал с последующей экзекуцией: «Солдатам такие книги читать не положено!». Допустим. Но разве не подобает солдату совершать непопозволенные поступки, пока начальство гуляет по саду, сшибая тростью одуванчики? На этом без преувеличения держится армия. Наказание должно быть неумолимым, но локальным. Здоровее расстрелять одного безвинного, чем высечь всю провинившуюся роту. Да — расправе, нет — искоренению. Я так считаю.

Под требовательным взглядом Зинаиды я не нашел ничего лучшего, как сделать вид, что не замечаю досадного совпадения. Я выдавил слова сочувствия, пробормотал что-то о судьбе, мол, никогда не надо терять надежды, и пошел по мягкой дорожке между могил туда, где за невысокой оградой начались некошенные луга — желтовато-бурые волны. Там я нашел кирпичный сарай и, отодвинув большую тяжелую дверь с праздным засовом, улежся в темноте на жесткую солому, пахнущую навозом, поджал колени, крепко обхватил себя, втянул голову, закрыл глаза и задышал ровно и редко... Увы, ничего не получилось, я не заснул. Мутный свет проникал в щель неплотно прикрытой двери. Не знаю, как долго я возился в жаркой, сырой, колючей темноте.

Когда я вышел из сарая, тучи отодвинулись, оставив в синей полосе яркое вечернее солнце. Я пошел обратно, хлюпая по траве. Зинаиды нигде не было видно. Я обошел кладбище вдоль и поперек. Думал, она ждет меня у ворот, нет, ветер катал по скамейке пустую бутылку.

Может быть, потому, что я нес в душе незаживающую рану, я не мог просто так, с бухты-барахты, лечь с ней в постель. Среди других причин назову то, что у нее были слишком длинные ноги и какие-то неживые груди. Я не хотел страдать еще и из-за нее. Мало было мне своих недостатков! Меня ломало от ее добродетели, эти серые глаза, тонкие светлые волосы. Она как будто не видела себя со стороны. Она отворачивалась, когда я подносил к ее лицу зеркало. В общей сложности мы провели вместе, живот в живот, не дольше недели, так и не найдя точки соприкосновения. Боюсь, что в ее памяти я отложился тупым, глумливым, жестоким, нечистоплотным слюнтяем. Страшно подумать.

— Хватит, хватит! — Сазонов вскочил, красный, сердитый, и, набычась, прошелся по комнате, протирая платком вспотевшие затылки. — Он болтает Бог знает что, а мы слушаем, разинув рты, и ни у кого нет духа его остановить!

По всему было видно, что безыскусный рассказ солдата задел в нем нечто глубоко личное, запрятанное под прелой листвой.

— Вы только взгляните на него, какое жалкое создание! Ему место за решеткой, в богадельне, под неусыпным надзором! Господа, я предлагаю немедленно прекратить эту комедию, иначе всем нам несдобровать.

Тамара сидела неподвижно, сурово, задумчиво. Что-то происходило за этой непроницаемой красотой параллельно рассказу, нежные пертурбации или чудовищный излом.

— А я полагаю, раз уж мы начали слушать, надо выслушать до конца, — вступился Брызгалов. Он оказался здесь случайно и поэтому использовал любой предлог, чтобы утвердиться среди завсегдатаев, но тем самым только подчеркивал то, что он посторонний, у которого на все имеется свое особое мнение, быть может, и справедливое, но никак не способствующее уже давно сложившемуся ритуалу общения. — Мне, как и вам, Андрей Евстафьевич, история кажется неудачной, неуместной, бессодержательной, но я бы предпочел дать человеку высказаться, а то ведь он таких бед натворит, что нам потом век не расхлебать...

У большого окна, до краев наполненного вечерней золотистой зеленью, стоял темным профилем Жемчужников, медленно поднимая и опуская руку с сигаретой. Он искоса наблюдал за Тамарой с печальным любопытством. Ему уже сейчас было ясно, что после рассказа солдата она не будет такой, как прежде. Она уйдет, не исполнив насмешливого обещания. То, о чем он запрещал себе думать и что запоздалой надеждой бубнило у него в голове, не воплотится ни сегодня, ни завтра. Счастье упущено.

Илья Шевырев, добродушный, неуклюжий малый с русой челкой и розовыми яблочками щек с белым ворсом по бокам, позевывал в углу, возле книжного шкафа. Он любил шумные застолья, веселые перепалки и шаловливые пикировки, а эти нескончаемые бессодержательные монологи действовали на него удручающе. Зачем только люди портят жизнь себе и другим! Жалуйся ветру, луне, зеркалу, а нас, проказников, оставь в покое. Если каждый вздумает рассказывать о том, что его преследует по пятам, горя не оберешься.

Его жена Варвара, всегда на что-то обиженная и чем-то раздосадованная, всегда начеку, сидела мешковато на диване, машинально взбалтывая на дне высокого стакана зеленую муть, от которой ее поташнивало. Уж не ради ли этого увечного Тамарка так нынче вырядилась? Перелетная птица. Сегодня в клетке, завтра на трухлявом пне. Жемчужников, бедняга, совсем иссох, курит одну за другой. Довела парня до и бросила. Чего они все в ней находят?

— Мы рискуем уподобиться, а я не желаю уподобляться! — выкрикнул Сазонов.

Солдат сжался, вобрал в плечи бритую голову с ямкой на темени, веки быстро захлопали, губы задрожали, он обводил собравшихся удивленным взором, не понимая, что в его рассказе вызвало такое негодование.

Он согласился продолжать только после того, как Тамара ласково улыбнулась ему и сделала ободряющий знак, но прежде попросил принести стакан воды.

Сазонов презрительно фыркнул и уселся в кресло, сложив свои маленькие ручки на груди:

— Я вас предупредил, а там как хотите, спохватитесь — будет уже поздно!

Солдат сделал несколько глубоких глотков, утерся рукавом, поставил стакан на край стола и продолжил так.

В те дни, являвшиеся без приглашения, я снимал скромную комнату с видом на заброшенные железнодорожные пути. Хозяйка квартиры, Анна Леонидовна, благодушно доживавшая шестой десяток, угощала меня по утрам гоголь-моголем и брусничным чаем. У нее были короткие седые волосы, слегка подкрашенная улыбка на смуглом лице и живые влажные глаза. Она курила крепкие душистые папиросы, отставляя маленькую фиолетовую руку с узкими желтыми ногтями. Любила вспоминать о том времени, когда все было во много раз лучше и дешевле, ее Паша выдывал петли на аэроплане, а она, расстегнув лифчик, загорала на балконе. Мы тогда ничего не боялись, говорила она.

Изредка ее навещала дочь, губастая блондинка на высоких каблуках. Раньше она жила в одолженной мне комнате, и я время от времени находил там беспризорные вещицы, чья принадлежность красоте не вызывала у меня сомнения, прячущиеся по углам, забившиеся в щели...

Догадывалась ли она, обходя в коридоре постояльца, прилизывающего свои патлы перед зеркалом, что в его пользование попадают детали ее детства, отрочества, юности? Мне бы хотелось думать, что она сама подкладывала их в укромные места, пока я бродил с жестяной лейкой по пустынному цеху. Случалось, я находил одну и ту же тесемку, одну и ту же бусинку. Я был переполнен всякого рода странными желаниями.

По вечерам мы тихо сидели с Анной Леонидовной в гостиной, я читал газеты, всё подряд (я тогда сделался ненасытным читателем газет), а она плела из разноцветных ниток узоры, которым не видно было конца.

Частенько к нашим досугам присоединялся сосед по лестничной клетке, костистый, плешивый, проклеенный, в кургузом пиджаке, в засаленных очках, с масляными усиками, он не расставался с портфелем цвета копченой селедки. «Там важные документы», — шепелявил он с комичной значительностью и с ударением на «у». Он неизменно приносил с собой бутылку водки и сам же в одиночку ее распивал, решительно отказываясь от еды: «Я сыт, сыт по горло макаронами!» Захмелев, этот маленький субъект, тыкая в меня трясутся пальцем, донимал заплетающимися упреками. Он утверждал (и это утверждение явно доставляло ему удовольствие), что я преступно нарушил устав, или, как он выражался, артикул, своевольно покинув поле боя. Пока не пришел письменный приказ об отступлении, я должен был стоять до последнего, и, даже если бы я оказался этим последним, мне надлежало сдать в плен по всем правилам, а не бежать безоглядно. Я не только нарушил букву закона, но и предал своих павших товарищей. Я спас не жизнь свою, а все то безжизненное во мне, что накапливалось годы и годы. Я изменил своему предназначению, совершил побег, дал стрекача... Чем больше он выпивал, тем труднее было мне, сквозь рябь газетных столбцов, бороться с его пустыми речами.

Однажды, когда мы вот так сидели втроем за столом, в прихожей раздался

тревожный неуверенный звонок. Сосед посмотрел на часы и стремительно осушил рюмку. Анна Леонидовна остановила пальцы, перебирающие желтые и голубые петли. Я бросил на стол газету и пошел открывать. За дверью стоял человек небольшого роста, обрюзгший, небритый, в помятом сером костюме, на шее какая-то грязная розовая тряпка, ботинки в рыжей глине, ссадины на лбу, в руке портфель, точь-в-точь как у соседа, цвета копченой селедки. Я с трудом узнал в нем управляющего заводом, на котором я имел несчастье работать.

— Дайте передохнуть, я все расскажу, — проговорил он, пригладив перед зеркалом волосы на висках, потом, извинившись, прошел в туалет, потом долго возился в ванной, чем-то гремя и шумно булькая водой, потом вошел в комнату, щупая пальцами выбритый подбородок, сел грузно на пустой стул. Ранка на скуле набухла кровью. Невольно вспомнилось: «Битва, как бритва...».

Сосед машинально придвинул к себе бутылку. Анна Леонидовна, отложив свои петли, закурила, благодушно ожидая объяснений.

— Мы не имели случая встретиться раньше, — сказал управляющий, обращаясь ко мне, — о чем я теперь искренно сожалею. Но я о вас многое знаю, мне докладывали о вашей добросовестной работе, ваше усердие, прилежание, самоотверженность не прошли незамеченными, хотя и не были оценены по заслугам, тут уж мы все перед вами в долгу, но, смею вас уверить, вы всегда у нас были на особом счету... Все же вас, наверно, удивляет, почему я решил обратиться именно к вам... В наше время нелегко найти порядочного человека... Я попал в неприятную проделку... В беду, если угодно... Долго объяснять... Скажу без обиняков... Конкуренты, завистники, проще говоря, враги хотят меня устранить, физически... Им не довольно того, что я унижен, подавлен, поражен, что производство остановлено, колеса не вращаются... Даже если я пойду на все их условия, а я знать не знаю, что это за условия, они успокоятся только тогда, когда меня уничтожат. Тут уже никакого практического смысла, принцип удовольствия. Только одно может меня спасти... Я должен у вас переночевать, в безопасности, а завтра спозаранок проберусь к начальству и попытаюсь перехватить инициативу... Я хотел первым нанести удар, но не получилось, промахнулся, не того прихлопнул, подставное лицо... Они окружили меня подставными лицами... Охрану скупил оптом... Девочки разбежались кто в чем был...

Рассказ управляющего произвел странное впечатление на нашего соседа. Глаза залоснились, по лицу, как по натертому воском паркету, прошмыгнуло довольство неvezучего человека, которому вдруг подфартило, мелко, некрасиво, подло. Прежде трусливый и грустный, он бы теперь перегрыз горло всякому, кто встал бы на его пути. Зря, что ли, я всю жизнь тянул лямку, горбатился? Он впопыхах спихнул на пол рюмку и, тщетно пытаясь убрать жирную гримасу радости, пятясь к двери, забормотал, что ему пора, пора, давно пора домой, он устал, устал, засиделся, хочет спать, завтра много работы, не обесудьте, прощайте, прощайте...

После его ухода мы долго сидели молча, я, хозяйка, управляющий, прихлебывая чай, прислушиваясь к тиканью часов, жужжанию лампы, потрескиванию половиц, приходящих в себя после удаления подвыпившего соседа. Каждый был погружен в свои мысли, которые вряд ли пересекались. Я вспоминал серые в черных ресницах глаза, оторванные руки, ноги.

— Ну что же, и нам пора на боковую, вам завтра рано вставать, — сказала наконец Анна Леонидовна, складывая нитки в коробку. — Я вам постелю здесь, на диване.

Укладываясь спать, я нашел под подушкой, между матрасом и спинкой кровати, маленькую розовую расческу, которая, пополнив коллекцию полунамеков, еще долго не давала мне уснуть, пробирая тонкими зубьями: «чеши, чеши, чеши...», — а когда я проснулся, точно после продолжительной и опас-

ной операции, за окном было пасмурно, по рельсам, забитым полынью и чертополохом, моросил дождь, я с трудом разглядел на часах половину десятого.

В гостиной было темно и пугающе тихо. В желтоватом сетчатом сумраке поблескивал золотыми гранями стакан на столе. Тут же лежал перочинный нож, испачканный в томатном соусе. Продребезжало стекло вслед отъезжающей машине. Хрустнула под каблуком раздавленная рюмка. Желудок отошелся робким бурчанием. Волосы зашевелились за ушами.

Большой черный диван был пуст. Одеяло сбилось в башню. Грушин лежал на полу, навзничь, по-лягушачьи согнув ноги под голым пузом. Из оскаленного рта свесился черный язык. Выпученный глаз был похож на вишню. Я бы не узнал Грушина, управляющего заводом, если бы на его месте мог лежать кто-либо другой.

Признаюсь, я впервые видел такую грубую смерть воочию. Как известно, на поле боя не умирают, а приобщаются к бессмертию, получив повестку на пир богов. Даже карикатурный урод, павший в бою, становится писанным красавцем. Павшие в бою на одно лицо. Нечему удивляться и не на кого обижаться. Здесь же, в городе, я стоял над безжизненным телом, бесшумно истекающим, в ужасе и недоумении. Я не испытывал к зарезанному Грушину ни сострадания, ни отвращения. Да и где он сейчас, этот самый Грушин, на какой ветке, в какой норе? Я смотрел на его труп, как на инструмент моей злосчастной судьбы. И чем дольше я на него смотрел, а смотрел я не на него, а по сторонам, подмечая то стакан, то портфель, то коробку с цветными нитками, и *дольше* в общей сложности продолжалось не дольше двух-трех минут, тем ближе я подходил к пониманию того, что подозрение в первую очередь падет на меня и я не сумею найти для себя убедительных оправданий. Убийство было подстроено в расчете на халатность следствия и предвзятость суда. Я легко укладывался в схему заурядного преступления. Я был одинок, беспомощен, несчастлив.

Я схватил портфель цвета копченой селедки, раскрыл, но внутри оказалась всякая дрянь — рваная оберточная бумага, грязная вата, пустая бутылка. Из чего следовало, что мне должно немедленно унести ноги, сматывать удочки.

Но прежде чем удалиться быстрым шагом, возмущая сапогами радужные лужи, руки в карманах, воротник шинели приподнят к ушам, поля шляпы опущены на глаза, розовый платок закрывает роток, я позвонил в дверь соседа по лестничной клетке. Царапнула надежда, а ну как ему что-нибудь известно, и он сможет мне объяснить, растолкует, выведет из затруднения. От битвы осталась сухая ботва. Гул канонады сжался в комариный писк. Тянется запах.

Дверь открыла какая-то тетеря в халате, с подвязанной щекой.

— Дормидонт? Да уж неделя как съехал... И не заплатил, гаденыш...

В который раз с горькой усмешечкой я осознал, что нахожусь в глубоком тылу и без всякой надежды вновь попасть на передовую. Дождь кончился, но солнце не воссияло.

Я дошел до щербатого угла кирпичного дома, обогнул помойный бак с приставленным к нему трехногим стулом, завернул в узкий проход, охраняемый арбузной коркой, слева — ряд низких окон в решетках, кукла на подоконнике между темным стеклом и тюлевой занавеской, стопка книг, микроскоп, справа — ограда, торчащая вверх чугунными пиками с прихотливыми завитками, за которой внизу дворик, выложенный красной плиткой, деревья в кадках, несколько женщин в одинаковых желтых платьях сидят на скамейке, в нише большая глиняная ваза, плющ взбирается по стенам, тихо журчит вода. По крутым ступеням я спустился на улицу, прямо к дому с двумя балконами и заколоченной накрест дверью. Показался магазин «Бумага и перья», на пороге стоял человек с обритой головой, дальше — два дома в обнимку, нырнул под арку, темную и сырую, чуть не упал в глубокий ров, идущий вдоль улицы, на дне в воде черные трубы, через ров перекинуты деревянные мостки.

Высокая сетка окружает пустую площадку, провода протянуты наискосок, опять моросит.

— Откуда у тебя эта шляпа?

Вася Тарарыкин, друг моей юности, маленького росточка, светловолосый, с рыжеватой бородкой, в очках, помог мне освободиться от намокшей шинели и, подергивая пальцы, смущенно смотрел, как я стаскиваю сапоги. Хотел помочь, да не помог, и впрямь, давненько не виделись.

— Как тебе нравятся мои апартаменты?

Фисташковый пол, канареечные стены. В рамках горностаевые фотографии барышень в неудобных положениях. Маленькая, хрупкая, шаткая мебель.

— Присаживайся.

Лампа светит матово.

— И все-таки я часто вздыхаю по той квартирке на пятом этаже, помнишь, где мы выпили столько стаканов жидкого чая, выкурили столько папирос, обсудили столько вечных вопросов! А помнишь качающийся стол, чашку с васильком, занавески какого-то буро-красного цвета, матрас, на котором ты, кажется, впервые познал все подвохи любви, пока я просиживал в библиотеке, зевая над Шпетом... Как ее звали — Лиза, Маша, Зина? Впрочем, я редко теперь ночью дома, одна хористка помогает мне уснуть, у нее проблемы со зрением, но какие ляжки, ты бы видел!..

Тарарыкин работал корреспондентом в газете и при этом был похож на человека, которого однажды и навсегда сбили с толку, рассредоточили. В период инфантильных вылазок и ювенальных мытарств я был для него если не образцом, то уж во всяком случае примером для подражания. Я умел внушить ему свое превосходство, а Вася привык полагаться на мой расчет. Ему удобнее было идти по моей указке, особенно в темные, дождливые, осенние вечера, нежели по своему почину срывать засов с двери и залезать на чердак. Вряд ли я ошибался, полагая, что он до сих пор сохранил на дне души, как осколок зеркала, это расположение к подражанию. Мое неожиданное появление должно было пробудить в нем чувство признательности. С одной стороны, он мог убедиться, что в итоге меня превзошел: пока я терял дни на поле боя, в грязи и пламени, он всходил по лесенке, совершенствуя мозг и упражняясь в любви. Теперь уже он мог оказать мне покровительство, помочь, вытащить из беды. С другой стороны, с тех пор, как мы расстались, случайно, бессознательно, ему наверняка не хватало человека, на которого он мог опереться, переложить ответственность. И хотя он много потрудился, чтобы зашторить эту нехватку, довести ее до женских пропорций (вот они — фотографии на стенах), все-таки моя незваная особа должна была мгновенно воспроизвести в нем конфигурацию отживших страхов и вернуть надежду на избавление от них. Бывает так приятно течь по старому руслу и вращать жернова мельницы, которая давно уже ничего не мелит. Я давал ему случай замкнуть оба направления — легкой удачи и невыносимой зависимости.

— Ну, рассказывай.

Он озабоченно взглянул на часы и осторожно опустился в маленькое кресло, на тонких ножках.

— Прямо с линии фронта? Таких, как ты, сейчас много в городе...

Я торопливо развернул канву своих злоключений. Он слушал с недоверчивым сочувствием, пощипывая лишнюю на лице бородку, кивая невпадом головой и поправляя сползающие очки. Под конец, когда я все чаще и чаще терял нить повествования, он насупил, надувая щеки, встал, прошелся по комнате, сел и — вдруг рассмеялся совершенно беззаботно.

Я уставился на него, как на идиота.

— Извини, — сказал он, улыбаясь, — я вспомнил, как мы с тобой искали в парке сокровища и нашли в овраге, под прелой листвой, одноногий манекен, у которого из всех дыр текла вода.

Раздался телефонный звонок. Тарарыкин, пройдя в соседнюю комнату, поднял трубку.

— Мне надо бежать, — сказал он, вернувшись. — Всучили срочное задание... Солдат, вроде тебя, укокошил управляющего крупным оборонным предприятием, надо сгонять на место, пронюхать, пока не выветрилось, распротисить... Дождь кончился?.. Вообще-то я не занимаюсь уголовной хроникой. По этой части у нас Сашка Гмырин дока, но он сейчас, как нарочно, болен, лихорадка, лежит пластом. Я сам в отделе искусств подвигаюсь — гастроли, премьеры, фестивали.

Он вдруг засуетился:

— Ты, должно быть, голоден, не стесняйся, холодильник битком, чего хочешь, свиные отбивные, куриные грудки, утиный паштет. Не стесняйся. А я уж побегу. В наше время главное — поспеть. Завтра еще всласть поговорим, нам есть что вспомнить...

Я и не думал, что в ближайшие часы меня ждет участь какого-то Гмырина. Как только Тарарыкин, путаясь в реверансах, наконец ушел по заданию, я почувствовал настоящее бурление, влажный подвижный жар, вскипающий ужас, тяжелый пар, я еле-еле дополз до — не знаю, до чего я дополз, меня бросало из стороны в сторону, слева направо. Маша в зеленом платье и желтых чулках ходила под именем «какофония». Я прикрывал мятой газетой незаживающую рану. Поезд увозил нас, уложенных и сплоченных, в район боевых действий. Мы смотрели в щели на убегающие поселки, поля, перелески. Всего не расскажешь.

Очнулся я на железной кровати, под суконным одеяльцем, у бугристой стены, в длинном коридоре, в больнице. Мимо меня сновали врачи, что-то бурча себе под нос, в бороду, записывая в блокноты, расходились по палатам, не обращая на меня внимания. Я не представлял научного интереса, банальный случай. Само заживет. Туда и обратно проплывали медсестры, все как на подбор, высокие, грудастые, в очках, таинственно шелестя и поскрипывая (что за амуниция у них там, под халатами, диву даешься). Они не только не смотрели в мою сторону, но даже и не отворачивались. О лекарствах я мог только мечтать. Добрая старушка, уборщица, приносила мне в трясущемся кулаке слипшуюся горсть разноцветных таблеток: «Кушай, сердешный». Да иногда парень с распухшим прыщавым лицом, прислонив костыли, садился на край моей кровати и молча ковырял спичкой в зубах. Хоть бы Зинаида пришла, думал я, но нет, не приходила, обидел я ее чем-то...

Удивительно, что они еще и не соглашались меня выписать. «Мы не можем поручиться за ваш подорванный организм», — так мне сказали в регистратуре. Впрочем, когда я однажды утром собрал под кроватью свои манатки, набросил шинель и, пошатываясь, вышел из больницы, никто не удосужился меня остановить, удержать, предостеречь...

За время моего отсутствия даты так основательно перемешались у меня в голове, что даже сейчас, по прошествии стольких лет, я не могу с уверенностью сказать, что было вчера, а что будет завтра. Поэтому то, что маленький анекдотец, которым я хотел бы заключить свой рассказ, не имеет подходящего места в моей жизни после битвы и вообще как будто не укладывается во времени, вовсе не значит, что я его выдумал с начала до конца на потеху публике.

Железная лестница, изломанная между площадками битого, хрустящего под сапогами кафеля, гулко гроыхала в темном колодце лепящихся квартир. То справа, то слева неожиданно распахивались провалы с наклонно простертыми улицами и веером крыши, деревья тянули сучья, испачканные бурой листвой, мгlistые тучи наплывали откуда-то сбоку, студеной сыростью бил порывистый ветер, рука в ужасе хваталась за острую ленту вихляющих перил, каблук скользил по накрену ступеней...

Сразу за дверью, ободранной, хлипкой, висела маленькая кособокая ком-

ната, в которой уместились и кровать, и круглый стол в углу, и шкафы, и раковина умывальника, и газовая плита, не повернуться, не передохнуть, сесть пришлось вплотную, уткнувшись коленями под скатертью.

— Как тебе удалось меня найти?

Лиза ласково сощурилась, поглаживая свой необъятный живот круговыми движениями. На ней липло жуткое оранжевое платье, собранное под грудью, похожее на ночную рубашку.

— Я не искал.

На столе, задвинутом в угол, на скатерти в пятнах — лоскуток, катушка, иголки, очки в толстой оправе. На коричневом покрывале низкой кровати глубокая вмятина. Окно сплошь затянуто рыженькой занавеской. Лампа светит янтарными волнами, расплываясь по стенам шафрановой рябью, потолок сонно колышется. Обступают шкафы со множеством выдвижных ящичков, как в библиотеке. На краю раковины с грязной посудой висит зеленая резиновая перчатка. На полочке под рукой рулон туалетной бумаги.

«Что все это значит?» — вертится вопрос, как волос на языке.

Мне вдруг представилось, что я барахтаюсь в большом сачке лжи, в этой мягкой воронке из грязной марли, глупый мотылек, треплющий крылышки.

Вновь перед глазами, как встарь, замаячила бурая неровная равнина под серым неровным небом, взрывы, крики, лужи крови, пустые ржавые ведра рядом вдоль окопа...

— Что Островский?

Она встретила вопрос настороженно, покусывая горчичные губы, помолчала, неуверенно взвешивая.

— Его в тот же день зарубил неприятель. А я вот теперь ему произвожу потомство. От боевых схваток к родовым.

Из дыры мохнатого тапочка лезет, как подосиновик, большой палец с накрашенным ногтем.

Чем отчетливее я припоминал поле боя, тем меньше у меня оставалось шансов вернуться в будущее хотя бы для того, чтобы поцеловать Лизу в узкий вырез. Лиза отбрасывала меня назад, в дым и грязь, время уходило у меня из-под ног, как шаткая лестница, я цеплялся за край поля боя, картонный, намокший, расплывающийся в клочья.

Она провела ребром ладони по скатерти, сгребая сухие крошки, бросила на пол. Пронзила задумчиво длинной иглой катушку с красными нитками.

— Видишь, я совсем беспомощна. Некому слова сказать, все одна да одна. Родители от меня отказались, я не оправдала их ожиданий. Продаю помаленьку что осталось от Яшеньки, тем и перебиваюсь. Он был такой добрый, доверчивый, мне во всем потакал, рискуя жизнью. А как он любил! В наши нахрапистые времена уже так не любят, прихотливо, вкрадчиво.

И опять — выстрелы, выстрелы, выстрелы...

Я бросился к окну через удерживающее меня движение Лизы, откинул занавеску, но получил в лицо лишь глянцевою черноту, по которой расплылось пористым блином пятно, пляшущее на меня мои же глаза. Как быстро поднялась ночь! Сконфуженный, я опять забился в угол и принялся рассказывать ей срывающимся голосом о пяти стогах сена, о Зинаиде, о солдатиках, о перочинном ноже...

— Ты ведь, Витек, не думал встретить меня опять? — перебила Лиза, кокетливо пихнув мягким животом.

И тут же призналась, что пишет стихи, на туалетной бумаге, что-то длинное-длинное со случайными женскими рифмами на -ала, -ила.

— И знаешь, сколько мне заплатили за описание ваших подвигов? На это не проживешь и одного дня!

Пишет жаром откуда-то снизу, из-под стола, из тьмы, как батарея парового отопления.

— Бедный, ты, наверно, весь изранен, изувечен.

Она осторожно дотронулась до моей тужурки.

— Голоден?

Тяжело вскарабкалась на стул и сняла со шкафа картонную коробку с какими-то стеклянными банками, промасленными кулками, свертками.

И хотелось рассказывать незнакомцу в холодном трясущемся поезде, закрывшемуся газетой: «...И на попе у нее сквозила печать лукавства...».

За шкафом неприметно белела дверь в соседнюю комнату. Во время нашего бестолкового разговора Лиза тревожно туда поглядывала, так что у меня появилось подозрение, уж не хоронится ли кто там?.. Я заразился ее беспокойством и напряженно перебирал, кто из моих встречных-поперечных мог бы сейчас распахнуть дверь и войти, прервав нашу беседу, кто подслушивает, затаившись, сжимая кулаки, скрипя зубами?..

Пропуская мимо ушей ее журчание, я считал, сбиваясь со счета, загибая воображаемые пальцы, и получалось, что прошло не больше трех месяцев с тех пор, как я ее видел в последний раз в автомобиле, застрявшем среди свекольных грядок. Когда же она успела так раздаться? Вот незадача! Что-то смешалось в моих перипетиях и перпетуях. Я уже предвидел с содроганием мочевого пузыря, что сегодня ночью в моем беспокойном сне эта неприметная белая дверь с шумом распахнется, и в комнату решительно войдет человек в цивильном костюме, с гладко выбритым лицом несколько обезьяньего типа, подзабытый, в очках. Так вот чем он занимался там, на поле боя, отсиживаясь в воронке, пока мы шли напролом!.. И все, что я так долго и трудно вынашивал — битва, история, подвиги, приказы, выстрелы, — жажнет во тьму беспмятства, как риторический хлам, по буквам, разлетится, рассеется и — не о чем мне будет рассказывать вам, господа.

— Останься со мной, — виноватая детская улыбка скользнула вымученно с увядших горчичных губ и прорезала щеку тонкой морщинкой. Влажно блеснул припухший серп нижнего века, дрогнул, встрепенулся.

— Не могу.

— Не хочешь? — вздохнула она машинально и, раздвинув колени, придерживая живот, полезла куда-то под скатерть, в темноту, достала мешочек, как оказалось — с трофеями.

— Хотя бы возьми что-нибудь с собой на память...

И до сей поры меня не отпускает скорбное выражение ее маленькой живой руки.

Борис Рыжий

Горнист

* * *

Когда бутылку подношу к губам,
чтоб чисто выпить, похмелиться чисто,
я становлюсь похожим на горниста
из гипса, что стояли тут и там
по разным пионерским лагерям,
где по ночам — рассказы про садистов,
куренье,
чтение «Графов Монте-Кристов»...

Куда теперь девать весь этот хлам,
всё это детство с муками и кровью
из носу, чёрт-те знает чьё
лицо с надломленной бровью,
вонзённое в перила лезвиё,
всё это обделённое любовью,
всё это одиночество моё?

* * *

Господи, это я
мая второго дня.
— Кто эти идиоты?
Это мои друзья.

На кусочки не рви,
мерзостью назови,
ад посули посмертно,
но не лишай любви

На берегу реки
водка и шашлыки,
облака и русалки.
Э, не рви на куски.

високосной весной,
слышь меня, основной!
— Кто эти мудочёсы?
Это — со мной!

* * *

Ничего не надо, даже счастья
быть любимым, не
надо даже тёплого участия,
яблони в окне.
Ни печали женской, ни печали,
горечи, стыда.
Рожей — в грязь, и чтоб не поднимали
больше никогда.

Жалуйтесь, читайте и жалейте,
греясь у огня,
вслух читайте, смейтесь, слёзы лейте.
Только без меня.

Не вели бухого до кровати.
Вот моя строка:
без меня отчаливайте, хватит
— небо, облака!

Ничего действительно не надо,
что ни назови:
ни чужого яблоневого сада,
ни чужой любви,
что тебя поддерживает нежно,
уронить боясь.
Лучше страшно, лучше безнадежно,
лучше рылом в грязь.

* * *

Не во гневе, а так, между прочим
наблюдавший средь белого дня,
когда в ватниках трое рабочих
подмолотами били меня.

чтобы эти милиционеры
стали не наяву, а во сне.

И тогда не исполнивший в сквере,
где искал я забвенья в вине,

Это ладно, всё это детали,
одного не прошу тебе, ты,
блин, молчал, когда девки бросали
и когда умирали цветы.

Не мешающий спиться, разбиться,
с голым торсом спуститься во мрак,
подвернувшийся под руку птица,
не хранитель мой ангел, а так.

Наблюдаешь за мною с сомнением,
ходишь рядом, урчишь у плеча,
клюв повесив, по лужам осенним
одинокие крылья влача.

* * *

А.П. Сидорову, наркологу

Синий свет в коридоре больничном,
лунный свет за больничным окном.
Надо думать о самом обычном,
надо думать о самом простом.

(Дочитаю печальную книгу,
что забыта другим впопыхах.
И действительно музыку Грига
на вставных наиграю зубях.)

Третьи сутки ломает цыгана,
просто нечем цыгану помочь.
Воду ржавую хлещешь из крана,
и не спится, и бродишь всю ночь

Да, плевать, но бывает порою...
Всё равно, но порой, иногда
я глаза на минуту закрою,
и открою потом, и тогда,

коридором больничным при свете
синем-синем, глядишь за окно.
Как же мало ты прожил на свете,
неужели тебе всё равно?

обхвативши руками колени,
размышляю о смерти всерьёз,
тупо пялясь в больничную стенку
с нарисованной рошей берёз.

* * *

С антресолей достану «ТТ»,
покручу-поверчу —
я ещё поживу и т.д.,
а пока не хочю
этот свет покидать, этот свет,
этот город и дом.
Хорошо, если есть пистолет,
остальное — потом.
Из окошка взгляну на газон
и обрубок куста.
Домофон загудит, телефон
завонит — суета.

Надо дачу сначала купить,
чтобы лес и река
в сентябре начинали грустить
для меня дурака.
чтоб летели кругом облака.
Я о чём? Да о том:
облака для меня дурака.
А ещё, а потом,
чтобы лес золотой, голубой
блеск реки и небес.
Не прохладно проститься с собой
чтоб — в слезах, а не без.

* * *

Не надо ничего,
оставьте стол и дом
и осенью, того,
рябину за окном.

и чтоб включал с утра
Вертинского сосед.

Не надо ни хрена —
рябину у окна
оставьте, ну и на
столе стакан вина.

Пускай о розах, бля,
он мямлит из стены —
я прост, как три рубля,
вы лучше, вы сложны.

Не надо ни .ера,
помимо сигарет,

Но право, стол и дом,
рябину, боль в плече,
и память о былом,
и вообще, вообще.

* * *

Я по листьям сухим не бродил
с сыном за руку, за облаками,
обретая покой, не следил,
не аллеями шёл, а дворами.

чьи-то книги читал, много пил
и не видел неделями сына.

Только в песнях страдал и любил.
И права, вероятно, Ирина —

Так какого же чёрта даны
мне неведомой щедрой рукою
с облаками летящими сны,
с детским смехом, с опавшей листвою.

* * *

Осыпаются алые клёны,
полыхают вдали небеса,
солнцем розовым залиты склоны —
это я открываю глаза.

Где и с кем, и когда это было,
только это не я сочинил:
ты меня никогда не любила,
это я тебя очень любил.

Парк осенний стоит одиноко,
и к разлуке и к смерти готов.

Это что-то задолго до Блока,
это мог сочинить Огарёв.

Это в той допотопной манере,
когда люди сгорали дотла.
Что написано, по крайней мере
в первых строчках, припомни без зла.

Не гляди на меня виновато,
я сейчас докурю и усну —
полусгнившую изгородь ада
по-мальчишески перемахну.

* * *

Не покидай меня, когда
горит полночная звезда,
когда на улице и в доме
всё хорошо, как никогда.

Ни для чего и ни зачем,
а просто так и между тем
оставь меня, когда мне больно,
уйди, оставь меня совсем.

Пусть опустеют небеса.
Пусть станут чёрными леса.

пусть перед сном предельно страшно
мне будет закрывать глаза.

Пусть ангел смерти, как в кино,
то яду подольёт в вино,
то жизнь мою перетасует
и крести бросит на сукно.

А ты останься в стороне —
белей черёмухой в окне
и, не дотягиваясь, смейся,
протягивая руку мне.

* * *

*Эля, ты стала облаком
или ты им не стала?*

Стань девочкою прежней
я — школьником,
с белым бантом,
рифмуйся с музыкантом,
в тебя влюблённым и в твою подругу,
давай-ка руку.

Не ты, а ты, а впрочем, как угодно —
ты будь со мной всегда, а ты свободна,
а если нет, тогда меняйтесь смело,
не в этом дело.

А дело в том, что в сентября начале
у школы утром ранним нас собрали,
и музыканты полное печали
для нас играли.

И даже, если даже не играли,

так, в трубы дули, но не извлекали
мелодию, что очень вероятно,
пошли обратно.

А ну назад, где облака летели,
где, полыхая, клёны облетели,
туда, где до твоей кончины, Эля,
ещё неделя.

Ещё неделя света и покоя,
и ты уйдёшь вся в белом в голубое,
не ты, а ты с закушенной губою
пойдёшь со мною

мимо цветов, решёток, в платье строгом
вперёд, где в тоне дерзком и жестоком
ты будешь много говорить о многом
со мной, я — с богом.

г. Екатеринбург

Михаил Кураев

Разрешите проявить зрелость!..

рассказ

Извините, но вы не производите впечатление человека, окончившего театральный институт.

Скорее всего, так оно и есть.

Значит, вы не знали Ивана Васильевича Локтева.

Святой человек, если говорить коротко.

Если говорить чуть подробнее — заведующий кафедрой марксизма-ленинизма.

Он с первого же взгляда производил впечатление святого человека, даже чисто внешне.

Широкое открытое лицо служило прекрасным украшением несколько округлой головы и точно в нее вписывалось. Волос на голове было немного, но они так удачно обрамляли чело и легкий белый пух так чудесно пропускал свет с любой стороны, что над головой Ивана Васильевича то и дело вспыхивал мягким сиянием нимб, подтверждавший его права на посредничество между смертными людьми и бессмертными идеями. Он был высок и широк. Нельзя было придумать лучшего обличия для провозвестника исторических судеб человечества.

По ходу вступительных экзаменов я, пожалуй, никого не запомнил из тех, кто подвергал меня специальным испытаниям и проверял на пригодность служения Талии и Мельпомене.

Отбор был строже, чем при определении в десантные войска или в подводный флот. На наш факультет вообще набор вели раз в два года, так что давка была несусветная.

В числе двадцати счастливицков я попал в список прошедших специальные испытания и допущенных к экзаменам по общеобразовательным предметам.

Скорее всего, я мог видеть Ивана Васильевича среди многочисленной профессуры, участвовавшей в специальных экзаменах. Но там был туман, азарт на грани отчаяния, схватка с судьбой, бой с закрытыми глазами, а это не лучшее состояние для наружных наблюдений, особенно за небожителями. Они парили где-то высоко-высоко, в таком поднебесье, все эти Вивьены, Зоны, Макарьевы, Скоробогатовы, Данилов Сергей Сергеевич, что сил едва хватало на то, чтобы спасти глаза от блеска лауреатских медалей, расслышать и понять, о чем тебя спрашивают, а не зная ответа по существу, попытаться рассмешить.

— Что вы знаете о системе Станиславского?

— Ничего. — Сказано звонко и честно. После этого главное выдержать паузу, но такую, чтобы не успели задать следующий вопрос. — Вы же не хотите услышать общие места и дежурные пошлости. Если бы я знал что-нибудь существенное о системе Станиславского, в чем тайна этого фундамента отечественной театральной школы, я бы не в приемную комиссию пришел, а в отдел кадров и нанялся бы преподавателем.

Смеющийся не убьет. Смех расслабляет.

Не убили. Пропустили в чистилище, хотя «Мою жизнь в искусстве», увы, не читал, а названия специальных трудов «великого реформатора сцены» выдолбил накануне собеседования.

Перед экзаменом по истории СССР, последним экзаменом, вроде бы самым простым, волновался чрезвычайно. Уж бслсно обидно было бы сорваться и недополучить решающий балл.

Волновался не один я.

Ринувшийся вместе со мной тащить билеты в первой четверке красивый, статный малый, прекрасного телосложения да еще и со счастливой армяно-еврейской внешностью, судя по всему, вовсе струхнул, когда украшавший деисусный чин экзаменаторов, огромный, как князь Потемкин-Таврический, Иван Васильевич призвал его отвечать.

Красавец сел перед экзаменаторами и молча на них уставился.

И здесь я услышал запомнившийся мне на всю жизнь голос, широкий и покойный, как разлив Волги.

— Мы понимаем, товарищ Доглатов, что вы волнуетесь... — и каждое «О» выглядело огромным спасательным кругом, готовым вытащить безнадежно утопающего из любой пучины. — Ваше волнение нам понятно. Прочтите, пожалуйста, первый вопрос в вашем билете.

Сказано это было так, что, казалось, и одно только прочтение вопроса уже может вызвать и удовлетворение и сердечное умиление главноэкзаменующего.

Доглатов проглотил слюну и обреченно прочитал: «Первая русская революция 1905–1907 гг.».

— Очень хорошо. — Иван Васильевич повернул голову в сторону сидевших от него слева, потом в сторону сидевших от него справа, чтобы убедиться в том, что и на его помощников чтение первого вопроса в билете произвело самое благоприятное впечатление. — Вот и хорошо. Вы сосредоточьтесь, товарищ Доглатов, и припомните, как оно было...

Взгляд Ивана Васильевича светился отеческой нежностью, можно было подумать, что в побледневшем брнете он узнал того славного мальчонку, Гавроша с Васильевского острова, который в памятный январский день 1905 года, под свист солдатских пуль, казацких нагаек и жандармских шашек, нес за пазухой и в карманах патроны с Трубочного завода, что за речкой Смоленкой, на баррикаду, перегородившую Пятую линию.

Экзаменуемый растерянно оглянулся на нас, ища защиты, на лице его мелом был написан ясный вопрос: «Мне показалось или передо мной сумасшедший? Припомнить девятьсот пятый год...».

Я мог только подмигнуть товарищу по попытке: дескать, держись, все там будем.

— Вспомнили? Пожалуйста, расскажите, — буквально попросил любезнейший Иван Васильевич.

Августовское солнце ударило в окно, и над головой Ивана Васильевича вспыхнул нимб.

Тут-то Доглатов все и вспомнил.

— Начиная с конца прошлого века, и особенно в начале века нынешнего, двадцатого, — уточнил абитуриент, — пресс самодержавия усилил свое давление на российский пролетариат... — Ответчик проглотил слюну. — Особенно остро это давление чувствовалось в Санкт-Петербурге, переживавшем бурный рост промышленного производства...

Иван Васильевич повел головой направо, потом повел головой налево, надо думать, для того, чтобы убедиться, внимательно ли слушают члены комиссии увлекательный рассказ абитуриента — очевидца интереснейших событий.

Легким кивком прекрасной головы Зевса, потерявшего, правда, кудри при переходе в другую веру, Иван Васильевич поощрил отвечающего.

И десяти фраз не произнес экзаменующийся, как Иван Васильевич, дели-

катно дождавшись, когда Доглатов очередной раз будет сглатывать слюну и переводить дыхание, проговорил:

— Достаточно. Переходите ко второму вопросу.

...Нас приняли, и на первом же комсомольском собрании курса, насчитывавшего всего пятнадцать человек минус один — несоюзная молодежь, меня избрали комсоргом. Несоюзную молодежь представлял бывший пожарник из театра «Ленсовета». Он провалился на предыдущих экзаменах и полтора года обхаживал Мельпомену в брезентовых рукавицах и с огнетушителем. Вступать в комсомол в двадцать лет он считал неудобным, и мы не настаивали.

Лекции Ивана Васильевича, приобщавшего нас к марксистско-ленинской премудрости, посещались исправно.

Читал он лекции размеренно, как истинно мудрый человек, он умел о предметах архисложных говорить просто, доходчиво и достаточно медленно, чтобы легче было записать, не полагаясь на память.

К сожалению, не все в лекциях Ивана Васильевича можно было записать.

Для наглядности он разного рода социальные и политические катаклизмы великолепно изображал руками.

«...И пролетариат, — голосом, рассчитанным как минимум на находившийся неподалеку действующий Спасо-Преображенский собор, а не на аудиторию в десять человек, интригуяюще произносил Иван Васильевич, слегка нагнбался и выставлял вперед левую ладонь, — вновь оказался... — и здесь правая рука, с пальцами, сжатыми в увесистый кулачище, вздымалась и замирала над правым плечом, — между молотом и...»

Вот после этого «и» все отрывались — кто от конспектов, кто от писем на родину, кто от мечты покурить, и заворожено смотрели на проповедника, эффективнейшим образом замыкавшего свою нешуточную мысль.

«...между молотом и... наковальней!» — молот правой руки с размаху опускался на левую ладонь-наковальню, и все понимали, просто видели своими глазами, каково пришлось очередной раз и без того забитому пролетариату.

После удара молота о наковальню, который был для нас всякий раз полной неожиданностью, мы переглядывались, сдержанно, но с пониманием трагической ситуации чуть кивали друг другу, как делают на похоронах, потом приводили свои встревоженные чувства в порядок и тихо погружались в первобытное состояние.

Мы, быть может, справедливо полагали, что не разумом, но сердцем надо внимать священному писанию, и звуки, парившие в аудитории и ласкающие бархатистым рокотом наш слух, уже сами по себе достаточны для того, чтобы сподобиться марксистско-ленинской благодати.

Исправно посещавших лекции Иван Васильевич на экзаменах никогда не мучал, а другой раз (предлагая припомнить) чуть ли не весь ответ на билет сам и выговаривал, но из непонятной скромности больше четверки за такой ответ не ставил.

Молодо-зелено! Надо было все-таки записывать Ивана Васильевича, потому что многие бриллианты его красноречия едва ли будут отысканы на пепелищах разгромленных марксистских кафедр.

Запомнилось то, что повторялось, служило рефреном, где опытный сказитель как бы отдыхает, набирается сил, чтобы обрушить на внимающих новые глыбы мысли.

Так же как в Евангелии особая симпатия и сочувствие проявлены к нищим духом, так в лекциях Ивана Васильевича особое предрасположение оказывалось пролетариату.

Однажды, пребывая в тоскливой лекционной дреме, я очнулся, услышав задушевное признание, освещающее по-новому современное противостояние Труда и Капитала. Сказано было с отеческой нотой: «Пролетариату еще рано смеяться, пусть смеются его враги».

О ужас, я едва не рассмеялся, неведомо от чего, от глупости, конечно, но все-таки хватило ума сообразить, что смех мой в этой ситуации прозвучит смехом из стана врагов пролетариата. И страх превозмог дурацкую смешливость.

Кстати, кто-то нашелся и стал мелко кивать головой, подтверждая непрекаемую мудрость услышанного, и мы все закивали, и лица наши были испуганными и серьезными, как никогда.

Среди мануальных иллюстраций к лекциям была одна, заставлявшая наши физиономии почтительно цепенеть из почтительного же сочувствия к нелегкой судьбе сносящего всяческие тяготы и при этом неистребимого пролетариата.

«...Буржуазия, — по-ленински делая ударение на «а», загадочно возглашал Иван Васильевич и поднимал перед собой правую руку с открытой ладонью, жестом египетского жреца с допотопных фресок. Мы догадывались, что пролетариату готовятся очередные неприятности, отрывали головы от столов и устремляли полные тревожного предчувствия взоры на священнослужителя.

«...И буржуазия оказалась, — воздетая рука вздымалась над головой, и ладонь крепко припадала к широкому красному загровку заведующего кафедрой, — на длани у пролетариата!»

В наших глазах в эту минуту Иван Васильевич мог видеть бездонные колодцы, полные сочувствия пролетариату, «на длани» которого жировала и бесчинствовала буржуазия. Конечно, на «вые» ей было бы комфортнее, но из песни слова не выкинешь.

Не уверен, что Ивану Васильевичу в его пасторском служении удалось взрастить в нас любовь к пролетариату, но органическое отвращение к самодовольной буржуазии и пошлой буржуазности наш курс испытывает и по сей день.

Марксизм-ленинизм занимал в нашем обучении место нешуточное, но профилирующей дисциплиной не был, поэтому знакомство с этой удивительной и мудреной наукой носило характер, ну... как бы созерцательный.

Но и созерцательного знакомства с марксизмом оказалось достаточно для того, чтобы мы могли сознавать человеческую личность как часть всемирной истории со своей зоной ответственности.

На третьем курсе мы уже перешли к самому интересному и обжигающе близкому этапу развития марксизма-ленинизма.

Однажды, в гробовой тишине аудитории, заполненной всеми восемью студентами курса (остальные семь за три года были отсеяны за профнепригодность) Иван Васильевич голосом уже родным и привычным бубнил про Постановления ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства, принятым в 1946–1948 годах.

С отеческой добротой наш пастырь разъяснял нам, как нужно относиться к Постановлениям, чтобы на экзамене не попасть впросак.

А относиться надо было просто.

Постановления в принципе, в основных своих положениях, верны и сохраняют свою целебно-направляющую силу и по сей день, и во веки веков. А вот что касается примеров, иллюстрирующих совершенно верные и незыблемые истины, изложенные в исторических Постановлениях — вот здесь допущены неточности, обнаруживающие издержки культа личности и отступления от ленинских принципов руководства искусством.

— В одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году Центральный комитет нашей партии посчитал ошибочным указание на творчество Зощенко и Ахматовой, на работу журналов «Звезда» и «Ленинград», на творчество ряда советских композиторов как не отвечающее требованиям социалистической культуры...

Нелегко дались эти слова Ивану Васильевичу, но он их произнес, он выговорил не дрогнувшим голосом, но, выговорив, замолчал, чтобы перевести дыхание, достать платок и вытереть раскалившуюся шею, ту самую знаменитую «длань», куда нет-нет и забиралась наглая буржуазия.

Понимая состояние Ивана Васильевича, мы все сочувственно молчали, и вдруг, в тишине, где было слышно, как платок скользит по влажной шее почти покаявшегося марксиста, раздалось:

— Спыхватились...

Это несчастный потомок вольнолюбивых армяно-еврейских племен, товарищ Доглатов, спокойно рисовавший быков, громоздящихся на коров, в тетрадке для конспектов по марксизму, не поднимая головы от своего стада, бросил как бы между прочим: «Спыхватились...»

Рука Ивана Васильевича с платком замерла уже не знаю где, на вые или на длани, но лицо его, на минуту растерянное и беззащитное, стало наливаясь краской.

Так краснеют только тонко воспитанные люди, когда при них происходит известного рода шумное неприличие.

А вот анималист-любитель и головы не поднял и ничего не увидел, а только чуть откинулся на спинку стула, как делают настоящие художники, оценивая свой труд, оглядел лист, покрытый коровами и быками, что-то поправил у одной из буренок в вымени.

— Что вы сказали, товарищ Доглатов? — произнес Иван Васильевич так выразительно, что в словах этих были слышны и приговор, и горестное сочувствие подлежавшему неминуемой казни. — Что вы сказали?.. Встаньте, товарищ Доглатов, и скажите, кто «спыхотился»? Центральный комитет нашей партии «спыхотился»? Вы думаете о том, что вы говорите?

Тут только коровий живописец почувствовал опасность, но явно ее недооценил.

— Ну... Вы же говорили... Постановление...

— Молчи, идиот! — вовремя подсказал правильную линию поведения единственный представитель несоюзной молодежи, знавший, как надо бороться с огнем и как надо локализовывать очаги возгорания.

— Вы сказали, что Центральный комитет «спыхотился»? — с саркастическим сочувствием проговорил Великий инквизитор.

— Про Центральный комитет он не говорил, — смело сказал бывший пожарник из театра «Ленсовета», чувствовавший себя в огне как в родной стихии.

— Что говорил товарищ Доглатов, где говорил, почему говорил, мы будем выяснять не здесь и не сейчас. Я попрошу вас, товарищ Доглатов, покинуть аудиторию.

Мы попробовали изобразить этакий шум на сцене, вроде ропота толпы, но Иван Васильевич был неумолим и непреклонен.

— Я не понимаю... — начал было Доглатов, но тут же был оборван.

— Мы видим, товарищ Доглатов, что вы очень многого не понимаете. И мы вам объясним ошибочность занятой вами позиции, но не здесь и не сейчас. Сейчас вы покинете аудиторию, а мы продолжим наши занятия.

Обреченному еретiku не оставалось ничего иного, как сложить в свой обтрепанный портфель без ручки пожитки со стола и всеми доступными способами, гримасами, жестами рук и поднятыми чуть ли не до ушей плечами изображая глубокое недоумение, покинуть аудиторию.

После лекций мы пошли с Доглатовым на нашу кафедру к мастеру курса Елене Львовне.

Она уже все знала и была не на шутку расстроена.

Доглатов попытался сказать все, что он думает об Иване Васильевиче,

Центральном комитете и его исторических Постановлениях, но Елена Львовна его резко оборвала:

— Что за мальчишество! Что за школярство! Я вижу, вы совершенно не понимаете серьезности положения. Речь идет о вашем исключении из вуза. — Мастер с первого курса обращалась к нам по именам, но только на «вы». — Для начала поймите всю серьезность положения.

— Исключать? За что?! — Доглатов чувствовал себя среди своих и мог возмущаться и негодовать. — За одно слово?

— Могли бы это одно слово придержать за зубами, не маленькие, в конце концов, — Елена Львовна была вдвойне сердита еще и оттого, что не видела реальных путей выхода из этой каши. — Ваш отец, кажется, член партии?

— Еще какой! — сказал Доглатов.

— Я попробую упросить Ивана Васильевича побеседовать с вашим отцом, может быть, они скорее поймут друг друга и найдут шадящее решение.

И, представьте себе, это средство погасить пожар было испробовано, но результата не принесло.

Отменять партком по делу студента Доглатова Иван Васильевич был не намерен. И это притом, что отец Доглатова был не только коммунист, но и почти воин. И через тринадцать лет после окончания войны он, работавший в военные годы в кронштадтской флотской газете, продолжал ходить в военноморской фуражке и кителе со стоячим воротником.

О чем уж там говорили товарищи по партии, никто не знает, но упорство Ивана Васильевича выглядело неодолимым и зловещим.

Я был предупрежден, что буду тоже вызван на партком как комсорг.

Освобожденного секретаря парткома в нашем в ту пору крохотном театральном институте не было, и роль эту исполнял преподаватель диамата Шеремет. В нашем институте он оказался, можно сказать, в результате несчастного случая. Его вышибли с марксистской кафедры из какого-то крупного военного вуза на неудачную попытку опубликовать (в легальной печати, естественно) свой труд о противоречиях социализма.

В пору своего увлечения отражением законов диалектики в теории драмы я нашел в Шеремете доброжелательного и полезного собеседника. Он даже собирался познакомить меня со своим неопубликованным трудом.

Я подождал у входа в институт, когда после занятий появится Шеремет, и пристроился к нему как бы в попутчики.

Идти в партком и разговаривать там мне показалось бесполезным.

Я прямо спросил, как помочь Доглатову.

— А как ему помочь? Никак ему не поможешь. Вы же Ивана Васильевича лучше и дольше меня знаете. — Кстати сказать, и самому Шеремету через год укажут на дверь.

Мы молча плелись по Моховой, дошли до улицы Белинского и повернули к цирку.

На мосту через Фонтанку Шеремет остановился.

Именно здесь, на просторе, не в задавленной домами улице, ему пришла в голову вдохновенная мысль.

— Вы комсорг? Попробуйте убедить Ивана Васильевича в том, что воспитательная работа с Доглатовым поможет вам сплотить вашу первичную организацию идейно и организационно. В то время как потеря товарища в конце третьего курса произведет гнетущее, тяжелое впечатление, ляжет несмысленным позором на весь коллектив. В то же время коллективное отмывание позора, возвращение блудной овцы, в данном случае, извините, барана, поможет морально-политическому росту всех членов организации. И обязательно скажите, что Доглатова больше всего гнетет то, что он поставил под сомнение идейную грамотность всего курса, опозорил факультет и бросил тень на весь институт.

Пьесы с подобными монологами уже лет пять как исчезли из театрального репертуара, а мы с товарищем из парткома, стоя на мосту, сочиняли что-то в духе Сурова и Софронова.

Прежде чем пойти к Ивану Васильевичу, я долго придумывал первую фразу: мне казалось, что от нее все будет зависеть, она и решит дело.

«Наш коллектив...» «Наша комсомольская организация...» «Я пришел к вам от имени и по поручению...»

Хорошо, очень хорошо. Конечно, эти слова партийных акафистов должны ласкать розовое ухо верного марксиста, но решительно ничего не гарантировали.

Наверное, и отец Доглатова тоже говорил какие-то правильные слова.

А что, если придумать слова не совсем правильные, тогда Иван Васильевич попытается в них разобраться как ученый, втянется в разговор, а там уже пробиться к сердцу педагога и наставника, глядишь, будет и полегче.

Я вошел в кабинет Ивана Васильевича легко, без робости, с изображением чуть ли не радости на лице, как входят в патентное бюро люди, наконец-то изобретшие вечный двигатель и готовые осчастливить приунывшее человечество.

— Иван Васильевич, — со сдержанной комсомольской радостью произнес я: — разрешите проявить зрелость!

Иван Васильевич оторвал голову от журнала «Знамя» и посмотрел на меня так, будто я не вошел, а спустился на парашюте и собираюсь неизвестно что проявлять.

— Что вы хотите проявить, скажите более понятно, — попросил Иван Васильевич.

— Знаете, Иван Васильевич, я вот только вам признаюсь, никому больше в мире: я как комсорг даже отчасти рад этому злосчастному случаю с Доглатовым. «Партия нас учит к чему?» — повторил я слово в слово любимую лекционную притказку Ивана Васильевича. — Если я правильно понимаю, партия нас учит работать с людьми, воспитывать людей и беречь. Вы преподали нам прекрасный и, ох, какой горький урок! И мне как комсоргу в первую очередь. И люди вас правильно поняли. Знаете, как на собрании, на курсовом комсомольском собрании (которого, естественно, не было) меня пропесочили, стружку снимали, как с Буратино!..

Иван Васильевич чуть было не улыбнулся, услышав слова из заветных пьес, каких больше не ставили ни в учебном театре, ни на ленинградской сцене, но тут же, видимо, вспомнил, что настоящему поклоннику пролетариата и улыбаться, пожалуй, рано.

— Иван Васильевич, можно я с вами не как с заведующим кафедрой, не как с доктором исторических наук, не как с ученым, а как с отцом поговорю?.. Будет ли у меня как комсорга, будет ли у всей нашей первички возможность вот так, дружно проявить зрелость? А Доглатова знаете, что больше всего угнетает?.. — дальше пошел текст, чье авторство принадлежало Шеремету.

У меня в запасе была еще льстивая ложь о том, что у Доглатова лучшие конспекты лекций Ивана Васильевича, по ним весь курс к экзаменам готовится, но этого не понадобилось.

Я пошел другим путем.

— Вы нас учите к чему? — дерзко спросил я Ивана Васильевича, исподволь приравнивая его к партии в целом, и тут же сам ответил на заковыранный вопрос: — Вы учите нас ощущать себя в потоке, движимом историческими силами. Я так понимаю.

Иван Васильевич удовлетворенно кивнул, увидев наконец-то всходы на грядке, обильно политой его словами.

— Ошибка Доглатова в чем? В попытке встать на минуточку — всего лишь на одно мгновение! раньше с ним ничего подобного не было! — в попытке шагнуть в сторону от исторического потока. Решил взглянуть на поток

со стороны, как сторонний наблюдатель. Типичная детская болезнь объективизма. Мы на комсомольском собрании именно так и расценили произошедшее. Мы объяснили, и Доглатов понял.

— И что же он понял? — в голосе появились нотки увлечения.

— Он прежде всего понял, что нельзя историческую картину отдавать на откуп относительной точке зрения, — проговорил я, с трудом понимая смысл произносимых слов.

Иван Васильевич на мгновение задумался, а потом закивал примерно так же сочувственно, как кивали ему мы, когда слушали о бесконечных мытарствах пролетариата.

— Вы правильно ставите вопрос. И правильно сделали, что пришли, но поймите и другое: секретарь парткома, товарищ Шеремет, настроен очень решительно.

— Иван Васильевич, вы же недооцениваете вес вашего авторитета, вашего слова, вашего опыта. Чтобы товарищ Шеремет да к вам не прислушался — не поверю. В общем, я возвращаюсь к тому, с чем пришел. Вы нас три года пестовали, растили, вкладывали в нас, вот наконец можно проверить, сумеем мы парню помочь или дадим слабину. Так что разрешите проявить зрелость!

Иван Васильевич был покорен.

А широкая его душа умела прощать, прощать по-отцовски.

Через два года мы заканчивали вуз.

Дипломную работу Доглатов защитил бы почти с блеском, если бы его официальный оппонент, человек, только что принятый на работу в наш институт, пожелал больше говорить о достоинствах представленной работы, а не о своих немалых познаниях в областях, близких к теме диплома.

И вот — заветный финиш, последний экзамен, самый последний, к нему, вершинному, допускаются лишь те, кто защитил диплом, — госэкзамен по марксизму-ленинизму!

И снова, и первая скрипка, и смычок дирижера, и фанфары славы — все в руках Ивана Васильевича.

Самый крохотный в городе, а может быть, и в стране вуз, где на одного преподавателя приходилось пять и шесть десятых студента, по какой иронии истории в этот самый безобидный на свете вуз нам открывал двери его святейшество Иван Васильевич, и он же, величественный и лучезарный, должен был в последний раз распахнуть перед нами все те же двери, чтобы мы летели куда глаза глядят, поскольку проблема распределения на нашем факультете всегда была болезненно острой.

Институт наш гнезвился в здании, служившем недолгие предреволюционные годы официальной квартирой быстро мелькавших премьер-министров Российской империи. Знать, судьба у этого чудного здания, украшенного на высоком фронте готической розой, быть площадкой для испытания людей на способность к притворству и исполнению написанных другими ролей.

...Как уж повелось со вступительных экзаменов, так продолжалось и все пять лет: мы с Доглатовым шли отвечать в паре первыми. Иногда первым отвечал я, иногда он, но томиться и быть третьими у нас не хватало терпения.

Вот и на госэкзаменах я первым взял билет и пошел готовиться к ответу, даже не заглядывая в вопросы. Следом за мной взял билет Доглатов и, мельком взглянув на вопросы, тут же объявил: «Я готов отвечать», — и пригладил свободной от билета рукой аккуратную короткую стрижку плотных черных волос, ограничившись лишь такой подготовкой к испытанию.

Председатель Государственной комиссии, Народный артист Советского Союза, многократный лауреат Сталинских и Государственных премий, дивный артист и чудесный человек Константин Васильевич Скоробогатов трудился на сцене аж с 1905 года, побывал во множестве сценических передраг и

умел находить выход, даже работая с крепко пьющими звездами Академического театра им. Пушкина (бывш. Александринский), по-стариковски заерзал на стуле, не зная, как быть, и беспомощно посмотрел вылинявшими под светом софитов глазами на полного сил Ивана Васильевича.

Иван Васильевич призыв о помощи принял и возгласил:

— Товарищ Доглатов, может быть, не надо так уж спешить... заканчивать институт... Продлите вашу студенческую молодость, — шуткой, одобренной всей Госкомиссией, украсил свой совет добрейший пастырь.

Доглатов чуть отступил от стола, где двухъярусным белым веером были разложены билеты, взглянул мельком в свой и повторил:

— Я готов. — И в этом «я готов» можно было услышать: «Я-то готов, но если не готовы меня слушать вы, то могу и подождать, а так — извольте!»

Нет, не зря мы все-таки пять лет ходили в театральный институт, хоть и не на актерское отделение, интонацией и мы могли сказать куда больше, чем двумя короткими словами.

Иван Васильевич обвел вопрошающим взглядом многолюдную в час начала ответственной и почетной работы Госкомиссию и, собрав благосклонные кивки, дававшие ему полномочия произнести окончательное решение, произнес с отеческой укоризной:

— Мы бы советовали вам, товарищ Доглатов, не спешить, но отвечать без подготовки — ваше право.

— Если можно? — со светской учтивостью сказал Доглатов.

Иван Васильевич молча указал ему на стул, стоявший перед широким столом Госкомиссии.

— Первый вопрос, — не дожидаясь предложения начать, объявил Доглатов. Та скороговорка, которой он это проговорил, и то, как он сел на стул, почти на краешек, выдавали в нем человека спешащего, которому некогда рассиживаться, если речь идет об исполнении простых, но необходимых формальностей. — «Диктатура пролетариата на современном этапе развития социализма», — все той же скороговоркой произнес Доглатов, как пробует легкими пальцами пианист-виртуоз свой инструмент перед тем, как вложить весь свой гений в первый аккорд.

— Пожалуйста, мы готовы слушать, — успел вставить Иван Васильевич, забыв на мгновение, что главный-то все же Скоробогатов, а не он. Но Председатель Госкомиссии, служивший еще в Императорских театрах, чтобы обозначить свое участие в проверке глубины марксистских знаний, поощрительно кивнул седенькой головой.

— Как известно, — в ту же секунду выпалил Доглатов, — на современном этапе развития социализма диктатура пролетариата отмирает.

— Что-о-о? — раздалось под сводами великолепного тенцевального зала, где вершилось испытание идейной зрелости. Стены в зале были покрыты зеркалами, отражавшими, в свою очередь, огромные зеркальные окна, за которыми на другой стороне Моховой был ТЮЗ.

Я поднял глаза от своих бумажек, и мне показалось, что грузная основополагающая фигура добрейшего Ивана Васильевича противу законов физики, и аэродинамики в особенности, просто зависла над стулом.

Доглатов не моргнув глазом, и неморгающий глаз обратил прямо к Ивану Васильевичу.

Мы все-таки заканчивали театральный институт!

— Как известно, — Доглатов сделал паузу, чтобы удостовериться, слышит ли, понимает ли его Иван Васильевич, не расслышавший и не понявший в первый раз, — как известно, диктатура пролетариата... на современном этапе... развития социализма... — Доглатов говорил так, будто бы диктовал, и любой член Госкомиссии мог без напряжения за ним записывать его ответ: ...на современном этапе... развития социализма... крепнет.

— Что-о-о?! — Иван Васильевич приподнялся над стулом еще выше.

Члены Госкомиссии, в подавляющем большинстве своем, а уж председатель особенно, смутно представляли себе судьбы диктатуры пролетариата на современном этапе развития и потому тут же украсили свои лица выражениями какой-то рассеянности, чтобы, не приведи господь, Иван Васильевич не привлек их для внесения ясности в вопрос, где оба противоположных ответа не годятся.

Иван Васильевич не заметил замешательства в своем стане, поскольку ни в чьей помощи не нуждался, и готов был один на один сойтись с любым оппортунистом.

— Я же сказал, — уже совсем другим голосом, лишь хранящим приметы былой уверенности, проговорил Доглатов: от-ми-ра-ет...

Иван Васильевич взял себя в руки, утвердился на стуле и от возгласений воздержался, он только молча помотал своей зарозовевшей от шеи до лысины головой, и жестом и цветом подавая сигнал опасности.

— Креп-нет... — с надеждой сказал Доглатов.

Иван Васильевич покраснел еще гуще и так же неумолимо отмел предлагаемую точку зрения мотанием головы, как лошадь отмахивается от чуждой ей мухи.

— Отмирает? — уже явно вопросительно сказал Доглатов.

И снова Иван Васильевич отверг неприемлемое предложение.

— И не крепнет? — в голосе Доглатова уже звучало любопытство, обнаруживавшее жажду знаний.

Иван Васильевич был истинным педагогом и проповедником. Видя жаждущего, он не мог не напоить его спасительной влагой окончательного знания.

— На современном этапе развития социализма, товарищ Доглатов, диктатура пролетариата... — и здесь рука жреца привычно вознеслась ввысь. Мы уже подумали, что опять пришла пора невезучему пролетариату вместе с его диктатурой лечь между молотом и наковальней, да не тут-то было. Выпростав вперед указательный палец, Иван Васильевич ткнул воздух в направлении ответчика и сообщил: — приобретает... новые... формы!

Нет, мы не зря учились в театральном институте.

— Вы совершенно правы, Иван Васильевич, — подтвердил Доглатов. — На современном этапе диктатура пролетариата действительно приобретает все новые и новые формы. Например, народная демократия, которую мы можем наблюдать в странах социалистического лагеря, — не что иное, как одна из современных форм диктатуры пролетариата...

Госкомиссия сбросила рассеянное выражение со своих чуть ли не перепуганных лиц и с неподдельным интересом стала внимать рассказу о чудесных преобразованиях диктатуры пролетариата.

По совокупности ответов на три вопроса Госкомиссия единодушно вынесла оценку — «отлично».

Вот мы и окончили институт, окончили только семеро.

Самое трудное, самое опасное, самое скользкое, казалось, уже позади.

Сразу после окончания института Доглатова пригласили на работу в литературную часть огромного молодежного театра.

Через год он уже вступил в партию, а еще через полтора получил три года тюрьмы за воровство личных вещей у иностранных туристов.

В суде во время чтения приговора я стоял рядом с его отцом.

Он был в неизменном своем флотском кителе, который можно носить без рубашки, потертая морская фуражка лежала рядом на стуле, он стоя слушал долгое перечисление украденных сыном шмоток, головы не поднимал и только нет-нет глотал какие-то таблетки.

А потом младший брат Доглатова, став писателем, уедет в Америку, напи-

шет там брызжущий остроумием рассказ «Мой старший брат» — о тюремных приключениях своего старшего брата — и пришлет его в самый многотиражный в ту пору советский журнал «Огонек».

На этом надо бы ставить точку, но мне не нравится этот конец.

Не нравится вовсе не потому, что жрецы художественной правды дружно скажут, что же это такое получается: не внимал благоговейно товарищ Доглатов Вечному завету — вот и стал воришкой?

Не станет отвечать автор на этот вопрос.

Не нравится мне этот конец дикостью своей, нелепостью и тем, что вроде бы и не вытекает из всего сказанного выше.

Так сочини другой, эго дело!

Сочинить-то оно, конечно, можно, дело нехитрое, только даже богам не дано бывшее сделать не бывшим.

И не дозволено автору, доверившемуся жизни, почитающему жизнь много умней себя, власть в сочинительство и подправить историю в удобную для понимания мудрецами сторону.

А как бы хотелось и к этой истории, а еще лучше — и ко всемирной (чего стесняться!) сочинить такой конец, нарисовать росчерком легкого пера такую точку, с которой бы открылись разом все связи и смыслы, высветленно проявились бы все скрытые сущности...

Да где уж, не до того, хоть бы в этой крохотной историйке свести концы с концами.

Стало быть, с одного конца — бессмертное учение в доходчивом изложении его преподобия Ивана Васильевича, а с другого — кража багажа из чемоданов интуристов подрабатывающим в качестве «сопровождающего багаж» из аэропорта в гостиницу отступником товарищем Доглатовым.

Разве этому учил нас Иван Васильевич?

Иван Васильевич учил нас чему?

Он учил нас с подобающим выражением лица повторять слова Вечного завета.

Он кормил нас чуть подогретой его душевным теплом словесной шелухой, а думал, что сеет твердые зерна.

На семинарах и экзаменах мы возвращали ему наскоро переваренную шелуху, а он думал, что собирает плоды.

Он обогащал нас истиной, не обеспеченной золотым запасом доказательств, и мы делали вид, что обогащены, и платили ему той же монетой.

Нет, что ни говори, а в театральном институте кафедра Ивана Васильевича была самой театральной, куда там — сцен-движение! сцен-речь! и даже актерское ремесло! — да простят меня великие тени — его кафедра, да что там кафедра, это же целый факультет всеобщего лицедейства!..

Каждый прошел этот факультет и закончил его в меру своей испорченности.

И если благосклонный читатель все-таки ждет от автора морали, то вынужден признаться в собственном бессилии, понуждающем оставить читателя наедине с историей, какой уж она случилась, и признаться, что морали в этой истории нет.

И в этом вся соль!

Иван Волков
Крымские сонеты

Для Наташи Ворожбит в память о замечательном путешествии в августе 1998 г.

«В такой тишине кажется, что напряжённый слух различает зов с далёкой Родины — едем дальше, никто не зовёт.»

Адам Мицкевич. «Крымские сонеты»

1. Симферополь

А. Б.

Неапольская улица пуста.
Как высохший орех, жарой расколот,
Квартал татарский смазался с листа.
Неаполь Скифский в глину перемолот —

Лежат далёко от путей торговых,
И весь твой Крым от моря далеко.
Но как бы ни держались высоко

Безводье, скука или просто голод? —
Ушёл под землю, смысла суета.
Мой друг, ты покидаешь этот город —
Покинутые скифами места

Огромности красот материковых —
Не морем ли, скажи, освещены
Все эти земли, скалы, валуны.

2. Могилы гарема (Бахчисарай)

*На краю сего гарема стоит на большом дворе
высокая шестиугольная беседка, из которой
ханские жёны, невидимые, смотрели на игры,
вьезды послов и другие позорища.*

«Бахчисарайский фонтан»

Когда в деревья, скалы, валуны
За нарушение верного обета
Красавиц превращали колдуны,
Те — всё равно —
из спален до рассвета,

Но, в камень и пейзаж превращены,

Дворцовая интрига, мелодрама,
Легенда, быль, любовный анекдот,
Любого, кто на кладбище зайдёт,

Со скал — из-за раскрытого секрета,
На смерть — из-за соперницы княжны...
Столицу ханов сглатывает Лета,

Рассматривают строго и упрямо
Через решётки, слёзы и года.
Молись за них — и не смотри туда.

3. Дорога над пропастью (Чуфут-Кале)

Из Мицкевича

Мирза и пилигрим

*Мирза: Молись, поводья брось и не смотри туда!
Доверь себя коню, инстинкт его звериный
Дороже разума — пока он тут над глиной
Копытом колдовал — вся горная гряда*

И вдаль, и в глубину измеряна. Когда
Он прыгнет в никуда разомкнутой пружиной —
Руки не простирай над страшной котловиной,
И мысль не посылай — исчезнет без следа:

Так якорь, пущенный в неизмеримый ров,
Утянет за собой в пучину без просвета
И лодку, и гребца — и нет пути назад.

Пилигрим: А я взглянул! — и там, в расселине миров...
Когда умру, я расскажу про это.
Живые люди так не говорят.

4. Перевал (Симферополь — Алупка)

Я думал, люди так не говорят,
Как наш таксист — ещё до перевала
Я мог бы перечислить все подряд
Названья вин и цены на товары,

Хотя не слушал. Я смотрел назад,
Где, разворачиваясь, открывала
Одна гора другую, с плеч до пят
Спуская медленно лесное покрывало.

И вдруг — и вдруг смолкает болтовня,
За новым виражом многоэтажным
Как вытоптало начатую фразу

Копытами железного коня.
И море открывается всё сразу
Под низким дальним
облаком протяжным.

5. Канатная дорога (Ай-Петри)

Под облаком тяжёлым и протяжным
Видны так чётко горные хребты.
И сами горы видят с высоты:
Под облаком разрозненным и влажным

Раскинулся сервизом трехэтажным
Вдоль всей живой береговой черты
Тот городок, где жили я и ты,
Что сверху представляется неважным.

Но можно между ними налегке
Над пропастью повиснуть на шнурке —
Там неба и земли доступны чары,

Там обе точки зрения видны,
И нам везде по-разному слышны
Прибоя равномерные удары.

6

И моря вдалеке тяжёлые удары,
И ветра на ветвях невинная игра,
И тихий разговор из тёмного двора
В дощатом домике,
как в корпусе гитары,

Хранятся и звучат почти что до утра.
Потом фальшивый хор
и слёзные базары
Замолкнут,
но тогда сама творит кошмары
Из страшной тишины слепая конура.

Какие призраки бессонными ночами
Шептались надо мной,
но нынче отзвучали
Строительство, война, шуршание колёс.

Не слышен шум шагов и звон ключей
в передней,
Один твой тайный плач, прерывистый,
без слёз,
Мне чудится теперь
из комнаты соседней.

7

Ты позовёшь из комнаты соседней,
А я уже сходил за виноградом,
До моря пять минут, и рынок рядом,
И милый сердцу гул базарных бредней

Мне кажется торжественной обедней,
Все сплетни я тебе доставлю на дом,
Когда допью в кафе под самым садом
Стакан портвейна — явно не последний.

Вернусь домой —
 а ты как раз проснёшься,
И мы пойдём купаться и обедать,
Когда ты после моря отряхнёшься,

Чего тебе захочется отведать? —
Какой продукт нас ждёт сегодня новый
Татарской кухни сытной и дешёвой?

8

Восточной кухни жирной и дешёвой
Вообрази великую возню:
Там, в недрах огнедышащей столовой,
Пока ты погружаешься в меню,

А ты поешь, как тексты из Корана,
Шурпы, пити, чуреков и лагмана
Далёкие глухие имена,

Расправятся с откормленной коровой,
Засеют злаки, снимут на корню,
Перемешают наново с половой
И поднесут к алтарному огню.

С такой же страстью, как читает некто
Слова экскурсионного проспекта,
Рекламы прошлого лихие письма.

9

Рекламного проспекта письма
Нас пригласят в иные времена.
Пока мы выбираем части света,
Нам карту сервируют для банкета:

Нам приготовят в несколько минут
И пламенную речь экскурсовода,
И летописца выверенный труд,

Палят хлеба, бунтуют племена,
Уже пошла священная война,
Развалины дворца возводят где-то —
Всё это будет вовремя воспето,

Нас ожидают подвиги народа,
Истории умеренный уют
И местная роскошная природа.

10. Последний день

Ни чувственная дикая природа,
Которую ты держишь на руках,
Ни всё, что предлагают на югах,
Программу улучшая год от года —

Как беден этот мир неуязвимый!
Как мало можно сделать для любимой
В течение оставшегося дня —

Не заглушит
 твой тайный детский страх —
Как чудный сон, тасуется колода,
Но вот в конце весёлого похода
Всё та же боль видна в твоих глазах.

И я ловлю капризы и упрёки,
Желания твои несут меня,
Как чайку восходящие потоки.

11. Чайка

Ходят рыбы, рдея плавниками.

Тугие восходящие потоки
Воспринимает чуткое крыло.
Ей первый взмах даётся тяжело,
Движения нечасты и глубоки,

Она висит над городом и садом,
Её сдвигает к югу, за буйки,
И специальным хищническим взглядом

Но сталкивает тайное весло
Воздушной стройки призрачные блоки,
Смещается пространство на востоке —
И вот её рвануло, повело,

Она следит, как ходят косяки,
И в план сражения втыкает ряд за рядом
Невидимые красные флажки.

12. Алушка — Севастополь

*Строительство одного километра новой «брежневской»
дороги Ялта — Севастополь стоило по смете свыше
1 млн. 200 тыс. руб.*

Разметочные красные флажки,
Глубин и грунтов каменная карта,
Расхаживают, как вокруг бильярда,

Вокруг неё крутые мужики —
И вот уж поступь трактора медвежья
Расшатывает корпус побережья.

Всё это создавалось для меня —
С дороги лучший вид по всей долине,
Но вместо остывающего дня,
Скалы над морем, деревья в ложбине

Мне видится проекта простыня,
Бытовки, маргарин на керосине,
Прорабов по объектам беготня
И экскаватор, роющийся в глине.

13

Сапёр и экскаватор рылись в глине:
Пока нас нет, наш дом пошёл на снос.
И вот уже стада послушных коз
До водооя в бывшем магазине

Закрой глаза, не слушай, расскажи мне
Когда же нам скорей в обратный путь?
Пока мы выезжали отдохнуть,

Ведёт конвой трепещущих стрекоз.
Но нас там ждут — хотя бы и в пустыне,
В оставшейся от взрыва котловине —
И где бы нам уснуть ни довелось —

Что изменилось в нашей грустной жизни?
И чем ещё окажется наш дом
Когда-нибудь потом — совсем потом?

14. Севастополь

Когда-нибудь потом — совсем потом
У бывшего базара городского
Отстроят остов окуня морского
С торчащим из пробоины веслом.

И город будет строиться сначала
Вокруг аэродрома и вокзала,
Когда сюда туристов штабеля

На рейде, там, где мы сейчас плывём,
Останется, как памятник былого,
Пустой скелет линкора боевого
С гниющим стратегическим сырём.

Поедут прокутить остаток лета
В бордель «У рыбы»,
в бар «У корабля»,
Вблизи руин колонии Милета.

15

В Европе холодно, в Италии темно.

Развалины старинного Милета
В течение какого-нибудь дня
Размазаны копытами коня.
Фонтан Бахчисарая влился в Лету —

Всё это создавалось для меня,
И после смерти я узнал про это.
Пока мы выбирали части света,
Закончилась великая возня,

Лишь сплетни до сих пор приходят на дом,
Но нас нет дома, дом пошёл на снос,
И только чей-то тайный плач без слёз

Висит, как дым, над городом и садом.
Гора на город смотрит с высоты:
Неапольские улицы пусты.

Роман Сенчин
Афинские ночи

рассказ

1

Магазин «Стелла» в семнадцати минутах ходьбы от метро. Добрался. Вхожу. Прямым в отдел напитков. Ищу пластиковые полторалитровки с ядовитой газводой. Ну, «Буратино», «Апельсиновый аромат», «Крем-сода», «Гархун»... Короче, заправка для подзаборных аликов. За шесть рублей в наше время что может быть, сами знаете. Челюсти сводит после пары глотков от химии и красителей.

И вот я проверяю, как распродается эта отравка. Такая у меня работа.

Осматриваю полки с сотней разных бутылок. Водяра, пиво, пепси, вино, минералка... Да, только подумать, сколько людей делают на этом башли. На всем этом пойле. Одни производят ингредиенты, другие смешивают, третьи рекламируют, четвертые продают, пятые перепродают. И я тоже вот...

Из семи видов отравы, что контролирую, на прилавке только четыре.

— Я из фирмы «Вестас-М», — представляюсь продавщице. — У меня вопрос: где еще три вида нашей продукции? «Гархун», «Дюшес» и «Персиковый аромат»?

Жирная, но изможденная продавщица с раздражением смотрит на меня, потом оглядывается на полки. Отвечает:

— Разошлось.

— Да?

Я в общем-то не удивлен, наше дерьмо реализуется дай бог — дешевое. Но надо предъявить в том смысле, что, а почему не сообщаете?

Продавщица, конечно, моментом озлилась:

— Разошлось в течение дня. Что мне, после каждой бутылки к телефону бросаться?! Тоже, умники...

— Ясно, — перебиваю, вынимая блокнот, — успокойтесь, пожалуйста.

Сам я на грани, сам могу ей что-нибудь сказать. Уж на ее убогую злость у меня найдется раза в три круче... Нет, блин, я должен держаться и быть вежливым, деловито-корректным.

Записываю номер магазина, виды распроданной газировки; осведомляюсь о количестве оставшейся. Затем, почти бегом — к метро. Четырнадцать точек в Юго-Западном округе за день — не слабо.

Вечер пятницы...

Только домой ввалился — жена сует мне ребенка:

— Что, пойдете гулять?

Тут уж я могу выплеснуть свои эмоции.

— Да, прям щас, вприпрыжку! Скок-скок... Наверно, пожрать хочется!

— А чего ты орешь?! — отвечает тем же жена.

— Устал, наверно.

— А нормально сказать нельзя? — И, оскорбленная, уносит ребенка в комнату. Хлопает дверь.

Я накладываю себе вермишель, две плоские, наполовину из риса и хлеба, котлеты. Жую. В квартире духота. Отопление не отключили, а погода совсем июньская. За каких-то четыре дня из зимы перескочили в лето.

Набил желудок, немного пришел в себя. Но вместо раздражения появилась усталость. Самое правильное — завалиться сейчас на диван и посмотреть телек. Кровавый боевичок с Брюсом Уиллисом. Но надо вести сына гулять. У нас договоренность с женой, что в пятницу, субботу и воскресенье гуляю с ним я, а жена — в остальные дни. Скорей бы ему два года исполнилось, отдали бы в садик...

— Спасибо, — говорю примирительно. — Что, Саня, пошли прогуляемся?

Жена дуется, но спускает с колен ребенка, тот визжа подбегает ко мне. Уже одет для улицы, на ногах сапожки за двести двадцать рублей. Кричит радостно:

— Папунь!..

Беру его под мышку, волоку коляску по лестнице с четвертого этажа. Хорошо, что заставил купить эту простенькую и дешевую, она легкая. Жене хотелось, чтоб была не хуже, чем у других, — на больших толстых колесах с рессорами, со всякими прибабасами. Такая и весит, как танк. А меня и эту, когда тащусь с ней по лестнице, тянет куда-нибудь выкинуть.

Вот сейчас — самые тяжелые дни. Середина апреля по календарю, а жарень стоит — с ума можно съехать. Все оживает, распускается на глазах. Вчера газоны были черными, грязными, а сегодня подернулись легкой зеленью пробившейся травки. Завтра и вовсе... Птицы распелись на посветлевших деревьях, люди скинули пальто, куртки, даже ходят как-то медленнее, у всех сощуренные глаза. Воздух стал вкусным несмотря на бензиновый дым.

И так тянет сорваться, полететь подальше отсюда, в тридесятые земли. На море там, в лес...

Перебираюсь с коляской через две оживленные улицы. Проклинаю несущиеся машины, которым наплевать на пешеходные зебры, проклинаю отсутствие светофоров. Вдобавок Саня не хочет сидеть в коляске, тоже куда-то все порывается. Выползает из-под ремня.

— Да сиди ты спокойно, — запикиваю его на сиденье, — сейчас в Коломенское придем, будешь бегать.

— А не-е-е! — ноет он. — Да-ай!

— Сейчас дам — запомнишь. Сиди нормально, тебе сказано!

Ну ничего, завтра, если получится, то на море не на море, а за город вырвусь. Парни б только не подвели... Боюсь загадывать, особо мечтать: а то обязательно не состоится.

Дождавшись бреши в потоке машин, перебегаю с другими колясочными папашами и мамашами, прочими пешеходами через улицу Новинки.

За спиной сигналият, визжат тормоза, там ругань: чуть кого-то не задавили.

И в прошлые годы, ясное дело, были такие дни. Дни, когда на смену дряхлой зиме является молодая, свежая, как пятнадцатилетняя школьница, опяняющая весна. Но нынче они особенно сильно сносят мне башню. Прямо так тяжело, так хочется чего-то такого... Бросил бы все, вот прямо в любую минуту. Денег только нет, а без них в свободу не поиграешь. Спасибо Дэну с Борисом — подали надежду отвязаться на выходные.

Сане полтора года, он пребывает в счастливом детстве, бегая, где ему вздумается, а мне — мучение. В пять минут он перемазался в луже, успел перетрогать десяток пивных крышек, окурков.

Таскаюсь за ним по дорожкам и бездорожью, то и дело кричу:

— Брось каку сейчас же, брось!.. Саша, а меня подождать? Не подходи близко к лошадке — ударит!

А он не слышит просто. Ведь ребенок — хозяин, а родители его няньки. Как расчудесное время вспоминается, когда он лежал в корзиночке первые месяцы после роддома, даже плакать как следует еще не умел. А потом началось. Зубы резаться стали, личность оформляется, познание мира... Дальше, говорят, будет еще мрачнее. Вот вырастет каким-нибудь подонком, бегай тогда по судам, плати за его подвиги, или в армию заберут...

Все вокруг счастливей меня. По крайней мере — на вид. Особенно молодежь с пивком. Сидят на спинках скамеек, парни обнимают соблазнительных девушек... Весь мир наполняется соком, начинает бродить, как вино в громаднейшей бочке. Весна, одним словом, весна... Даже нищие, кажется, просят денежку не на хлеб и дешевую водку, а на шампанское.

Погуляв полтора часа, догоняю Саню и пытаюсь вернуть в коляску. Для этого у меня припасено печенье, обычно оно отвлекает сына от беготни.

Нет, сегодня не отвлекло. Он рвется на волю, растопыривает ноги в измазанных до предела сапожках, крихтит, извивается.

— Пора домой, Саня, — ласково уговариваю. — Погуляли, теперь поедем, мама вкусенького даст... — Постепенно перехожу на рычание. — Ну-ка садись. Успокойся! Возьми печенье и успокойся!

В ответ, конечно, рев, бессвязные крики, маханье руками, ногами. Печенька падает в грязь.

Досадливые взгляды со всех сторон. Дескать, нарушаем покой, мешаем отдыху... Ничего, вот появится у вас нечто подобное, тогда поймете.

Справился кое-как с сыночком, повез скорее домой. Сейчас сдам жене, врублю телек, забуду под одеяло. Буду ждать звонка от Дэна. Если не позвонит — вилы. Больше никаких сил терпеть.

Наоравшись, наиздевавшись, Саня уснул. В двух шагах от подъезда. Блин, самое запаadlo. Тащить его вместе с коляской?.. Сажусь на лавочку, жду, когда выспится.

С тополя, что надо мной, сыплются почки. Некоторые приклеиваются к волосам. Отдираю их... То и дело смотрю на часы. Дэн обещал позвонить ровно в девять. Сейчас без двадцати. Главное — опередить жену, взять трубку первым...

Выкурив пару сигарет, не выдерживаю, тащу коляску с ребенком по узкой лестнице. В следующий раз снимать квартиру надо обязательно в доме с лифтом, правда, выйдет дороже. На сегодняшний день мы можем позволить себе только вот такую крошечную однокомнатку, где на кухне двоим не протолкнуться. А унитаз помещается почти под ванной, к тому же ванна — сидячая. Строили такие конурки для одиноких старух, теперь же сдают молодым семьям за полторы тысячи в месяц.

Поднимал, тряс коляску. Два раза ставил на площадку, чтоб передохнуть. Саня даже не шевельнулся. Вот бы во время прогулки так. Нет, во всем закон подлости.

— Погуляли? — Жена улыбается. — Все нормально?

— Угу, — отвечаю устало. — Вот срубился перед самым домом, а когда вез — изорался...

Раздеваюсь, пью воду. Иду в комнату. Упал в кресло, поставил рядышком телефон. Телевизор включен, ищу на дистанционке, что бы посмотреть. Ничего интересного. Оставляю эм-ти-ви, какого-то лоснящегося турка, зовущего жалобным голосом Аизу или Азизу...

— Есть будешь? — спрашивает жена.

— Я же ел недавно.

— Там еще котлетки остались, вермишель. — Она садится на подлокотник кресла, ворошит мне волосы. — Не сердись, дорогой. Я сегодня тоже устала ужасно. Надо было перевод срочно доделать, потом с Сашкой на руках бегала его отдавать.

Жена у меня знает английский технический неплохо, иногда ей перепадает заказ что-нибудь перевести.

— И как, — спрашиваю, — заплатили?

— Обещали на будущей неделе.

— Я-асно... — Смотрю на часы, без пяти минут девять. — Если можно, чайку бы.

— Сейчас поставлю... Кстати! — вспомнила: — Мирзоев новый спектакль поставил — «Укрощение строптивой», с Сухановым. Ольга звонила, предлагала провести. В следующую субботу. Пойдем?

В позапрошлом году она закончила Щукинское училище, актрисой стремилась стать. Теперь же вот вышла замуж, родила, и на спектаклях даже в роли зрителя бывать стало проблематично.

— А Саню куда? — спрашиваю.

— Родителям отвезем. Один-то вечер они согласятся с ним повозиться...

— Давай попробуем, — пожимаю плечами и тут же, чтоб закончить скорей разговор, обещаю твердо: — Ладно, сходим. Мирзоев — режиссер интересный, жалко пропустить.

Жена поцеловала меня в лоб и пошла на кухню. Переключаю телевизор на ОРТ, там мощный рекламный блок перед программой «Время». Ну что, будет Дэн звонить или опять простегал просто... На него это похоже.

— Тебе с сахаром? — заглянула жена.

— Нет, и не крепкий. Спать, наверно, лягу сейчас.

Она скрылась. Тут как раз и затрещал телефон.

— Алло? — спрашиваю я как можно спокойнее.

Из трубки забубнил голос Дэна:

— Здорово! Чего делаешь?

— Отдыхаю...

— Меня? — Еще раз заглянула жена.

Я сделал лицо озабоченным и серьезным, мотнул головой отрицательно. И деловым тоном в трубку:

— Да, слушаю, слушаю.

— Ну как? — говорит Дэн. — Отпустила супруга?

— Понятно, — кисло отзываюсь. — И во сколько?

— В девять утра на Белорусском, в кафе. Знаешь, которое за шестой платформой? Там еще бильярдный зал рядом...

— Как, как?

Дэн слегка раздражается, все же объясняет подробно, а я киваю: «Так, так», — не забывая сохранять на лице кислую мину.

— Понял, хорошо. И сколько это продлится?

— Ну, суббота, воскресенье. В воскресенье вечером вернемся, если кураж дальше не попрет. Ты ж знаешь Муската, ему только волю дай!..

— Мда-а. Что ж, я согласен. Что делать...

Дэн усмехается:

— Жена рядом, хе-хе? Ладно тогда. В общем, запомнил, где встречаемся?

— Да, да, в девять часов. До свидания.

Вздыхаю и кладу трубку. Уныло смотрю на жену.

— Что случилось, дорогой?

Выдержав паузу, отвечаю без капли радости:

- В командировку отправляют на выходные.
- Куда, в командировку? — В ее голосе удивление и недоверие.
- По югу области. Мотаться по станциям, проверять эти чертовы магазины. Плохо реализация, говорят, пошла... Вот тебе и уикенд...

В начале десятого пробудился Саня. Жена сняла с него уличную испачканную одежду. Посадила ужинать. Тот, конечно, разбросал вермишель по всей комнате, опрокинул на себя чашку с молоком.

Пришлось подтирать и подметать, пока жена его снова переодевала.

Вместо сна Саня после ужина принялся растрачивать недосоженную во время прогулки энергию. Устроил беготню из прихожей в комнату. Подбежит к двери, ударит ее ладонями, взвизгнет и топчет к тумбочке, где стоит телевизор.

Естественно — позвонил сосед снизу. Трубку взяла жена, минут десять ругалась с ним. Потом стала пересказывать мне.

— Штукатурка у него, видите ли, сыплется! Требуется, чтобы линолеум постелили или половички. Я сказала, что нам нравятся паркет. Пускай сам какой-нибудь навесной потолок закажет себе шумонепроницаемый...

— Я же слышал все это, здесь ведь сижу, — перебиваю ее в конце концов.

Жена вздыхает напоследок:

— Вот бог послал соседку — ни дня без претензий. Ох, менять надо квартиру, одно мучение.

Саня приволок откуда-то кисточку. Четвертый номер, кажется. Уселся посреди комнаты, стал выдергивать из нее волоски. Жена отобрала, он заныл.

— Смотри, — подает мне жена, — твой инструмент. Куда положить?

— Да хоть куда, или выкинь.

Большинство своих холстиков и принадлежностей для покраса я выбросил во время последнего переезда. Здесь ни хранить, ни заниматься художеством негде, да и особой потребности нет... Под кроватью лежат, правда, несколько картинок, палитра и этюдник с красками, но не тянет их доставать. Осталась живопись где-то в прошлом — вспоминать даже не хочется.

Смирившись с командировкой, жена стала меня успокаивать; посоветовала поговорить с шефом насчет отгулов, возмещения потерянных выходных.

— Да какие отгулы в наше время? — морщусь я. — Что хотят, то и делают...

— А как, должны же заплатить за эту командировку. Да? Ведь не просто так...

— Ну, наверно. На это и стоит надеяться.

Утром будильник зазвенел в половине восьмого. Я плотно позавтракал, сохраняя вид до крайности расстроенного человека. Жена дала мне тридцать рублей. Оговорилась:

— Еще бы... но ведь за квартиру скоро платить.

— Ладно, хватит и этого...

Воспользовавшись моментом, я достал из своего тайника в туалете все, что там находилось, — сто пятьдесят.

— Ну, пока, — целую жену.

— Возвращайся быстрее.

— Как получится. В воскресенье вечером скорей всего.

— Ждем тебя сильно-сильно.

— Угу...

2

— О-о, вот и Хроныш! — заорал мне навстречу Борис.

Такая у меня кликуха дебильная — Хрон. Дескать, хронический алкаш. Только какой же я хронический, откуда такие деньги... В последнее время даже двух дней подряд пить не получается. Семья, работа, ребенок. И партнеров для пьянства нет — все в своих делах и заботах.

У Бориса и Дэна кликухи, кстати, не слабее моей: Дэн — Синий, ну тоже алкашская: Синяк, Синяя Дыня; а у Бориса — Мускат. Борис когда-то мускатный орех жрал чуть ли не каждый день, сознание свое пытался изменить, чтобы начать писать гениальные полотна; но вместо этого у него появилось жжение в кишках, и пришлось перейти обратно на водку.

Сейчас они сидят за оранжевым пластиковым столиком в кафешке, пьют «Очаково» из бутыля 2,25 литра. Подхожу, плюхаюсь на свободный стул.

Дэн наливает мне пива в стакан, приговаривает рекламным голосом:

— Веселая компания, вливайся!

— Вливаюсь, вливаюсь.

— А я думал, Хрон, что ты в Чечне, — усмехнулся Борис.

— С какой радости?

— Ну как — надо ж тебе как-то более-менее достойно свою жизненку прикончить.

Глотнули «Очаковки», закурили. Я по случаю праздника курю сегодня «Союз-Аполлон», а не будничную «Приму». Купил пачку в киоске у дома; пока ехал в метро, выпил «Посадского». Так что чувствую себя неплохо.

Дэн доразлил «Очаково». Поднял свой стакан:

— За удачную отвязку!

— За умопомрачительные куражи! — добавляет Борис.

Давно не чувствовал себя таким свободным, давно не видел этих ребят, которых считаю единственными друзьями здесь, в Москве; давно никуда не вырывался дальше границ города...

— Давайте по сто грамм, что ли?

Дэн и Борис считают, что для водки рано еще. Они взяли еще «Очаковки», а я — сто пятьдесят «Столичной» и бутерброд с сыром.

Пока пили, Борис стал рассказывать:

— Тут книжку такую купил. Стихи...

— Чего? — Дэн реагирует хохотом. — Стихи?!

— Я люблю хорошие стихи, — гордо отвечает Борис. — Я ведь не быдло, как некоторые, а продвинутый молодой человек.

— Ух ты, бля!

Глотнув водки, приглушаю их перебранку:

— Что за стихи-то?

— Был такой поэт серебряного века, Одинокий. О нем Ходасевич, Георгий Иванов писали, но презрительно так. Вроде алкаш и графоман. Хотя Иванов приводит один стих Одинокого, с которым его описки и рядом не ночевали.

Дэн морщится:

— Хорош про стихи. Что, мы о стихах собрались перетирать?

— Нет, ты послушай, — не отступает Борис, — даже тебе должно показать. — И слегка визгливым голосом декламирует:

Я до конца презираю
Истину, совесть и честь,
Только всего и желаю:
Бражничать блудно да есть.

Только бы льнули девчонки,
К черту пославшие стыд,
Только б водились деньжонки
Да не слабел аппетит!

— Наизусть заучил, — подмигивает мне Дэн.

Борис заводится стремительно и неудержимо, захлебывается от эмоций:

— А что, скажешь, дерьмо?! Самые современные сейчас стихи, почти гимн.

И вот появилась наконец-то целая книга. Там такие вещи попадаютя!..

Да, мне хорошо, слишком хорошо. Как-то страшновато даже. Быстро пьянею, не от пошла скорей, а от ощущения почти забытой свободы, чего-то необычного, небудничного.

Два года назад закончили Суриковку. Мы с Борисом, молодые провинциальные дарования, учились на живописцев, а Дэн, как малоодаренный сын члена московского Союза художников, — на промграфика. Но никто из нас художником не стал; Дэн, правда, близок к своей специальности — моделирует в папашиной фирмочке узоры для обоев и линолеума. Борис сидит в туристическом агентстве, а я вот брожу по магазинам и контролирую реализацию ядовитой газировки.

Художников и без нас полным-полно — тесные ряды, в которые не протиснуться. А надо жить, что-нибудь ням-ням...

Иногда мы встречаемся, выпиваем, однажды, помню, смотались на пару дней в Питер, а сегодня вот решили выбраться за пределы Москвы, в первый попавшийся городок, там потусоваться, покуражиться день-другой.

Хочется жизнь разукрашивать. Иначе превратишься в тупой станок, в двуногую машину с проводами вместо мозгов. Рано или поздно случится, но нужно оттягивать этот момент.

В окно кафе видна платформа. Время от времени подъезжает электричка, заполняется народом и укатывает прочь из столицы.

С утра людей было битком, а теперь меньше — основная масса дачников миновала.

— Ладно, Мускат, хорош гнать, — перебивает Дэн рассказ Бориса о поэте Одиноким, смотрит на часы. — Пора в путь. А то пока приедем, дело к вечеру.

— Куда едем-то? — спрашиваю.

— Да куда глаза глядят. В какой-нибудь маленький тихий городочек.

Борис разлил остатки пива себе и Дэну. Я прикупил еще сто грамм водки и бутерброд с ветчиной.

— Ты ж сейчас упадешь, Хронитур, — предупреждает Дэн. — Зачем сразу с водяры начинать?

Меня уже слегка цепануло выпитое. С пренебрежением смотрю на пиво, поднимаю свой стаканчик со «Столичной», отвечаю:

— Кто любит пиво и вино — тот с жидами заодно.

— Ха-ха, научился, блин!..

Заглотнули пойло, встали. Я в уме подсчитал, сколько уже потратил. Две порции водки, бутылка «Посадского», «Союз-Аполлон», бутерброды — больше полтинника!.. Ну ладно, Дэн обещался за меня забашлять, я его предупредил, что с деньгами у меня неважнецки.

В вагоне толкотня и духота. Еле нашли, куда можно сесть втроем. Мы с Дэном — на одну скамью, Борис напротив нас.

— Ну, — Дэн достал из сумки бутылку портвейна, — обмоем теперь начало поездки.

— Дава-ай, — воодушевился Борис.

От духоты и нескольких крупных глотков вина меня стало всерьез развозить. Ребята тоже сидели с покрасневшими рожками.

— Что, — спрашиваю Бориса, — красишь картинку? Помнишь, ты римейк Иванова собирался делать?

— «Явление Христа народу»? Забросил, некогда. Так, иногда наброски разные. К холстам давно не подхожу.

— Значит, не сотворил дело жизни? — усмехается Дэн. — Ты ведь этим «Явлением» так бредил, о нем только и говорил...

— А, детство все это. Да и неактуально уже.

Еще курсе на третьем у Бориса родилась идея написать грандиозное полотно. Появляется, дескать, Христос перед людьми, а те в ужасе разбегаются. Мчатся в лес, кидаются в воду, ускакивают на лошадях. Люди все красивые, ухоженные, этакие античные полубоги, а спаситель их в рванине какой-то, в язвах, с колокольчиком прокаженного на шее.

— Да какая сейчас живопись, — вздыхает Борис. — Целыми днями работаешь, пока вечером домой доберешься, в этот мой Реутов, уже девятый час. Пожру, ящик посмотрю — и спать. Утром в восемь часов опять в электричке... В выходные отдохнуть хочется... А ты неужели красишь? — спрашивает он меня с удивлением и вроде даже с испугом.

— Дурак, что ли...

Электричка не спеша, то и дело тормозя на станциях, укатывает дальше и дальше от Белорусского вокзала. Машинист неразборчиво бормочет в динамиках. Пассажиры толкаются в проходе, цепляясь за сиденья своими сумками-тележками, замотанными в мокрую тряпку саженцами.

Я приткнулся головой к оконной раме и задремал.

Стало сниться, что вроде я куда-то лечу. Сначала лететь приятно — в таком горизонтальном положении, животом вниз, разглядывая дуга и перелески с небольшой высоты. Свежий ветерок обдувает лицо... Потом ветер усилился, стал тревожить. Наглые, угрожающие порывы. Они хотят меня опрокинуть. То слева, то справа. Но я держусь. А вот когда сзади, под хвост, теряю равновесие, кувыркаюсь, вхожу в пике. Земля все ближе, видна каждая травинка. Ох, как страшно!.. Сейчас врежусь...

Очнулся, нет, я на скамейке, все нормально. Вспомнил — такое же снилось по юности, когда только привыкал к выпивке, и меня мутило во сне.

— Чего дергаешься? — спрашивает Борис, с удовольствием досасывая портвейн.

— Блин, тошнит, — отвечаю.

— Ясен дундич. Сначала пиво, потом водяра, теперь винище. Любого за-тошнит.

Дэн мирно посапывает, ритмично стучась башкой о стену вагона. Толкаю его:

— Есть целлофановый пакет? — И чувствую, что вот-вот из меня брызнет.

— Да иди в переходе проблюйся, — советует Борис и сует мне в руки пустой батл из-под вина. — Как раз и это выкинешь.

Я спешу куда он посоветовал. Бросаю бутылку в щель на мельтешащие шпалы, затем посылаю туда же содержимое пищевода. В три приема. Зря так круто начал, ведь давно не пил всерьез.

Возвращаюсь в вагон. Борис и Дэн уже с новой бутылкой. На этот раз — аперитив.

— Вот как надо, придурок, — говорит мне Борис. — На повышение градуса заливать. А ты — ты Хроньш и есть, хлещешь все подряд без разбора.

— Отвянь, — отвечаю; в глотке жжет и першит. — Дайте хлебнуть.

Дэн подмигивает, подавая бутылку:

— Неплохое начало путешествия?

— Ничего вроде как...

— Дальше будет круче.

— Чувствую, раскуражусь на всю катушку, — сладко потягивается Борис и тут же озобочивается: — А куда едем? Куда эта ветка?

— До Вязьмы.

— Это ж далеко.

— Ну, ближе где-нибудь вылезем. Да что грузиться — при башлях везде ништjak.

Борис сопротивляется:

— Я не хочу где-нибудь на полустанке куражить. Надо городок, со всеми удобствами чтоб, но с бедным населением, готовым на все. Чтоб девочки были, все такое. С пятисоткой чтоб чувствовать себя человеком.

— Эт тебе надо в Белоруссию ехать. В Могилев, Бобруйск, там как раз такие расклады. — И, вспомнив про Белоруссию, Дэн тускнеет. — Корешок все зовет туда, кучу маз предлагает... Я был позапрошлым летом, так оттянулся!.. Там вот точно с пятистами нашими неделю можно как богу жить... Надо съездить скорей, а то возьмут, в натуре, единую рублевую зону сделают, тогда уже так не будет...

Аперитив слегка меня оживил. Першение в глотке притихло, голова прояснилась.

Оглядываюсь. По соседству с Борисом сидят две пожилые тетки в спортивных штанах и ветровках, у одной между ног полумертвое деревце, другая держит на коленях корзину, и там что-то шевелится. Слева от меня — пришибленный, сухощавый мужичок. Он завистливо поглядывает, как мы пьем. Тоже, наверное, хочется.

— Ну и что там твой поэт? — перевожу разговор с поездок на литературу. — Расскажи, Мускат.

— Какой еще поэт?

— Ну, ты что-то кипятком в кафе ссался. Гениальный какой-то... как его?..

— А, Одинокий! — Борис ослабилась, словно ему сообщили о скором возвращении крупного долга; щедро глотнул аперитива и с готовностью закрутил шарманку: — Поэт действительно гениальный. Зощенко так о нем и пишет — гений... Я вообще-то стихи не люблю как таковые — поэзия давно уже крякнула, одни ошметки остались. Но у Одинокого штук пятнадцать стихов — супер просто! Вот например:

Я понимаю мир как Благо.

Я ощущаю мир как Зло.

И Борис значительно замолчал, поджав губы.

— А дальше? — спрашиваю.

— Что — дальше?

— Ну, дальше какие строчки?

— А этих мало? Ты вдумайся только:

Я понимаю мир как Благо.

Я ощущаю мир как Зло.

У-у?! Это ж вселенная целая! Вся наша гнилая цивилизация встает перед глазами с ее грязью, уродами, вот такими деревьями, — Борис показал пальцем на саженец в ногах у тетки слева; та тут же нахохлилась. — Не встает?

— Да нет.

Борис изумляется:

— Да ты, Хрон, вконец отупел! Вот тебя цивилизация настолько отравила, что Зло ты уже считаешь Благом.

— Не считаю я ничего. Просто в мире нет хорошего ни для меня, ни для тех, кто меня окружает. И надеяться не на что.

— Ну еп-та! — Борис по-настоящему завелся. — Но теоретически должно же быть хорошее. Такое глобальное, чистое Благо, благодать, которую мы, наши сраные предки точнее, утопили в говне. А?..

— Молодой человек, да перестаньте вы материться, в конце-то концов! — прорвало тетку с деревцем между ног. — Сколько можно? Я сейчас за милицией схожу.

Борис ошалело посмотрел на нее, потом хлопнул себя ладонями по коленям:

— Целую неделю приходится в офисе по восемь часов подряд улыбаться каждому рылу, так и в выходные расслабиться не дают!

— Идите в пивнушку и расслабляйтесь.

— Матушка! — обычно визгливый голос Бориса сейчас напоминает рычание. — Я без тебя в курсе, где мне расслабляться. Ясно, нет?..

Движение непрерывное. Встают, садятся, выходят, заходят, нервничают... Каждые две-три минуты то с одного конца вагона, то с другого начинают громко, неестественно внятно, с выражением рекламировать товары транспортные торговцы. В основном это молодые люди интеллигентного вида, мужчины и женщины. Торгуют всем подряд: батарейками, шоколадом, обложками для ученических тетрадей, бритвами «Бик», носками. Но редко кто покупает.

Вот ковыляет, толкая стоящих в проходе пассажиров, лет сорока мужчина с асимметричными усами и в выцветшем камуфляже. Может, и действительно бывший какой офицер, не спорю, но скорее — просто переодетый в него, чтоб людям на жалость давить... Вместо правой ноги протез, штанина специально завернута до бедра, и видно скрепление протеза с отнятой по колено ногой, ремешки. Правая рука кончается локтем, остренький обрезок багровеет толстым, достаточно свежим шрамом. Мужчина тащится по проходу, молча держит в левой руке камуфлированную шапочку, которую в армии называют «пидарка». Туда, по идее, должны класть деньги на пропитание инвалиду. Но пассажиры, мельком взглянув на него, опускают лица поближе к книгам, журналам или уставляют их в окна, ожидая, когда калека минует их. Он доковылял до двери, бросил пидарку на голову, толкнул дверь, направляясь в следующий вагон.

— Бля, контролеры! — зашипел Борис.

Дэн обернулся, я тоже. В противоположном конце вагона двое парней в форме железнодорожников начинают проверять билеты. Хорошо, что с одного конца начали, а не взяли вагон в кольцо.

Дэн по-быстрому застегнул сумку, поднялся, скомандовал:

— На подрыв!

Мы убрались в тамбур, понаблюдали, как парни медленно приближаются к нам, по пути ругаясь с пассажирами и уговаривая кое-кого заплатить штраф или сойти с электрички на ближайшей станции. Некоторые собирали вещи и направлялись на выход.

Мы тоже сошли, перебежали в тот вагон, откуда пришли контролеры, и, обосновавшись в тамбуре, закурили.

— Через две остановки — наша, — сказал Дэн.

— Какая?

— Можайск.

Борис наморщил лоб, вспоминая:

- Можайск, название известное. А ты бывал в нем?
- Еще нет, — ответил Дэн, — сегодня, надеюсь, осмотрю.
- А если дыра?

— Да не должно быть. Древний город, чуть ли не старше Москвы. Районный центр.

Борис вспыхнул:

— Вот я всю жизнь мечтал в райцентре куражить! Охренительно, слушай!

— Ну езжай в Сочи, в Ялту! — тоже вышел из себя Дэн. — Возьми отпуск и гони на Кипр!

— Не дают мне отпуска. — Борис моментом тускнеет. — Полтора года работаю и больше недели из-за гриппа не отдыхал...

— А чего тогда ноешь?! Извини, я не могу тебя на самолете свозить к морю, на золотой пляж. Два часа туда лёта, два — обратно. Полтора дня там. Ништяк?

Тут меня осенило:

- Под Можайском где-то тоже море есть.
- Какое еще море? Екнулся, Хрон?
- Ну, наверное, водохранилище просто. Называется — Можайское море.

Борис плюнул на стену тамбура, сунул в плевок окурков. Обидчиво про-
бормотал:

- Вот сам и купайся там.

3

Но когда оказались на платформе Можайска, настроение у Бориса вновь поднялось. Он распахнул кожаную куртку, поднял руки, трясая пустой бутылкой аперитива, и, показывая людям и веселому солнцу застиранную серо-белую джинсовую рубашку, громко объявил:

— О-о, вот и сошел на эту убогую землю коронованный принц Армагеддона!

— Кончай, Мускат, — одернул его Дэн, — а то загребут раньше времени. Вон менты выпасают...

Борис послушно спустил бутылку в урну.

Вслед за вышедшими из электрички мы миновали ж/д полотно и оказались на привокзальной площади. За нею, конечно, — рынок.

— Пивка для рывка?

— Зачем понижать? Лучше еще аперитива.

Взяли бутылку «Рябины на коньяке». Пошли дальше. После рынка — узкая асфальтированная дорожка, а справа и слева болотистый пустырь. В кювете валяется то ли пьяный, то ли умерший.

— Ну и куда мы идем? — беспокоился Борис, теряя приподнятое настроение.

Дэн не унывал:

- Сейчас найдем центр, а там и все остальное.

Пустырь сменился лесочком, среди которого вкривь и вкось стоят пятиэтажки. Деревья окружают их настолько густо, что кажется — коробки домов спустили сверху на вертолете на свободные от тополей и берез пятачки.

— Можайцам ништяк здесь, наверное, — с ухмылкой сказал Дэн. — Летом зазеленеет — и сидят, как в погребе. Сейчас вон полутьма, а когда листья...

Шедшие впереди люди постепенно растворились. И вот мы одни в лесу, перемешанном с дремлющими жилищами. Прохожих нет. Мы остановились, не зная, куда направиться.

— Ну-у, Синяя Дыня, завез! — Борис разочаровывался все сильнее.

— Э, кончай меня доставать. Сам же вчера орал: поехали хоть куда из Москвы, в любое место, где есть гостиница и кабаки.

— А ты видишь здесь гостиницу и кабаки? Полный отстой...

Из-за деревьев вынырнула женщина.

— Во! Как раз спросим.

Женщина туманно объяснила, где центр Можайска.

— Пойдете еще прямо, потом направо. Там девятиэтажные дома будут. Вот это и центр.

Искали долго, упорно, но вместо центра оказались вновь на пустыре. На этот раз не болотистом, зато овражистом. И на нем как попало стояли пятиэтажки. Метрах в трехстах друг от друга.

— Вот для маньяков идеальное место, — сказал я, оглядываясь. — В темноте сел у тропинки, дождался одинокую телку и — в овраг.

— Что, Хрон, останешься? — хмыкнул Дэн.

— Я пока не маньяк. Если что, приеду сюда...

В каких-то зарослях помочились, бросили пустую бутылку из-под аперитива. Закурили. От непонятности нашего положения даже действия алкоголя не чувствовалось. Словно газировку хлебали все утро.

— Какие варианты? — нервно поинтересовался Борис. — Где кабаки, девочки, праздник?

— Вон, — первым заметил я, — девочки сами идут. Жизнь налаживается.

По тропинке в нашу сторону движутся три девушки. Как раз три, как в сказке!

Мы пошли навстречу, строя планы знакомства. Сначала узнаем про гостиницу, кабаки. Потом пригласим посидеть...

Вот поравнялись, Борис ласковым голосом спросил, где центр города. Одна из девушек махнула рукой куда-то позади себя. Мы разминулись.

— А дальше? — проговорил я разочарованно.

— Да им же лет по двенадцать всего.

— И что? Самое то!

— Я не педофил в отличие от тебя.

— Блин, еще у Достоевского, там, помнишь, Раскольников с пятилетней...

— Во-первых, не Раскольников, — учительским тоном стал объяснять Борис, — а Свидригайлов. А во-вторых, ему это просто снилось.

Спорить с Борисом бесполезно — он в литературе сечет. Но можно поспорить о другом:

— Сто лет назад это снилось, а теперь должно становиться реальностью. Человечество же прогрессирует, развивается...

Борис подвел итог:

— Вот что делает с человеком семейная жизнь.

— Уже и жрать хочется не на шутку, — мрачным голосом признался Дэн.

Нашли мы девятиэтажки. Стоят две, кажутся намного выше московских. В Москве-то они на каждом шагу, примелькались, а здесь — в натуре вавилонские башни среди окружающей их мелюзги.

Сначала мы, ясно, обрадовались. Борис вновь распахнул куртку и стал кричать о куражах... Но ничего стоящего рядом с девятиэтажками не было. Гастроном, банк, школа, пяток ларьков. Вот и весь центр?..

— Поехали на хрен отсюда, — решил Борис, — пока день не совсем пропал. Вернемся в Москву, забуримся куда-нибудь в клуб. Оттянемся.

— Надоели клубы, да и цены там... — Дэн кисло сморщился, покорно направляясь за Борисом в сторону железной дороги.

Я потащился следом. Как мечтал об отвязке, как готовился к ней, спешил

на встречу с ребятами, а оказалось, что все впустую. Очередной облом. Из таких вот обломов и жизнь состоит. Напридумываешь кучу чудесного, сладкого, вроде и легче станет, силы и желание жить появляются, а захочешь реализовать напридуманное — тут же облом.

Вот и платформа. Мороженщица дремлет под разноцветным зонтиком.

Стенда с расписанием нет. Подходим к будке, где касса.

— Когда ближайшая до Москвы?

— В шестнадцать двадцать четыре, — отвечает женский голос из-за зафенеренного окна.

Дэн смотрит на часы на руке.

— Еще два с лишним часа! Почему так долго?

— Отменены остальные. На дороге ремонт.

— Ептать!

Отошли от кассы, стали жевать купленную по пути колбасу, пить пиво. Скамейки заняты дремлющими, готовыми к долгому ожиданию электрички людьми.

— Ну и уикенд! Ну и сказочный раскураж! — горько восклицает Борис, стягивая с колбасного кружочка пленку оболочки. — Со слезами до пенсии вспоминать буду!..

Дэн быстро съел несколько бутербродов, выглотал пиво в позе горниста и снова подошел к будке.

— Скажите, а в этом... в этом городе гостиница есть? Кафе приличные? Музей, вообще — достопримечательности?

— Да какой у нас музей... Все в Бородине... Гостиница вроде есть и кафе само собой. А достопримечательности, хе-хе... Рынок — лучшая достопримечательность.

Дэн уцепился за известие, что есть гостиница; видно, хочется ему доказать Борису, что не в полный отстойник он нас завез, что и в Можайске отдохнуть можно.

— А где они, где? Мы вот искали, ни фиги ничего...

— На Комсомольской площади были? — спрашивают из будки.

— Нет, кажется.

— Вот там у нас жизнь, говорят. Вся молодежь там вечерами шнуркуется.

Долго и упорно Борис сопротивлялся новой экспедиции к центру Можайска, — он уже настроился на Москву, на ночной клуб «Свалка», деньги в уме рассчитал: столько-то проплет перед входом в клуб, столько-то внутри, столько-то проиграет на бильярде, на автоматах.

— Давай, Мускат, не ломайся! — уговаривал Дэн. — Если уж заехали, надо выжать отсюда все возможное. Не рушь праздника!..

— Не вижу я здесь праздника, — ворчал Борис, но все же узнал у кассирши время вечерних электричек. — Ладно, посмотреть можно, что там за жизнь. Если хрень — поеду на шестичасовой. И не позже!

На привокзальной площади слева автобусная остановка. Как по заказу — потрепанный, кособокий «ЛИАЗ». Спрашиваем:

— Этот идет до Комсомольской площади?

— Идет, идет, отсюда все идут, — лениво бубнят из салона.

Дэн расстался с шестью рублями, взамен кондукторша дала три билета.

Пассажиры шушукаются друг с другом. У многих сумки, пакеты — наверно, из Москвы приехали или здесь на рынке хавчиком запасались.

— Ну что, долго будем стоять? — нагло поинтересовался у Дэна Борис.

— Мускатыш, все, ты достал! Вали на вокзал — надоело!

— Ладно, не дергайся, — Борис сделал тон шутливым. — Я понимаю тебя как Благо, но что-то ощущаю постоянно как Зло.

Дэн отвернулся к окну, а Борис переключился на меня:

— Кстати, еще вспомнил из Одинокого!

— Ну? — Я не против разнообразить ожидание отъезда.

Перед тем как декламировать, Борис кашлянул, слегка закатил глаза. В это время в кабину влез водитель, завел мотор...

Пищи сладкой, пищи вкусной
Даруй мне, судьба моя, —
И любой поступок гнусный
Совершу за пищу я.

В сердце чистое нагажу,
Крылья мыслям остригу,
Совершу грабеж и кражу,
Пятки вылижу врагу.

Я свернусь бараньим рогом
И на брюхе поползу...

— Быдляцкое, — перебил, повернулся от окна Дэн. — Мускат, ты же, помню, ненавидел быдло больше всего, а теперь...

— Это не быдляцкое! Быдло не пишет таких стихов. Оно вообще молчит, а вякает только в стае. А эти стихи — откровение индивида! Экзистенциальный кошмар!

— Дерьмовые стихи. — Дэн уперся.

— Зато честные, — сказал я. — Я б тоже написать такие не отказался.

— Ах-ха-ха! — захлебнулся Дэн в хохоте. — Вот Хроньшу как раз они подходят! У него как раз об этом все мысли: выжрать, пожрать и свалиться.

— Ну уж ты у нас интеллигент чистоганный!..

Автобус вроде только начал свой рейс, а уже, заметили, оказался среди полей.

— Э, а когда Комсомольская площадь? — забеспокоился Дэн.

— Уж проехали, — ответила одна из пассажирок.

— Да что за neprуха!..

— С твоими приколами, Мускатыш, вечно в дерьмо вляпываешься, — злобно сказал Дэн, когда мы оказались на свободе.

— Да кто б вякал! Кто нас вообще сюда затащил!..

— Да иди ты, урод!

— Ладно, хорош, — как мог, стал тушить я их перебранку, — пошли, до праздника недалеко.

Гуськом, между проезжей частью и кюветом, двинулись обратно к Можайску. Навстречу нам то и дело проносились на бешеной скорости самосвалы «КАМАЗы».

— Сука, еще собьют, — жался Борис ближе к кювету; его, видимо, все еще жгла фраза, что этот Одинокий — быдляцкий поэт, и Борис продолжил доказывать обратное: — Он в десятые годы одним из самых модных был, писал стихи крайне эстетские. Ну, муру, по большому счету... А потом понял... Это же, это крик человека, до предела уставшего от нищеты. От тотальной нищеты! Все в ней пребывают, только большинство скрывают ее, брыкаются, пытаются закормить ее хренью духовных ценностей, а единицы честно говорят... Одинокий сказал вот, один из немногих взял и сказал. Крикнул, показал свои язвы, которые есть у всех. Но все их гримируют, прячут под одежкой...

— А ты гримируешь? — язвительно спросил Дэн.

— Приходится... Мой идеал — анархия, голый человек на голой земле.

Но это несбыточно. Все мы рабы государства, пешки... Вот я. Я получаю в месяц три с половиной штуки. Если бы не снимал квартиру, было б вообще неплохо. Но какой ценой я имею эти три с половиной штуки?.. Целый день вынужден петь о красотах Египта, Кипра, где никогда не был. Выучил все курорты, отели, знаю, где как кормят, где какой вид из окна. Должен стараться изо всех сил, чтобы клиент раскошелится. И как бы ни старался, лишь один из пяти клюет и выкладывает бабли, а четверо послушают и уходят. За день бывает человек двадцать... И всем я рассказываю, всем улыбаюсь... И так везде, на любой работе. Любой человек торгует собой, стремится продаться дороже... Как раз как у Одинокого:

Все на месте, все за делом,
И торгует всяк собой:
Проститутка — статным телом,
Я — талантом и душой.

Дэн снова подкалывает:

— Да какой у тебя талант? Все потерял.

— Ха! А думаешь, легко человека развести на полштуки баксов?! Знаешь, как надо расстилаться, чтоб он согласился?! — Замолчав на минуту, пропуская ревущий самосвал, Борис опять перешел на тему быдла: — А быдло... Рабочие, вот это — быдло. Они мне всегда напоминают алкашей, которые по пьяни отморозили себе пальцы, стали инвалидами и злятся. Так же и эти — мозгов ни на что не хватает кроме как работать физически, а еще и вякают: условия нам создавайте, денег давайте больше. А пойти туда, где нормально платят, но мозгами надо шевелить, — на это как раз у них мозгов-то и нет. Тогда вот пусть и не вякают...

— Как бы ты без них жил? — спрашиваю. — Они же все материальное производят, кормят тебя, говно твоё убирают.

— Да пусть они существуют. Но нельзя их допускать до состояния морлоков... Помните, у Уэллса?.. Не хочешь на заводе вкалывать — мотай в другое место, а не можешь мотать — рот закрой... Вот моя позиция.

Дорога пошла в гору, говорить стало трудно. Борис заткнулся.

4

Воздух посвежел, солнце сбавляло свою активность, когда мы в конце концов нашли эту Комсомольскую площадь.

— Поистине центр! — с ироническим изумлением воскликнул Дэн. — Тут тебе и гостиница, и Дом культуры, и всевозможные кабаки, и памятник. Все под боком.

Здания в основном невысокие, этажа два-три, каменные, по возрасту — времен Обломова.

Борис предложил было выпить наконец-то водочки, но Дэн таинственно произнес:

— У меня есть лучший вариант. Пойдем куда-нибудь в спокойное место.

Чуть в стороне от площади — церковь. Не особенно грандиозная, но все-таки притягивающая к себе... Шагали к ней под непрерывные вопросы Бориса:

— Синь, что у тебя есть? А? Да погоди ты, затрахал!.. Зачем мы туда премся? Ты можешь ответить, скотина?! Ну, Синь?..

В ответ Дэн упорно молчал.

Прочитали табличку возле ворот: «Ново-Никольский собор. Возведен в 1779–1812 гг.».

— Хе! — я усмехнулся. — Тридцать с лишним лет строили!

Дэн перекрестился в воротах и пошел дальше.

— Слушай, с меня хватит! — потерял терпение Борис. — Еще по таким местам не хватало шлондаться! Я и в Москве даже в Василии Блаженном не был... Надо тебе грехи замаливать, так зачем нас таскать с собой?!

— Ладно, Мускат, не гунди. Вон, смотрите, за собором что, — Дэн махнул рукой, — вид охренительный. И людей никого. Пошли, говорю.

Расположен собор красиво, спору нет. На самой кромке крутого склона. Внизу, метрах в пятидесяти, — одноэтажные домики, огороды; дальше — перелески, поля, серо-желтые, пока неживые. Еще дальше — речка какая-то, полузамерзшая, по берегам белеет лед. За речкой снова поля, холмики, рощи... Не помню, когда в последний раз видел такое приволье, чтобы горизонт был далеко-далеко, взгляд не упирался в близкий лабиринт зданий, в деревья зеленой зоны, зажатой кишасим машинами и людьми городом... Даже оторопел я на минуту.

— Ну и что? — Борис первым подает голос. — Будем теперь стоять и любоваться до понедельника?

— Тут как раз перекурить приятно. — И Дэн присел на остатки кирпичного столба от снесенной церковной ограды.

— Да, перекурим, — согласился я. — А потом надо в гостиницу все-таки. Борис, расстроено кряхтя, опустил на корточках:

— Ох, кретины-кретины...

Я закурил «Союз-Аполлон».

— На фильтровые перешел? — спрашивает Борис.

— Да это так, — признаюсь, — ради праздника. Дороговаты для каждого дня.

— А сколько у тебя в среднем выходит?

Слегка привираю:

— Гм... две штуки так... две триста. Смотря сколько точек обойду да как товар в целом реализовывается.

По правде-то у меня зарплата за месяц тысяча шестьсот — восемьсот. Двух еще не было.

— Нормально, — пожимает плечами Дэн, — а все, свинья, бедным прикидываешься.

— Семья, — говорю, — квартиру снимаем...

— Да-а, как писал Ван Гог: семья сжирает любые деньги... Дите-то растет?

— Растет, что ему... Хоть и вижу его по вечерам и в выходные, но мозги успевают высушить... Нет, конечно, и радость доставляет...

— Погоди, подрастет, тогда и устроит тебе истинный Армагеддон.

— Вполне может быть...

Наступает вечер, солнце висит на краю неба. Земля теряет свои небогатые апрельские краски до следующего утра. Зато на рассвете солнце увидит их больше, этих красок, — с каждым часом они все ярче, сочнее, богаче. А пока, пока холодает, но холод уже не мертвый, не злой, а скорее освежающий землю после почти жаркого дня.

— Вот и зима кончилась, — лирически вздыхаю я. — Ничего не случилось... Когда-то зимой самое время у меня было рабочее — каждый день красил, рисунков делал штук по пять. А теперь как-то...

— И на хрена ж ты молчал?! — вскрик Бориса; в голосе обида, недоумение. — Цел-лый день пойлом травилась, когда у тебя такой колобок! У тебя мозги есть, а?

Точно, у Дэна в руках баш плана граммов на пять. Этого на неделю хватит, чтоб нам троим в себя не возвращаться, точнее — из себя не выходить, не расплыться в окружающем хаосе... И Дэн только сейчас раскрылся —

целый день в кармане таскал. А теперь сидит себе на пеньке кирпичном спокойненько и срезает с баша ножом коричнево-зеленую стружку.

— А где б мы стали курить? — отвечает. — На платформе, в электричке? Вот, самое достойное место.

— Нет, Дэнвер, ты глумишься просто, с утра глумишься, — уже миролюбивее ворчит Борис и совсем уже изменившимся тоном, жадной скороговоркой засыпает Дэна вопросами: — А где брал? Почему? Как торкает? Сколько здесь граммов?

Меня же укуриваться не тянет сейчас ни капли. Каждому кайфу, я считаю, свои условия хороши. Водка — для двухчасового буйного веселья, пиво — для неспешной беседы самое то. Экстази и кокс — где-нибудь на концерте нужен, где хочется с ума ненадолго сойти. Кислота и грибы — для глюков, чтоб пресную реальность разукрасить; герыч — единственное средство для глобального путешествия внутрь себя. А гашиш — чтобы работать... Было время, я его плотно потреблял, вот тогда и красил по-настоящему. Курнешь, воткнешься в темку, и пошел, и пошел. Голова с руками связана одной нервной горячей трассой, по этой трассе мысль мчится, не отвлекаясь на всякую шнягу. И через кисть — прямо на холст. Вот тогда и бывали удачи.

Но сейчас, сейчас мне хочется водки. Снять номер в гостинице, пойти в кабак и жажнуть там как следует. А потом — как-нибудь повеселиться.

Борис подсел к Дэну, наблюдает, как тот не спеша, с любовью забивает косяк.

— Эх, зря ты не сказал раньше, — досадует. — Я б купил поллитровку «Пепси». Через бутылочку-то лучше курить. Торкает целенаправленной.

— Тебе и так не покажется мало, — хмыкает Дэн.

Косяк готов. Дэн проглаживает его пальцами, тщательно раскуривает. Сделал пару глубоких тяжек, передал Борису. Тот сосет шумно, чмокая, как печка с открытой настежь заслонкой. Наполнив грудь до отказа, закатывает блаженно глаза... Теперь моя очередь.

Гашиш начинает действовать. Голова становится легкой и чистой; каждая извилина мозга — на месте. Тело смягчает, оно, кажется, вот-вот растечется по земле и в то же время может взлететь, как воздушный шар... Борис прилег на траву на склоне, положил руки под голову. Смотрит вдаль. Каждый в себе, в своих мыслях. Да и природа соответствует, подталкивает задуматься.

Тихо так, непривычно тихо. В Москве так и по ночам не бывает, там вечно гул, суета, завыванье. Уши привыкли к шуму, им сейчас его не хватает, и в них вместо шума звенит. Они в этой тишине напряжены сильнее, чем при грохоте; с готовностью хватают любой шорох...

— Красиво, да? — спрашивает Борис.

— Ничего пейзажик.

— А что там за речка?

— Море, — уверенно, с показной серьезностью объявляет Дэн. — Помнишь, Хрон про Можайское море гнал. Так вот оно.

Борис не засмеялся, а досадливо сморщился:

— Вот жизнь, бля... Проживешь и моря настоящего не увидишь. Сколько раз собирался съездить в Ялту или в Сочи куда-нибудь, когда возможность была, а теперь... Полтора года без отпуска. И работу не поменяешь, везде прописка нужна.

— А ты без прописки сейчас?

— Ну. Устраивался, была регистрация, но теперь давно уж просрочена. Вот ожидаю, вдруг проверка — сразу же выпрут. Знаю одну контору, регистрируют, только надо полторы штуки отдать, за полгода.

— Что делать, — вяло издевается Дэн, — домой поедешь.

— Хрен на рыло! В прошлом году побывал, смотался в свой Саратов на выходные. Мрак там... Два дня еле выдержал... Если б жил там постоянно — дело одно, а так... Я же до Суриковки в банке работал, кончил три курса финансовой академии, да вот крышу снесло — решил, что художник. Академию бросил, из банка уволился, все связи порвал. Куда там теперь? Все ниши заняты... Может, ребята пристроят куда, а может, и пошлют просто...

— Я тоже, — говорю, — думал, что без живописи жить не смогу. С десяти лет серьезно занимаюсь, каждый день. В Москву приехал с таким багажом. Десять холстов приволок!..

— Помню, помню, — усмехается Борис. — Развесил в комнате в общежитии, думал, все охренеют.

— Да и скажи, не хренели? — Мне становится слегка обидно от Борисовой усмешки. — Ходили, как в музей, поначалу. Потом уже я сам стал разочаровываться.

— А на меня вы тогда как смотрели! — подключается к воспоминаниям Дэн. — Как на левого среди гениев. А оказалось — все левые. Я просто с самого начала знал, что все это шняга, а вы только после диплома...

Борис перебивает:

— В живописи можно добиться чего-то серьезного, лишь когда в натуре одной ей живешь. Все остальное как фон чтобы, как придаточное. А если еще и жить хотеть по-человечески более-менее, то живопись сразу... — Борис отмахивается. — Выбирать надо: или искусство, или жизнь.

— Да вообще, — говорю, — почти все гении сифилисом болели. Доказано, что при запущенном сифилисе мозг начинает иначе работать. Масса примеров...

— Зато кончается это параличом и кретинизмом, — усмехается Дэн.

А Борис мечтательно вздыхает:

— Лучше сорок лет гением прожить, чем так шестьдесят... кое-как.

На дне склона начали горланить петухи один за другим.

— Кур спать ссывают, — говорю.

— Может, еще косячок? — Борис поворачивается к Дэну. — Только-только цепануло вроде и отпускает.

— Давайте сначала дела устроим с гостиницей, тогда и раскуримся уж как следует.

Я согласен с Дэном. Первым поднимаюсь.

— Вдруг, — говорю, — там номеров нет свободных. Придется думать.

— Да с чего их нет? — Борис тоже встает на ноги, но нехотя, с кислой миной. — Одни мы, как придурки, приперлись. Туристы.

— А что, скажи, здесь плохо?

Снова начинаются препирательства между Борисом и Дэном.

Гостиница, конечно, убогая. На желающих в ней пожить смотрят, как на инопланетян. Да и кто здесь, действительно, что забыл, в этом беспонтовом городишке...

С большими проволочками нас оформили на сутки и запустили в трехместный номер.

— Ну ничего, — оглядывая его, оценил Борис, — почти как в общежитии. Клопов, надеюсь, нет.

Я хмыкнул:

— Какая же гостиница в русской провинции без клопов...

Пожилая, унылая горничная принесла белье. Сунула все три комплекта в руки Дэна.

— За семьдесят рублей можно бы и застелить, — пробурчал тот.

Горничная стала еще унылей, ответила кое-как:

— Сейчас ключ принесу. — Вышла.

— Это тебе, Синь, не «Измайлово», — объяснил Борис, понюхал простынь. — Пять лет в шкафу лежало — плесенью отдает.

Помялись в номере, не зная, что делать. Наполнили графин водой, выпили по стакану. И как только горничная выдала нам ключи, отправились совершать то, зачем забрались в этот Можайск.

5

— Кур-раж-мураж! — провозгласил Борис, заведя на противоположной стороне площади бар «Бородино». — О, как долго я ждал!

Уже почти стемнело. По тротуарам и прямо по проезжей части не спешили люди. Видимо, с наступлением вечера и здесь принято отдыхать.

— Сейчас выпьем по паре стопок, и надо мутить овец, — планирует Дэн, закуривая свой «Пэлл Мэлл».

— А может, лучше по гашу? — Борис вдруг приостанавливается и задерживает Дэна. — Что такое водка, когда гаш есть. И бабы на него лучше клюют...

— На овец гаш изводить?! Сдурел, идиот?

Мне не очень-то в кайф идея Бориса — я уже твердо настроен как следует долбануть. Говорю торопливо и твердо:

— Нет, только водку! Какое веселье с гаша? Воткнется каждый в себя и будет сидеть грузиться. Давайте нажремся, повеселимся!

— Видишь, Мускат, — Дэн пожимает плечами, — Хрон против... Да и надо было тогда уж в номере закумарить. Где здесь-то?..

Борис прямо извивается — понятно, курнуть ему с каждой минутой хочется все сильнее и сильнее. Чуть ли не визжит:

— Да Хрон и есть Хрон, ему лишь бы залиться! Сейчас купим бутылочку колы, пойдем на то место, где склон, высосем по две точки — и самый ништяк! — И тормозит, насадет на Дэна: — Дав-вай!..

— Я укуриваться однозначно сегодня не буду, — заявляю, видя, что Дэн колеблется. — Завтра с утра — другое дело.

Спорим яростно. В основном я с Борисом. Дэн же помалкивает, потягивая «Пэлл Мэлл». Наконец устает слушать нас:

— Короче, так: заваливаем в «Бородино», пьем по сто пятьдесят, ужинаем как следует и снимаем овец. А там разберемся, пить дальше или курить.

— Ну, я же так не могу, — морщится Борис. — Если уж глотну водки, меня понесет.

— И хорошо, и хорошо! — я радуюсь. — А утром гашем похмельнешься как раз.

Чтоб не мелочиться, Дэн с ходу заказывает пузырь «Праздничной» за шестьдесят рублей, каждому по салатику. Выпив по первой, изучаем меню.

— Гля, даже бифштексы у них есть! Попробуем?

— Жесткие стопроцентно. Последние зубы от них потеряешь...

Беру себе тефтели с картофельным пюре, Дэн — бифштекс и рис, а Борис пельмени с кетчупом и вдобавок бутылку кока-колы.

— Вам разлить в бокалы? — осведомляется бармен тихим, но внятным голосом.

— Нет, нет, мы сами! — Борис хватая бутылку, и я вижу, что ему не терпится опустошить ее, прожечь в боковине отверстие и, напустив внутрь гашишного дыма, засосать в себя.

— Ну ты наркот, Мускатыш! — говорю.

— Угу, наркот... Уже забыл, когда и укуривался. Кокс с героин легче курить, чем гашиш. А как без него? Вся мудрость Востока, да и Запада последние два века была порождена именно гашишем...

В баре полутемно, столики пусты, кроме одного, где бесшумно наслаждается каким-то вином и друг другом влюбленная парочка.

Под потолком висит телевизор, крутят клип старого, заигранного хита группы «Кренберис».

— Вот правильная песня, — говорит Борис.

— О чем?

— О зомби. Что человек к двадцати пяти превращается в полного зомби.

По юности трепыхаешься, а потом... — И Борис подпевает коротко стриженной, страшноватой девушке на экране: — Им ё хэд, им ё хэд, зомби, зомби...

По тротуару вышагивают две неплохие вроде бы девушки. Фигуры, по крайней мере — что надо.

— Подгребаем?

— Их две всего...

— А сколько надо? Хрон и сам с собой покуражит. Купим ему водяры, пускай в холле заливаается.

— Слушай, Мускатина!.. — Борис меня всерьез бесить начинает.

— Ладно, прибавляем газу. — На ходу Дэн оправляется, как петух, намекаясь курицу потоптать.

Девушки идут медленно. Мы без особого труда их нагнали.

— Добрый вечер! — улыбается Дэн, заглядывая им в лица.

Я тоже успеваю оценить. Одна, слева, чернявая, ничего, мягко говоря. Я не против... Правда, выше меня на полголовы, но это даже к лучшему — женщину такого роста мне поиметь еще не доводилось.

— Отдохнуть не хотите, девчата? — Дэн завязывает разговор.

— Мы и так отдыхаем.

— Ну, поинтересней. В баре вон посидеть, выпить винишка хорошего...

— Соглашайтесь, чего вы! — вставляет Борис. — Гарантируем ослепительную ночь!

— Мы как-нибудь так, — говорит та, что справа, светловолосая и страшненькая; лучше бы ее вообще не было.

— Вместе-то интересней, — Дэн подмигивает симпатичной. — А?

Которая справа — морщится:

— Отвалите, парни. У нас тут везде знакомые, так что лучше...

— Ну, мы ж по-хорошему.

— Мы тоже...

Останавливаемся, овцы неспеша удаляются. На меня вдруг накатывает жуткая злость.

— Лесбиянки, блин! Твари, — говорю им вслед громко.

— Э, — пихает меня Дэн, — кончай. Сейчас в натуре приведут своих гопников...

— А что, я подраться не против.

Борис пугается:

— Иди ты на хрен! Мне рожа для работы нужна... — И видя, что никакие гопники к нам не бегут, снова принимает отвязный вид: — Ну, где оглушительный праздник? Где афинские ночи?!

— Надо так, — вспоминаю. — Я когда в армейке в увал ходил, в Петро-заводске, так там ленинградцы телок снимали запросто: покажут штамп в военнике, что они из Питера, что, мол, иметь будут в виду насчет жениться, если понравится...

— И как, получалось?

— Еще бы! Каждая третья клевала!

Ну, это уж я сочиняю. Видел, что показывали запись о прописке, но велись ли телки на это дело — не знаю.

— Во, у Синьки как раз подходит, — смеется радостно Борис, — регистрация постоянная, холостой. Давай, Синь, начинай.

— Отвали... Лучше в «Трактирь» зайдем. Пора еще накатить.

С девчонками так и не выгорело. Не соглашались даже посидеть с нами за столиком, даже на разговор не отвечали... Дэн, потеряв терпение, предложил одной бумажку в двадцать долларов — она убежала без оглядки.

— Надо было все-таки в Москве оставаться, — признается Дэн. — У меня у дружка мастерская есть, обставлена почти как хата. Он там живет почти постоянно...

— Забухали б, — вздыхаю, — со всеми удобствами!

— И забухали, и шлюху бы сняли, к нему привезли. У меня полтос баксов есть, Мускат бы дал кое-что.

— На это ясно дал бы, — уверенно подтверждает Борис. — Вот, не слушали меня, а могли б такую ночь провести! — И он начинает мечтать: — Возле магазина «Людмила» такие экземпляры есть, просто супер! Я на днях снимал. Одна мне вообще понравилась, дорогая только — семьдесят грин, и ни цента меньше. Я в машине сижу, все башли собрал из карманов. Не хватает какой-то сотни нашими. Думал, у водилы занять...

— Он бы тебе занял, ха-ха!

Борис не слышит подкола, с грустью продолжает:

— Пришлось другую взять, попроще, за штуку триста. Но... но когда с этой перся, о той думал все время. И сейчас думаю...

— Попал, Мускат! — Дэн с силой хлопает его по спине. — Женись на путане. Это в стиле русского интеллигента!

Меня интересуют другие вопросы:

— И ты что, в свой Реутов ее отвез? — спрашиваю. — На тачке?

— Ну, а куда еще? У меня в Москве кроме вас особых знакомых нет. Тем более — с подходящей хатой.

— У меня тоже, — говорю.

А Дэн издевается:

— Ой, какие бедные, сиротки!.. — Но видно, и он не слишком друзьями облеплен.

Еще с полчаса прошлондались в районе площади, тусанули на каком-то подобии бульвара, где не обнаружили почему-то ни одной скамейки. Пытались снова подкатить к нескольким девушкам, но все тщетно. Никто не соглашался, овцы шарахались от нас, как от заразных.

Когда в ноль часов бары закрылись, решили вернуться в гостиницу. Тем более, и на ногах уже мы держались нетвердо.

— Да-а, — сокрушался Борис, — куражну-ули. Полгода мечтал о таком праздничке.

— Вот мы и дома. — Дэн выставил на стол купленные в магазине «24 часа» бутылку водки, батон и упаковку нарезки.

Через силу выпили по пятьдесят граммов. Водка уже не лезла, опускалась в желудок холодным камнем, не принося ни радости, ни отруба.

Разговаривать тоже не хотелось. О чем?..

Я стал кое-как застилать свое лежбище. Борис валялся поверх покрывала, смотрел в потолок, постукивая себя по лбу пустой кока-кольной поллитровкой.

— Ну что, — глухо произнес Дэн, — если с телками не получилось, придется идти другим путем.

— Каким? — заинтересовался Борис.

— Да каким... Придется Хроньша оприходовать. Извини, Хрон, другого выхода нет.

— Кстати, это идея! — Борис приподнялся, подмигнул мне. — Ты человек женатый, вряд ли болеешь. Так что давай подготовь постель и раздевайся. Поиграем в Рембо и Верлена. Устроим полное затмение!

Они, ясно, стебаются, и я поддерживаю:

— Без контрацепции я не согласен. Ты, Мускат, лазишь хрен знает где.

— Насчет этого не беспокойся. — Дэн вынимает из кармана цветастый пакетик. — Презервативы резиновые, розовые, ароматизированные.

— Как будем его? — деловито спрашивает Борис словами из анекдота. — Устно или задним числом?

— Дурак, что ли, устно! Видел его зубы? — гниль одна, еще член исцарапашь, да и зараза. Давай в кишку.

Борис встает с кровати, снимает куртку.

— Е-ех-х! Хронитура, скидай манатки! — Потягивается. — Сейчас будет Содом и Гоморра.

— Пидоры гнойные, — говорю; что-то мне стало не до шуток.

— Пидоры не те — кто, а те — кого...

Мускат и Синь приближаются, рожи решительные. Синь уже вскрыл один презик, показывает мне розовенький кружочек, сладко приговаривает:

— Тю-тю-тю, мой цыпленок, моя овечка...

И тут я пугаюсь по-настоящему. Не общался ведь с ними несколько месяцев, черт знает, что произошло за это время. Может, действительно педами стали. Это немудрено сейчас...

— Ладно, кончайте, — прошу, — я спать хочу.

— Когда мы кончим — зависит от твоей работы.

— Надо выпить, — вижу на столе бутылку. — Для вдохновения.

Проскакиваю мимо уродов, хватаю бутылку.

— Ну, наливай, — как-то двусмысленно говорит Борис, снова подкрадываясь ко мне.

— Слушайте, не подходите, свиньи! По дыне дам. — Держу батл, словно дубинку. — Эта игра меня не прикалывает.

— А нас прикалывает. Давай, Хрон, не артачься. Только время тянешь...

Они оба выше меня, здоровее. Завалят спокойно. А что делать?.. Неужели опидарасились? Да ничего удивительного...

— Поставь пузырь и ляг на кровать, — гипнотизерским тоном бормочет Дэн. — Все будет как по маслу. Мы тебя не обидим...

Нет, нет, не поддамся! Что это вообще за дела?! Сейчас они сами лягут, уроды!

Хлопаю бутылкой о край стола. Она взрывается, как граната, брызгая стеклом и водкой. В моей руке остается лишь горлышко.

— Назад! — рычу. — Назад, подонки!

Дэн отскакивает, рожа у него стала серьезной.

— Э, хорош, мы пошутили...

Но теперь у меня одно желание — всадить розочку в кого-нибудь из них. Уже предчувствую, как будет рваться их одежка, захрустит кожа, как острые лезвия войдут в мясо. Такой азарт появился.

Гоняюсь за ними по маленькой комнате. Дэн с Борисом скачут через кровати, вокруг стола, бросают в меня стульями, постельным бельем... Приторно и сладковато пахнет свежей, невыдохшейся водкой. Скоро запахнет и теплой кровью.

— Ну ладно, слышь, завязывай! — кричит Дэн, перескакивая с одной кровати на другую; вот-вот он споткнется, упадет и получит в шею пару прицельных ударов. Тогда я, может быть, завяжу.

Борис заперся в туалете. Хитрит, сволочь. Ну ничего, разберусь с Синью, настанет и его черед.

— Я тебя поил, свинота, кормил, а ты... — Голос у Дэна испуганный и обиженный.

В дверь начинают стучать. Потом откровенно колотят. Женский голос из-за нее:

— Откройте! Откройте сейчас же! Что там происходит?!

— Своим ключом открывайте! — кричит ей Дэн. — У нас тут приятелю плохо! Припадок!

— Припадок? — Я едва не цепляю его розочкой по руке; Дэн отпрыгивает, как животное, и тут же мне в левое ухо попадает кулак.

Удар сильный, рассчитанный, чтоб сбить с ног. И я падаю. Кажется, ударюсь о ножку опрокинутого стола.

— Что же это такое?! — Горничная схватилась за голову, обводит круглыми глазами комнату. — Что вы здесь устроили?!

— Вот у него припадок... эпилепсия, — восстанавливая дыхание, отвечает Дэн.

Я вяло поднимаюсь с пола, сажусь на кровать. Тру левую сторону лица.

— Они пытались меня изнасиловать, — признаюсь чистосердечно. — Пришлось защищаться.

Дэн начинает наводить порядок. Борис крадучись возвращается из туалета. Горничная тем временем приходит в себя и решительно заявляет:

— Вот что, освобождайте номер. Быстренько!

— Как это?

— Так! Вести себя надо по-человечески. Ишь, устроили! Давайте живее. — Она собирает потоптанные, измятые наволочки, простыни.

— Куда мы в час ночи? До утра хотя бы...

— Мне что, за охраной идти? Так я пойду.

И она рысью помчалась куда-то; за охраной, куда ж еще...

— Ну ты, Хрон, и дура-ак, — вздыхает Дэн, берясь за сумку.

— Вы первые начали.

— Да пошел ты!..

6

В городе пусто и тихо, как будто все вымерли. Ни людей, ни машин. Лишь магазин «24 часа» приветливо светится, он похож на маяк среди бескрайнего черного океана.

Воздух холодный, в нем ни следа от дневной жары. Зима снова хозяйничает на земле, бродит по улицам, щупает деревья, камни домов и нас, одушевленных...

— Вот вporались так вporались! — бубнит Дэн. — Прикончить тебя мало, ублюдок.

— Вас мало прикончить. Я защищался.

— По идее, она не имела права выгонять, — рассуждает Борис, — ведь за номер мы заплатили. Сутки — он наша собственность. Потом бы могла штраф предъявить, если мы что-то испортили.

Дэн зло ухмыляется:

— Вернись и скажи это ей.

— Теперь поздняк, надо сразу было...

— Ну и не хрен, значит, об этом базарить.

Дошли до вокзала. Все закрыто. На фанере, рядом с кассой, нашли листок с расписанием. Освещая его зажигалками, изучили.

— Ближайшая электричка в пять двадцать. И что прикажете делать четыре часа? Застывать?

Сели на скамейку, закурили. Долго молчали. Время от времени поглядывали на часы, но стрелки, кажется, не двигаются. А холод знает свое дело — потихоньку вползает в нас, сжимает своими беспощадными лапами. Одеты мы довольно легко, не предполагали, что ночевать придется под открытым небом... Еще и похмелье... Плюс к этому — ухо у меня ноет, а если двигать челюстью, в нем что-то щелкает.

— Сильно ты мне впечатал, — говорю Дэну. — Кажется, ухо повредил.

— Надо было вообще добить. Скажи тетке спасибо, она дверь открыла как раз. Так бы — прикончил сволоту.

— Может, шамальнем? — подает голос Борис. — Теплее станет. Кочевники гашем только и спасались. А? Я вот и бутылочку сохранил.

— Как мы здесь, в темноте, будем через бутылку? — Дэн вдруг начинает почти что орать. — Условия надо иметь!.. Достали вы меня, два кретина!..

— Да я сделаю, — успокаивает Борис. — Дай мне кропалик.

— О-ох, затрахал... — Дэн вынимает гашиш, ножичек. Борис, светя ему «Зиппой», подсказывает, что и как:

— Отрежь такой, чтоб удобно на сигарету лег, плоский. Гаш мягкий у тебя?.. Давай я сам, ты его весь искрошишь в пыль...

— Отста-ань, — рычит Дэн. — Вот, хватит с тебя.

Борис долго разглядывает кусочки.

— Сойдет, — говорит наконец, — сэнкью.

Он возится с бутылочкой, прожигая в боковине, рядом с дном, отверстие. Во время этого теряет и находит свои «точки». Потом устанавливает «точку» на раскуренной сигарете, сует ее в отверстие — бутылочка энергично наполняется гашишным дымом.

— Короче говоря, Хрон, ты мне должен столярник, — заявил Дэн, как с дуба рухнул.

— С чего это?

— За гостиницу семьдесят, за остальное...

Я изумлен, ясное дело, обижен.

— Мы же договаривались, — напоминаю, — что ты за меня башляешь. У меня бабок нет.

— Отдашь как появятся.

— Ну ты даешь, Синь! Не ожидал от тебя...

— Не называй меня Синью! Я давно вышел из этого возраста. Вообще надо завязывать со всем этим.

— Хм, — хмыкаю, — с чем?

— Со всей этой хренью. Пригласил отдохнуть, как людей, побывать в древнем городе, ознакомиться... А устроили дестрой настоящий. Скоты.

— Это ты в основном и устроил, в гостинице. Пидора стал изображать.

— Потому что надоело все...

А Борису наш разговор по барабану. Он втянул из бутылочки дым, закатил шары и ушел в себя.

С обвинений в мой адрес Дэн переключился на проблемы глобальные:

— Вообще все дерьмо одно. Что бы ни начинал делать, оказывается дерьмом. До простейшего. Хочу выпить кагора, а кругом портвуха одна; девочка симпатичная где-нибудь в компашке встретится, понравится, так обязательно с чуваком... Бывает, проснусь утром, и такое чувство: надо новую жизнь начать. Какая-то легкость такая, вчерашний пакостный день далеко-далеко где-

то там. Встаю, даже, бывает, зарядку сделаю, кофею заварю... А потом начинается, блин... И вечером снова убитый в хлам, снова день, как и вчерашний. Эх, сука, уехать бы куда-нибудь. В Питер уехать, снять комнату на год, найти работку, чтобы на хлеб было, и — пожить.

— Размаслялся, — протяжно, с усмешкой произносит Борис. — Кто б так не хотел? Вот нормальные люди для чего путешествуют? Они одиннадцать месяцев утопали в трясине жизни, этой ежедневности, а уж месяц — отмываются, счищают тину. Если больше года на одном месте жить — конец. Ведь все по схеме идет. Как конвейер. Утро, день работы, тупой вечер. Два дня выходных, чтобы восстановиться для новой недели. И снова — конвейер. Это ведь не нормальная жизнь. Тем более для нас, людей творческих.

— Для творческих? — Я готов расхохотаться. — Ты хоть одну почеркушку сделал за последние пару лет? Наверно, и карандаша дома нет.

— Как это — нет? Все на мази! — Борис оживает, начинает ерзать на скамейке. — В любой момент готов ворваться в бессмертие!

— Одно дело готов, а другое...

— Я жду вдохновенья! М-м, трудно, конечно, в таких условиях, но не безнадежно.

— «Явление Христа народу» готовишься красить? — подкальывает Дэн.

— Это детство, говорил уже, — морщится Борис. — Я отказался от этого замысла. Нет, сегодня нужно нечто такое... — Он с полминуты молчит. — А никто не знает, что нужно сегодня, чтобы бессмертное получилось. Все искусство в тупике. И живопись, и литература, театр, музыка. Ракушки, так сказать, есть, а жемчужин внутри нет... Родиться б лет на двадцать раньше, я б влегкую бессмертным стал. Тогда хорошо было — тоталитарная идеология, андеграунд, диссиденты. За бессмертие можно и отсидеть пяток лет, а уж если бы выслали — полный ништяк... Мда-а, а сейчас... сейчас одни непонятки, бесцветный период.

— К народу надо возвращаться, — появляется у меня идея. — Красить снова что-нибудь вроде как у Максимова, у Перова...

— Во, во, это по твоей части, Хрон. Быдлярские сюжеты классическими мазками. «Быдл Быдлов идет на завод», «Быдл Быдлов пьет в чебуречной», «Быдл Быдлов лежит под забором». Приступай! — Борис хохочет, но быстро успокаивается и снова переходит на серьезный тон: — Нет, сейчас нужен хитрый синтез реального и виртуального, новые технологии, соединение живописи, и музыки, и литературы, и всего прочего.

— Ну, это известно двести лет уже, если не тысячу, — отмахивается Дэн.

— Известно-то известно, но никому реализовать гениально не удавалось... Давайте косячок раскурим?

— Можно, — неожиданно легко соглашается Дэн.

Давно так не мучился, как в эти четыре часа ожидания электрички. С тех пор, наверно, как служил в армии. Там приходилось в любую погоду бродить, тоже как раз по четыре часа, в качестве часового меж двух рядов колючки, охраняя ангары с крупой.

И давным-давно я не видел рассвета. А теперь вот торчу на холодной, пустынной платформе, смотрю на небо, туда, где среди черноты сначала густо посинело, потом, прямо на глазах, стало зеленеть. И такая багровая кайма... И кажется при этом, что тьма повсюду, кроме востока, только усиливается, что ночь, которую рассвет гонит с одного края неба, всей своей тяжестью наваливается на другую...

Но с каждой минутой утро ближе, ближе, все чище, прозрачней небо. Солнца еще не видно, лучи прожигают тьму высоко над землей. Лучи, они как раскаленные иглы, как ручки вулканической лавы среди остывшего пепла.

И платформа — темно-серая, заиндевевшая, безлюдная, лишь двое недвижных бродяг скрючились на скамейке...

Взять бы кисточку, начать копаться в ящике с красками, искать подходящие цвета... Но сколько уже рассветов понакрашено, запечатлено художниками всех времен и народов. Нужен ли еще один?..

И я отвернулся, бросил окуроч «Союз-Аполлона» на шпалы, сел рядом с похрапывающим Борисом.

После стольких часов на улице кажется, что в электричке теплее и уютнее всего на свете. И деревянное сиденье удобней любого кресла.

Но здесь-то и начал пробивать жуткий озноб.

— Вот и заболел, — стуча зубами, кутаясь в куртку, говорит Борис. — Спасибо, Синь, за прекрасный вояж!

— Ты вот этого клоуна благодари, — Дэн тычет в меня пальцем.

— Убери руки, пед! — Я готов дать ему в рожу.

Борис нашел под сиденьем журнальчик «Вот так!», листает его, что-то читает. Потом спрашивает:

— Есть ручка? Тут кроссворды, если отгадаешь ключевое слово, можно сотку заработать.

Ни у меня, ни у Дэна ручки нет... Раньше я всюду таскал с собой блокнот и карандаш, при любой возможности делал зарисовки. Таких блокнотов использованных у меня было штук тридцать; часть пришлось выкинуть во время переездов с квартиры на квартиру, да и казалось, что шняга там одна. Иногда становилось жалко, но ясно: таскать по жизни все, что накапливается, невозможно.

— Гляньте, какая соска, — показывает нам Борис «девушку номера». — Вика, двадцать лет, метр семьдесят пять, вес — пятьдесят два, параметры 89-61-91. Ничего? Знает четыре иностранных языка.

Дэн лениво отвечает:

— Про них про всех так пишут. А по жизни — уродка и тупь несусветная. Рожу подкрасят, сфотают с голыми титьками, десять грин в зубы — гут бай, мразевка. Еще и фотограф между делом оттарабанит...

— Да ну, брось, — не согласился Борис. — Тебя послушать, так одни бляди везде. — Он с любовью смотрит в журнал. — Классная девочка. Вика. Предложили, она снялась. Может, написать в редакцию? Я б с ней познакомился... Забыл уже, когда с девушками общался.

— А проститутки от «Людмилы»? — хмыкнул я.

Борис скривил морду:

— Да гнал я все... во-первых, дорого, а во-вторых, куда я их повезу и на чем...

Электричка несется почти без остановок, на полной скорости. Пустой вагон болтает из стороны в сторону, — да ну и пусть летит к чертям под откос... Сидя дремать не получается, я перебрался на соседнюю лавку, лег, натянул на голову воротник. Может, на часок удастся отключиться.

— ...Отстань ты от меня! Бля, достал, свинота! — Голос Дэна хриплый и злой.

— Я же заплачу. Сколько? Семьдесят? Десяносто? Можно и не полный грамм. А? Хоть на пару косяков... Ну, Денис, жалко, что ли? — почти скулит Борис. — Можно и так сделать: как только я куплю где-нибудь, сразу тебе верну этот грамм. А, Дениска?..

— Н-нет!

Борис обиженно поет:

— Раздразнил только... Зачем взял такой колобок? Взял бы грамм, чтоб весь его выкурить — и все. А то — пять граммов!..

— Слушай, закрой рот! Как вы меня достали... — И без перехода, тем же тоном Дэн признается: — Не мой это баш, кренделю одному надо отдать. Дали вот вчера утром, чтоб я передал... И так уже сколько скурили, теперь объясняй...

— Ну, все понятно, какие вопросы. — В голосе Бориса появляется нотка презрения. — Не твой, так не твой. В пушеры, значит, подался...

— Значит — так.

Мне больше не дремлет. Сажусь на лавке, потягиваюсь.

— Долго еще? — смотрю в окно.

— Долго. Кубинку только проехали. Спи, Хронитур.

— А ты — Мускат вонючий. — Смазливая, но будто вечно неумытая рожа Бориса кажется мне сейчас особенно гадостной. — Что, обломался с гашем, уродец?

— Пошел в жопу, алкан! Я твоей жене-то сегодня вечером позвоню. — Борис в долгу не остается. — В командировке он был. Ха-ха! Я ей все расскажу, еще и прибавлю кой-чего. Как ты — ха-ха! — к шлюхе, например, привокзальной клеился, уламывал пойти в кусты. А мы тебя с Синью еле увели. Синь меня поддержит. Да, Дэнвер? — Тот не отвечает. Борису надоедает меня злить, он зевает и начинает говорить о другом: — Что б такое придумать глобальное?.. Не очень-то веселая получается штука — жизнь.

— Бабло есть — веселая, — говорит Дэн.

— Да нет, все равно не хватает чего-то. Ну, пожрешь вкусного, выпьешь хорошей водки, в клуб сходишь, коксом закинешься. Но это все временно, мизер какой-то... Должно же быть что-то такое... — И Борис ударился в философию. — Некоторые и живут вроде полуничими, а им хорошо, легко так. Внутренне легко. Значит, у них там есть что-то твердое, они нашли... Вот у меня соседка по подъезду, такая коровенка лет двадцати. Некрасивая, толстая, и родители у нее работяги простые. Никакого у нее вроде сладкого будущего, а она все улыбается, ходит так пританцовывая, цветет прямо... как цветок на помойке. Я как увижу ее улыбку, походку эту, и такая у меня к ней ненависть сразу, и что-то даже вроде зависти. Ух ты, думаю, тварь, лыбишься!.. И здороваются не просто «Здравствуйте», а обязательно: «Доброе утро!», «Добрый вечер!». Какой он добрый, кретинка?!

7

Попрощались у входа в метро равнодушно, словно малознакомые люди. Дэн сел в троллейбус, Борис направился на кольцевую линию, а я на радиальную... Хорошо, что Дэн не напомнил о столынике, который якобы я ему должен, — наверно, остыл. Да и в чем я виноват? — они первые начали беспредельничать...

Что-то не по себе. Заболеть еще не хватало. Сашку заражу, он вовсе неуправляемым сделается, да и на работе напряги — придется после выздоровления обходить раза в два больше точек, чем в обычные дни. Штук по двадцать.

В метро тепло, просторно, привычно. Пассажиров, как и всегда в воскресное утро, немного. Передо мной сидит молодая женщина с закрытыми глазами, и лицо у нее такое напряженное, сморщенное до глубоких борозд, что кажется — она не дремлет, пытается схватить несколько минут вдобавок к ночному сну, а видит под опущенными веками страшные, поганейшие сцены. Сейчас вскочет, распахнет глазищи, истошно заорет... Нет, не вскакивает, терпеливо и напряженно всматривается в свои отвратительные картинку.

Перевожу взгляд на стену вагона, тарашусь в рекламную наклейку. На ней — счастливая семейка, шесть человек разного возраста. Все растянули

губы в неестественной широкой улыбке, обнажив белоснежные зубы. Старикан, старуха, муж, жена, их сынишка, дочурка. Вот что делает зубная паста «Аквафреш»; вот какую радость она дарит людям... Может, тоже перейти на «Аквафреш»? Почувствовать дыхание счастья?..

Поезд выскочил из-под земли на воздух, под яркое солнце. День снова обещает быть теплым и ясным. Снова будет тянуть вдаль, тормозить, мучить. Сводить с ума. Лучше бы сегодня дождь. Дождь, хмарь и ветер. Чтоб никуда не хотелось, кроме теплой постели. Чтоб не было свежего, высокого неба, зовущего подняться и полететь.

На набережной Москвы-реки — три огромных бело-голубых дома. Люди называют их «кораблями», и действительно — они похожи на океанские лайнеры с сотнями удобных кают. Лайнеры повидали моря, океаны и встали в порту на кратковременный отдых. В первое время, когда видел их, в груди начинало приятно посасывать, хотелось представить, кто в них живет, было трудно оторвать от них взгляд. Я любовался «кораблями». А потом, потом — надоело, даже стал злиться: сколько ни смотрю, они всё на месте, всё одни и те же, и люди в них не романтические пассажиры, а обычные, вроде меня, сухопутного, каждодневного.

Жена искренне удивлена, что я приехал так рано.

— А мы тебя к вечеру ждали, дорогой, хотели торт испечь.

— Извини, так получилось... — отвечаю и, как часто бывает, чувствую какую-то смутную, но острую досаду, когда оказываюсь дома.

— Да наоборот, я очень рада! — Жена обнимает меня. — Ведь сегодня мы целый день будем вместе.

— Угу...

— Ты выпивал? — почувяла вонь перегара.

— Так, немного... Вчера намотались, немного приняли, чтоб расслабиться.

— Нет, я ничего. Очень голоден?

— Поел бы. А Саня спит?

— Спит. — И жена начинает жаловаться: — Полночи проплакал, даже не знаю... Сейчас опять грипп, говорят, разгулялся. Такая погода и грипп...

Сажу в углу кухоньки, сунув ноги под крошечный столик. Жена взбивает яйца для омлета.

— Дорогой, ты не будешь сердиться? — спрашивает шутливым тоном, но и со скрытой боязнью.

— Смотря на что.

— Понимаешь, нам кто-то котенка подбросил. У двери оставили... И я вот решила взять.

Досада тут же сменилась раздражением:

— Места слишком много?.. Нам не протолкнуться, еще и он будет ползать. Нет, чудесно просто, тыщу лет мечтал!..

— Сане же полезно общение с животными. Будут играть. Приучить к туалету беру на себя.

— Делайте, что хотите. — Спорить нет сил.

Потом завтракаем. Я ем без особого аппетита, предвкушаю, как сейчас завалюсь в кровать. Молчу. А жену тянет поговорить:

— Сильно устал, дорогой?

— Да так, спать хочу... И, пожалуйста, не надо меня дорогим называть, — будто мы живем уже тридцать лет, престарелые супруги какие-то...

Она пожимает плечами:

— Ладно, не буду... Ты ложись, а мы с Сашей сходим погулять. Как там погодка?

— Тепло вроде бы будет, — отвечаю. — А ты за питанием не ходила еще?

— Только проснулась перед тобой.

Смотрю на часы. Двадцать минут девятого. Молочная кухня, где выдают для ребенка бесплатно молоко, кефир и творожок, как раз открыта.

— Сейчас пойду, — говорит жена.

— Да ладно, я сам.

— Ты ложись, отдохни, тебе же завтра опять на работу.

— Перестань! — отмахиваюсь. — Схожу, а потом лягу спать. Все равно сейчас не усну — вы собираться будете, Саня разноется...

Не виделись всего сутки, но за это время в лице, в фигуре жены появилось что-то новое, что-то не то. Или исчезло... Может быть, это случилось уже давно, только я не замечал — примелькалось... Мы вместе больше двух лет, до этого с год дружили, как принято называть подобный период... Познакомились в Щуке, — я там подрабатывал, малевал декорации для уличных праздников. Иногда заходил посмотреть спектакли. В роли сексуальной дикарки из «Багрового острова» ее впервые увидел, через несколько дней — несчастной Машей в «Чайке». А потом в жизни, в вестибюле училища. Влюбился, наверное, стал ухаживать...

Девушка она симпатичная, даже скорей не просто симпатичная, а очаровательная какой-то настоящей женственностью и свежестью. Но вот сейчас, сейчас вдруг заметил, что что-то исчезло в ней... Сижу, смотрю на нее, пытаюсь понять... Нет, она сама давно заметила, давно почувствовала тревогу. Она все чаще жалуется на однообразие, просит отпустить ее на спектакль, спрашивает, можно ли пригласить ее друзей, тех, кто реализовал себя, кто работает пусть не в первом классе, но все же театре, у кого есть спектакли по вечерам, а днем — трудные и интересные репетиции, кто ждет, приближаясь постепенно, словно к рождению ребенка, к премьере... А она вот родила ребенка реального... Мне хочется пожалеть ее, подбодрить, но я вспоминаю о себе, — мое положение немногим лучше...

Она одевает для прогулки Саню. Тот капризничает и вертится, срывает с себя шапочку.

— Сынок, ты разве не хочешь гулять? Тебя ребята ждут. Павлик, Андрюша. Будешь с ними играть, бегать будешь.

Я лежу поверх одеяла, жду, когда они уйдут. Поглядываю в окно, там беснуется огромное солнце.

— Ты его не закутывай особенно, — говорю, — на улице жара почти.

— Сейчас самое опасное время — вроде жарко, а ветерок такой коварный...

— Как знаешь.

Зеваю и отворачиваюсь к стене. Хочется спросить у жены, как бы сделать житуху повеселей, чтоб в душе было легко и просторно.

Иногда кажется, что достаточно просто встряхнуться, подумать о какой-нибудь приятной мелочи, и все пойдет хорошо, на все хватит сил и времени, сердцу будет тепло. Ведь кто-то же так живет, их называют счастливыми людьми, но как таким стать...

У нас был в институте один паренек, на два курса старше меня. Приехал из-под Мурманска, все рисовал тундру и суровое море. Здесь, в Москве, жил в подвале в районе Чистых прудов, работал дворником. Знакомые про него говорили: не от мира сего. С уважением говорили. Он и был таким — одет в нелепую одежонку, что-то вечно бормочет, руки и рожа в краске; экзамены ему ставили почти автоматом, лишь бы сказал пару слов по теме... Он мог не есть целыми днями, не спать сутками; пил фантастически много, отрубался на полчаса и, очнувшись трезвым, продолжал начатую картинку. Нельзя сказать, что вещи у него получались хорошие, так, в общем-то — ничего сверхъестественного. Но он весь был в своей живописи, и его, кажется, мало трогало, нравится

людям или нет. Послушает чей-нибудь критический отзыв, пожует губами и красит дальше... И интересно, что девушки его любили, жалели, носили еду, пытались ночевать в его грязном подвале, а он их выгонял. Дурачок... Надо бы съездить, посмотреть, там ли он еще, что с ним стало. Но скорей всего вытурили из Москвы или сам уехал обратно в тундру.

— Са-аша, ну что это такое?! Ведь держала же на горшке, не сходил, а только одела... О-ох! — Жена снимает с сыночка штаны. — Проситься надо: пи-пи, мама. Понимаешь?

Саня тянется к паркету, желая размазать лужу. Кряхтит.

— Нельзя, сейчас сама вытру тряпочкой. Не лезь, тебе говорю!..

Я сползаю с кровати, иду за тряпкой. По пути ногой отбрасываю к стене маленького, но уже наглого и независимого, как вся их порода, бело-черного кошака. Тот мявкает... Вот она, блин, счастливая жизнь, сплошняком состоящая из приятных мелочей...

Зачем-то увязался с женой и Саней на улицу. Остаться одному стало вдруг страшно. Даже, показалось, увидел в углах цепкие сети тоски, готовые опутать и задушить.

Жена обрадовалась, но поначалу отговаривала, хотела, чтоб выпался.

— Ночью выплюсь, — буркнул я, натягивая джинсы. — Воскресенье все-таки, погуляем...

Теперь вот качу коляску в сторону Коломенского парка. Саня разглядывает мир, почти свесившись с коляски, но ведет себя смирно. Знает, что сейчас вырываться бесполезно, а через десять минут будет свобода, тогда можно набегаться до упаду. Рядом бодро шагает жена, то ли улыбаясь, то ли просто жмурясь от обилия света. У нее хорошее настроение. Она предлагает:

— Может, пивка купим? С воблочкой, как ты любишь. Найдем укромный уголок, сядем, станем пить потихоньку, смотреть, как резвится наш сын...

— А деньги? За квартиру ж платить...

→ Тридцать рублей особенной роли не сыграют.

— Хм, а потом идти к твоим родителям, в долг просить.

Мои родители далеко, в маленьком сибирском городке Минусинске, вроде Можайска, сами еле сводят концы, а с родителями жены отношения у меня не очень-то. Тоже живут, экономя каждую копейку, и притом, как большинство коренных москвичей, люди мнительные, ворчливые, подозрительные. Все считают, что их дочь, талантливая, прекрасная девочка, выбрала неудачного мужа.

— Что же, — слегка обидевшись, говорит жена, — если у них будет возможность — помогут обязательно.

— Угу, угу...

— Ну, давай по бутылочке?

— Если хочешь — покупай. — Нет сил спорить, хотя мне сейчас ничего не надо.

— А какое лучше?

— Господи, да любое!.. Кроме темного.

Жена направляется к ближайшему киоску. Остановилась:

— Воблочки брать?

— Ну, возьми...

Впереди оживленная улица Новинки. А за ней уже совсем рядом — Коломенское. Там ежедневный праздник. Да нет, какой праздник? Убогая имитация просто-напросто.

Сидим на коротком ошкуренном бревнышке под кривой яблонькой. Саня бегаёт по полю, хлещет сухую прошлогоднюю траву прутиком. Время от времени смотрит на нас, машет рукой и снова резвится.

— Как быстро он растет, — то ли удовлетворенно, то ли грустно вздыхает жена. — Вспомни, каким он год назад был, как часами пытался на ножки встать.

— Да, помню... — Но в голове у меня другое, и я не выдерживаю, доставая сигарету из пачки, спрашиваю: — И чем ты заниматься дальше собираешься?

— В каком смысле?

— Ну, что делать собираешься в жизни?

Она пивнула из бутылки, пожала плечами:

— Пока я ращу сына, пока в этом мой смысл...

— Мда, — усмехаюсь, — но должно же быть что-то большее. Так основная масса живет... Ты же актриса, у тебя желание должно быть — сцена, спектакли там, образы.

— Пока что это нереально ведь. Я жду.

— Так-так... Все вот и ждут... И оправдываются одним и тем же: ребенок, квартира неудобная, работа, время такое. Херня все это просто-напросто, понимаешь... — Смотрю под ноги, на пяточок черной затоптанной земли, на оранжевые фильтры от сигарет, пивные крышки. — А я вчера не в командировку ездил.

— А?

— Я не в командировке был... Просто решил отдохнуть. Денис с Борькой позвали. Денис зарплату получил, решили отвязаться как следует, развеяться... Сняли в «Измайлово» номер, у Борьки кокаин был... Вечером съездили на Садовое, проститутку купили. Возле магазина «Людмила» классные и недорогие, за пятьдесят долларов. В гостиницу привезли... Номер отличный, на двенадцатом этаже, с лоджией... И девочка ухоженная, восемнадцать лет, Вика. Все умеет, никаких проблем, геморроев. Работает, как смазанная машина. Проститутка, одним словом. В-вот... Портье шампанское принес, ананас, коньяк. Дэн, конечно, потратился, но у его бати же свое дело, финансы имеются... Потом эту, ну Вику, оставили в номере, пошли в казино. Научили меня на рулетке играть, на автоматах. Дэн двадцать долларов дал, я просадил их. Жалко, конечно... Потом в ресторане ужинали, стриптиз был. Вот весело люди живут!.. Да, вернулись, девочке велели стриптиз показывать. Борька в нее деньгами кидал для прикола. Такая, в общем, ночь получилась, афинская... Нда, мне теперь впечатлений, хе-хе, надолго хватит, когда газировку буду проверять... Ты не бойся, я с этим самым... Мне Дэн упаковку иностранных дал... надежные...

Перевожу глаза на жену. Она уставилась куда-то вдаль. На лице никакого выражения, оно словно окаменело.

— Извини меня, ладно? — дотрагиваюсь до ее плеча. Она дергает головой, наши глаза встречаются. И лицо ее становится морщинистым, перекошенным. В глазах мгновенно появились слезы. Сейчас покатаются по щекам капля за каплей. Сейчас начнется...

Александр Медведев
Полый посох

Золото бедных

Юность бывала — не Баден-Баден.
Старость будет — не Карлсбад.
Если прожил ты беден-беден,
будешь хлебным кускам рад.

Только не унывай, не забывай, камрад —
Беден, безроден, был ты свободен.
Лучшего дара не промотал.
В тигле огонь, когда остывает,
не знает, какой там загустевает
слезившийся капля за каплей металл.

2000

Пар изо рта

Слушай, как ты живёшь,
чем на хлеб добываешь?
В шесть утра папироску сжуёшь
и вчерашние щи дохлебаешь.
Кем заполнен наряд? — забутовка,
сплотка да бревнотаска,
такелаж, сцепка-смазка
да рихтовка, шихтовка,
кладка, резка, обвязка.
Домино и бытовка —
калорифера ласка.

Как в затоне лебёдка кричит!
Ось у ней, как душа, не на месте.

Трос бурлацкий по слипу влачит
бесконечную песню.

Звёзды словно бы кто обесточит.
С катерка долетит матерок.
Подъездные пути молоточком
баба в жирных пимах простучит,
озираючись — кто там кричит?
Будто мало своих-то морок:

Вслед пустому вопросу: как жизнь? —
шевелится железо живое.
Не дожидаться ответа, кажись.
Или скажут: иди, Бог с тобою.

Стоик

Этот старик, троцкистов громивший,
столько построивший и воздвигший,
жизнь прожил и вправду не зря.
В коммуналке строго и чисто.
Упорядочен до неистовства
день с подъёмом в 5.30 утра.

Всё, что ставилось ладно и связано,
было как будто века назад.
Подломилась такие сваи,
распаялись такие спаи,
что понять ничего нельзя.

Он, последним в живых оставленный,
не простит себе никогда
то, что мало врага давил он;
что, — калёный, жжёный, оплавленный,
не увидел, не уследил он —
и такая теперь беда.

Пишет он письма в одну редакцию.
Мысли сбивает реклама дурацкая,
но конспект всё ближе к концу.
И солёная, злая фракция
скупо течёт по его лицу.

1993

Песнь о банкротстве

Входит похоронная команда
кредиторов с описью прорух.
Никуда тебе звонить не надо,
да и трубку вырвали из рук.

Обступила тишина мертвецкая.
Стал лицом ты что-то нехорош.
В логово налоговой инспекции
ты без страха в первый раз пойдёшь.

Эх, нули, кружки продолговатые.
Пуля много правильной, круглей.
Впрочем, неквадратны и квадраты
из-под унесённых мебелией.

Денег нет. Спокуха, без истерики.
Есть и в этих нетях благодать:
можно взять билет на «Пан Америкэн»*

и вперед — в Сухуми отдыхать!

Там после великого куража
нынче денег нет ни у кого.
На неразминированном пляже
голова работает — ого!

Ты ещё надыбать схему сможешь,
что делилось прежде, перемножишь.
Ведь банкрот — он тот же банкомат,
у которого залипла кнопка,
но полна, как баксами, коробка
черепа — ты всё вернёшь трикрат.

Всё, привет. Мне не до разговоров.
Я сегодня занят, извини.
Завтра? Завтра вылет мой. В 7.40.
Если деньги будут, позвони.

1997

Полый посох

Плоды наук, цветы ассоциаций
я променял на ассигнаций пук.
Почти без сожаления, признаться —
как бы по жизни дав случайный крюк.

Свобода приходила — вся нагая,
как и предрёк безумец и поэт.
Не храм, но банк, секьюрити с наганом —
её примета средь иных примет.

Пиита тощий в ушлого купчину
преобразиться не почёл за труд.
Резидентура! Этакой личины
вам шефы ваши не изобретут.

Нас тьмы и тьмы. Завлиты и завлабы,
актёрки... пятна камуфляжа. Грим.
О, мы перехитрили всех неслабо,
как некогда смиренный пилигрим,

что в посохе личинки шелкопряда
от стражей Поднебесной утаил.
А кто писал сценарий маскарада?
Никто — и все, по мере бранных сил.

Не уставая ставить свой порядок
от самых от окраин до Москвы
и по-хозяйски не ломая шапок,
пришли и есмь отныне... Каковы?

1998

* * *

В полдень стало темно и слепо.
Небо огненным полно млеком,
И берёзы пьяным-пьяны.
Вспышка — словно мгновенный слепок
оглушительной глубины.

Стало жёлтое белым. Стало
голубое синё, чёрно.
И косым лучом заблестало
в лесниковом доме окно.

И, как праотцы, тучи встали
и пошли — так идут косцы.
Им под ноги легли холстами
электрические овсы.

Телеграммой гроза приходит —
и земля волнуется вся,
с полевой дороги не сводит
молодеющие сегодня
ожиданием гостя — глаза.

Financial times

Н.В. Зайцевой

Загустевает декабрь, слой на слой.
Времени 7 тире 7 с минутами. Злой
солью крыты огни и камни Москвы.
Ещё не время объезда по точкам братвы,

* Хотя и «Пан», а обанкротилась в 80-х годах...

но пора медной сволочи для дорожных жетонов,
скользоты ступеней, но всё увереннее и степенней
снег-первоклассник пишет в косую линейку.
И строят, к премьере трагедии, прожекторы росскую Мекку,
стапели и столпы. Тебя, город-империя.
Москва во облацы, словно в овраги, сваливает
отходы лазерных ватт, иллюмината остатки и бой.
И в ту виртуальную почву бия световые сваи,
на дымных она полотнищах профиль рисует свой.
Таков интерьер. А теме (детальями слог украсим!)
назначено: быть и умереть в получасе.
Прошу обратить внимание: сквозь тростник снегопада
Вы видите что? — банков сияющие зиккураты.
Давно неприёмное время —
ни дать, ни взять, так сказать — тем не мене
горят бифокальные окна, нам ни хрена не видно,
но мы им видны, и это даже обидно.

Вы знаете, что там творится, в эти мгновенья?
Идёт, во имя Баланса, уничтожение денег!
Должна лишь нули дать на экраны ежевечерняя опись,
всё — замереть, и задержать на вдохе дыханье бэк-офис.
(Я не знаю, что он такое, и вам ведать не надо.
Храни нас, Боже, от тайны не наших банковских кладов.)
Таинственно повеленье Верховного Казначая:
Нули в 20.00! Так на пятницу иудею
перед субботой стать надлежит неимущим,
до воскресенья не обладая вещным и сушим.
Иначе сказать — мы, входящие на эскалатор, означимся «вх.»
Вечером «исх.» встречная лента исторгнет, еле живых;
а к ночи должно пустому остаться метро, —
так же и в банке, в монстроподобной утробе его.

Если верно, что время — деньги, то это
значит, что каждый вечер времени как бы и нету.
И великие бессребреники с охраной в свои лимузины
рассаживаются, усмехаясь. Дежурные их муэдзины
в верховные сферы возносят хвалу нищете богоданной.
Когда же среди их когорты окажется бесталанный,
и у него будет найден талер хотя бы един,
тот в свою хижину входит печален и нелюдим.
Но в ту половину часа, когда уравниет чаши
весов — баланс Центробанка, мы хлоп о карманы наши,
и звонкая грянет весть —
есть наше время. И к вящей радости деньги есть.
Кличьте лоточницу! Снедь подчистую с лотка сметайте.
Время мышам веселиться, пока убрались коты.
Все денежки — наши. И сами собою, смекайте,
народные осуществились мечты.

Зимою Москва — как Фивы. Ночами сама история
что-то в себе меняет, с концами концы своя.
Праздник. Пестро. Но зевы метро
клубы морозного пара исторгли,
словно ораторы исступлённые
на похоронах вождя.

* * *

Я не верю в бессмертие зла,
как завет нам гласит по Канону,
пусть он — камень, пятою колонны
вросший в землю, где яд и зола.

Если в щели змея проползёт
и ужалит — змея ли виновна?
Тот, кто строил свой дом, свой оплот,
должен плотником сделаться снова.

Чартер

Одёжа челнока должна быть крепкой,
погрузке и разгрузке не мешать.
Вот он с подругой
в путь пустился крестный,
маркёром номер ставит на мешках.

Гудит нутро аэродромной ночи.
Отложен вылет — значит, отдохни,
сопутнице своей чернорабочей
пластмассовый стакашек протяни.

Взяв во фри-шопе выпивки макитру,
почти тверёзы: завтра поутру,
Таможня! Тут перо в моей дрожит ру-
ке, и у лиры не хватает струн.

В Шанхае ты, Болонье иль Трабзоне —
нетвёрдо помнишь
среди стеклянных стен,
но твёрдо знаешь — ты сегодня в зоне
хороших цен. Вполне хороших цен.

Твоя подруга — некогда пичуга
конторская — теперь как связка жил.
Кроссовкой тяжесть гасится упруго
при каждом шаге. И хватает сил..

Мы лишь при взлёте глянем, как туристы,
сквозь мглу иллюминаторной слюды,
где тонут пальмы в дымке италийской
и консигнационные склады.

1996

* * *

В локоток, прелестно округлённый,
бурно уроняется чело.
Злитесь, как волчонок, — и резоны
вам мои не значат ничего.

«Шатлы» отлетали, но в полёте
стая «челноков» снуёт и ткёт.
Вы же сокрушаетесь о флоте.
И к чему вам Черноморский флот?

Московитка! Вас бедлам событий
к боевым влечёт колоколам.
Не хотите замуж, а хотите
вы грозить не шведам, так хохлам.

Снова на экране эти воды
и надстроек палубных слюда,

хищные, изящные обводы...
Я ревную, скажете. О, да!

Но, влюблённый, из разряда пленных,
вам перечить я не посягну.
Верю, что не любите военных.
Но немножко любите войну.

Зовом схватки
будней зев разомкнут.
Вам неженских хочется побед.
В юной даме чуя амазонку,
кровь моя вздымается в ответ.

Вы некстати Трою помянули —
в той интриге цвёл иной сюжет:
там не флот, а деву умыкнули,
сбондили — сказал другой поэт.

1995

Сны госпитальные

У паровоза, памятника предкам,
и на перроне, в сквере, на путях
носилки, койки, коих ножки крепко
вжились помалу в станционный прах.

Три парня вдруг затопали, запели.
Старик им: «Замолчать! На той неделе
вот так же пацаны мои свистели —
и — как на знак, со свистом,
в два звена...»

И культей показал с своей постели
туда, где рельсы рваные блестели,
зияла небом шаткая стена.

Усни, отец. Чего тебе не спится?
Того, что было, больше не случится.
Все самые произошли дела.
И вот мы только тля из психбольницы,
А прежде были — звёздные тела...

Эвакуационная эпоха.
Полны тумана минные поля.
Прогиб эпилептический, апока-
липтического виража петля,
столицы нашей Родины — Моздока
врагу не покоренная земля.

●евераль 2000

Василий Аксенов

Иван

Летом 1988 года подобралась неплохая компания на острове Шелтер у побережья штата Нью-Йорк: Нисневичи Лев и Тамара, Эрик Неизвестный, Вася Аксенов, его спаниель Ушик, жена Васи Майя и ее внук, калифорниец Иван Трунин...

Ему тогда было 16 лет. Он вообще-то скептически относился к Восточному побережью Соединенных Штатов. В возрасте 12 лет он как-то приехал вместе со своей мамой Аленой к нам в Вашингтон зимой, посмотрел на хмурое небо и осведомился, есть ли в этом городе какие-нибудь recreational facilities, то есть «оздоровительные услуги». Помнится, я спросил его, что он имеет в виду. «Ну, море здесь есть?» — спросил он и вздохнул, узнав, что океан находится в трех часах езды.

В 1988-м, направляясь прямо на берег Атлантики, он привез с собой из Лос-Анджелеса свой surf-board, доску для занятия серфингом. Опять разочарование: оказалось, что на острове нет пляжей с постоянным накатом прибоя. Чем же тут заняться 16-летнему рыцарю волн? Осмотревшись, он все-таки нашел кое-что достойное внимания: wind-surfing! Без долгих раздумий он завладел одним плавательным средством с парусом. «А ты, Ванятка, вообще-то уже плавал на них?» — поинтересовались мы. «Не волнуйтесь», — улыбнулся он и тут же поплыл.

Шелтер-Айленд лежит между двумя челюстями Лонг-Айленда, словно утка в пасти крокодила. Каждые 15 минут туда ходит паром, однако местные жители чувствуют себя основательно оторванными от большой земли. Местные подростки, во всяком случае, были глубоко впечатлены прибытием юного калифорнийца. Они внимательно смотрели, как он какими-то особыми, «знаковыми» жестами обкручивает свитер вокруг своих чресел, как завязывает бандану на лбу. И тогда, и позднее меня удивляла Ванина способность быстро сходиться со своими сверстниками. Три сына поляка, хозяина нашего затрапезного курорта, Пол, Джон и Вик, тут же приняли Айвана (так называют тут Ивана) в свою компанию. 15-летние девочки стайками зачастили на наш пляж. Со своей 100-процентной славянской кровью Ваня выглядел как чистый янки, длинный, белокурый, розовощекий, словом, то, что здесь называют golden boy.

Мы видим, что он все дальше уходит от берега на своей доске с парусом. Иной раз поворачивает к нам хохочущую от счастья физиономию. Вот он на середине пролива. Лица уже не различишь, но похоже, что ему там приходится круче. Он борется с парусом, с трудом удерживает равновесие. Парус падает, Иван оказывается в воде, однако выкарабкивается на доску, подтягивает парус в вертикальное положение и уходит все дальше. Теперь мы видим только маленькую фигурку, натягивающую канат. Его уносит все дальше к горловины пролива, за которой масса воды теряет зеленоватое прибрежное сослагательное наклонение и приобретает темно-синий с белыми гребнями императив: там идет океанский поток.

Маи, к счастью, в это время не было на пляже. Еще, к большому счастью, в это время там появились наши поляки — Пол, Джон и Вик. Они прыгнули в скоростной катер и помчались на выручку. Похоже было на то, что они перехватили Ивана в самый нужный момент. История эта, впрочем, нисколько не уменьшила его интереса к виндсерфингу. Через несколько дней он освоил искусство управления парусом и спокойно циркулировал по зеленой воде, всякий раз, однако, подплывая слишком близко к воде темно-синей.

Он уехал из СССР вместе с нами в 8-летнем возрасте. В Штатах семья разделилась. Алена с сыном и ее муж Виталий Гринберг оказались в Сиэтле. Когда говорят об эмигрантском «культурном шоке», чаще всего имеют в виду взрослое население. Маленьких, очевидно, стресс бьет сильнее. Можно только представить, что испытывал 8-летний советский ребенок, оказавшись среди чужой культуры и чужого языка. Больше полугода Ваня не мог произнести ни одной английской фразы. Он все сидел перед телевизором и, как тогда говорили, «до посинения» смотрел все, что предлагалось: мультяшки, мыльные оперы, сводки новостей и рекламы, рекламы, рекламы.

Как-то раз Алена отвезла его к знакомым американцам, а сама на несколько часов отлучилась. Вернувшись за ним, она не без опаски спросила: «Как тут мой молчун?». Оказалось, что «молчун» все это время болтал без умолку. По-каковски, позвольте спросить. По-нашенски, ответили друзья. По-другому мы не можем.

Так началось стремительное внедрение Ивана в американскую культуру. К подростковому возрасту, то есть к тому, что здесь называют teens (от 13 до 19), он уже был настоящим калифорнийским teenager'ом. Они тогда уже переместились к югу, в вечно благоухающий грейпфрутами и бензином Лос-Анджелес. Важнейшие вехи американского взросления записаны на трех досках: skate-board (доска на колесиках), surf-board (уже упомянута) и snow-board (доска для спуска с горных круч).

В начале перестройки, когда приоткрылись советские границы, в Эл-Эй приехал Ванин отец, писатель Вадим Трунин. Он тогда плохо себя чувствовал и, конечно, нервничал в ожидании сына, когда сидел с Аленой в гостиной — землистого цвета, основательно отекавший, с разрушенными зубами. Затем в квартиру въехал на роликовых коньках уже тогда огромный мальчик, источавший, казалось, все калифорнийское солнце. «Боже! — воскликнул Вадим. — Да ты просто инопланетянин!»

Я знал Вадима еще с тех времен, когда он несколько лет спустя после моего дебюта появился в журнале «Юность» со своими первыми рассказами. Молодой, легкий на ногу человек с веселыми глазами. Помнится, мы познакомились во дворе возле памятника Толстому и обменялись, как тогда было принято в молодой литсреде, комплиментами. «Старик, — сказал я ему в катаевской манере, — у вас крепкое перо, старик!»

Позднее Вадим полностью ушел — не хочется говорить погряз — в кино. Не хочется, потому что и в кино у него были блистательные удачи — например, «Белорусский вокзал», снятый Андреем Смирновым. Досадно то, что Вадима, как и многих других, как и меня самого в свое время, засосала специфическая киношная богема, в которой без водки творческий разговор не начинался. Там он утратил свою изначальную легкую походку.

Вот эта легкость, свежесть и свобода сейчас излучались при каждом движении «инопланетянина» Ваньки. Они были очень похожи, и я не раз, глядя на подростка, вспоминал появление его молодого отца.

Следующей вехой американского воспитания Ивана стал, как многие, очевидно, уже догадались, мотоцикл. Лавировать в бесконечных потоках машин,

оседлав металлического льва, — это ли не наслаждение?! Чтобы отбить у мальчика охоту к этим опасным делам, Алена купила ему огромный старый автомобиль, но и на нем он умудрялся лавировать, да еще и по пересеченной местности.

Параллельно с океаном в жизнь Вани вступили могучие отроги Скалистых гор. Калифорния так устроена, что в ней можно в один и тот же день прокатиться на волне и спуститься со снежной горы. Ваня стал первоклассным лыжником и сноубордистом. Те, кто видел его спуски, говорят, что от них дух захватывало. Мне не пришлось, но я помню один его рассказ, посвященный лыжникам, — там среди ослепительной белизны царили все те же легкость и свобода.

Я пишу сейчас о спортивных делах для того, чтобы подчеркнуть две стороны Ваниного характера. Во-первых, он был настоящим атлетом, причем атлетом-одиночкой; групповые виды спорта ему не нравились. Во-вторых, он был человеком исключительной смелости. У него, похоже, не очень-то сильно был развит инстинкт самосохранения. Скорость, резкие повороты и снова скорость — вот что стало для него апофеозом жизни. Интересно, что в раннем детстве он страдал аллергической астмой. Последствия этой болезни у него остались на всю жизнь, но они ни в малой степени не повлияли ни на его общительность, ни на его атлетизм.

Дети, попадая в Америку, обычно влюбляются в эту страну, может быть, еще и потому, что в американской культуре вообще много детского. Оpozдай Ваня года на четыре, и ему было бы труднее адаптироваться. Эмигрантские подростки обычно проходят через трудный период сознательного и подсознательного противостояния. Они чураются американских сверстников, стараются держаться вместе, говорят по-русски, играют не в американский «плечевой», а в свой родной «ножной» футбол. Ваня к подростковому возрасту был уже настоящим американцем, и все его друзья были американцы. Вместе со своими друзьями он проходил через все фазы очарования молодежной субкультурой, а потом и через фазу переоценки культуры, как в ее массовом, так и в элитарном вариантах. Сначала были герои комиксов. Электронным играм тоже была отдана должная дань. В тинейджерстве он был, конечно, захвачен стихией рок-н-ролла. Кумирами их компании были уже немолодые Grateful Dead. На одном из их gigs Ване удалось подойти к нему, к самому Джерри Гарсиа, этому преждевременно постаревшему идолу молодежи. Покребывая в своей дедморозовской бороде, идол уделил мальчишке не менее 15 минут для серьезного разговора. О чем? Обо всем! О музыке, о мире, о проблемах!

В этот период раннего юношества не остался Ваня в стороне и от повальной кампании «политической корректности». Помнится, когда ему было лет 16, зашел за столом разговор об индейцах. Он сказал, что они в классе изучают их великую культуру. Я поинтересовался, о каких индейцах он говорит: об инках, ацтеках и майя или о североамериканских кочевниках. Оказалось, что он имеет в виду именно северных, т.е. сиу, апачей, навахо и т.п. Вообще-то кочевые народы не отличаются большими культурными достижениями, сказал я. Культура все-таки возникала в городах, под защитой крепостей. Мальчик вдруг страшно разозлился, глаза у него сузились, а нос покраснел. «Ты, Вася, ты... — начал он дрожащим голосом и выпалил: — Ты просто старая гадина!» Обидевшись, я покинул семейный стол.

Бабушка Майя стала тогда его упрекать. «Как же, Ваняточка, ты мог такое сказать Васе?» Он был смущен. Оказалось, что он не особенно четко представлял, что означает русская «гадина». Он просто сделал прямой перевод слова *сгеер*, а выражение *old сгеер* все-таки ближе к «старой зануде», чем к «гадине». Все-таки не так обидно. Даже совсем не обидно, если представить,

что вкладывают в юные умы «политически корректные» преподаватели, «защитники» этнических меньшинств и противники «европоцентризма».

После школы Ванька начал накапливать настоящую что ни на есть джек-лондонскую биографию. Он поступал в колледж, учился там год, а потом уходил на стройку или работал официантом, продавцом, велосипедным курьером, спасателем на лыжных базах. Обычно он передвигался по стране вместе с группой сверстников, по большей части — его друзей из калифорнийской компании. Все были большими любителями природы и не упускали случая переночевать у костра, где-нибудь на горном склоне, чтобы утром с разбегу бухнуться в ледяной ручей. Перебирая сейчас снимки того периода, мы видим обнявшихся за плечи хохочущих юнцов — Иван часто в центре, самый длинный и длинноволосый, явно душа общества.

Наиболее «джек-лондонский» кусок его жизни связан с путешествием на Аляску. Сначала он отправился туда один, потом к нему присоединились Хэнк и Пит. Главным (внешне по крайней мере) побуждением было желание заработать хорошие деньги, как в России говорят, «длинный рубль». На самом деле, очевидно, юнцы хотели проверить себя на прочность, изучить свои мужские качества. Аляскинский «рубль» оказался не ахти каким длинным, и зря его там никому не отстегивали. Сначала они работали на рыбоперерабатывающей фабрике, потом записались матросами на траулер, однако Хэнк через месяц отправился домой, не выдержал.

Больше полугода Иван и Пит провели в открытом море, а именно — в Беринговом море, вечно штормовом, холодном и опасном. Они поднимали трал, опорножалье его на палубу, разбирали рыбу и снова опускали трал в воду. Смены продолжались по 12 часов. Потом отправлялись в кубрик и валились на койки в полной отключке. Однажды Иван проснулся в ужасе. Ему показалось, что вся палуба в кубрике покрыта подпрыгивающей рыбой. Он слетел со своего второго яруса и стал пытаться разобраться в этой рыбе: то ли выбросить ее в коридор, то ли заставить убраться своим ходом. Распахнул дверь, и сразу вся рыба пропала. Сосед по кубрику, опытный мариман, понимающе покачал башкой. «Что, рыбка приснилась? Это с каждым тут бывает вначале».

Зато какое блаженство охватывало ребят, когда после бесконечной качки судно заходило в Датч-Харбор на западном конце усика Алеутских островов. Все выглядело почти как в каком-нибудь вестерне, но только они были участниками, а не зрителями.

В свое время я много общался с моряками и знаю, что после долгих рейсов они нередко совершают безрассудные поступки. Один мой приятель после года в море увидел на экране питерского телевидения дикторшу, тут же помчался в студию и сложил к ногам изумленной дамы все свои «длинные рубли». Иван такого себе не позволил. На весь заработок он купил хороший спортивный автомобиль и устремился на нем куда-то с такой скоростью, что угодил в тюрьму штата Невада. К счастью, удалось его оттуда вытащить с помощью многоопытного сутяги.

Признаться, уже тогда, глядя на авантюрного юнца, я думал, что он строит себе биографию настоящего американского писателя начала века. Я был почти уверен, что он начнет писать. И не ошибся.

Наши с ним литературные отношения имеют долгую историю. Году, кажется, в 1974-м, т.е. когда Ване шел третий год, я приехал в Коктебель, где в литфондовском доме отдыхал Ваня со своими мамой и бабушкой. Я снял крошечную мазанку в деревне, неподалеку от «писателей». Ваня с бабушкой нередко меня посещали. Обычно он тут же находил себе занятие в саду, начал что-то строить или копать, но тут вдруг пристал: «Вася, иди сюда! Вася, давай играть!». Я тем временем сидел между моим сарайчиком и общим люфт-

клозетом и строчил, положив альбом на затоваренную бочкотару. Появлялась Майя в очках и с книгой. «Ванюша, не мешай Васе! У тебя свои дела, у него свои дела!» И уводила мальчика за руку. Через некоторое время хитрая мордочка высовывалась из-за угла. «Вася, у тебя свои дела? А у меня свои дела!» И с хохотом исчезала. У меня действительно были свои дела. Там, под яблоной, я заканчивал сочинение романа «Ожог».

Иван, как я понимаю, начал писать свои английские стихи еще в школе. Музыка русского стиха он, кажется, не улавливал, как и я не особенно улавливаю музыку современной американской лирики. Словом, он был молодым американцем, пишущим стихи. Таких немало. Как и все свои сверстники артистического наклонения, Ваня бросался от одной музыки к другой. Во время весеннего семестра в свой первый студенческий год он даже достиг серьезной популярности на кампусе, однако не в стихах, а на сцене. В программе одноактных пьес студенческого театра он поставил мини-шедевр Бернарда Шоу «Екатерина Великая». Университетский журнал расхвалил его всюю за эту сатирическую буффонаду. Я тоже был в полном восторге: не зная еще принципов биомеханики, Иван срежиссировал спектакль, как настоящий ученик Мейерхольда.

В тот же свой первый и единственный студенческий год в нашем университете «Джордж Мэйсон» Иван стал ходить в поэтический кружок, где тон задавали изощренные старшекурсники Крис Нагл, Джеф Макдауэл и Брэдли Кук. У нашего фрешмана (салаги) с ними, кажется, произошел конфликт, во всяком случае, именно оттуда, из «Мэйсона», он отправился на Аляску, т.е. как Байрон в Грецию, устав от лондонских салонов.

Чтобы не упустить дальше эту идею, заметим сразу, что Ваня был настоящим байронитом. Если говорят, что этот образ разочарованного (и в то же время очарованного) молодого человека вышел сейчас в тираж, что нынче время молодых прагматиков, зарабатывающих миллионы на Интернете, что байронитов сейчас можно сосчитать по пальцам, тогда один из этих пальцев, безусловно, надо отдать молодому (теперь уже вечно молодому) поэту Ивану Трунину. Как бы серьезно мы ни оценивали скептическую мину постмодернизма, я берусь утверждать, что без байронита литература теряет способность следующего шага. Куда направится этот шаг, трудно сказать, но уж, во всяком случае, не в зону энтропии.

Однажды — кажется, в 1994 году — мы вдвоем с ним поехали в Чарльстон, Южная Каролина. Этот старинный город был основан гугенотами, переплывшими океан в конце XVII века. У меня к нему возникло влечение сродни тому, что я когда-то испытывал к Таллинну. Мы рулили по очереди и гнали в вечном потоке Интерстейт-95 на юг. Без конца болтали то по-русски, то по-английски, перескакивали с темы на тему. Было такое ощущение, что он хочет переступить какую-то черту и подружиться по-настоящему, что соответствовало и моему желанию. По пути в какой-то закускойной он протянул мне пачку своих стихов. Меня поразил их трагический тон, столь мало соответствующий всему его улыбочивому и легкому образу. Грешен, я принял это за обычную мрачную экзальтацию молодого поэта. Я стал говорить с ним на профессиональный манер. Знаешь, Ваня, мне не хватает здесь примет времени и места, то есть хронотопа. Соедини свое чувство с миром, в котором мы живем, и, может быть, от этого оно станет еще ярче, возникнет твоя уникальная метафора. Он кивал, потом засунул пачку стихов в карман. Позднее я понял, что он не согласился с моим советом.

В Чарльстоне все гостиницы оказались битком забиты, шел какой-то праздник. В поисках ночлега мы уже глубокой ночью заехали на Фолли-Айленд. Там среди дню нашелся убогий мотель, который нас приютил. Комнаты, впро-

чем, были вполне пристойные. Мы провели там неделю, блуждая днем по пляжам, а вечерами по улочкам Чарльстона и болтая, как два приятеля, несмотря на сорокалетнюю разницу в возрасте.

За год до этого чарльстонская округа сильно пострадала от урагана «Хьюго». Для ремонта разрушенных домов и коммуникаций в город съехалась бродячая рабочая сила, бородатое мужичье, которых здесь стали называть «хьюгонатс». В этом словечке был каламбур, оно напоминало и об отцах-основателях, французских гугенотах, и об урагане «Хьюго», а окончанием своим подчеркивало чудной, странный характер этой публики: в смысле «чокнутые».

Иван повадился в соседний бар играть на бильярде. Как-то я зашел туда за ним и нашел его в обществе «хьюгонатсов». Еще издали я увидел, что он с ними непринужденно болтает и хохочет, и те в ответ хохочут и хлопают его по плечу. Один из них провел меня к бильярду и позвал: «Хей, Айван, тут твой дадди (т.е. папаша) тебя ищет!». Очевидно, после Аляски и Берингового моря парень чувствовал себя своим среди «синих воротников», как здесь называют потеющих на работе трудящихся.

В тот вечер произошла забавная история. В старом Чарльстоне мы зашли в какой-то более-менее шикарный ресторан. «Знаешь, Вася, тут в меню лягушка по-луизиански, — сказал Ваня с непритворным любопытством. — Ты не будешь возражать, если я ее попробую?»

Мне как-то приходилось есть жареные лягушачьи лапки. Ничего особенного, вполне съедобно, даже вкусно, похоже на хрустящих цыплят. Словом, я дал добро на этот эксперимент. Увы, то, что явилось, мало напоминало мой собственный опыт. Ивану принесли большой глиняный горшок с густой зеленой жижей. Покопавшись в ней вилкой, он вытащил здоровенный мосол, от которого тянулась длинная борода. Похоже было, что парня сразу слегка затошнило, однако он героически взялся глотать жабью конечность. «Баста! — вскричал я. — Бежим скорей в “Макдоналдс”!» На бегу мы оба, дед и внук, начали нервно хохотать и долго не могли успокоиться.

«Чья будет эта лягушка? — спросил его я потом: — Кто ее опишет, я или ты?»

«Пиши ты», — великодушно предложил он.

«А по-моему, ты должен ее описать в своем будущем романе», — предложил я.

Лягушка эта так и осталась неописанной. Может быть, ее до сих пор подают в том шикарном ресторане.

Роман был упомянут не зря. Иван уже пробовал себя в прозе. Я читал несколько его рассказов. В них явно «что-то было»: детали, лексика, жест, стоящий за фразой. Особенно мне понравился упомянутый уже рассказ о горах, основанный на личном опыте спасателя. Там было вдохновенное и подробное описание снега, оно мне даже напомнило что-то подобное у Пильняка, которого Ваня, конечно, не читал, поскольку он почти не читал по-русски. Там были тени и острое ощущение высоты и прозрачного воздуха. Иногда мне казалось, что Иван постоянно тянется к чистому воздуху: быть может, сказывались детские воспоминания о приступах астмы.

Как-то в разговорах с ним мы сошлись на том, что ему, быть может, не хватает литературной среды. Где можно в Америке найти настоящую литературную среду, если не в Нью-Йорке? Я позвонил своему издателю Питеру Основу, который тогда был вице-президентом в огромном книжном доме «Рэндом Хаус». Тот пообещал найти Ване какую-нибудь работу и пригласил его к себе. «Любая работа в этом издательстве приблизит тебя к литературе, убеждал я его. — Ты окажешься в самом центре этой тусовки, все остальное будет зависеть от тебя самого и от твоего везения».

Иван отправился в «Большое яблоко» (Нью-Йорк) и навестил Питера в

небоскребе на 50-й улице. После этого он уехал из Нью-Йорка, чтобы больше туда не возвращаться. Во всяком случае, в роли начинающего писателя. «Почему ваш Ваня не перезвонил?» — спрашивал Питер. Я не знал. Ваня на мои расспросы не ответил ничего вразумительного. Теперь я думаю, что ему просто было не по себе в Нью-Йорке: воздух там не отличался прозрачностью.

Роман у него подвигался нелегко, но подвигался. Иногда он посылал мне на прочтение куски. По своей работе в университете я знаю, что ребята часто начинают писать прозу, а между тем в голове-то прокручивается фильм. Не избежал этого современного соблазна (или ущерба?) и Ваня. То тут, то там угадывались киношные планы, однако наряду с этим появлялись уже и прозаически развивающиеся характеры. Особенно интересным для меня был его молодой герой, в котором угадывались черты некоего необайронита.

Стоит подумать тут о трансформации байронического типа в американском контексте, от Мартина Идена — до героев «потерянного поколения», от них — к людям спонтанного джаза, к протестантам 60-х годов и к хиппи 70-х. В 80-е этот герой как бы выпадает из контекста, его место занимает бодренький прагматик-йаппи, и вот теперь, казалось мне, Ванькино поколение пытается нащупать его вновь.

С интересом я ожидал развития романа. В то время он часто звонил и задавал мне сугубо профессиональные вопросы о романной технике. Вдруг в романе стали происходить несколько обескураживающие неожиданности. Герой стал бледнеть, его оттесняли на периферию какие-то типы, словно пришедшие из экранных боевиков. Потом и это направление стало засыхать, возник какой-то новый полумистический сюжет, основанный на египетских мифах.

«Знаешь, Вася, что-то не получается у меня с романом», — признался он однажды по телефону уже из Сан-Франциско. Я стал его убеждать, что, начав роман, надо его обязательно кончить, иначе возникнет ощущение неудачи, а это может плохо отразиться на будущих проектах. Он соглашался со мной, но все реже и реже говорил о романе. Я все-таки был уверен, что в нем нарастает писательство. Он совсем молод и может (должен?) пройти через неудачи. Все это впоследствии будет востребовано необайронизмом.

К этому времени Ваня окончил университет «Боулдер-Колорадо» и получил степень бакалавра по чрезвычайно дефицитной в современной Америке специальности историка. Это, конечно, шутка — с этим дипломом ребят нигде не ждут. Как они работали в студенческие годы официантами и продавцами, так ими и остались. Выпускники гуманитарных наук сталкиваются почти поголовно с полосой невостребованности. Чтобы перешагнуть эту полосу, надо сильно напрячься. Ощущение пустоты и одиночества доминирует во многих Ваниных стихах. Возможно, оно зародилось именно в этот период.

Волк, мой друг,
Стоит на перекрестке.
Россыпь звезд
Мерцает в шерсти серой, жесткой.
Мечта раздирает глотку*.

К этому же периоду относится и серьезная любовная драма. Три года Ваня и его сокурсница, полунемка-полуамериканка, тоненькая и нервная Каролина, были неразлучны. Потом все стало разваливаться по никому, а прежде всего им самим, не понятным причинам. По всей вероятности, он никогда не прекращал ее любить. Одно из лучших стихотворений этого сборника было,

* Поэтический перевод здесь и далее Инги Кузнецовой.

быть может, вдохновлено именно этой девушкой, хотя метафорически оно уходит в другие сферы.

Она мой последний варяжский корабль.
Она торопится к ныряльщику в объятья.
Я поднимаю ее на своих плечах...
Моя возлюбленная, о да,
она — это все, чем я обладаю,
что считаю лучшим в себе.
Мое сокровище, которое промотаю.
Сердце от любви распарывается по швам,
и не приметаеть.
Но я осмелюсь, да, я осмелюсь
этот корабль за собой вести...

И она призналась, когда мы в августе 99-го собрались оплакивать Ваню, что никогда не переставала его любить. Быть может, беда бы не стряслась, если бы они не расстались.

Он стал время от времени появляться в России. Не уверен, что он чувствовал с ней какую-то прямую связь, все-таки он был прежде всего молодым американцем, однако Россия все чаще проявляется в сумрачной живописи его стихов.

московский день за моим окном
на шторм надвигающийся похож
я не буквально это просто чувство
темно как в пять часов утра такой
густой
и мрачный воздух
и вечно ждешь опасности как будто
на сердце камень в тридцать фунтов весом
в России каждый выглядит печальным
под этим камнем сдавлен похоронен

Жесткий контраст с миром его детства и ранней юности в солнечной Калифорнии, постсоветская нищая Москва. Однажды мы пошли с ним от нашего дома на Котельниках через полуразрушенную Солянку в сторону Китай-города. Смердящие нечистотами подъезды, зияющие провалы подвалов, искореженные решетки ворот — так все это тогда выглядело. В то же время чувствовался как бы нарастающий ритм огромного города. Возле метро вокруг коммерческих киосков кишела толпа. Среди людей, придавленных унылым прошлым и ошеломляюще непонятым настоящим, время от времени мелькали иные лица, исполненные дерзости или беззаботности, что было в те времена, может быть, дерзейшим вызовом. Кто-то проскальзывал на роликовых коньках, какая-нибудь пара самозабвенно целовалась, девушки перед тем, как прыгнуть в троллейбус, бросали на Ваню заинтересованные взгляды. В подземных переходах играли нищие музыканты. «Священный Байкал» смеялся песенкой Армстронга, через десять шагов наплывала Ave Maria. Мы говорили о специфическом московском урбанизме, о множестве тайн, гнездящихся в этих нечистых кварталах, о неожиданностях, которые подстерегают здесь за каждым углом.

Со стороны Варварки (тогда улица Степана Разина) мы вошли в полуразрушенный Апраксин двор. До революции там были богатые торговые ряды, большевики повесили тут пудовые замки и наглухо закрылись: ходили слухи, что там был выход кремлевского тайного метро. Во всяком случае, в центре огромного внутреннего пространства мы увидели какую-то заброшенную шахту.

Мы шли по кавернозным галереям, напоминавшим какую-нибудь голли-

вудскую антиутопию о временах будущего гниения и распада. Было пусто, только вороны копошились под сводами. Иван оглядывал все это с большим интересом и иногда бормотал: «Классно!». Где-то он подцепил это словечко и теперь постоянно им пользовался. Вдруг мы увидели юную девушку в джинсах. Она сидела с книжкой, опершись на полуобвалившуюся кирпичную кладку. Мы поздоровались. Она смущенно кивнула. «Вы тут одна?» — спросил Иван, то есть сразу по делу. Она покачала головой: «Нет, вон там наши стоят». В стороне кучковались длинноволосые ребята и девочки с раскрашенной в разные цвета короткой стрижкой. «А кто вы?» — спросил Иван. Девушка улыбнулась именно такой улыбкой, какую он впоследствии описал как единственно возможную в Москве: «улыбкой невинности». «Мы хиппи». Я пошутил: «А это вот американский хиппи». Через несколько минут Ваня уже был в середине группы. Там все улыбались улыбками невинности. Я прошел вперед, чтобы не мешать им общаться. Не исключаю, что эта встреча повлияла на появление таких строк:

...о, конечно, Москва не бесчувственна
к этому тяжкому свету
и гнету
к птицам, летящим в эти тенета

За три года до конца он вместе с двумя своими университетскими друзьями, Оливером Бюргельманом и Рубеном Салазаром, переехал в Сан-Франциско. Они сняли на троих маленький домик и стали там жить, три огромных бакалавра. Ваня, со своими 1,92, по росту располагался в середине. Немного до него не дотянул фламандец Оливер. Колумбиец Рубен был выше двух метров. Когда эти «три товарища» (в сугубо ремарковском смысле) двигались вместе сверху вниз по горбатой сан-францискской улице, веселые и прямые (во всех смыслах), неизбалованным девушкам этого города они, наверное, казались демиургами молодой мужественности.

Все три бакалавра нашли работу, подходящую их степеням: Оливер стал таксистом, Рубен — велосипедным курьером, Иван как опытный горнолыжник устроился продавцом в лыжный магазин. Никто из них, впрочем, не собирался посвятить всю жизнь городской коммерции. Оливер сочинял рок-музыку. Рубен стремился к путешествиям, возможно, и в нем бродила уже писательская закваска. Иван все круче уходил в стихи, в восточную философию, в размышления о непостижимости жизни.

Сан-Франциско — город с основательной поэтической традицией. Здесь родилось beat generation. Еще в 50-е годы в здешних кафе дерзко декламировали Аллен Гинзбург, Грегори Корсо, Джек Керуак, Лоуренс Фирлингетти. С тех времен в городе осталось битниковское издательство City Lights. Альтернативщики тут никогда не вывелись. Первые хиппи (самые крутые), а стало быть, и лирики рока, зародились здесь в квартале Ashbury Heights. Через залив бурлил завиральными революционными идеями «Красный Беркли».

Все это создавало фон для необайронической ностальгии. Ваня начал читать свои стихи в поэтических кафе. В семье он никогда не говорил об этой стороне своей деятельности, хотя друзья, приехавшие с ним проститься, рассказывали нам, что он начинал пользоваться успехом. Снобистская аудитория обычно встречала незнакомого юношу скептическими улыбками, потом начинала прислушиваться и наконец подчинялась течению его мрачной лирики. Стихотворение «She is last longship» («Она мой последний варяжский корабль») стало, так сказать, его «торговой маркой», а сам он уже слыл признанным непризнанным (до поры) поэтом: «Lo and behold, this is Ivan Trunin!»*

* «Ба, да это же Иван Трунин!»

Рукописи, впрочем, продолжали благополучно возвращаться из журналов. Ну что ж, это ведь тоже традиция: молодой писатель из Сан-Франциско получает отказы в журналах Восточного побережья, чтобы в один прекрасный день завоевать признание.

В первые десятилетия XX века американская интеллигенция была еще литературоцентрична. Множество молодых людей мечтало о литературной славе, хотело сказать новое слово, произвести сдвиг, было захвачено романтическим индивидуализмом. Теперь (пока что) все обстоит иначе. Прекрасно подготовленные выпускники бесчисленных писательских программ и мастерских вступают в литературу с уверенностью профессионалов, но без вызывающего романтизма. Ваня, человек будущего, в этом смысле принадлежал к прошлому, временам Эзры Паунда, Хемингуэя и других безумных честолюбцев. В его литературном сознании доминировал образ полной независимости, тень одинокого поэта, говорящего с Богом и мирозданием.

Читатель, конечно, сразу поймет, что он имеет дело с поэтом трагического мироощущения. Воля к жизни воспринимается им в шопенгауэровском ключе, то есть не является — как бы поточнее выразиться? — высшим проявлением жизни. Темы безотчетного страха, падения и разлома всего состава тела, словно предвещавшие судьбу:

Упав с седьмого этажа,
я сломан и разбит, —

мысль об изначальном зачатии жизни («Я был так стар, я был грязь»), все это проходит, как судорога, через стихотворение «Пузырь» (шекспировские «пузыри земли») и судорогой передается читателю, чтобы далее завершиться трогательным и совершенно классическим шедевром:

И заключаю: какой бы грязи вы ни пожелали,
в конце концов Озирис будет меня судить.
Пожалуйста, опустите
немного любви, прикосновение милосердия,
вишенку добрых намерений
в чашку весов, и это
уравновесит мои проступки,
дарует искупление.

За год, или чуть больше, он оставил нам в Вашингтоне большую пачку стихов. Последний раз, когда мы с ним говорили об этом, я опять пытался ему толковать, что, с профессиональной точки зрения, его лирика будет звучать еще сильнее, если в ней появятся приметы времени и места. Его трагическую ноту я близоруко воспринимал как традиционную экзальтированность молодого поэта.

В конце концов трудно найти настоящего поэта без трагической ноты. Поэты начинают прощаться с жизнью в шестнадцатилетнем возрасте, однако одни из них доживают до лауреатских седин, в то время как другие не доживают. Ваня грустно смотрел в окно, иногда кивал и произносил: «Может быть, может быть...».

В жизни он не был печальным Пьеро. Напротив, в нем иной раз можно было увидеть и Арлекина. Друзья обожали его, он был, по сути дела, душой большой сан-францисской компании. Девушки не обделяли его своим вниманием.

Года за два до конца он снял отдельную однокомнатную квартиру («студию», как здесь говорят) на седьмом этаже многоквартирного дома. Он признался Алене, что его стало немного тяготить шумное общество. Ему требовалось одиночество для стихов и медитации. Сейчас, конечно, думаешь, что, если

бы он остался со всеми, он смог бы преодолеть какую-то свою не ведомую нам беду. Как много этих «если бы» приходит сейчас в голову!

К этому времени он обзавелся домашним оракулом. Речь идет о книге китайской мудрости, которая называется «Ицзин» («Книга Перемен»). Считается, что она была создана чуть ли не пять тысяч лет назад для того, чтобы помочь людям находить правильные решения жизненных вопросов. Разумеется, в ней все построено на мистическом элементе, но к тому же она еще похожа на игру, так как снабжена и специальной системой для получения ответов. Книга эта очень популярна в Америке, и Иван, как тысячи других молодых людей, обращался к «Дорогому Оракулу» по разным своим — иногда сложным, а иногда очень простым — вопросам.

Переезд вовсе не означал, что он порвал со своей компанией. «Три товарища» по-прежнему были близки. Они часто встречались, бродили по городу, вместе появлялись на вечеринках. Нередко они устраивались на плоской крыше Ваниного дома, пили пиво, созерцали звезды и философствовали. Алена говорит, что он еще в детстве тяготел к крышам, но кто в детстве не торчал на верхотурах, воображая себя на мостике океанского корабля?

Та его последняя крыша имела одну страшноватую и гипнотическую деталь — узкую шахту для пожарной лестницы, завершающуюся бетонным дном. Если бы этот дом был сконструирован как-то иначе...

Осенью 1998 года Ваня вместе со своей любимой бабушкой, которую он всегда называл Маечкой, отправился в одно из самых своих захватывающих путешествий. Сначала они прибыли в Москву, а оттуда проследовали в Тель-Авив, в Иерусалим, в Галилею, на Голаны, на Красное море, в Эйлат, откуда Ваня с компанией англичан на автобусе поехал в Египет, к пирамидам Гизы.

Ваня вообще-то в своих медитациях и поэтических откровениях постоянно включал себя в контекст древнего мира. Об этом говорят хотя бы следующие строки:

Мой сон дремуч, мой дух мутится,
я падаю на лапы, точно кот.

У него была своя эзотерическая религия, он, похоже, мечтал во время этого путешествия приблизиться к своему Богу и, кажется, наряду со жгучим интересом ко всему окружающему испытал некоторое разочарование, сродни тому, что овладело Гоголем, когда тот достиг вождеденной Святой земли. Все дело, конечно, в огромном количестве быта, заполнившего землю откровений. Турист вытесняет пилигрима. Море, у которого страдал апостол Иоанн, стало местом отдыха миллионов. И все-таки можно, сидя у этого моря, мысленно расставить вокруг себя свечи для медитаций и задать вопрос:

Почему моя планка не так высока,
как у стаи, взлетающей под облака?
Почему мы должны умереть?
Есть ли смысл
видеть мир так, как мы, —
в настоящем, прошедшем и будущем времени?

И тогда он обратится за помощью к чему-то, что он называет «нежным милосердием».

Так или иначе, они были счастливы там вдвоем, на Святой земле, и, конечно, ни ей, ни ему не приходило в голову, что меньше чем через год они предстанут перед крайним ужасом существования, концом его существования. Не известная нам буря, охватившая его 6 августа 1999 года, не оставила ему шан-

са подумать о Маечке. Если бы он представил, какую муку придется испытать его близким, он, быть может, не прыгнул бы с крыши.

Ничто не предвещало трагедии. Последний год своей жизни Иван был полон планов и надежд. Он решил получить вторую академическую степень, так называемый MFA, что дало бы ему возможность претендовать на преподавательскую лицензию. С такой лицензией он мог преподавать английский в любой стране мира. Иными словами, поэт мечтал о путешествиях.

Для этой цели он записался в Сан-Францисковский университет. Как все студенты, он должен был работать. Оставив за собой место в горнолыжном магазине «Любая гора», он пошел на канцелярскую работу в какой-то институт практической лингвистики. Куча дел, как мы видим, а помимо этого он еще стал «брат» японский. Метафизике явно пришлось потесниться в этом загруженном календаре.

По телефону он звучал бодро. Ему нравилось снова быть в университетской среде. Все как-то стало складываться неплохо. Финансовых трудностей он не испытывал. Дурными пристрастиями не страдал. Друзья были рядом. Редкие свободные дни он проводил в горах возле озера Тахо, съезжая на своем сноуборде с головокругительных высот.

Быть может, если бы он жил рядом с семьей, мы бы почувствовали приближение какой-то опасности, но мы были далеко и ничего не почувствовали. Ни Оливер, ни Рубен, никто из многочисленных приятелей, ни девушки, с которыми у него были отношения, не думали, что может произойти трагедия. Напротив, Айван считался сильным парнем, во всяком случае — сильнее других.

В последующие за самоубийством дни Алена из последних сил обзвонила всех, кто был с ним связан, проверила все его счета и звонки на его сотовом телефоне. Никаких признаков беды. Последний день его жизни вроде бы не предвещал ничего чрезвычайного. Днем был в банке, положил на свой счет очередной чек. Ближе к вечеру столкнулся на улице с девушкой из магазина «Любая гора». По ее свидетельству, он был спокоен и весел. Вечером вся лыжная компания собиралась встретиться в баре по поводу возвращения их менеджера Кевина из какой-то поездки. «Я обязательно буду, — сказал Ваня. — Сто лет не видел Кевина. Вот приму душ, переоденусь и приеду».

Что произошло после этой встречи, никто не знает и скорее всего не узнает никогда. Через два часа он спрыгнул с крыши — или упал? — в ту страшную шахту с бетонным дном.

Нет ничего ужаснее для семьи, чем смерть ее младшего члена, да еще такая смерть. Разверзлись небеса, и треснула земля. Наш мальчик ушел из этого маленького мира в сферы, не доступные живым. Представить себе, что он это сделал в результате своих размышлений о тщетности бытия, невозможно. Был, должно быть, какой-то финальный толчок. Конечно, вся его поэзия проникнута чувством смерти, но и с этим чувством поэты живут до конца, до финального толчка, что приходит из ниоткуда, из роковой судьбы, будь это западня Маяковского, жуткая водка Есенина, разрушение семьи Цветаевой. Каждая строчка в оставленной Ваней записке, похожей на набросок стиха, может быть прочитана по-разному, включая и ссылку на «Ицзин». Нам остаются только вопросы, вопросы и вопросы.

«Как теперь жить?» — спрашивает моя несчастная жена, Ванина Маечка.

«Теперь нужно жить грустно», — бормочу я. Что я могу еще сказать?

Александр Твардовский

Рабочие тетради 60-х годов

1963

1 января 1963 г.

Время после Пицунды было безрадостное и несвободное, только почта, почта и всякое обычное добро, в т.ч. отчетно-выборное собрание, которое на 90% я прогулял с грузинами, и там в ожидании бюллетеней и т.п. Сессия¹ — целиком пошла под откос, что, конечно, непристойно, но и жалеть об этом искренне не могу, — вернее, жалеть можно не о пропущенной сессии, а лишь о времени, утраченном зря.

Чтение «Теркина»² в кругу членов редколлегии было полезным, но так и не принялся до сих пор за работу. А только она могла бы сообщить некое итоговое значение году, минувшему вчера. Без этого — итоги жалостные. Пожалуй, только Солженицын, да и этот успех, настоящая победа под конец года была замутнена совещанием в Доме приемов. Недоумение, подавленность, но все это минучее.

Вчерашняя встреча Н[ового] года в Кремле, опять те же тосты, та же «Кузькина мать»,³ некоторая неполнота даже официального веселья.

Умеренность. С утра пытался что-то делать за столом, но дальше заправки нового настольного календаря что-то не пошло.

16.1.63. Карачарово.

Утечка январских дней в ожидании (и так) продолжения совещания¹, сборы сюда, перемена условий, которые были в виду («дом Федина»)², устройство на месте, неудобства печки, кое-как перемучивающей полусырые, большей частью осиновые дрова, — словом, только сегодня прочел Ив[ану] Сергеевичу³, с которым который уж день ведем разговоры эсхатологического характера, — прочел для разгона и начал страничку за страничкой перекладывать с малыши исправлениями.

Ничего, пусть будет, что будет, — буду доводить до конца, — нельзя уже этой вещи уйти в песок.

Карачаровские впечатления: 100 <км> от Москвы, и бог знает какие бунинские художества: бухгалтер, замерзший в пьяном виде («одеколонист») в 200 м от поселка; Тоня, живущая на дачке Ив[ана] Сергеевича со своим сожителем и дочкой-школьницей (есть еще замужняя дочь, сын, вернувшийся из армии и завербовавшийся на север, — Тоня эта изгнана с кухни за кражу мяса (спрятала на груди под кофтой) для своего сожителя < неразборч.>, бросившего семью (дети в детдоме); шофер 1-го класса, отказывающийся от поездки по причине «колдовства» (жена, чтобы отворотить его от другой бабы, посыпала капот машины и сиденье в кабине наговоренной у местной колдуньи солью...)

Чудный — после Москвы — воздух, морозы, весь гагаринский парк⁴ и елочки ближе к «морю» — в инее. Величавые сосны вдоль берега, и на узком островке у берега — память ушедших лет, поколений, живших на дне нынешнего моря.⁵

Жизнь в корпусе № 16. Мы в спец. помещении — угловушка, разделенная <на> три клетушки с двумя печью. Ужасные, казарменного типа «удобства», «контингент» отдыхающих — люди в большинстве без элементарных навыков культуры, шизофре-

Продолженис. Начало см. «Знамя», №№ 6, 7, 2000.

ничка глав. врач; радио, лыжи в палатах, податься некуда, а то бежать бы. И не без неловкости: мы вдвоем занимаем помещение на семерых, да и обед нам приносят не на двоих, — правда, это в пользу доставляющих.

20.1.63. Карачарово.

Шел эти дни по страницам четвертой рукописи, подправляя, подчищая по малости, с удовольствием вычеркивал обнажающиеся лишки, воткнул было из верстки строфы о еде, но быстро увидел, что не к месту.

Вчера и сегодня что-то стало получаться в развитии сталинского места.

— Вот пристал еще чудак,
Въелся вроде бабы:
«За кого, за что?» — Да так —
За себя хотя бы.
— «За себя» — ответ не тот.
И не по уставу.
Ну, сказал бы: за народ,
За свою державу.
— Ладно. Вижу, что учен,
К помполиту — замом.
Хорошо, да я о чем —
Я о том же самом...
Так идут друзья рядком,
Теркин в счетах с думой,
Под загробным потолком,
Сводчатым, угрюмым.
Притомился, запотел.
— Невдомек мне словно,
Что особый ваш отдел
(Лично за) За самим верховным.
Все за ним — само собой,
Больше нету власти.
— Но ведь сам-то он живой?
— И живой. Отчасти.
Теркин шапкой вытер лоб,
Душновато все же,
Но от слов таких озноб
Пробежал по коже.
И смекает голова
В самый миг ознобный,
Сколь опасны те слова
За чертой загробной.
«Все за ним» — само собой,
Знай, Василий Теркин:
Над живыми он живой,
А над нами — мертвый.

Невдомек еще тебе,
Что живыми правит,
И, однако, сам себе
Памятники ставит.
Что не зря он глух и слеп
К тем живым порою,
Что не зря в Кремле он склеп
Сам себе устроил.
Нет, он больше наш отец,
Он давно полумертвец.
Та же власть, и голос тот,
Так что он тебя найдет
За любой чертою.

- Что ж — он бог?
- Нет, как раз безбожен.

Отсюда переход к посмертной награде.

Возможно — «производство-руководство» нужно отнести сразу к общим картинам того света, а «особый отдел» передвинется в конец, ибо после него все уже не так звучит.

Работается мало. Быт в точности такой, как был у меня на даче, только там дрова сухие, а здесь сырые осиновые — редко березовое поленце. Разогревание завтрака, обеда, ужина, непрерывных чаев. Хождение за нуждой — немногим удобней — теплей, чем на даче, но куда противней — многолюдство и скотство ужасное. Прогулки — истинная радость. Сегодня сломились морозы, вернее, еще вчера порошил уже снежок, — куда приятней сухоморозной стеклянной зимы.

Если удастся разделить сталинское место, то поездка сюда будет с лихвой оправдана. —

Сегодня в 3 ч. обед «с секретарями». Опять! Бедный мой Ив[ан] Серг[еевич] весьма привержен рюмочке и сну (творческому). Неужели мне предстоит такая старость?

Думаю о неизбежной необходимости выступить на неизбежном уже (речь Н[икиты] С[ергеевича] в Германии)¹ продолжении совещания. Решаю нацелить все на Солженицына. Это даст возможность сказать добрые слова о ЦК и Н[иките] С[ергеевиче], принявших эту вещь, а также противопоставить ее качества «и тем и тем» и подключить сюда моменты —

о нравственном начале в искусстве

о существенности (Возн[есенский])

о художественности (если мы не склоняемся к концепции обострения кл[ассовой] борьбы с приближением к коммунизму, то пора говорить о решающем значении таланта, мастерства).

23.1.63. Карачарово.

— Тот, кто в этот комбинат

Нас послал с тобою.

С чьим ты именем, солдат,

Пал на поле боя.

Сам не помнишь, так печать

Донесет до внуков,

Что ты должен был кричать,

Встав с гранатой. Ну-ка?

— Да уж нам-то, друг, с тобой

Без печати знато,

Что в бою — на то он бой —

Лишних слов не надо.

И вступают там в права

И бывают кстати

Больше прочих те слова,

Что не для печати...

Так идут друзья рядком

С непривычной думой

Под загробным потолком —

Сводчатым, угрюмым.

Теркин даже помрачнел.

— Невдомек мне словно,

Что особый ваш отдел

За самим верховным.

— Все за ним, само собой —

Выше нету власти.

— Но ведь сам-то он живой?

— И живой. Отчасти.

Теркин шапкой вытер лоб, —
Сильно топят все же.
Но от слов таких озноб
Пробежал по коже.
И смекает голова,
Как ей быть в ответе
За такие-то слова
Даже на том свете.
— Все за ним — само собой —
Власть на всех простерта.
Над живыми он живой,
А над нами — мертвый.
Потому-то глух и слеп
Он к живым порою.
И в Кремле недаром склеп
Сам себе устроил.
Невдомек еще тебе,
Что живыми правит,
Но давно уж сам себе
Памятники ставит.
И еще при жизни он —
По чьему почину.
Патриархом отнесен
К ангельскому чину.
Для живых крутой отец,
И закон, и знамя.
Он давно полумертвец
С вами он и с нами.
Та же власть и облик тот,
Что войдет в преданья.
Так что он тебя ведет
И за этой гранью.
И предельной нет черты
Власти той безмерной.
Кстати, знаешь ли, что ты
Награжден посмертно?
Ты — сюда с передовой,
Орден — следом за тобой.

С утра думал о выступлении. Солженицын.

Если бы нужно было доказывать, что ЦК обладает необходимой широтой взгляда в вопросах лит[ерату]ры, острым вниманием ко всему новому и подлинно примечательному в ней, то достаточно было бы указать на его отношение к повести «Один день»... Мы уже привыкли к ней, более того, без нее уже не мыслим наш лит[ературный] день, но еще вчера ее появление в печати могло бы показаться маловероятным.

Политическое значение повести — она свидетельство развития и претворение в живой жизни идей XXII съезда, она означает живейший отклик искусства. Она означает, что лит[ерату]ра наша оказалась способной столь ярко отзываться на...¹

29. I. 63. Карачарово.

Вчерашним и сегодняшним присестами подвинулся значительно к округлению, частично вызвав к жизни кое-что из верстки. Записывать много чего есть, но уже как-то неохота, если в главном деле не все.

Все же некоторыми новыми строфами доволен, ободрился к концу, а то уже привычно считал, что эта вещь у меня не поднимется в большую силу.

Вчера — день рождения Маши и Оли, поздравил их по телеграфу и телефону, — были очень рады.

Частушки в парке на дорожках (женские).

Я иду, меня запутала
Трава стоячая.
Не трава меня запутала —
Любовь горячая.

Говорила баба деду:
— Покупай мне, дед, Победу.
А не купишь мне Победу,
Я уйду к другому деду.

Они охотно доказывали друг другу то, в чем были и без того согласны. (Наши утренние беседы у печек).

30.I.63. Карачарово.

Добежал-таки, кажется, до конца, какой он ни есть. И хотя хорошему настроению, которое держится у меня все эти дни, доверять вполне нельзя, все же преодоление того уже почти отвращения к этой моей много раз возобновляемой работе и <почти> безнадёжности — кое-что. —

Добежал, но внутри еще отделочных работ уйма, кое-что нужно еще взять из верстки.

1. Второй раз должен выступить буржуазный тот свет (предложение друга посмотреть в стереотрубу, которая для загробактива), на мамзелей и иные соблазны сопредельного того света. Скорее всего, это в связи с посмертной наградой.

2. Дать непременно нагрузки покойников, чтоб вели борьбу навзничь или боком и чтоб не менее семи-восьми было выступавших (на собраниях — вроде вчерашнего профсоюзного в Карачарове).

3. Дать Теркину покурить на том свете своего (с хлебной крошкой пополам) табачку — тут он убеждается, что он живой — и все, что было про махорку (вроде старой злой жены) и, м.б., еду.

После всего этого будет главным вопрос о месте «культы» в расположении, — ясно, что это должно быть как можно ближе к концу — как самое ударное и многое объясняющее место.

Придумать, подчеркнуть, сделать отчетливее разделительные двустихия, которые служат как бы границами между частями текста (проходить без опаски и т.п.) Это проклюнулось само собой, но при отсутствии членения на главы очень важно иметь такие как бы перевздохи. —

Все эти задачи, (кроме м.б. <этого> места), которые хоть вчерне, на живую нитку нужно выполнить при перенесении правки на запасную машинопись. —

Прошло две недели здесь, очень утесненных бытом (дрова, печки, моя роль при обедах и т.п.) и чуть не ежедневными выпивками, но ощущения зря проведенного здесь времени, слава богу, нет. Добрая примета.

28.II.63.М[осква].

Сдал на машинку черновую, но уже полную перебелку. Записями не отвлекался.

10.III.М[осква].

Доделываю, нашиваю кое-что в экз[емплярах] с машинки, но уже не знаю, зачем все это делаю, т.к. если уж постановка «Горе от ума» несвоевременна, то чего же тут ждать.¹

22.III.63.Москва.

Итак:

1. В 1954 г. я был снят с «Н.М.» за «линию» и «Теркина на том свете». Выбыл из ЦРК и РСФСР.¹

2. За эти годы, до нынешнего 63 г., я закончил «Дали», был возвращен на должность гл[авного] ред[актора] «Н.М.», был делегатом двух последних съездов партии, избран кандидатом в члены ЦК, вторично избран в Верх[овный] Совет РСФСР, отмечен различными знаками, выпустил «Собр[ание] соч[инений]»² и т.д. и т.п.

3. Ныне, в 1963 г., в марте, я закончил, вновь написал на $\frac{1}{4}$, по кр[айней] мере,

«Т[еркина] на т[ом] св[ете]», опубликовал в конце прошлого года «Дениса Ив-ча»* (с чего все и пошло), и опять «линия» и немыслимость опубликования «Теркина».

Еще никогда, пожалуй, не было так трудно, однако и ясно на душе: дело плохо, но что же делать.

Иду к В.С. Лебедеву, ночью, м.б., лечу в Красноярск³. В См[олене]ке мама ждет меня, по моим словам, сказанным гл[авному] врачу больницы. (Правда, он меня успокоил).⁴

Сейчас едет из ЦК Дем[ентьев] с какими-то важными новостями.

Великое наслаждение получаю от Мих[аила] Евграф[овича] («Монрепо», «Круглый год»).⁵

На лбу у меня еще здоровая отметина последней радости этого м[есяца] — «опо-сывающего лишая». —

<Вклейка.>

На 8 Всемирном фестивале молодежи и студентов представители американской, французской, итальянской и других делегаций рассказывали нам, что молодежь их стран часто спрашивает: почему в жизни мы встречаем хороших советских людей, а в некоторых советских книгах пишут совсем о других? И действительно, стоит почитать мемуары И. Эренбурга, «Вологодскую свадьбу» А. Яшина, путевые заметки В. Некрасова, «На полпути к Луне» В. Аксенова, «Матренин двор» А. Солженицына, «Хочу быть честным» В. Войновича (и все это из журнала «Новый мир»)⁶ — от этих произведений несет таким пессимизмом, затхлостью, безысходностью, что у человека непосвященного, не знающего нашей жизни, могут, чего доброго, мозги стать набекрень. Кстати, подобные произведения «Новый мир» печатает с какой-то совершенно не объяснимой последовательностью.

«Комс[омольская] пр[авда]» от 22.III. С. Павлов⁶. — «Творчество молодежи — служению великих идеалов».

24.III.63.

Вчера у Л.Ф. Ильичева.

— Можно ли понимать вчерашний выпад Павлова против «Н.М.», в котором он и т.д., как сигнал к...

— Не уходить ли в отставку?

— Да.

— На прямой вопрос — прямой ответ: нет, ни в какой мере нет.. Работайте спокойно, спокойно поезжайте в Красноярск...

— А здесь без меня не будет «Н.М.» подвергнут...

— Не будет. Во всяком случае, без главного редактора не будет.

Представил себе всю горестную беззащитность моих новомирцев перед лицом пленума, при моем отсутствии, всю безнадежность выхода на трибуну Алеши Кондратовича с объяснениями и признаниями по поводу критики в адрес «Н.М.», красное, большое лицо умного и бессильного в данной ситуации Дементя... и решил не ехать, выдержать здесь все, на месте, и м.б., даже выступить, но не с объяснениями и признаниями, и по самому существенному существу нынешнего дня литературы.

<Вклейка.>

№ 10, 1962 г. Сняты: Каверин «Белые пятна», Марина Цветаева, стихотворения¹.

№ 3, 1963 г. Из-за книги И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» — длительная задержка номера. Сдано в набор 25.I.63 г. Подписано к печати 29.III.63 г. (2 месяца)².

Снята «Трибуна читателя»³.

№ 4. Длительная задержка Передовой⁴. Снят роман А. Камю «Чума»⁵. Вновь снята «Трибуна читателя». Сняты рассказ Е. Ржевской «Второй эшелон»⁶ и воспоминания Е. Габриловича⁷. Номер сдан в набор 8.II.63 г. Подписан к печати 3.V.63 г. (три месяца!)⁸.

* Так в тексте.

№ 6. Снята повесть В. Тендрякова «Находка»⁹. Номер сдан в набор 26.IV.63 г. Подписан 26.VI.63 г.

№ 8. Снят «Театральный роман» М. Булгакова¹⁰. Номер сдан в набор 14.VI.63 г. Подписан 25.VIII.63 г.

№ 9. Задержка с подписью повести Е. Герасимова «Семья Алешиных»¹¹. Номер сдан в набор 20.VII.63 г. Подписан 17.IX.63 г.

№ 10. Сняты стихи Е. Евтушенко¹². Долго задерживалось сообщение «От редакции»¹³. Номер сдан в набор 6.IX.63. Подписан к печати 21.X.63.

№ 12. Снова снят Е. Евтушенко. Задержан и потом возвращен в номер рассказ В. Гроссмана.¹⁴

<Вклейка.> (Из письма А. Македону — опущенное место — в конце марта или в самом начале апреля).

Что это за талант, мне и моим товарищам было ясно задолго до напечатания «Ивана Денисовича», — знали, на что шли. Но, должен сказать, что и мы не предполагали во всем объеме того общественного, политического резонанса, который воследовал за напечатанием этой вещи. Если брать только одну литературную сторону этого события, то оно, несомненно, носит исторический характер. Это удар неотвратимой силы, одновременно и по «модернизму с абстракционизмом», и по той условной, «идейно выдержанной» «традиционности», которая до сих пор противопоставляла себя только «модернизму с абстракционизмом». Конечно же, сегодняшний разговор об искусстве во всем его обострении, переборах и кособокости, так или иначе, обязан своим происхождением «Ивану Денисовичу», — это несомненно, хотя разговор этот, по возможности, избегает упоминания своего источника. Но все это я говорю к тому опять же, чтобы подчеркнуть, как напряженно сейчас положение, репутация нашего автора, хотя он и был участником встреч в декабре и марте. Вчера в «Известиях» В. Полторацкий (быв[ший] редактор быв[шей] газеты «Л[итература] и ж[изнь]») распинается по поводу «Матренина двора»¹⁵. Я, кстати, знаю колхоз «Большевик», бывал там, но не писал о нем, т. к. издавна объект бесчисленных праздничных описаний. Колхоз действительно выдающийся, но островной, и не знаю, как там сейчас по слиянии его с окрестными немощными колхозами. Однако хитрец-рецензент даже не пытается...

Встречам работников лит[ерату]ры и иск[усст]ва (декабрь-март) среди многих других предшествовало такое явление в жизни нашей лит[ерату]ры, значение и последствия которого, на мой взгляд, совершенно недостаточно разгаданы нашей литературной критикой. Если бы это было сделано в ту или иную сторону в смысле оценки идейно-художественных данных этой вещи, не было бы мне, редактору этой повести, сопроводившему ее в свет своим предисловием, не было бы необходимости останавливаться теперь на ней несколько подробнее, чем это я имел возможность сделать в моем предисловии к ней.

Критика покамест что, за немногими исключениями, ограничилась общедекларативным признанием этой вещи, т. е. показала только то, что ей, критике, известно отношение ЦК к этому произведению. А оно и не могло быть неизвестно. Среди присутствующих много участников пленума ЦК, на котором Н[икита] С[ергеевич] подробно говорил об этой, тогда еще только появившейся вещи...¹⁶

5. IV. 63. М[осква].

Три дня пленума Союзного¹, где я сидел со своим лишаем на лбу, сидел единственно для того, чтобы своим присутствием загородить «Н. М.» от «огня» Соколовых и прочих «стойких», в дикой ненависти своей готовых пойти на совсем уже непоправимые глупости². Высидел, удержался от какой-либо формы ответа на огонь, как иная батарея не отвечает на огонь по ней по необходимости³. Было ясно, что если я не выступил там, в Свердл[овском] зале⁴ (а тому были свои причины), где еще можно было бы что-то поправить, что-то сказать с пользой и с надеждой вдруг быть поддержанным, во всяком случае — огражденным от скрытого неистовства «стойких», буде они не усмотрят сигнала к свободному выявлению своих чувств, то здесь уже любое мое выступление, даже самое несвободное и «осмотрительное», было обречено «мечам и пожарам»: там, мол, промолчал, а здесь думаешь просунуть свои зловредные взгляды... Капуть! Радость и ликование в стане «стойких», смущаемых до сих пор лишь этим «загадочным» молчанием. — Всего, всего там было, вплоть до мелкой гадости Прокофьева⁵, но, оставляя позади эти трехдневные взвизгивания и урчания, испыты-

вал нечто вроде чувства удовлетворения, что не поддался на провокацию, удержался. Это было единственное, чем я еще располагал и чего у меня не могли отнять — мое молчание.

Но я забыл, что я еще и член правления РСФСР, и через два дня там началось новое⁶ и куда более безудержное выявление чувств по отношению к «Н.М.» и ко мне. С партгруппы пришел бледный Демент, готовый уже поддержать самое малодушное мое решение выступить там, т.к. были слова «обязать, вызвать, поручить т. Сартакову» и т.п. Позвонил Сартаков, повеяло чем-то жутко знакомым: ты не хочешь, но ты должен выступить и должен сказать не то, что ты думаешь, а то, что мы хотим, и выступишь, и скажешь, но что бы ты ни сказал, мы назовем это «попыткой уклониться», и чем более ты будешь готов «признать» и «заверить», тем беспощаднее мы тебя растопчем, отплатим тебе и <за> речь на XXII съезде, и за Солженицына, и за строптивость, и за твои удачи, и за все, но, пожалуй, более всего за Солженицына... — Удержался и здесь, уже повернув душевный рычаг на «так тому и быть»; т.е. на уход из «Н.М.» и т.п. —

Второй день пленума этого — звонок из МИДа: Замятин, зав. отделом печати, очень нужно встретиться, куда бы он мог ко мне подъехать.

Нет уж, лучше я сам заеду. — Вы должны дать интервью Генри Шапиро, это согласовано с Леонидом Федоровичем⁷, иными словами, это партийное поручение, которого выполнить, кроме меня, никто не может (так я понял и понимаю)⁸.

Генри, видимо, очень изголодался по информации, представил мне вчера свои «26 (!) пунктов», среди которых непреодолимые, с точки зрения последовательного проведения принципов совещания и всего последующего. Кашу, заваренную кем-то, расхлебывать должен я.

У меня единственно возможная позиция: «художественное качество» (неприятие нашей («Н.М.») практики и критики приобретает форму политических заострений, в сущности, неправомерно). Если бы понимали наши Леониды, то это еще полгоря. Иначе — признавать «идейные расхождения», наличие «течений» и т.п. — невозможные для нас вещи.

Вчера Черноуцан: Кеннеди все же хочет со мной обедать. Как не понять эти напоминания об ответном визите (после покойника Фроста), он им нужен сейчас⁹. — Я не могу до встречи с Н[икитой] С[ергеевичем], до разрешения вопроса о поэме, никуда не могу ехать, — в сущности, ничего не могу...

10.IV.63. М[осква].

Никогда, пожалуй, не был так прижат обстоятельствами и душевным смятением в совершенно трезвом состоянии.

Побывал (в пятницу — 5.IV.) у Влад[имира] Сем[енови]ча, сказал, что ехать мне в США невозможно, т.к. не ясно, что и как с тем, из-за чего я получил отсрочку этой поездки, и вообще, что со мной будет. Подвел дело к тому, что надо обнаруживать и посылать вверх моего «Теркина» (которого, кстати сказать, уже стесняюсь, избегаю называть, как это было когда-то с тем «Теркиным», и как было с этим же после его запрещения, вплоть до упоминания о нем Н[икиты] С[ергеевича], и как теперь с именем Солженицына, которое «без команды» неочевидным образом неудобно для упоминаний).

— Да, но нужно посмотреть.

— Конечно, но я все время воздерживался напоминать, ожидая напоминания от вас...

— А я воздерживался, ожидая от вас...

— Сатюков мне, бывало (до последнего времени напоминал при каждой встрече: «Когда же, надо же»), а теперь не напоминает....

— Я не Сатюков, как вы знаете.

— Хорошо. Завтра занесу.

Объяснились, но какое-то натяжение было очевидным. В субботу все же воздержался заезжать к нему — был «не светел лицом». Позвонил по вертушке Леониду Фед[оровичу] (могу ли я считать это (Шапиро) партийным поручением? — Если хотите — да. Нужно, чтобы ответы появились одновременно у нас, поставьте такое условие и давайте, кройте их на уровне речи о Пушкине (но не речи на XXII съезде — было понятно).

Поехал с поэмой к Маршаку, прочел. Старик, пожалуй, устал. «Ну что ж, очень хорошо», но ясно было, что это ему не по зубам. Кроме того, ему очень хотелось

читать свое, и не стал он только потому, что видел, как я приналег уже на его водку и закуску. Оставил ему рукопись для выявления «заусениц»¹.

В понедельник (воскресенье дурное) позвонил в МИД: так и так, при таких-то условиях пусть Шапиро звонит мне. Тот звонит, на все согласен, только просит необходимой форы во времени — «в несколько часов», иначе то, что я передам в нашу печать, будет достоянием всех корреспондентов. Это, отвечаю, мне кажется, уже только техника, о ней можно будет договориться потом. — Днем Лен[инский] ком[ите]т, где пришлось выступить в пользу Маршака, под которого там уже стали подъезжать (м[ежду] пр[очим], Грибачев)². После ком[ите]та пошли с Расулом, хорошо поговорили. Потом я поехал к художникам, по счастью, партком оказался отмененным. Вчера с утра собирался с мыслями; казалось, что в форме ответов на вопросы могу это дело продиктовать на машинку (Шапире я сказал, что все напишу сам). Думал-думал, и дело представлялось все сложнее. Если по чести и совести, чтобы не стыдно было.

Позвонил Вл[адимиру] Сем[енови]чу, узнав, что он звонил накануне — думаю, не напоминовение ли о Т[еркине], и чтобы ему объяснить, что после чтения у Маршака еще задержу немного, тем более, что занят этим «партийным заданием». Он начал (без большого воодушевления) о том, что Н[икита] С[ергеевич] заявил, что он, Вл[адимир] С[еменович], сказал о моих смущениях насчет Америки, а тот говорит, ну их к черту, пусть едет, когда захочет. А их довод об ассигнованиях на мой приезд просто ерунда, — нельзя в зависимость от этого ставить поездку. Ясно. Но о поэме до того, как я сам заговорил, — ни словечка. Видимо, он до ознакомления с ней ни словечка не сказал и хозяину, а, м.б., и сказал, но не увидел интереса, что более чем понятно в нынешней обстановке. — Затем, когда я сказал о пожелании и указании Л[ео니다] Ф[едоровича], он меня поправил: нет, он имеет в виду статью, а не просто ответы... Т.е. тут задача погони за двумя зайцами. Не так важны, конечно, мои объяснения с американцами, как со своими. Весь день курил, ходил по квартире (утром прогулка), все переливал из пустого в порожнее, обдумывая свой мыслимый опус. Часа три поговорил с приехавшим Дементом, растерянным не менее моего, но ищущим какого-то «легкого» выхода.

А цензура тем часом держит, да держит № 4, а третий, дай бог, выйдет в середине апреля, а цензор говорит, что у него от «Н.М.» инфаркт будет — кругом всеобщий трус и недоумение. А в «Дружбе народов» снята с пятой книги статья Буртина о Твардовском, т.к. именно в мае, по словам редакции, Тв[ардовский] будет снят, и статья будет противоречить³... Дем[ентьев] сказал об этом случае Черноуцу, но что тот может! И с цензурой он может очень мало, и № 4 уже вне его компетенции, он уже и Дм[итрия] Ал[ексеевича]⁴, а тот занят съездом художников⁵ (сегодня открытие), т[ак] что и еще четыре дня будет занят. А к вечеру статья в «Известиях» о Войновиче⁶. А потом еще новость об очерке Ф. Абрамова, которому мы в 4 № посвятили целую статейку⁷, — ее теперь снимать и т.д. А сегодня — партком — в 3 ч., когда нужно что-то сказать Шапире.

Иду в баню для укрепления духа омовением тела, а может, для оттяжки дела.

В тот же день, придя из бани. — Затем и пошел в баню, чтобы «начать». Буду, решил, записывать все самое дорогое для меня из мыслей о лит[ературе], об искусстве вообще, уточнять хоть для себя те понятия и положения, остаться без которых не могу ради чего бы то ни было внешнего. Но, боже мой, я же знаю, что не этого от меня ждут (не о Шапире речь, а если этого, так только для окончательных выводов, которые, кажется, уже сделаны, а только не подыскана кандидатура (Ермилов, будто бы, отказался,⁸ изъявив несклонность свою к организаторской работе — еще бы!) И все же нужно хоть для себя приводить в порядок статьи своего эстетического кодекса.

И как подумаешь, что весь сыр-бор загорелся из-за того, что я, после долгих размышлений и многих своих горячих и восторженных слов о Солженицыне и всего, что услышал о нем от людей достойных и умных, решил-таки продвигать эту вещь, убедил в необходимости этого шага всю редакцию, так что и отступить уже было некуда. И как казалось, что за этим «прорывом» все пойдет куда как хорошо, легко и радостно. В голову не могло прийти, что вспучатся такие хляби земные и небесные, — казалось, что это возможно только в случае ее (вещи) неодобрения в высшей инстанции. Ан вон что!

11.IV.63.

Нет, с первой же попытки увидел, что в два адреса писать невозможно, — ни богу, ни кесарю будет¹. От тоски вчера с утра, от тоски и после бани и завтрака кинуло в сон, а потом уж явилась и спасительная помеха — партком в 3 ч., которого никак, действительно, нельзя было пропустить. Там — тоска натужных, через силу, признаний в ошибках «нашей московской организации», и робкие выходы на свет, отклонения явных «переборов», хулиганских — слава тебе господи! — выпадов против нее на пленуме РСФСР — вот-вот — готовое вырваться «буйство и половодье чувств», подобное тому, что было и на том пленуме, «среди своих». Сообщение Соловьевой (МГК) о лишении «непонятливых» художников — делегатов съезда — их мандатов и переведении некоторых из членов в кандидаты — новая доза удручающего. Все в целом — и звонки Шапиры — привели уже было в отчаяние, в неверие, что и к понедельнику смогу что-нибудь. Потом решил отчасти по житейски мудрому совету Маши просто отвечать на вопросы, на которые могу. Надеюсь, что пойдет, и так будет лучше, а изложение «кредо» для своих — дело особое. Но и в ответах не допущу чего-нибудь стыдного. А главное — печатайся они у нас или нет, они пройдут нашу «цензуру» — и все будет ясно и понятно: выполнение парт[ийного] задания. —

Правда, сказанная злобно,
Лжи отъявленной подобна.

По поводу «очернительства». Вот когда она действительно лжи подобна. А в случае разоблачения угнетенными угнетателей, в случае классовой ненависти, и там не «злобно», а гневно, с ненавистью. Злобно, со злорадством — торжество мелкой души.

<Вклейка.>

Дорогой Александр Трифонович!

В эти дни смуты и разврата в нашей литературе я испытываю глубокую потребность обратиться к Вам вот с этим письмом и сказать Вам великое спасибо за Вашу голубиную чистоту, мужество, заботу и тревогу о всех тех, кому дорога честь русского писателя и судьба Родины.

Не могли бы Вы в этом своем трудном сподвижничестве прибавить себе силы и уверенности в сознании той полноты любви к Вам, которой живут сейчас самые лучшие, самые честные люди!

Нужно ли Вам говорить о том, что таких людей великое большинство — людей, не свершавших моральных и физических преступлений перед Советской властью, сохранивших веру в правду на земле, а стало быть, и не боящихся расплаты за отсутствие у себя бугра подлости и глупости.

Я с упрямым удовольствием обратился бы к Вам с этим заявлением печатно, через любую нашу газету, но этой возможности нет.

Примите же мой низкий поклон и благодарность за Ваше человеческое сердце, ум и доблесть.

11.IV.63 г. Ваш К. Воробьев.²
Вильнюс, ул. Веркю, 1, кв. 25.

24.IV.63. М[осква].

Прошла ночь перед... перед — чем? Отработанный на совесть текст «Интервью» у Л[ео니다] Ф[едоровича], который вчера «еще не успел» (чтения там на 10–15 мин.), и «сразу» будет звонить мне (читай: не звони сам, не надоедай).

Я играю в жмурки с Шапирой, Л[еонид] Ф[едорович] — со мной. Но с Ш[апи-ро] это дело понятное, а со мной — другое дело.

Всем нам (в редакции) ясно, что сейчас, при полной неясности всего остального, вдруг станет ясно, что и как с «Н.М.», с Твардовским, с «четвертым номером».

Если здесь — стена и все кончится недобром, то уже неизвестно, будет ли смысл писать мне те заготовленные слова последнего письма: «Ж[урнал], который я редактирую, фактически прекращен...» Ибо окончательное «недобро» тоже может быть лишь с самого верху.

25.IV.

Вчера утром вышел в парикмахерскую, почистил ботинки, возвращаюсь — в подворотне на Язуз Оля, отправляющаяся в свою школу:

— Иди скорей, звонили от Ильичева. Мама волнуется.

Прихожу, звоню, — был, говорят, да уехал в Кр[ем]ль. Где вас искать?

— Дома или в редакции. Сижу, жду, к концу дня звонок. «Поздравляю!».

Два замечания на ваше усмотрение (пустяки)». — А как же насчет нашей печати? — Несите в любую газету. — Нет уж, это не мое дело — разносить свои интервью и т.д. — Хорошо, пришлите мне завтра окончат[ельный] вариант. — Сегодня с 5 сидел, старался, сделал вставку о Р. Фросте², развил «программу» ж[урна]ла со включением лауреатов этого года³ и т.д. — Звоню в 10 — был, уехал. Опять — я дома или в редакции.

В 12 — Шапиро с женой Люд[милой] Ник[олаевной] (он Генри Семенович). Хорошо, но я должен это изложить так, чтобы и т.д.

— Нет, на комикс я не пойду. — Я посоветуюсь в отделе печати. — Советуйтесь. Все.

26.IV.

«Считать себя милиционерами... быть агентами.... уважать авторитеты...» — вот как! Гм¹...

Говорил по вертушке с Л[еономидом] Ф[едоровичем]. — Поправки хороши, но в отношении Яшина лучше уж оставить прежний вариант (т.е. без придаточного и несправедливых нападок)².

— Вы правильно поступили, что не согласились на «комикс». Этого следовало ожидать, — он надеялся на «жареное»... Я позвоню <в> МИД. В случае отказа Шапиро — найдем способ опубликовать это дело.

— В виде статьи?

— Нет, может быть, в виде «невостребованного» интервью...

А № 4 лежит, а никто не знает, что и как дальше. Демент уже говорит: есть же предел, т.е. пора уже спокойнее думать о конце всей этой истории.

30.IV. М[осква].

Ни звука нового. Праздники застали журнал в недвижимом почти (не считая «обсуждения» № 4 в Союзе) состоянии¹.

Спокойствие — что еще возможно при сложившихся обстоятельствах, хотя именно спокойствие достигается с трудом и уже за счет, пожалуй, некоей внутренней отрешенности от всех этих дел, знаменующих, по одному характерному выражению, «перемещение власти в те края»...

Однако, в голове складывается то ли речь (на пленуме), то ли статья для «Правды» — в защиту литературы как специфического рода духовной деятельности, против упрощенчества и установок на иллюстративность и иное художественное мелководье. Складывается даже так, что можно будет прямо сказать о том, что, например, Кочетов не художник, поскольку он «все знает и только учит»² (оговориться), что Кочетов или кто другой имеет право так же (как о нехудожественном) отзываться о моих писаниях, что это только пример, чтобы не выдумывать примеров.

Вчера пересадил к нижнему нужнику вторую старую франц[узскую] сирень от веранды. —

На столе стенограмма выступления Васьки Смирнова — ярославца, вот оно, это место:

«Конечно, наше положение журналов, которые меньше ошибались — лучше. Не подумайте, что мы хотим «выспаться» на других, но мне, как коммунисту, редактору журнала, члену двух правлений — Союзного и Всероссийского — непонятно, почему журнал «Новый мир» называется органом Союза писателей. Он не выражает линию Правления Союза писателей, почему же он называется его органом? И почему мы не слышим голоса главного редактора, что он считает линию, которую он вел все время, — правильной или нет?.. И первое, что мне хотелось бы выяснить, как коммунисту партийной организации, до каких пор у нас будет существовать орган правления Союза писателей СССР — журнал «Новый мир» — с такой позицией.

Я понимаю, что, может быть, нам в нашей стране нужен такой журнал, как, извините, сточная труба для нечистот, чтобы что-то проходило туда. Но при чем тут Союз писателей?»³

К празднику первого мая
Все отдадим, что могли. —

Это, помнится, было в какой-то газете революционных лет (20-й?) и отец, по свойственной ему манере петь «с листа» («из книги»), пел это, на мотив «Смело, товарищи, в ногу», умиленный этой жалостной готовностью «их» отдать все, что могли, к своему рев[олюционному] празднику (умиленный, впрочем, весьма поверхностно). А строчки эти связывались с выдачей (или продажей) каких-то фунтов белой муки и, может быть, «песку» (сахарного).

Приезд Фиделя, оцепление с утра, демонстрация, как бы перешедшая дорогу первомайской, разные толки в толпах народа, женщины, умоляющие пропустить их «к ребенку», и бранящиеся без опаски. — Говорят, что Фидель действительно был очень растроган, долго не мог начать речь, но оправдывается ли этим недовольство, порой озлобление людей из той «массы», которой мы, как хотим, так и вертим. А тут еще это разрешение деревенским людям работать в праздничные дни, которое, конечно же, обернется большим пьянством и прогулами, чем обошлось бы разъяснение, что праздник есть праздник, а уж после праздника работаем. Более того, при разъяснении возможнее инициатива отдельных колхозов какой-нибудь полосы, где самая пора работать на полях. —

6.V.63. М[осква].

С 30-го веду напряженно-отдыхательный образ жизни, т.е. занялся садом (впервые за все годы обработал приствольные круги двух антоновок по «полному профилю», с изъятием отвратительных крупных и неискоренимых корешков дурной травы, со снятием лишней тяжелой земли (все яблони при посадке заглублены) и внесением компоста.

Пересадила:

1. старую сирень от веранды;
2. клен заморский, выжившийся в кусте жасмина, — страшно трудно дался;
3. маленькую антоновку от лесной стороны;
4. дикую «дулю», что разрослась внизу верхнего сада без толку (принес как-то из лесу прутик).

Думаю пересадить розовый налив из-под большого дуба на сев[еро]-вост[очном] углу и продолжать обработку лучших яблонь.

Наметил срубить (выкорчевать) по крайней мере три яблони — две «голенастые» и одну китайку у фин[ского] домика.

Работа очень трудная, заливаюсь потом, болят руки-ноги, но странным образом дает успокоение и удовольствие, думаю об этих «преобразованиях природы» больше, чем об итогах Совещаний, хотя имею в виду статью на тему об элементарных вещах, в разъяснении которых есть настоятельная необходимость.

Четвертая книжка, кажется, наконец-то разрешена к печати (а машина уже занята «Иностранкой» №5)¹, кроме передовой, каковую сегодня, по-видимому, заштампует-таки цензор. В ней сейчас наполовину «интервьюшного» моего текста (приводили в соответствие в соответствии с пожеланиями, высказанными Л[еоном] Ф[едоровичем] через Черноуцана)².

Когда выйдет сигнальный, его можно будет именовать многострадальным.

Задача сдать немедленно пятый и сдавать шестой №№, чтобы выпустить их разом, т.е. не слезая с машины, если это удастся. Так-то было бы лучше, чем сдваивать.

В субботу был у В. Гроссмана в Боткинской, в том самом урологическом, где навещал отца. Обычное чувство в таких случаях какой-то и неловкости, и виноватости, и фальшивой оживленности от усиленного стремления поскорей высидеть положенные 20–30 минут. Казакевич, теперь Гроссман, — как все это близко ходит, и как на корню обрывать всякие затеи и планы на будущее, как старит тебя. И все еще как будто в глубине где-то тщишься поведать кому-то обо всех этих вещах, кому-то, кто пожалует тебя с твоими переживаниями возраста и проч. А его нету и не будет.

14.V.63. М[осква].

В воскресенье вышел наконец мой многотрудный и обремененный упованиями интервьюшный опус¹. Как шутили в редакции, «Н.М.» как бы получил постоянную (а не временную?) московскую прописку.

В воскресенье поздно вечером на дачу вломился Яшин с женой и мальчиком: «Не приехать не мог». Новость ему принес отдыхающий в Перedelкине Арк[адий] Райкин. Там вообще был большой шум. Вчера К. Чуковский принес новое издание

«Мастерства Некрасова» с надписью, что автор счастлив, «что дожил до 12 мая 63 г.», и что он этот день считает историческим². Однако, хитрец, «заодно» подсунил вдову Пастернака (не упустить подходящий момент!). Я не преминул сказать, что, поскольку причина, по которой она (З[инаида] Н[иколаевна]) обратилась ко мне за 1000 р. устранена — договор с ней заключают³, я воздержался дать ей свои деньги, тем более, что «острая нужда» — ремонт «Волги» — меня просто смутила, а и не лучше ли ей обратиться к вам, К[орней] И[ванович], с такой просьбой — вы человек ее круга, а я у них чаю или водки не пил. Старик неискренне, как всегда, закивал, засоглашался и исчез быстро, как и забежал.

Кто-то, кажется, Закс:

— Вот бы еще было не забыть упомянуть Гроссмана... Как будто все дело в том, чтобы «не забыть». А кроме того, разве не менее достоин упоминания был бы, напр[имер], Светлов Мих[аил], о котором собираюсь чего-то черкнуть отдельно. И, кроме того, здесь каждая буква была на счету, и «золотая рыбка» могла вдруг забрать все и оставить при разбитом корыте «Н[ового] Мира»⁴.

Воскресное весеннее впечатление при поездке на смотрины глупой дачи Лавочкина: запах молодой травы, усиленный тем, что ее скубло* стадо, т.е. рвало и отдыхало.

Сегодня вручение лен[инских] премий Маршаку и др. Значит, уже два года (два года?) как вручалась мне, и с тех пор я молчу (последнее выступление со стихами 5.V. прошлого года — «Слово о словах»⁵). Правда, кроме всяческой муры-мурецкой и двух речей (XXII съезд в Пушкинская), я еще закончил так ли сяк «Теркина на том свете», но это вещь в себе. И надолго ли? И то ли это самое, что я должен явить «urbi et orbi»** сегодня. Нет сомнений, во многом то, но и какое-то <устаревание> этой вещи неизбежно. —

А где моя проза? А где намечавшаяся к пленуму статья о «великой лит[ерату]ре»? Лирика? — день за днем, неделя за неделей, за «неотложкой» и праховой суетой, за отбывтием возрастающих обязанностей и обязательств. Уже кажется, никому не нужно, чтобы я писал свое «художественное», а чтобы только «выступал», «откликался» и т.п. Но «не забыть» Гроссмана — одно, но и себя нельзя забывать, т.е. упускать годы.

Вести записи в периоды хотя бы и вынужденного неписания трудно и нудно. Единств[енный] смысл их в рабочем упорядочении мыслей и т.п. А так — за бортом все равно остается почти все самое большое, самое занимающее душу.

Еще было деп[утатский] прием — галерея просителей, Москва подноготная, ужасная⁶.

«Резервная армия беспартийных, неприютных, сорванных с места, с земли — куда ни приткнуться (но лучше всего в Москву и большие города)».

28.V.63. Москва. <Вклепка>.

Я пишу эти строки о Михаиле Светлове, не сделав предварительно ни одной закладки в его книгах, не выписав цитат, не разыскивая статей и рецензий, в разное время посвященных его поэзии, — словом, без всякой подготовки. Я имею в виду того Светлова, который всегда при.мне и во мне, как один из моих любимейших современных поэтов, как часть моего эстетического бытия, моих давнишних и неизменных привязанностей в поэзии.

В самом деле, разве я не мог бы и вдалеке от книжных полок, без всякого посредства печатной страницы, назвать все его лучшие стихи, от «Гренады» и «Рабфаковки» — до самых последних, возобновить в памяти многие и многие строфы и строки из них, вспомнить восторженную статью Н.Н. Асеева по поводу его «Первой книги» 28 года¹, — книги, сразу выдлившей Светлова из ряда комсомольских поэтов его поколения, среди которых было и такое незаурядное поэтическое имя, как М. Голодный. Нынешним молодым читателям, может быть, даже трудно представить...

С последней записи было:

1. Передовая «Правды» от 19.V².

* В смоленском диалекте «скубсти» — означает «щипать», «рвать».

** urbi et orbi — городу и миру (лат.).

2. Чествование И.А. Саца и последствия³.

3. Обдумывание среди дел и всяческого напряжения статейки о М. Светлове, — отказался от нее (мил, но мал, поэзия его сама себе отказала во многом; ошибка его в том, что он почитал за верх мудрости условно-шутейное отношение к жизни), передав в статейку З[иновия] Паперного кое-что из того, что набежало на ум⁴.

4. Тяжба по поводу Камю. Вопрос предрешен в отрицат[ельном] смысле, может быть, еще тогда, когда я уходил от Л[еонида] Ф[едоровича] с его словами: «Пусть Черноуцан разберется». Черноуц[ан] — бедный — вьется и бьется из лучших чувств: не печатать. Так одно за другим⁵.

5. Очередная гадость «Известий»: обещали, зазывая «в гости», целиком перепечатать передовую № 4, дать целую полосу, а н — глядь — то же безобразие⁶. Звонил вчера Аджубею: прошу вас учесть, что такие вещи исключают возможность каких-либо взаимоотношений. — Я учту, — сказал он, — и все.

Очень верные слова А.С. Берзер (в связи с ознакомлением с наследием Эм[ма-нуила] Казакевича — эпопея 240 п[ечатных] л[истов] — о том, что, когда у человека есть что сказать, он пишет 2,3 листа, как Солженицын, а когда нечего, а только страсть авторства, тогда пишутся эпопеи в нескольких книгах⁷. Очень верно для многих слу-чаев, в т<ом> ч<исле> и бедного Фоменко, который сам взял на себя эту обузу — 2-ю книгу — и ничего, видимо, не выходит,⁸ потому что он, м[ежду] пр[очим], не Елизар Мальцев и т.п.⁹

Новый рассказ Солженицына — сила.¹⁰ Того, что там на 1½ листах, хватило бы на «острый, проблемный» роман типа Г. Николаевой¹¹.

И за самое ребро, и абсолютно по-партийному, если вам угодно, и еще одной сто-роной повернулся талант, касаясь одной из самых важных «проблем жизни».

Нет, нет, не обязательно писать эпопеи, даже не нужно, бог с ними, лишь бы пи-сать дело.

В. 30.V. Москва.

День отъезда в Италию¹. Затея вернуться морем, оказывается, довольно слож-на, — скорее всего, не выйдет. Это обесцвечивает поездку, тем более что вчера Сурков и Рюриков дали понять, что «еще с вас хватит»...

8.VII.

Итальянские и дагестанские¹ впечатления календарно записаны в блокнотцах — дойдет вряд ли до них очередь. А между ними — пленум², пережитый мною на даче в состоянии хрипоты и пр. Но нет худа без добра, как стало потом ясно.

В пятницу передал Вл[адимиру] Сем[енови]чу «Т[еркина] на т[ом] св[ете]». В субботу он позвонил: «Поздравляю», «очень сильно», «читать одно наслаждение», «в сущности, это новая вещь» и т.п. Сегодня звоню я и иду выслушивать «отдельные замечания». — Вряд ли когда стоял так вопрос в смысле всей дальнейшей л[итера-турной] судьбы. — Стоял! И не один раз: «Муравия», «Теркин», «Дом у дороги», «Дали» — всякий раз было так: или — или.

Но в данном случае дело связано с дальнейшим моим пребыванием на посту или уходе с такового (хотя Валя и говорит, что при всех обстоятельствах я должен оста-ваться. Она не знает в конкретике, каковы бывают «все обстоятельства»).

А если — победа? — Вчера весь день и всю ночь был в состоянии не то счастья, не то тревоги, работал на участке — косил, подчищал дубы, выкорчевывал внизу ср[ед-него] сада голенастую яблоню и порубил на дрова сучья, а ствол оставил до пилы.

1.VIII.63.

День отъезда в Ленинград, где мне делать, пожалуй что, и нечего, если учитывать присутствие Ив[ана] Ив[анови]ча и т.п.¹.

Последняя встреча с Л[еонидом] Ф[едоровичем]:

— Ну, когда же будет, что за «Далями»?

— Будет, есть. — Говорю напрямую о «Теркине на том свете».

— Нельзя ли почитать? (Больше, по-видимому, и з вежливости).

— Так и так, объясняю, что первому — в этом духе и смысле — я хочу дать Н[иките] С[ергеевичу], который и т.д.

Черноуцан: — Не было бы худа, посоветуйтесь с Вл[адимиром] Сем[еновичем].
Вл[адимир] Сем[енович]: — Ничего, правильно. Вещь-то загубить эту очень легко, что и не поправить после.

Сегодняшний разговор (по телефону) с Вл[адимиром] С[еменовичем].

— Я докладывал. Охота большая, но времени нет совсем. Да и настроение (для прослушивания вещи) нужно подходящее. Ясность? Во всяком случае — вся недолга.

12.VIII.

Накануне отъезда в Пицунду. — Ленинградские дни, при всем при том не были вовсе пустыми¹. Что-то еще понял, ухватил, еще больше почувствовал глупость наших радетелей и т.п.

Сегодня приехал с дачи — звонок С[офьи] Х[анаповны]: — звонил Л[ебеде]в, просил непременно позвонить.

— Так вот я докладывал Н[иките] С[ергеевичу] (2-й раз? Во всяком случае — уже когда тот был в Пицунде). — А он отдыхал в этом году? А то, может быть, мы бы здесь и встретились?.. Ну, а тут сама судьба...

— Я все захватил. Не скрою, искра надежды и т.д.

— Да, вот именно...

Словом, еду, т.е. лечу. Не будь этой «искры», ехал бы без всякой охоты.

Сейчас только что напелся на вечере «европейцев» в ЦДЛ. Читал первым. Опять то же: «Нет, жизнь меня не обделила...»

18.VIII. Внуково.

Сегодня по крайней мере 5 мил[лионов] человек читают мою вещь, известную некоторому кругу читателей с 54-го г. и до последнего дня (вчерашнего) не называвшуюся по ее заглавию, даже после двух строк в сообщении о приеме Н.С. Хрущевым «европейских» писателей: «С большим интересом участники прослушали новую поэму А.Т. Твардовского, прочитанную автором»¹.

Появление ее даже подготовленным к этому людям представляется невероятным, исключительным, не укладывающимся ни в какой ряд после совещаний и пленума². — Третьего дня В. Некрасов исключен из партии одним из киевских райкомов. М.б., появившись «Теркин» днем раньше, этого не случилось бы. Впрочем, у нас все возможно и все обязательно. — «Известия», столько гадившие «Н[овому] Миру», затравившие Некрасова, вчера «с любезного разрешения редакции журнала» публикуют эту поэму. — Цензор С.П. Оветисян — сперва от себя лично, затем от имени б[ывшего] глав. цензора, ныне пред[седателя] ком[ите]та по делам печати Романова, слезно просил меня опустить «одно слово»³, в то же время держа «на разрешении вопроса» «Театр[альный] роман» Булгакова по соображениям, глупым до дикости⁴.

Трудно еще представить, во что мне, журналу обойдется это словечко. Но уж получили! «Над нами же все будут смеяться». Я забыл, что только что говорил о безотносительности этих строк насчет цензуры к ним, ныне действующим представителям этого ордена: «Ах, уж столько от вас плакано, что не грех немного и посмеяться». — «Да ведь цензуры в нашей стране нет, А. Т.» — «Тем более, зачем же вам брать на свой счет то, что относится к «загробным» установлениям? Почему редактор «Известий» не взял на свой счет все, что там есть о «редакторе». — «Да ведь там об одном лице, а тут о целой системе».

Бедняга не заметил, что пользуется словом, уже подорванным, уже несерьезным после прокатки его в тексте поэмы с большой буквы. Впрочем, я sluкавил под конец и сказал на всякий случай, что и хотел бы, м.б., но не могу ничего тронуть в поэме после чтения «где и перед кем — вы знаете». — «Но ведь были же замечания у Н[икиты] С[ергеевича]?» — «Были по одной строфе, и они мною учтены.»

Случилось так, что набирал (для ж[урнала]) поэму тот же линотипист, который набирал ее 9 лет назад в первом варианте.

Все это событие укладывается в несколько решающих часов и похоже на цепь случайностей, счастливых совпадений. — В самолете еще я подбросил мыслишку В[ладимиру] С[еменовичу], что читать мог бы и в присутствии коллег — русских писателей, прибывающих с «европейцами» для встречи. В Адлере мы сели завтракать в Доме творчества Литфонда, а В[ладимир] С[еменович] поехал сразу в Пицунду, чтобы встречать нас там.

Приезд. — Отсутствие «предбанника», где можно было бы переменить рубашку, как предполагалось. — Заезд в ворота, мимо которых я ходил, прогуливаясь в Пицунде в прошлом году, когда сидел там на даче Мжаванадзе за «Теркиным». — Встреча, осмотр «хаты» (веранда, спортзал, бассейн морской воды, где Н[икита] С[ергеевич], обходя его, нажал некую кнопку, и вслед двинулась из стены дома стеклянная штора, говорят, 80 м в длину — это на случай дурной погоды). Официальная часть встречи в спортзале, где вдруг появился Аджубей в зебровой безрукавке и его бледная Рада. Речь Н[икиты] С[ергеевича] в духе «классовой борьбы», «идеологического несуществования» и т.п. Он представлял себе дело не иначе как так, что перед ним социалистические писатели и писатели буржуазные, «слуги капитала». Но все ничего. «Мы с вами пообедаем», — это раза 3–4. — Купанье в чудном, изумрудном, сразу глубококом, очень чистом море. — Только хвойца этих реликтовых пицундинских сосен виднелась на воде у берега. — Обед в другом помещении в 300 м от дачи Н[икиты] С[ергеевича], по-видимому, специального назначения для приемов. — В ходе обеда В[ладимир] С[еменович] (раньше он только сказал, что чтение состоится сегодня, когда проводят иностранных гостей) подошел с новым предложением: не читать ли мне уж и в присутствии гостей (англичане и итальянцы уже простились)? Я, конечно, согласился. Вскоре Н[икита] С[ергеевич] объявил меня: «поэксплуатируем». — Чтение было хорошее⁵, Н[икита] С[ергеевич] почти все время улыбался, иногда даже смеялся тихо, по-стариковски (этот смех у него я знаю — очень приятный, простодушный и даже чем-то трогательный). В середине чтения примерно я попросил разрешения сделать две затяжки. — «Конечно, конечно», хотя никто, кажется, кроме Шолохова и меня, сидевшего с ним, (до чтения) на самом конце стола, не курил. Дочитывал в поту от волнения и от взятого темпа, несколько напряженного, — увидел потом, что мятая моя дорожная, накануне еще ношенная весь день рубашка — светло-синяя — на груди потемнела — была мокра. — Кончил, раздались аплодисменты. Н[икита] С[ергеевич] встал, протянул мне руку: «Поздравляю. Спасибо». Тут пошли было некоторые реплики похвалы, но Сурков быстро сообразил, что «обсуждение» не должно быть, и предложил тост за необычный факт прослушивания главой великого государства в присутствии литераторов, в том числе иностранных, нового произведения отечественного поэта!⁶ Потом я, решительно не принимавший ничего за столом (как и накануне), попросил у Н[икиты] С[ергеевича] разрешения (это было довольно смело) «промочить горло». Он пододвинул мне коньяк, я налил. «Налейте и мне, — сказал он, — пока врача вблизи нету». Когда я наливал ему, рука так позорно дрожала, что это многие заметили, но, конечно, это могло быть отнесено только за счет волнения. — И, собственно, дело совершилось, — подошел Аджубей с конкретными предложениями, посулами соблюдения всех необходимых условий и т.п. Там же он сказал мне, что хочет написать «врез». Я сказал: Нужно ли? — Нужно, говорит, вы потом посмотрите, — не захотите — не надо. Но теперь я, несмотря на все, соображаю, что надо, хотя написано плохо — фразисто и извилисто⁷. На дорогу он пытался мне дать бутылку коньяку со стола, но я не принял, кстати, неначатой бутылки и не оказалось, как заявил позванный им «служитель». Кстати, мне особое удовольствие доставили восторженные лица «служителей» и охраны, тянувшиеся из проема, откуда носили блюда во время чтения. — Обратная дорога, Сочи, купанье перед ужином в другом уже, городском море с запашком канализации, с дрянного каменистого берега при малом шторме, ужин с Сартрами⁸ и Сурковым, умеренная выпивка. Утром 14.VIII купанье в 6 ч. в компании И.Ф. Огородниковой⁹, чай (слава богу, я удержался от предложенных водки или коньяка). —

На аэродроме — огорчение, привезенное в последнюю минуту Лебедевым: Н[икита] С[ергеевич] хочет прочесть глазами. Там насчет «большинства» и «меньшинства». Он говорит: «чтобы нам его (меня) не подводить». — Рукопись летит в Москву, с тем чтобы ей завтра, т.е. уже только 15-го, отправиться с курьером в Пицунду. —

Встреча во Внукове — Драчинский с Мишей Хитровым¹⁰. — Объяснения. — Вечером приезд на дачу Лукина из «Правды» — объяснения. «Я, собственно, уже не заведу этой вещью, она уже не моя, мое дело сделано» и т.п.

Утро 16.VIII — приезд на дачу Драчинского с тем же Мишей: «Аджубей звонил — полное добро на публикацию поэмы, просьба подумать насчет «большинства» и «меньшинства»¹¹. — Передача рукописи Др[ачинско]му с условием помочь 8-му № «Н.М.» в выходе. Деп[утатский] — прием, обычный стыд и мука. — 17.VIII. — чтение привезенных тем же Мишей накануне полос. — Днем в редакции — сверка нашего набора, сделанного в ночь, с известинским. — Выход «Известий» с «Терки-

ным на том свете». Две бутылки шампанского — я, Закс, Софья Ханановна, корректорши и Миша.

Иду спасать уборную, подвешивать ее над обрушившимися краями ямы — сложная и увлекательная техническая задача. — Сосед Канюшкин, которого еле спровадил, презентовав ему № «Изв[естий]».

19.VIII.63. Внуково.

Конечно, черта, за которой либо должно быть что-нибудь серьезное, либо — как это чаще бывает — спуск (воспоминания, поучения, самоповторения), а то и вовсе одно «представительство», переход в «бывшие писатели» (по Шедрину). Так или иначе — некоторое чувство освобождения, удовлетворение исполненным, доведенным до реальности «делом». Недаром одной из побудительных причин к «проталкиванию вопроса» была неравномерность объема двух томов нового издания поэм в Гослите; видя, что дело может затянуться или вовсе отложиться до пребудущих времен, уговорил Косолапова сшить два тома в один («Поэмы в одном томе»). Теперь бы — либо опять расшить на два тома, подключив ко 2-му этого «Теркина», либо даже подключить его к однотомнику, т.к. без этой вещи он уже не собрание моих поэм. Покупатель: «А «Теркин на том свете» здесь есть?» — Нет. — «А-а!»

Совершенно ясно, что эта вещь — прямое продолжение и того Теркина и Далей, работа над которыми отодвинула этого Теркина, хотя, в сущности, смыкалась кое-где с ней («фронт и тыл»).

Вчера вдруг отметил, что совершенно произвольно получилось:

Автор пусть его стареет,
Пусть не старится герой

— против:

И как будто постарели
Сразу оба мы с тобой¹.

Там мы еще вместе, а здесь уже как бы врозь. Это хорошо, хотя и весьма грустно, бесповоротно.

Еще должно быть, помимо, конечно, отдельного издания, издание Теркиных под одной крышкой. На переплете «Василий Теркин», на титуле — оба².

Только сегодня прошла опухоль на ноге от укуса осы 14.VIII. Вечером, после которого я пережил, пожалуй, впервые чувство непосредственного страха — «оно»? Но не сильно струсил, только своим видом (внезапно набегающая отечность и т.п.) перепугал Машу с Олей. Оказывается, это моя злосчастная «аллергичность», — был отек легких, и я задыхался, от этого и сердце, так сказала на другой день Л[идия] Дм[итриев]на. —

Смоленск? Сейчас или на торжества, когда нужно будет играть роль «знатного земляка», в ряду с такими экспонатами, и ради этого спешить к 29-му из Болгарии, где решили отдохнуть³. —

22.VIII. Внуково.

Вчерашний день провел здесь за чтением Евг[ения] Герасимова (ох, жидковато!), Ковтуна¹, предавался и творческому сну. Ни в какие усадебные хлопоты и работы не тянуло. Внизу идет углубление и очистка нашего злосчастливого прудика, который обещает быть водоемом со спортивно-отдыхательными добавлениями, словом, сулит мне под боком базар, шум, мат, бутылки через мой штакетник, громкое обсуждение моих заслуг и недостатков, т.е. все то, что уже отчасти накатано при наличии этого водоема до спуска его в связи с прокладкой водопроводной линии, от которой, кстати, вряд ли дожидаться толка: халтура!

Опять мысли о необходимости «бежать», но и трезвое понимание, что бежать некуда, кроме Пахры с ее начислениями, и что при любом решении остается еще вопрос, куда девать Внуково. — Нет, не те времена (не говоря уже о том, что не тот

возраст), чтобы предпринимать что-нибудь житейское, требующее длительных хлопот, забот, отвлечения от запущенного своего главного «хозяйства». И вместе с тем — эти прутки моей посадки, ставшие деревьями, дубы, которые заметно стали толще в объёме с тех пор, как здесь затеялось все это, принесшее так мало действительного отдыха, удобств для работы и столько одуряющих и унижительных порой забот, хлопот, отвлечения. — Жить тем минимумом житейских условий, какие пока что сложились, не рыпаться: никогда, м.б., всемирные осложнения не относились так непосредственно к личным житейским намерениям, планам, усилиям.²

«Теркин» глухо (еще только 6 или 7 телеграмм, первые письмишки, изустные свидетельства о «звонких чтениях» газеты, сохранившейся с субботы, в поездах, учреждениях) вступает в свою гласную жизнь, все более уходя из меня и от меня.

Действительно, черта. Необходимо поскорее вплестаться в новую затею, чтобы эта черта — не стала слишком знаменательной, возрастной. Нехитрое дело начать подведение итогов и т.п. Нет, дальше, дальше — есть о чем болеть и есть о чем писать. —

Смоленск. Утром на прогулке обдумывал речь на предстоящих торжествах 1100-летия города. —

М[осква]. 4. XI. 63.

Более чем полуторамесячный перерыв в моем бортовом журнале, — обычно это свидетельство о том, что утлое мое судно теряло управление, бушевали штормы, команда лежала в лежку и т.п. Отчасти было и это, но, главным] обр[азом], некая бездарность в проведении отпуска. Куда он ушел? — Две недели — Болгария, из них 6 дней того, что можно назвать отдыхом, — купанье, гулянье, сон с открытым на море окном, а море в двух шагах. Но и эти дни как-то без удовольствия — не мог привыкнуть к полуголым старикам и старухам, толстякам и скелетам (большею частью — немцы) в ресторане, в кафе, на прогулке. Приятен был адмирал (Иван Добрев), но от него исходил слишком явный и грустный дух глубокого пьяницы, которому не миновать катастрофы, м.б., более бесповоротной беды, чем те, что он уже испытывал. Хорош, терпелив был милый и умный Теню (Стойнов), но он очень удручал меня своими расчетами в ресторанах, это нахлебничество угнетало меня, хотя по условиям я был гость, но одно дело бесплатная путевка, как могли бы они сделать, другое — кормежка с рук, ожидание счетов Союзу писателей и вся эта канитель. — Дорога туда и обратно — 4 суток. Л.Е. Кербель с Татьяной Мих[айловной] — Машины покупки (получил я там отовсюду не менее 1000 левов).

Поездка в Смоленск была неудачной. Глупый праздник, грустная обстановка, Павел с его «Сетью»¹, очень постаревшая и очень невеселая мама, — срыв, коего так не хотелось. — Потери после Смоленска, — Лидия Дмитриевна, дошло, по-видимому, и до «верха» (Вл[адимир] Сем[енович] при встрече деликатно, исподволь: отдохнуть в Барвихе, ведь вам предстоит такая трудная поездка). — Зубы. Деваться было некуда, и вот уже завтра в 6 ч. получу госзубы (верхние передние) вместо своих частнособственнических. Не болевые ощущения, о которых обычно говорят с преувеличением, а какой-то глупый стыд и глупая грусть; вот уж, мол, тех зубов, которыми я с детства кусал хлеб, морковь, яблоки, орехи, грыз кости их — самых заметных нет, а вместо них то, что и название имеет отталкивающее: протез. —

«Теркин на том свете» — нет, это не то, что было с окончанием «Далей», где вслед за появлением глав в «Правде» все уже пошло своим ходом, хотя в почте было достаточно всякого. Здесь и по напечатании вещи и официальном оповещении о ней в сообщении о встрече в Пицунде, и при всех дарах почты (правда, и она разная — на 15–20% резко отрицательная или просто глупа)², сопротивление ей имеет куда более активный характер. «Октябрь» 2-й раз открыто поправляет Н[икиту] С[ергееви]ча,³ «Известия» возражают, но как-то надвое⁴; книжку «Сов. писа» цензура уже 2 недели «читает», хотя ясно же, что она там ничего не вычитает⁵. Это, конечно, уже «личная» месть цензуры, которую она обрушила в первую очередь на журнал (донос по 10-й книжке, отклоненной на Старой пл[ошади]⁶, прицепки, помехи, укусы при всякой малой возможности).

Действительно, вроде того шведа, который пишет, что еще неизвестно, чем эта история (с «Т[еркиным] на т[ом] св[ете]») кончится. Иногда мне бывает не то, что страшно, но тоскливо.

Правда, вещь оказалась сложноватой, лишенной того общепобедительного каче-

ства, каким был наделен старый «Теркин», но как же ей было быть несложной и как ей было не возбудить «мертвецов». —

6.XI.63. М[осква].

Кануны больших праздников располагают к подведению неких итогов, к оглядке назад. В этом году ничего, почти ни строчки, не было написано, кроме окончания «Теркина на том свете», этой моей «потаенной» работы, о возобновлении и доведении которой в иные годы, казалось, не могло быть и речи. Она числилась за мной, как давний грех, искупленный, непоминаемый, но годный и для напоминания при особом случае. Кроме того, после прошлогоднего разговора об этой вещи с Н[икитой] С[ергеевичем], позволившего мне с переменными приливами надежды и полного неверия в возможность ее опубликования, наступило полугодие Совещаний, атак на «Н.М.» и проч., что, казалось бы, начисто исключало всякую тень надежды. Но после подведшего черту под Совещаниями Пленума автор вдруг построил себе такую «концепцию», с коей и пошел к Вл[адимиру] Сем[еновичу], и, м[ежду] пр[очим], вкратце изложил ее при встрече с Л[еоном] Ф[едоровичем], что, мол, самое время теперь, после Пленума, ее и печатать, прямая выгода. Понято это было одним Вл[адимиром] Сем[еновичем], который, слава ему, отлично знал, что по инстанциям его запускать нельзя, что ее «погубить ничего не стоит». Потребовался еще порядочный срок терпения, выжидания, переменных настроений — вплоть до Пицунды.

С момента опубликования поэмы в «Известиях» начинается новый период, длящийся и поныне, период неполного торжества, как будто она опубликована только по недоразумению или недосмотру, или же так, в виде опыта, и ей еще нужно «легализоваться». Похоже, что если и не позволено на нее обрушиваться критике, то только из соображений (неписаных) приглушения ее. Это «сверху», и это очевидно и недвусмысленно. Молчание газет, торможение с изданием (с 21.X книжка лежит в той самой Цензуре, которой посвящены в ней известные строки).

А «снизу» тоже все неоднородно и сложно. Конечно, подавляющее количество писем благодарственных, сочувственных, оценивающих вещь прямым положительным образом. Но вместе с тем и недоумения, и возражения, и протесты, и бог весть что.

Почему «тот свет», зачем «темнить», говори прямо про этот? — М.б., действительно за годы от первого до нынешнего варианта так все накопилось и накалилось, что уже вся эта условность кажется лишней, уводящей от прямой сути дела. М.б., должна была бы явиться вещь более «прямая» — на всем том, что накопело. Но продолжаю думать, что и такая «условная», м.б., уже в чем-то запоздавшая вещь имеет смысл открытия возможности говорить о том, о чем не принято было говорить издавна. —

Словом, главный «итог» — продвижение вперед, удержание принципиальных позиций мною и журналом. Мы, т.е. я и ж[урнал], до того вклинились куда-то с недостаточными силами, что уже и обратного пути нет, и продвигаться страшно трудно. — Еще один гнусный опус Кочетова («Октябрь» № 11, ответ «Известиям»)¹.

25.XI. Барвиха.

Третий день здесь. Еще ни врачей, ни горшков, ни уток — ничего, т.к. приехал накануне выходного дня. Комната 21 в первом этаже, непрерывный машинный шум компрессора (отопление). Плохой сон обе ночи. Временами сквернейшее состояние духа, — пожалуй, никогда еще здесь не было так тоскливо. Уже столько здесь прошлого, столько памятных теней с того первого моего заезда в 50 году, когда все было в новинку.

В пятницу — Маршак с Лакшиным, радио о Кеннеди. Маша: ранен, Оля: следом — скончался.¹ Стрелка большого времени дернулась и перескочила на некое новое деление (зарубку). — Сегодняшнее сообщение об Освальде — это уже нечто от детектива, от гангстерского фильма и чем-то нарушает величавую трагичность конца Кеннеди: тот же госпиталь и т.д. — Господи, буди милостив нам, грешным. Еще черт знает что и как может развернуться в мире.

— Я приехал сюда на этот раз без внутренней необходимости рывка, напряжения, как это было при работе над «Далями» или «Т[еркиным] на том свете». Этого, покамест, не может быть, и, м.б., от этого я такой полусонный и слабодушный. Годики! Пора привыкать и соразмеряться с ними. — Будем потихоньку-полегоньку входить в свое запущенное хозяйство, на «крутой подъем» которого я не могу рассчитывать немедленно.

26.XI. Б[арви]ха.

Приехал сюда с моим портативным Пушкиным, имея в виду просмотреть его заметку о Джоне Тенноре, книгу которого (первое полное издание на русском) недавно прочел.¹ Так случилось, что это вошло в круг мыслей об Америке в связи с убийством Кеннеди.

Замечательно, что Пушкин не только увидел и почувствовал трагедию Д. Теннора, возвратившегося в мир белых с более высокими, чем у них, нравственными и этическими понятиями, но заканчивает свой обзор грустными выводами о постепенном вхождении Теннора в колею благополучного янки: выгодно проданная книга записок, судебный процесс с родней за часть наследства — нескольких негров, которыми этот сын лесной индейской вольницы должен будет распоряжаться в соответствии с правами хозяина. —

Среди отдыхающих — уезжающий сегодня Л. Кудреватых², странноватый человек, которого я знаю с войны по выпивке в разные времена, первый муж Верки Горбильевой, нынешней жены Кочетова, <...>

Рассказал мне о своем странном браке и разрыве с ней — все как-то не всерьез, как-то попутно с разными развлечениями журналистской молодости. Сын от первой жены его, умершей от туберкулеза горла, оставшийся без надзора в годы войны, пошел и пошел по преступной стезе, и ныне (ему уже лет 37) о нем уже нет никаких сведений, — последний срок у него был 15 лет каторги. Когда они виделись предпоследний раз, сын жил у него с неделю. Было уже ясно, что он целиком во власти «романтики» того мира, с воодушевлением рассказывает о выдающихся «законниках», лидерах преступного братства и т.п. А в последний раз — заехал в «Правду», вызвал отца по телефону из «Огонька» вниз, попросил 200 руб. Был с какой-то женщиной. «Ну что же, думаешь ты как-нибудь становиться на путь?» — «Поздно об этом говорить». — Дал ему деньги (при себе не было, одолжил в редакции) и больше уже его не видел. Но еще было 2–3 письма из разных мест заключения — без просьб о помощи, просто так. — «Я вычеркнул его из своей отцовской памяти. Теперь у меня, слава богу, все хорошо в смысле семьи, я сосредоточен на нынешнем сыне — ему уже 13 лет, нужно внимание, забота.»

Отдыхает здесь на правах персонального пенсионера маленький лысый почти до затылка человек с помятым бритым старческим личком, на котором, однако, как и в форме маленькой, вытянутой назад и вверх головы и поваленного почти плашмя от бровей лба, проступает сходство с младенцем и мартышкой. Нижняя часть лица более всего определяет это второе сходство — тяжеловатая, выдвинутая вперед. Голос неожиданно низкий, с небольшой хрипотцой. Походка старческая, мелкими шажками, почти без отрыва ступней движком — шмыг-шмыг-шмыг... Зад осаженный, сбитый верху, как это бывает у стариков. Это — всего десяток лет тому назад — владыка полумира, человек, который, как рассказывают, со многими из тех, чьи портреты вывешивались по красным дням и чьи имена составляли неизменную «обойму» руководителей, здоровался двумя пальцами, не вставая с места. Это А.Н. Поскребышев, многолетний первый помощник И.В. Сталина, член ЦК в последние годы этой своей службы, генерал-лейтенант. Я помню, как его выводили из состава ЦК, кажется, на сентябрьском пленуме. Имя его в аппаратных (высоких) кругах звучало как знак высшей власти, решающей инстанции. Такому-то позвонил Поскребышев — означало, что позвонил почти что Сталин, собственно Сталин, вещающий плотью его голоса. Вспоминаю, как я имел наивность и отчаянную решимость позвонить ему по вертушке с просьбой о передаче И[осифу] В[иссарионовичу] рукописи романа Гроссмана³ на прочтение, где была (навязанная автору нами) глава о Сталине, а это было уже время, когда ничего о Ст[алине] без него не было возможно в печати.

«Да. Ну? Нет.» — слышались в телефоне односложные низкие, но такие тихие-тихие отзвуки его голоса, голоса знающих, что их должны слушать и слышать. В этом голосе была и величественная, запредельная усталость, и даже скорбь, и законное, само собой разумеющееся полувнимание (меньше того!) человека, который занят чем-то несравненно более значительным и серьезным, чем то, о чем ты ему «вякаешь». Помнится, он не отказал прямо, но сказал, что лучше отдать «аппарату», — вообще, это особая история.

И вот этот единственный в мире человек, который мог бы и должен бы явиться куда более интересным для современного мира Эккерманом, чем гетевский Эккерман⁴, который мог бы написать великую книгу и с уходом которого исчезнет навсегда мно-

гое-многое из того, что еще, м.б., столетия будет интересовать историков, политиков, художников и т.п.

Этот человек ходит в столовую, принимает процедурки, играет в домино, смотрит плохие фильмишки в кино, словом, «отдыхает» здесь, как все старички-пенсииеры, и как бы это даже не он, не тот А.Н. Поскребышев, ближайший Сталину человек, его ключник и адъютант, и, м.б., дядька, и раб, и страж, и советчик, и наперсник его тайных тайных. Высшая школа умения держать язык за зубами, не помнить того, что не следует, школа личного отсутствия в том, к чему имеешь (имел) непосредственное касательство, и полная свобода от обязательств перед историей («Это не я — это партия в моем ничтожном естестве была на моем месте, и выполняла свою задачу, и могла избрать для этой цели чье-нибудь другое, столь же ничтожное, естество»). Пытаться к нему подступиться с разговором на тему о его исключительных, единственных возможностях и единственном в своем роде долге — дело безнадежное. «Что вы, что вы, зачем это? Ни к чему, да я и не знаю ничего», — затрепыхался он в ответ на прямую постановку вопроса Леонидом Кудреватых (по словам последнего). И даже будто бы сказал: «Я боюсь». Но дело не в страхе, хотя, конечно, страх над ним денный и ночный не может не висеть, а в том, пожалуй, что, как говорит Кудреватых, он вблизи производит впечатление прежде всего человека не только малообразованного, неназначанного, но просто недалекого и почти малограмотного. Таков этот полубезвестный, но могущественный временщик, выходец из дер[евни] Сопляки. (Забавный эпизод, связ[анный] с этим — по Кудреватых.)

28.XI.63. Б[арви]ха.

Переселился вчера в эту, №57 (3 этаж) комнату, здесь действительно тихо, чуть слышен снотворный шум тепла в отопительной системе — вроде шума дождя (городского). Через комнату от меня (я в самом конце коридора) этот самый Поскребышев, который все не идет у меня из головы, вернее, не он, а все то необъятное, от которого он много лет имел ключи в единственном экземпляре. — Вчера флюс, с которым я, наверно, сюда и приехал и гулял, здесь начал меня потихоньку донимать (накануне спросили: очень болит? а то у врача очередь большая. — Да нет, конечно, не очень). Зубница (приезжая) сразу за дело — вспорала десну, вычистила, помазала и т.д. Пришел, болит, принял, кажется, анальгин, заснул, а тут и приехали мои замы.¹ Поговорили о № 1: худо, печатать нечего, все явственнее то, что давно уж наметилось: беллетристика доживает свой век, — она не может не быть фальшивой, когда у нас вымысла («обобщения») бояться больше, чем факта с именем и отчеством. Не может не быть фальшивой, поскольку представляет необозримые возможности конструирования действительности в заданном, избранном произвольно духе и плане. — Солженицын — не беллетристика, а Федин — она, и бедняга чувствует сам, что ничего уже не выдать из этого пересохшего тубика, — просит опубликовать его извинение перед читателями и редакцией.² —

Тем важнее было бы развитие мемуарно-очеркового жанра, фиксация того, что было или есть на самом деле, а не в наших представлениях, декретированных «свыше». И художество никуда не уйдет, будь только правда на месте. Эти дни был воодушевлен (под влиянием отчасти пушкинских заметок) замыслом записать исторические (они уже таковы!) анекдоты о Сталине³. Таких анекдотов я сам порядочно знаю от некоторых живых и покойных людей, являющихся персонажами этих произведений современного фольклора (Фадеев, Павленко, Засядько, Исаков⁴, наконец — Хрущев и мн[огие] др[угие]). Но для этого нужен полный досуг, отстраненность от «текучки». А вчера подумал: нет, не могу я бросить ж[урнал], м.б., и потому, что уже вряд ли смогу писать «в запас», без прямого предназначения, необходимости подачи рядов во время боя. И еще мне теперь несомненно, что если я доберусь наконец до своего «Пана Твардовского», то это решительно не будет беллетристикой, построением тягучего романа-хроники со всяческими перекрестными линиями сюжетного чертежа, хотя именно этот жанр я читательски всегда очень любил, и в таком плане смутно обдумывал свою «главную книгу».

Рассказывал Кудреватых: жили здесь два знаменитых председателя колхозов, — одного из них, Акима Васильевича Горшкова, я хорошо знаю, другой, кажется, Коротков, дважды герой и т.д. — Это особый разряд руководителей⁵ наших островных (в смысле успешного хозяйствования на общем фоне) колхозов. Без этих колхозов нельзя: о них пишутся книги и брошюры «опыта», они принимают иностранных гостей-друзей или недругов, они ставятя в пример, они занимают трибуны бесчисленных кустовых и

пр[очих] совещаний. Словом, нельзя, к тому же руководители их — люди большой популярности — живой и газетной. Такого председателя не только райком, но и обком снять, переместить не посмеет. Причем они очень немногочисленны, они редкость долголетия на посту (Горшков — с 1929 г.). Это своеобразные Шолоховы по «неприкасаемости». — И вот эти два председателя в одно заявили здесь, что главное и решающее условие их успехов в том, что они никогда не выполняют, обходят, игнорируют «конкретные указания партии и прав[ительств]ва». То е[сть] все, что имеет успех, что как-то оправдывает соврем[енные] формы сельскохозяйственного произв[одств]а, — все это достигается только вопреки, а не благодаря... —

Я это давно знал, знал и на войне и в мирной жизни. Почему же мы не можем развязать повсеместно такую инициативу и самостоятельность? Почему же мы не можем поверить в народный разум, в неисчерпаемый запас талантов, положиться на них? Единственно потому, что куда будет девать Снастиных, а с ними Софроновых, Кочетовых, имя же им легион. Куда девать этот легион, крепко сам себя любящий и священный своей подлой круговой порукой!

«Хорошему председателю никакая кукуруза не страшна», — брякнул некто с трибуны — со всей серьезностью и простодушием — в период самого остро-директивного навязывания этой панацеейной культуры.

Беда вообще, когда суть дела усматривается в совершенно невинных пропашных или многолетних, в системе квадратно-гнездовой или иной, в торфо-перегнойных горшочках, — словом, в агротехнике, а не в политике, единственно способной развязать этот «тугой узел».

Рассказывают, что проблема приемки имеющего прибыть из-за границы хлеба оказалась очень-очень непростой. Мы не имеем опыта со времен незапамятных в приемке такого рода грузов — хлеб мы лишь отгружали, отправляли, — ни складочных помещений такого рода, ни техники. — Военные порты получили задачу, новую и для них.

29. XI.

Вчера лечащая (славная, скромная, немного даже припуганная) навязала мне «профессора» (фамилии она не назвала — для нее это звание превыше имени, оно само по себе как бы имя). Приятный, хоть и несколько самодовольный старикан с желтоватой бородкой. И сразу мягкие, глубоко обидные, унижающие формы вежливо-го насилия: усаживаю не я его в своей комнате, а он меня — на диванчике, лицом к свету, а сам в кресле, развернутом от стола. Тут же — лечащая, хотя явно разговор был рассчитан на этукую интимность, доверительность. И пошло по нотам: нет ли головных болей, страхов, тоски, неприятных ощущений в кончиках пальцев и т.п. Курение и от курения — к другому. «Сколько выпиваете зараз? Хмелеете быстрее, с меньшей дозы, чем прежде?» И все это при лечащей, которая, как при экзекуции, сидит, скорбно потупившись. И в довершение всего: «Как потенция? Я имею в виду то, что она непосредственно связана с вашей творческой активностью». — Как я ни зарекался в ожидании этого посещения говорить как можно меньше, все же, когда лечащая, после моей шутки, вышла, разговорился несколько больше, чем следовало. Это уж в таких случаях начинается разговор с самим собой или перед тем «высшим судом», который виноватые всегда имеют в виду. Расстались по-доброму, он даже успел мне сказать, что его сын или племянник написал мне ответ в стихах на нынешнего «Теркина» (то-то диво), а ушел, и меня так все это огорчило («А здесь испытываете тягу?») пообедал и уснул на том самом диванчике, который был мне только что «скамьей». Не хотелось ничего обдумывать, ни оправдывать себя, ни самоутешаться. Потом сестра пришла с уколом («Б-6?»), я ничего не понял, думал, что это предписанный мне пенициллин, а часов в 11 лег (пенициллин), само собой, был на ночь) и впервые здесь проспал без перерыва до 6 ч. Но и в этом есть что-то унизительное — почему бы не сказать мне, что и зачем. Впрочем, м.б., это ноксирон, о кот[ором] он говорил, что это снотворное не оставляет неприятных следов для головы. —

После этой записи разделся, лег, проспал сладко до 9 и проснулся свежим в первый раз здесь. Оказывается, это назначенная мне как лечение инъекция витамина «Б-6».

В последние 10 лет, несмотря на репутацию пьющего (эка новость это у нас!) и 54 г. (снятие с «Нового Мира», запрещение «Теркина на т[ом] св[ете]»), я, безусловно, мог достигнуть высших степеней в «системе» Союза писателей, т.е. оказаться во главе его. Во всяком случае, слухи относительно такой возможности были, а «возглавить Моск[овскую] организацию» мне предлагалось официально. Но меня всегда пугала все более определенно выступавшая представительская, непродуктивная сущность этой должности. Если бы это случилось, я бы, наверно, погиб, и ничего толком сделать бы не сумел, т.к. не обладал многими необходимыми для этой должности качествами Фадеева, суетной мобильностью Суркова и самобережением К.А. Федина (ни его старческим честолюбием), я бы неизвестно как бы вертелся и терзался там.

Я избрал для себя другую упряжку, т.е. «Н.М.», в первый раз еще, пожалуй, и не вполне осознавая, что за роль и что за долг мне определится на этом месте, а во второй раз уже отчасти и предполагая. И получилось так, что нынче на этом КП я гораздо больше в реальности означаю, чем весь Секретариат Союза Писателей. Хвасть хлеба не даст, но это очевидный факт, что «Н.М.» — это не мои слова — журнал, единственный из всех, занимает такое серьезное место в жизни нашего общества, отмечен и выделен из всех далеко за пределами литературных кругов — читателем. Можно с уверенностью сказать, что помимо этого ж[урнала] ничего мало-мальски стоящего не появилось в нашей литературе за последние годы. «В[округ] да о[коло]» Ф. Абрамова в «Неве» — случайность; кстати, в «Н.М.» очерк в таком именно виде не появился бы (предколхоза в пьяном забытии принимает свое отчаянное решение о 30 процентах)¹. Не говоря уже о критике и библиографии нашей, столько поставившей вещей на свое место. Не говоря о зарубежном внимании к ж[урналу], — не обязательно дурном, чушим «жареного», но и самом добром. Наконец, два таких рыбка, как «Ив[ан] Денисович» (и Солженицын вообще) и «Теркин на т[ом] св[ете]», ударная сила которых еще действует и будет действовать впредь, и ничем ее — даже фигурой умолчания — не прекратить, не снять. — Все лучшее в соврем[енной] литературе идет к нам, тянется за нами, несмотря (а м.б., и благодаря) на все атаки со стороны «бешеных» и попустительство (да и только ли попустительство!) со стороны идеологических верхов, на стремление «оторвать Твардовского от «Н.М.». Более того, эти «верхи» не против были бы не только отпустить меня «по собственному желанию», но и попросту отстранить от руководства журналом, но не делают этого, затаив на журнал и меня лично великую нелюбовь и опасения, — ждут часа! — Ж[урнал] размежевал реальные силы литературы, провел дифференциацию их на глазах у большого читателя, при его очевидном преобладающем сочувствии. Далеко не плохая картина реальной литературной борьбы, осложненной недоброжелательством «верхов» (не самых верхних!), демагогией, приемами беззастенчивой лжи, доносничества и т.п. со стороны темных сил литературы. Есть из чего хлопотать, претерпевать многие гнусности, тяготы, огорчения. (Нет мне ничего противнее, как слышать от иных доброжелателей моих слова о том, что, мол, зачем вам возиться еще с журналом, ведь у вас все есть — положение, деньги, известность, — вас, мол, пальцем тронуть нельзя вне журнала. Неужели, дескать, это червь тщеславия, желание «руководить»? и т.п.) За всем тем я отлично понимаю, что ж[урнал] далеко не соответствует такой высокой оценке — в нем видят более того, что в нем, покамест, есть — от великого желания иметь в его лице то, чего еще нет.

1. XII. 63. Б[арви]ха.

Прошла неделя — самая канительная и непродуктивная здесь, как обычно. — Сегодня приезжает Кондратович <с> Залыгиным, будет разговор о повести последнего после вторичного и внимательнейшего ее прочтения.¹

Из языково-стилевой трясины крестьянствующей манеры изъяснения (полное отсутствие авторской речи) ему уже, конечно, не выбраться. Но тогда уж играть все до конца в этом духе, исключая крайности областнических речений и стилизации мужицких «внутренних монологов».

Как можно написать вещь о 30-м годе в сибирской деревне, обойдась без имени Сталина не только в речах и репликах на собраниях, но и в душевных беседах мужиков один на один, в бесконечных внутренних монологах и даже диалогах крестьянской души!²

Очень грустно, что автор не понимает, влекомый уже, наверно, другими замыслами, что важнее, значительнее этой темы он не обретет нигде, ни в чем и что если эту вещь он не «доведе до ума», то и никакую другую он не доведет. А ясно, что он не захочет идти до дна, рисковать написать вещь, которая, м.б., не будет напечатана. Того

внутреннего высоко<го> обязательств<a>, что у Солженицына, у него не найдется, хотя внешнее (в языке, в письме, в рассмотрении всего глазами Степана Чаузова и осмыслении умом Чаузова всего происходящего) он ухватил в «Иване Денисовиче».

«...ленинский план кооперации.

— План-то есть, да Ленина нет».

— Оч[ень] хор[ошо], но автор, касаясь (словами Юриста) вопросов практики с[ельско]-х[озяйственной] кооперации в Сибири, молочного дела и т.п., касается этого в совсем ином плане: вот, мол, это же и есть те начала коллективного хозяйствования, которые подводят к колхозу. Все не так. Коллективизация (сплошная) смысла кооперацию, все эти маслозаводы, успешную конкуренцию с кулаком и т.д. Кооперация — экономический, хозяйственный путь, но коллективизация пошла другим путем — государственным, политическим, административным. Весь предшествующий путь кооперации (артели, маслозаводы и т.п.) она объявила кулацким путем.

К. Буковский — ненапечат[анный] очерк о камском животноводстве, успехах молочной кооперации еще в дореволюционное время. —

Юрист мог бы больше распространяться об индустриализации, задачах обороны, — все правильно, но лишь как призыв к жертве во имя «истории». Не из нужды крестьянского двора...³

Вчера Маршак прочел всего подряд «Василия Теркина». Ты, м.б., сам не знаешь, какая необыкновенная книга, какие там есть изумительные места. Я, говорит, прочел ее всю в день, когда должен был ехать к врачу-окулисту насчет своей катаракты, больной, перемученный, с тяжелыми опасениями насчет зрения, и вдруг ощутил подъем, прибыль сил. Нет, не может умереть поэзия, когда есть такие вещи. Это необычайная сила русского языка и стиха в слиянии их возможностей. Ах, какое счастье — быть тобой в наше время. — В этом роде.⁴

Как-никак, но и мне было приятно, это как подарок, что брат-литератор, достаточный себялюбец и делопроизводитель собственной славы, вдруг прочитывает от начала до конца твою книгу двадцатилетней давности. Этим мы не избалованы.

Второй день (третий раз) хожу в лес за братское кладбище, левее старого карьера, к костру, запаленному до меня рабочими, производящими «рубку ухода». Бузинный рогозливый хворост, орешник, сушняк, чермушника, еловые лапки — это понятно. Но в костре тлеют положенные с выпуском концов здоровые жерди — черемуха, осина, сухостойные дрова. Подсовываю головешки, подкидываю концы хвороста.⁵

Одна из актуальнейших задач, от которой не убежать — добиться присуждения премии Солженицыну⁶. Московские писатели позорным образом провалили выдвижение этой кандидатуры, предпочев ей гнусную Г. Серебрякову, возобновляющую свое выдвижение.⁷ Кстате, она носится по инстанциям со своей антисолженицынской штучкой «Смерч»⁸, где все не так «примитивно» и «заниженно», как у Солженицына (в «Одном дне»). Среди отводивших Солж[еницы]на — Антонов С., Н. Чуковский. Караганов, говорит, попытался напомнить, что вещь одобрена Президиумом, что о ней говорил Н[икита] С[ергеевич] и т.д. Тов. Тевекелян⁹ (человекоподобное существо с речью на самой низкой ступени развития) разьяснил: — Это ничего не значит, Н[икита] С[ергеевич] давал политич[ескую] характеристику вещи, но он вовсе не думал нас обязать... Словом, новация: культвики отлично используют антикультовую атмосферу в своих архикультовых целях. Думаю, что делать мне больше в этом «новом составе» Ком[ите]та будет нечего (больше), если не удастся.

3.XII.63. Б[арви]ха.

Статья Лакшина об «Ив[ане] Денисыче», — первый ход (после выдвижения редакцией этой вещи на соискание) в направлении главного удара¹. Статья очень хороша, но, м.б., недостаточно политична. Вчера направил письмо Лакшину и говорил с ним по телефону.

Стихи из записной книжки
(в голове).

1. Береза у ворот Кремля.
2. Шум моря, сосен, хлеба —

А это жизнь моя шумела,
Что впереди еще была.

А это время
Мое шумело впереди.
Мое большое.

3. Тетка Дарья, коммунизм на дворе,
Выводи корову...
4. Ночная пахота у моря
(тракторы, ровняющие пляж зачем-то).
5. Часов кремлевских бой державный.
- 6.

4.ХП.

Тот шум торжественно-сонливый,
Доныне в памяти живой.
Как молодая, до налива,
Шумела рожь над головой.
Он был сродни совсем другому —
Как в несравнимой вышине
В вершине сосен смутный гомон
Шумел, вещал о чем-то мне.
И эти два родные шума —
Иной порой, в краю ином,
Как будто отзвук давней думы
Я распознал еще в одном¹.

Совсем разучился. Но — лиха беда начало.

Единственно, с кем разговариваю (м.б., не стоит слишком, но больше стараюсь слушать) — Свердлов Андрей Яковл[евич], сын первого пред[седателя] ВЦИКа, странный, загадочный человек. 16 лет работы в НКВД (или КГБ), словом, в органах, трижды сидел сам. Знает страшно много, но неизвестно, что действ[ительн]о знает, а что врет. До 37 г. жил с матерью в Кремле, знает, как житейских соседей всех — от Сталина до кого угодно. В детстве знал Ленина. Знает бездну деталей, подробностей, сплетен, анекдотов «придворной» жизни. Куда там до него тому екатерининскому генералу, которому повезло видеть голую задницу императрицы! Этот уверяет, что видел искусственный член Ягоды (каучуковый, на пояском ремне). Знает (со слов ген[ерального] прокурора), что Берия занимался онанизмом в камере. Знает, кто под кого «копал» и кто на кого «капал», помнит десятки и сотни имен, принадлежащих той неопубликованной истории нашей эпохи, которая, тем не менее, есть история. И при всем этом — какая-то в нем неуловимая недостоверность, трепачество, всезнайство, надменность и вместе припугнутость. Главное, хоть он и грамотный и даже писучий человек (работы о Свердлове, Дзержинском, Орджоникидзе), мемуаров он не напишет², а мог бы написать нечто не менее ценное, чем Поскребышев, т.к. у него другой угол зрения, он рос и формировался в атмосфере очевидного антисталинской (м.б., отчасти, троцкистской). Чаще всего он сообщает о людях дурное: Тухачевский — наркоман, морфинист; Косарев — бабник, использовавший служебное положение, та-то — блядь, тот-то — сукин сын.

Сам начал рассказывать, как ему пришлось допрашивать Драбкину, — эпизод, о котором я был ранее наслышан. «Меня пригласили воздействовать на нее — не признается ни в чем». Он, как явствует из его слов и из того, что слышано раньше, попытался ее увещавать, нужно, мол, признаваться во всем. Но ничего не вышло. Однако, говорит, «мы расстались друзьями». Похоже, что так с дружескими к нему чувствами она и поехала в ссылку на 17 лет. А рассказывают, что он попытался привлечь память отца (секретарем которого работала юная Драбкина): «если бы жив был отец...» — Если бы он был жив, ты бы, сукин сын, не сидел бы здесь — и т.п. —

6.ХП.63. Б[арвиха].

На полке принятых приличий
Она у века на виду.
Ее цитировать — обычай —
По дням торжественным в году.
На ней печать почтенной скуки,
Величья пройденных наук,
Но взяв ее небрежно в руки,
Ты, время, обожжешься вдруг.
В нее ты вникнешь с середины,
Сначала всю пройдешь насквозь,
Нет в ней страницы ни единой
За недосугом на авось —
Нельзя оставить.¹

6.ХП.63.

Почти пятидесятилетие жизни нашей страны еще, конечно, не имеет своей истории, вернее, имеет несколько ее вариантов. Еще так все близко, еще этот период обнимает память одной жизни человека, но уже все так смутно, противоречиво, недостоверно. Старые большевики (этот особый контингент, базирующийся ныне на Барвиху, ул[ицу] Грановского, Кунцевскую б[ольни]цу) свои изустные воспоминания доводят, как подметил кто-то до 21, много если до 24 года. А потом для них — как ничего не было. Они уходили в свои воспоминания, все менее понимая, что происходило дальше при них и вокруг них. А еще более старые революционеры — те еще раньше живыми ушли из жизни (Маршак рассказывал с чьих-то (одного врача) верных слов, что шлиссельбуржец Н. Морозов жил где-то в Крыму, в своем закрепленном за ним имении, отправлял вагонами всякие фрукты и продукты в Москву и Л[енинград], и когда в войну эти пути закрылись, что-то там закапывал в землю, хранил, гноил, а когда его просили о помощи, говорил, что он здесь, мол, не хозяин, ему ничего не принадлежит. Страшно подумать, если это правда (а выдумать на чистом месте такое невозможно) о таком конце жизни этого узника. Впрочем, жизнь оказалась у него такой долгой, что из нее вышло две жизни — одна сознательная, мученическая, подвижническая, другая — растительная, инертная, — во всяком случае, вторая не может заслонить первой)².

А что знают или помнят из этой полувековой истории люди, сознательный возраст которых приходится, скажем, на 50-е годы, или их дети?

Повседневная современная летопись — печать только при дополнительном особом знании может быть каким-то письменным свидетельством об этой эпохе. А что, если читать все отчеты о процессах над левыми и правыми, потом материалы 20 и 22 съездов. Как-то все надо назвать по-правдошнему — и внутрипатийную борьбу, и коллективизацию, и многое, многое. Лежит же где-то подо всей этой шелухой и мусором подлинная история сложнейшего и значительнейшего периода нашей огромной страны со всеми ее последствиями для мирового развития. —

9-го пленум ЦК. Неужели в этот острейший момент жизни страны речь будет идти только о пользе химии, будут приводиться цифры, таблицы, показывающие эффективность минеральных и др[угих] химических удобрений по данным опытных станций, институтов и передовых хозяйств? Или еще будет предложен новый главк или министерство, и ничего не будет сказано о том, что всем очевидно, с чем нужно кончать решительно и без промедления? Поеду на доклад, намерен пропустить прения и поехать на заключительные заседания. —

7.ХП. Барвиха.

Первая глава мемуаров Ник[олая] Герасим[овича] Кузнецова (б[ывшего] наркома — министра ВМФ) о предвоенном состоянии флота¹. — Разрыв между обширными перспективами стр[оительст]ва большого, океанского флота и непосредственной готовностью флота к боевым действиям. — Переоценка Сталиным действительности пакта с Германией — и отсюда — его решительное неверие в возможность войны в ближ[айшее] время. — «Беспризорность» вновь образованного наркомата, — кому он подчинен? Необходимость принимать самостоятельные решения об усилении боевой готовности флота. — В общем — довольно прилично; о Сталине пишет, не имея перед собой копии будущего доклада на 20 съезде «о культе личности». — Рассказ

чик слабый. Не подчеркнуто, например, то обстоятельство, что Москва узнала о нападении (бомбежка Севастополя — базы ЧВФ) впервые через него, Кузнецова, разбуженного Октябрьским?, сообщившим о бомбежке. — Сталину не докладывали до его пробуждения, — никто не решался будить его. — Кузнецов позвонил Тимошенко. «Ум — гу...» — отозвался тот, точно ему в привычку такие сообщения. — Утром Кузнецову позвонил Маленков: «Вы понимаете, какую ответственность вы берете на себя этим сообщением», — т.е., что война началась. И затем сам позвонил Октябрьскому. А в это время граница была перейдена во всю длину от моря и до моря, за исключением лишь отдельных очагов сопротивления. —

На словах Кузнецов рассказывает интереснее, живее. Например, как он в составе группы ЦК (Молотов, Маленков, Косыгин, арт[иллерист] Воронов) ездил в Л[енинград] разбирать конфликт между Ждановым и Ворошиловым. В целях безопасности (такой состав!) летели только до Череповца, а там должны были сесть в спецпоезд. Прибыли на ст[анцию] Мга, горевшую от бомбежки. Пути были разворочены — поезд не мог двинуться, ремонт велся малыми силами каких-то бабьих бригад. Ворошилов выслал за ними бронепоезд, они направились навстречу ему на дрезине ночью под осенним дождиком. Потом оказалось, что бомбежка Мги была непосредственно перед взятием ее и выходом немцев навстречу немцам, шедшим со стороны Ладожского оз[ера], т.е. окружением Л[енинграда], откуда группа уже — хочешь не хочешь — могла возвратиться только самолетом.

По прибытии в М[оск]ву группы Сталин расспрашивал Кузнецова об обстановке, особо о флоте, — не бранился, не допрашивал, а именно расспрашивал, расхаживая по кабинету. — «Придется нам Л[енинград] оставить, — сказал он в заключение беседы, — обеспечьте минирование всех кораблей Балт[ийского] флота». Это у Кузнецова написано где-то (для сб[орни]ка о Лен[инградской] обороне). Его тогда спросили, есть ли где подтверждение этих слов Сталина о намерении сдать Л[енинград]. Кузнецов: нет, это слышал я один. Но флот действительно был заминирован весь, и экипажи известный срок жили на этих кораблях (особая история!) — вот главное подтверждение, ибо, если не сдавать город, то зачем же топить флот. — Л[енинград] не был сдан просто потому, что был окружен, — уже просто оставить его было нельзя — нужно было пробиваться(?)

В самые трудные месяцы блокады в Л[енингра]де ежедневно умирало 7–8 тыс[яч] человек. По счету жизней — это равно ежедневной потере двух дивизий военного времени. —

Москву Сталин также предполагал сдать, но быстро отказался от этой мысли, отлучившись из Москвы всего на 2 дня и узнав о том, что там разыгралось в эти дни (остановился гор[одской] транспорт, бани, столовые, начались грабежи магазинов и т.п.).

Как тут не подумаешь о том, что называется «духом войск» и общенародным духом сопротивления. «Москва — отступать дальше некуда»; «Ленинград не сдаётся» — этими лозунгами, скрепленными именем того, кто допускал мысль (и не без оснований) о сдаче обоих городов, жили массы людей, весь агит[ационно]-проп[агандистский] состав фронта и тыла — народ не допускал этой мысли, по крайней мере, в нем она не жила, не обнаруживалась, как жила и обнаруживалась на фронте и в тылу, скажем, критика нашей неподготовленности к войне, довоенного бахвальства и т.п.

И с этой силой, этим духом народным не только нельзя было не считаться, но на него нужно было решительно опереться, что и было сделано. Правда, трудно сказать, оправдывались ли жертвы Л[енинграда] удержанием города осажденного — с огромным населением, обреченным на смерть от голода и обстрелов. —

8. XII. Б[арвиха].

Все выше <неразборчиво> — предел неведом,
 Все круче времени полет.
 И не поспеть той книге следом,
 Не сбросить плотный переплет.
 Хотя в меру принятых приличий
 Она у века не в тени:
 Ее цитировать — обычай
 Во все положенные дни.

В библиотеке иль читальне
 Большой иль малой — все равно —
 Она на полке персональной,
 Как бы на пенсии давно.

Она — в чести. И, не жалея
Немалых праздничных затрат,
Ей обновляют в юбилей
Шрифты, бумагу и формат.
Поправки вносят в предисловья,
Иль пишут заново, спеша.
И — сохраняйся на здоровье, —
Куда как доля хороша.
И пусть чредою многоотной
Труды новейшие, толпясь,
Стоят у времени в приемной,
Чтоб на глаза ему попасть...
Не опоздать к его обедне,
Потрафить к сроку в простоте.
Нет, не к лицу ей: «Кто последний?»
Той книге спрашивать в хвосте.
На ней печать почтенной скуки
Давненько пройденных наук,
Но, взяв ее небрежно в руки,
Ты, время, обожжешься вдруг...

Маша поехала в Пахру смотреть дачу вдовы Дыховичной. Это которая уже по счету из осмотренных нами в Пахре! Возможен и внутривнуковский вариант: дача Утесова, который готов, говорят, продать ее «не выше балансовой стоимости» — большая, одна из роскошнейших — периода «Веселых ребят». Нелепо в наши времена смущаться тем, что напротив твоей дачи — дача Кремлева или Первенцева. Внешним образом из этой кучи-малой не уйти иначе, как в «коттедж» по шолоховскому проекту, что куда еще стыдней.¹ —

10. XII.

Вчера ездил на пленум. Первое общее впечатление от доклада, — иная тональность: ни прежнего обычного ухарства, ни кузькиной матери, ни излишества острот и поучений на примерах собственной жизни, хотя всего этого было понемножку, но и голос был другой, и тембр, и темп чтения и отвлечений в сторону.

Давно сложившаяся манера или прием, когда вдруг нам говорят здравые вещи (напр[имер], о том, что интенсификация с[ельского] х[озяйст]ва лучше экстенсификации)¹, в которых мы никогда не сомневались, но не могли пикнуть под страхом бог весть чего, и говорят так, как будто мы нуждаемся в доказательствах этой здравости и разумности.

Оказывается, на кукурузу мы налегали потому, что тогда у нас не было таких превосходных сортов пшеницы, дающих до 40 центнеров с га, а теперь есть, следовательно, можно предпочесть кукурузе пшеницу, и, вообще, пусть она (не тем буде помянута!) произрастает там, где ей от веку положено. Ах, как хорошо. Не забуду того безмолвного оживления, обменных улыбок в зале, когда были произнесены (зачитаны) эти слова о кукурузе, о неразумности приоритета какой-либо одной культуры перед другими.² Приоритет урожая! Золотые слова. И никто не скажет, что докладчик-то об этом должен был бы сказать как-то по-другому. Ведь именно «кукурузе» (которая была «не страшна» лишь особо выдающимся предколхозам и директорам совхозов), кукурузе как кампании, как директиве, проводившейся ряд лет со всей возможной у нас жестокостью и дроволомством; кукурузе, которой отводились лучшие земли и все, что было из удобрений; кукурузе, внесшей полнейшую неразбериху в севообороты, повлекшей чудовищные затраты, деморализовавшей и разгонавшей кадры и т.д. и т.п., мы обязаны многими радостями нынешнего состояния сельского хозяйства, вплоть до такой новации, как закупка хлеба за границей.

Кстати, благородное объяснение последнего обстоятельства нежеланием правительства и ЦК идти по следам Сталина и Молотова, не покупавших хлеба, а продававших его в то время, как хлебоборозы умирали от голода, не вполне утоляет жажду полной ясности³. Ведь после Сталина прошло 10 лет, и зерновая проблема была еще и еще раз решена и т.д. Кроме того, выходит, что и при Сталине бывали засухи, выморозки и т.п. объективные беды в сельском хозяйстве, а не главная беда его — забвение

кровных интересов самих хлеборобов, игнорирование специфики почвенной, климатической, исторической; стандарт, администрирование, «первая заповедь — хлеб государству» и т.д.

Очень хорошо, что мы теперь вспомнили, что помимо первой заповеди, еще и другие — семена, фураж, но грустно, что опять ни слова о «фуражировании» главной производ[ительной] силы — колхозника⁴. Так мы и живем в предположении, что он, земледелец, ничем столько не озабочен, как задачей «надоить», «вырастить», «сдать» — ни собственным пропитанием, ни одеждой и обувью для детей, — ничем!

Заехал в редакцию, опять письма, среди них отчаянные — о бедственном положении деревни, о неверии в спасительность химии. —

Химия — опять сверхсрочное задание, опять тревожно оттого, что опять не то, что решает дело.

Зачем я рассказываю эту старую, довоенной поры историю — я толком и сам не знаю, — знаю лишь одно, что если о чем-то долго и настоятельно призывает рассказать, то это не зря, и к чему-то непременно примкнет самому сегодняшнему и даже завтрашнему.

Летом 1939 г. случилось мне побывать на родной моей Смоленщине в самый разгар той перестройки в наших издавна хуторских, в значительной части еще со времен столыпинских [местах], когда это слово — «перестройка» — имело буквальное, а не условно-образное значение перемен в деревне.

Эта перестройка сразу же породила два новых слова: «сселение» и «расхуторизация». Процесс этот тогда называли второй коллективизацией, и в известном смысле это сравнение было оправданным⁵.

Село, деревня и хутор.

Хутор в сравнении с многодворовой деревней или селом — то же, что деревня в сравнении с городом. Это та ступень человеческого поселения, за которой уже можно числить только какую-нибудь сторожку лесника, отдаленную заимку.

Я родился и вырос на хуторе, где изредка в окно можно было увидеть прохожего или проезжего в отдалении (по зимней дороге или мало укатанной полевой дороге), и тогда все бросались к этому окну — кто бы это мог быть (чаще всего распознавали) и куда, и зачем.

12. ХП.

Письмо Михайлова М.Г., внештатного корреспондента журнала «Наука и религия», о фактах дискриминации верующих сектантов (баптистов) в Калининской, Воронежской и др[угих] областях и полной невозможности рассказать об этом в печати или иным способом (письмо на имя Л[ео니다] Ф[едоровича] осталось без ответа).¹

Фельетон в «Правде» об оклеветанном в принадлежности к баптистам человеке по признакам: не пьет, не курит, не ругается скверными словами... Совсем недавно эти добродетели вносились в перечень обязательств, принимаемых на себя бригадами коммунистического труда, — недавно, но уже об этом нет речи, как, например, и о выдаче зарплаты без кассира. Ясно (и правильно), что эти обязательства и новации «коммунистического» оказались нереальными. Странно: верующие за такие добродетели сулят лишь посмертные блага рая, а мы — рай земной в недалеком будущем, а не там оно крепче получается... Казалось бы, ну и на здоровье, если человек не пьет, не курит, не бранится да еще безупречный производственник. Нет, он, видите ли, еще и Библию читает, — отнять ее, воздействовать подведением «под статью», по крайней мере, не дать квартиру ему, законному очереднику, по причине его религиозных убеждений, как было указано в одном документе.

Придется послать это письмо Л[еониду] Ф[едоровичу] с соответствующей сопроводителькой. —

...А нам не присылали похоронных,
Мы вдовами остались без войны.

14. XII.

Вчера высидел весь пленум — с отвычки от заседаний временами (на вечернем) боялся, что вот усну мгновенно и упаду с кресла, как будто некий сонный яд ломил голову, даже сердце вздрагивало от страха, что вот усну...

Н[икита] С[ергеевич] (заключительное слово)

Странно, но он повторил почти слово в слово все, что касалось повышения реальной зарплаты за счет общественных форм (завтраки в школах и т.п.) — слово в слово то, что говорил в докладе. Правда, он сказал, что «уже касался», но все вновь «в тех же выражениях» («деткишки»), как будто перед ним другая была аудитория. Правда, он еще сказал, что об этом сперва думали (в президиуме) не давать в газетах (притча, как он обещал 20 р. отцу, а тот числил уже за ним «должок» в 20 р., так и народ — «пообещаем, а он будет считать, что мы уже должны ему»), а теперь решили давать, но достаточно было перенести это место из текста доклада в текст заключ[ительного] слова (для печати). Старость?

— Мне уже семидесятый, но я еще (некий петушиный жест)... (бурные аплодисменты), все даже встали (это в связи со словами о китайских расчетах).

— Они, китайцы, не против сов[етской] власти, не против даже партии нашей, даже ЦК, даже президиума в целом, а только против Хрущева. Они всякий раз, как объявляется наш очередной пленум, активизируются, всякий раз новая волна нападок на Хрущева. Словно надеются в информ[ационном] сообщении прочесть, что Хрущев, мол, выведен из состава пленума, снят и т.д. Но дело же не в Хрущеве, не как во времена культа личности. Хрущев выполняет и проводит то, что партия ему поручает... —

Впервые как-то по-новому сказал о «равновесии сил», о сосуществовании, обеспеченном мощью оружия, которым располагает СССР. Они, капиталисты, тоже не дураки (о Раске¹, который вспоминает времена своего детства, когда океан был надежной защитой, исключавшей опасность для США). Они понимают, что если они (обеими руками показал по бортам трибуны), если они нажмут свою кнопку, то наша автоматически сработает тоже. Мы не начнем (как-то особенно, точно желая сказать что-то еще большее, чем сказал), вы меня понимаете, и они не дураки начинать. А если начнут, и т.д. При этом запомнилось, что он повторил относительно обязательств перед Кубой, а перед тем о Вьетнаме, надевшемся на помощь Китая, и Чжоу Энь Лае, который говорил ему доверительно, что они, китайцы, помощи этой оказать не смогут. «Так не говорите, по крайней мере, Хо Ши Мину, пусть они борются. И Хо Ши Мин выиграл»... Гм... —

Самое причудливое и невероятное об отстающих колхозах, «об этом позоре нашем»: — Предоставить отстающим колхозам кредит на... содержание руководителей, которые будут им посланы и не должны получать менее того, что они получали там, откуда посланы. И еще: посланцы эти должны оставаться членами профсоюза, не терять стажа. И еще: колхозы, окрепнув, должны создать фонд для выплаты пенсий «своим работникам» — т.е. управленч[еского] аппарата.

Сегодня в промежутке между ранним просыпом и последующим досыпом, кажется, впервые за долгий срок почувствовал приближение поэтической темы, того, что не сказано и что мне, а значит, и не только мне, нужно обязательно высказать. Это живая, необходимая мысль моей жизни (и куда как не только моей!).

Сын за отца не отвечает —

Сказал он, высший судия...²

Я не в ответе за отца.

За то, что он всегда в ответе

Был за меня (по-своему).

За то, что руки у него были,

Как рачьи скрючены клешни.

Сплошной мозолью точно пятки (пастуха)

Покрыты были — и не по росту.

Крупны, окалиной обожжены

Он (отец) отвечал за нас, детей.

— Мои не побегут...

А м[ожет], еще и так:

Сын за отца не отвечает,

Сказал он как-то,

Тот, кого мы величали
Отцом родным...
Мол, я за вас один в ответе (вы дети).
Нет, мы отвечаем за него!

Жаль, что эта тема не вошла в «Дали».

Третий день, как держатся порядочные морозы (вчера 25). Сегодня с утра было 20, сейчас, должно быть, отпустило — пошел снег. Правда, не тот, крупными цельными хлопьями, а как бы протертый там, вверху, через сито — половинками, клочьями, трухой и порохом. Костры мои кончились — все забито снегом.

Третьего дня и сегодня, вообще последние дни кажется, что я уже давно не чувствовал себя так хорошо физически (да и душевно).

Поскребышева я, пожалуй, очень тенденциозно записал выше. Просто старичок, радующийся, что его никто не сторонится, охотно здоровающийся и болтающий пустяки мимоходом. Правда, во всем его наглядном существе (<неразб.> выражении глаз у очень старых людей: «Не обижайте меня, пожалуйста»), в глазах опасение и просьба: ради всего на свете — не спрашивайте меня о том, не числите за мной той роли, — было, мол, и прошло. —

А.Я. Свердлов. — Вырос и сложился в кремлевской среде, но вне современного общества людей, которое всегда выше своих правителей. По службе (16 лет в «органах») он был еще более изолирован от общества. Разве только тюрьма чему-нибудь учила, но уже в таких сильных дозах, что они могли еще больше отодвинуть его, оттолкнуть от людей как низших созданий. Вроде и знает много, и неглуп, и понаторел, (а) в оценках, симпатиях и понятиях весьма жидковат, — среднежурналистский уровень: «Лазарь — оратор», «Лаврентий очень умен, большого ума человек, любое дело схватывал сразу в самой сути (!?)». «Абакумов — культурнейший человек» и т.п. —

15. ХП. Б[арви]ха.

Сын — не ответчик за отца, —
Так он сказал однажды с места,
Прервав на миг дыханье съезда
В стенах кремлевского дворца.
И не вместились в старом зале,
Рванулись к тысячам сердец
Пять этих слов, что возвещали
Проклятью тяжкому конец.
Вам, из другого поколения,
Едва ль постичь до глубины,
Что означало избавленье
От той предписанной вины.
От той графы в любой анкете.

Сын за отца не отвечает,
Отец за сына — головой...

Маша привезла шубу, а мороз пошел на убыль. — Опять палил костер в карьере, за братским кладбищем — один. А. Свердлов, передавший мне вчера свою рукопись (без всякой инициативы с моей стороны), сегодня уже сообщил слова, будто бы сказанные по этому поводу его женой: Вот почитает твоё писанье — и не палить тебе больше с ним костров. — Вполне возможно: дрянь ужасная (прочел бегло стр[аниц] 40).¹

Вообще — мальчик с кремлевского подворья, куривший украденные у отца (а другой раз у Рыкова) папирсы под царь-колоколом (говорит, что там еще лежала дохлая собака), живший в полнейшей изоляции от жизни вне Кремля, его среды, он и в «органы» пошел, по-видимому, не под влиянием образа Дзержинского, а под воздействием детективов, к которым до сих пор сохранил пристрастие и готов им кичиться, как простительной слабостью (отдых!), а это не слабость, а м.б., сама его суть. Никогда и он не напишет мемуаров, не расскажет об этом комдворцовом детстве, а если и

попробует (он догадывается о ценности таких записок и о своих правах на эти свидетельства), то наврет, собьется, — не поднимет. Зачем ему с каким-то уже совершенно безграмотным Наумовым («Будучи доставлена в милицию, гражданка заявила...»), писать эту сыскную муренцию по образцу дурных милицейских фильмов? — Как оттянуть, уклониться от прямых объяснений. —

16.ХП.

Сын — не ответчик за отца, —
 Так он изрек однажды с места,
 Прервав на миг дыхание съезда
 В стенах кремлевского дворца.
 И не вместились в этом зале,
 Рванулись к тысячам сердец
 Пять этих слов, что возвещали
 Проклятью тяжкому концу.
 Вам из другого поколенья
 Едва ль постичь до глубины,
 Чем было это избавленье
 Для виноватых без вины.
 Иных годов и судеб дети,
 Для вас отпал он сам собой,
 Вопрос мучительный в анкете:
 Кем был до вас еще на свете
 Отец ваш — мертвый иль живой...
 Не выбирали вы заране
 И даже пусть к беде сыновней
 Родитель чести не сберег,
 К стезе спустился уголовной —
 Кто сына этим попрекнет...

Об отстающих колхозах и принципе материальной заинтересованности руководителей.

«Естественно, что всю работу по подъему отстающих колхозов нужно начинать с подбора в эти хозяйства грамотных, подготовленных хороших организаторов, рекомендовать их на посты председателей колхозов... При разрешении этих вопросов мы столкнемся с определенными трудностями. Дело в том, что отстающие колхозы по своему финансовому положению не могут обеспечить должной оплаты труда этих людей, которую они получают сейчас по месту своей службы за хорошую (и плохую! — следует сказать) работу. Получается своеобразное положение: с одной стороны, хозяйство отстает из-за отсутствия опытных кадров, а с другой стороны, нечем платить хорошему организатору и специалисту, если его пригласить в слабый колхоз. Надо найти выход. Мы уже обменивались мнениями по этому вопросу, и я выскажу не только свое соображение, а и мнение других членов президиума ЦК.

Видимо, придется выделить специальные кредиты для этих колхозов, чтобы они могли оплачивать труд председателей, специалистов и механизаторов (продолж[ительные] аплодисменты). Вероятно, кадры, посланные в эти колхозы, должны оставаться членами профсоюза с сохранением за ними всех прав членов профсоюза, социальное обеспечение и пр[очее]. (Аплодисменты).

Возможно, надо подумать, чтобы колхозы, как и предприятия, делали отчисления в государственный фонд для пенсионного обеспечения своих работников (продолж[ительные] апл[одисмен]ты).

Сейчас финансовое положение страны не позволяет в широком плане решить проблему об обеспечении пенсиями всего сельского населения. Но по мере...» («Правда» от 15.ХП.63.).¹

17.ХП.

Вчера были Кондратович, Лакшин — ответ «Л[итературной] г[азете]»² справ-
 ка о «политзагоне» за 62 г². — Лифшиц³ — задача сократить на 10 стр[аниц], тем
 самым убрав излишества стиля. — Гроссман в больнице (не миновать мне еще одного
 провожать!), метастазы легких, Diripi (Дипин). — Подписка на 64 г. увеличилась,
 по предв[арительным] данным, на одну треть⁴. Это несмотря на такой год, на задерж-

ки с выходом и многие потери (политзагона — на 3 номера), а может быть, благодаря. Так или иначе — это настоящая радость подтверждения того, о чем хлопочем. Нельзя не учитывать, что год и в житейском (материальном) смысле трудный. Этот подъем подписки нельзя считать общим, он идет в какой-то части и за счет падения подписки на некоторые издания, напр[имер], «Л. Г.» (еще 100 тыс. потери). — Крайне грустное письмо Овечкина: «Писательство мое кончилось, всегда писал кровью, а она вроде вся из меня вытекла»⁵. Пишу ответ. — Предчувствую, что по выходе отсюда дела меня скрутят и понесут. — «Т[еркин] на т[ом] св[ете]», говорит Черноуц[ан], выйдет еще в этом году.

18. XII.

Вчера:

Сын — не ответчик за отца, —
То было, словно откровенье,
Весны внезапной дуновенье,
В стенах кремлевского дворца.
И не вместились в старом зале,
Пошли по тысячам сердец,
Пять этих слов, что возвещали
Проклятью тяжкому концу.
Вам из другого поколения,
Едва ль постичь до глубины,
Чем было это избавленье
Для виноватых без вины.
Не страшен вам в любой анкете
Тот грозный знак сторожевой:
Кем был до вас еще на свете
Отец ваш, мертвый иль живой.
Теперь вы знаете заранее,
Что безобидна та графа,
Что вы отца не выбирали,
Что все бывшее — трин-трава.
Все, что как <мяжца> ломало
И мой ребяческий хребет,
А было тех хребтов немало,
Сыновний, горек был ответ.
На всех путях земли просторной,
Как иго, как дурной недуг,
Их отмечал тот знак зазорный
Вины предписанной.
И — вдруг!..
Сын за отца не отвечает —
Провозглашалось им самим,
Кого народы величали
Уже тогда отцом родным.
Да, в некий срок семья-держава
В итоге бедствий и побед
И за того отца держала
Перед историей ответ.

Но это — к слову...

Дочитал вчера (сегодня утром) «Тонкую нить» моего напарника по огнепоклонничеству, — 300 с лишком страниц, и конца еще не видать. Занимательность под конец есть, но уже чисто «семечковая» — как же вся эта мура распутается, хотя все годовенькое, из магазина уцененных товаров — инженер МТС — Черняев, обольстительница Р. «лондонским произношением», эксгумация и реставрация лица убитой для опознания (с простодушной ссылкой на Герасимова)¹, добрейшие майоры и папашистые полковники Г. с безопасностями и т.п. и т.д. А для чего все? — чтобы получилась книжка — «спич[ечный] коробок», белье дамское, заграничного производства — ни-

какой необходимости розыска. — Возможно, из одной <неразбор.> главы получился бы полезный рассказ (там — демонстрация «осужденных методов» дознания.)

Письмо, язык — никакие. У автора (или авторов) начитанность в мурецкой лит[ерату]ре. «Нервы его были напряжены до предела»; «мужчины смотрели на нее с нескрываемым восхищением, женщины — с трудом подавляемой (так!) ненавистью («или завистью»)). «Рука его была схвачена стальными тисками» — боже мой, это не передает всех красот <неразбор.>.

Неопытность элементарная: все идет, идет по следу розыска — лица, характеристики, обстоятельств и вдруг автор от себя сообщает что-нибудь о детстве персонажа, об особых обстоятельствах его жизни, до которых не докопаться майорам с полковниками (тогда уж говори прямо — в чем дело — ведь тебе все заранее известно о подчерняевском муже Корнильевой, о Савине и др.).

Крайне неприятно раскрытие «методов» — перлюстрация переписок, осведомительство, залезание в чужие чемоданы, вторжения в жизнь под видом «инспекторов минпроса» и т.п.

В задачу авторов явно входит поэтизация и романтизация самоот[ерженного] «труда чекистов», но от всего этого только дурной дух. — Сегодня после обеда говорить с ним².

19. XII.

Завтра-послезавтра домой «в огромность квартиры», где столько дел, забот, нерешенных вопросов и т.п. Как нечто самое трудное, неприятное, фальшивое и стыдное, но неизбежное предстоят встречи с избирателями. (Раз в м[еся]ц два часа — уже одно это!). Но мне уже вообще при моем литературном имени бежать некуда — ни от почты моей ужасной, ни от этой неизвестно зачем навязанной обязанности выслушивать однообразное горе жилищно-паспортное, без всякой, в сущности, реальной возможности помочь этому горю, с чувством стыда и почти отчаяния. Бежать некуда, хотя есть мыслишка отлучками из Москвы приучить людей к тому, что лучше мне просто писать, чем ждать с этим письмом за пазухой этих «часов приема». Толк-то один! —

Вчера на прогулке вечером невольно опять обогнал моего напарника по столу прекраснородушного и растительного Георгия Андреевича Митерева с Поскребышевым. И сверх всяких ожиданий, когда Митерев свернул от купальни к дому по более отлогому подъему, мы с Поскребышевым прошли дальше по более полному кругу — более крутому подъему на въезде, получилось так, что я-таки заговорил с ним о необходимости писать воспоминания. Он дал мне выгодный повод, начал допытываться, что я пишу теперь, долго ли ждать и т.д. И он не стал отнекиваться, не съезжился, а как раз начал поддакивать, соглашаться, что это действительно его долг, что он думал об этом и думает, но нелегко все. Пожалуй, самая ближайшая трудность для него в том, что он не хочет рассказывать о Сталине только дурное по соображениям нынешней потребности, но знает этого дурного и тяжелого немало и, м.б., на себе испытал достаточно. Так я, по кр[айней] мере, почувствовал. Кроме того, под конец он дал мне понять, что ему не неприятно было, что я завел эту речь, даже поблагодарил меня. И тут он показался очень жалким и беспомощным в своей старости, одиночестве, опасениях, и с этим грузом своей исключительной роли в те времена, своего бывшего положения.

Впрочем, может быть, это поддакивание и готовность согласиться на словах с тем, что ему говорят о его «долге» перед историей, было отчасти и тактическим приемом ограничения темы: «Да, да, надо. Верно. Но трудно» и т.д.

Так или иначе, я доволен, что заговорил с ним. Оказывается, он кое-что читал и читает: Дневники Никитенко¹, что-то из нынешней серии «Военных мемуаров» (сказал, что там много неправды), Эренбурга... Вообще, наверно, в нем больше внутри, чем на поверхности, между прочим, в отличие от «мальчика кремлевского подворья», который все знает, — (его всегдашняя нетерпеливая реплика «знаю») и все готов рассказывать при малейшем поводе.

Вчера сказал ему в дополнение к третьедневному, что он мог бы заняться серьезным и достойным делом на том материале, которым он располагает (бог весть, что там правда, что брехня, привычная брехня человека, желающего показать себя с выгодной стороны во всех обстоятельствах своей темной и странной биографии).

Вдруг спросил его, не знал ли он <Кронида>Малахова².

— Я брал его. Это трудное и загадочное дело. Он был взят по фонозаписи, где

были зафиксированы его слова о том, что он собирается убить Сталина. И хуже всего, что он ничего сперва не хотел признавать.

— А.Я., как вы можете говорить такие слова. Вы забыли, что вы сами сидели за то, что готовили убийство Сталина? — Смеется, но все же продолжает наводить тенета насчет «определенной группы» и предполагавшегося места и времени акции — 1-е мая, Красная площадь. Боже мой! Удивительно, как этот чуждый, казалось бы, таким пристрастиям горожанин увлечен сейчас вместе со мной нашими кострами в карьере, тащит издалека сушь на растопку, ищет и отдирает бересту, специально купил перчатки похуже, чтобы не загваздать те, с какими его отправила сюда жена. Тянется ли он ко мне из своих авторских интересов, видя во мне «специалиста», или же из других каких (не дай бог, но и наплевать!) навыков общения с людьми.

21.XII.63. Б[арвиха]. Последний день.

Вчера и сегодня утром:

Не краткой репликою с места
В стенах кремлевского дворца —
Строкой заглавной манифеста
Пять слов ударили в сердца:
Сын — не ответчик за отца.
 Вам, из большого отдаленья,
 Едва ль понять из глубины,
 Чем было это изъявленье
 Пять этих слов для поколенья
 Всех виноватых без вины.

И за грядой десятилетий
Вам нипочем в любой анкете
Вопрос — рубеж сторожевой:
Кем был до вас еще на свете
Отец ваш — мертвый иль живой.
 Улыбку вызовет заране
 Та безобидная графа:
 Ведь вы отца не выбирали,
 И с вами — ваши все права,
 А все иное — трын-трава.

Но в те года бедою черной
В родных краях земли просторной
На душах, как дурной недуг,
Он тяготел, тот знак зазорный
Вины родительской,

И — вдруг...

Из уст того, кто в этом зале
И в целом мире был одним,
Кого привычно величали
Уже тогда отцом родным!..

Да, в срок иной семья-держава
В итоге бедствий и побед
И за того отца держала
Перед историей ответ.
Но это к слову.
Как печатью
Была изустно скреплена
Отмена темного проклятья,
Снята сыновняя вина.

Но даже в том особом смысле
Я за отцом вины не числил,
Я мог ответить за отца.

Он не был тем, чем назван был.

руки — непомерны — не по росту —
как рачьи — клешни.

Он отвечал за сына.
Он о судьбе моей сыновней,
Как мог, так думал и гадал.

Это, должно быть, уже возрастное — тяготение к неизменности каждодневного быта, обстановки, нежелание перемещения в пространстве, необходимости освоения другого угла, четырех стен и т.п. С каким усилием, подавлением нежелания ехал сюда, а теперь втянулся, хорошо себя чувствую физически во всех смыслах, но неприятность переезда уже не хотелось откладывать до завтра, — уже черта, так черта. А теперь вновь обживать свое «высотное» логово в Москве. Правда, это всегда легче, но как вспомнишь, что там опять — колесо, нарушения ритма, неполнота усилий и продуктивности... А все же свобода от посещений врача (в норм[альное] время), от необходимости показывать свою гульку дамам под душем и в ванной и проч[ее].

«Отец атомной бомбы» говорит о трагической разобщенности узкого круга ученых, живущих высшими и неизъяснимыми для неспециалистов открытиями и достижениями, и всеми другими, даже интеллигентными кругами общества.¹

Нечто подобное, но в иных условиях и в другом смысле испытываем мы на уровне своего серьезного понимания специфики и роли искусства в противоположность широкому кругу идеологического «актива», способного понимать (или делающего вид, что так понимает) искусство лишь в прикладной, иллюстративной его форме. Но трагичности здесь не должно быть, ибо это разобщение, разноязычность происходит не от надзвездности наших понятий по сравнению с обычными понятиями. Мы просто опираемся на общеизвестные понятия, на завоевания предшествующей мысли, на авторитеты, которые у всех на устах (но все это забыто, стоптано или знато только понаслышке). Самоуверенность невежды тем страшнее, что невежда инстинктивно страшится потерять ее, заглянув в «недозволенное». Но сколько нужно терпения, последовательных усилий разъяснения, — какие сроки нужно просто переждать, против каких наваждений нужно просто устоять! Раньше мне казалось, что решающее слово принадлежит самым победительным в своем художественном существе явлениям искусства. Оказывается, это не совсем и не всегда так. Солженицын отнюдь не разоружил темную рать, а только еще более ее насторожил.

Она продолжает врать, изворачиваться, измышлять, опираясь на толстенный слой предубеждений, внушенных бог весть с каких пор. Но дело их в конечном счете проигранное, они уже за некоей чертой, им уже никогда не взять в плен читателя. Для того, чтобы поместить одно письмишко в защиту Барабаша², пришлось, говорят, послать человека к автору этого письма в Л[енинград] для «доработки», «помощи» в нужном направлении.

Может быть, развести еще разок костер в карьере, допалить курчаги* почему-то хочется это сделать, завершить нечто — вроде того, как хочется закончить эту тетрадь до нового года. —

Мысли о рассказе. — Необычные черты послевоенного пейзажа Смоленщины — остатки одичавших садов в полях — на месте бывших хуторских и деревенских усадеб, — необычная пестрота тронутых осенью красок вишневой, кленовой листвы. Зачахнувшие, обгрызенные сиреньки. — Новая картина колхозного поселка на Лучесе — у С.И. Базунова. Пруды. Назв[ание] Прудки — не от тех ли старых прудков? —

25.XII.63. М[осква].

Предпраздничные хлопоты и мелочи в редакции и дома, сессия РСФСР, где, как обычно, весело.¹

* Так у А.Т. (в оригинале).

Вчера первый раз позвонил Лесючевскому, едва оторвался от его бесконечных объяснений. Вечером он позвонил — сигнальный!²

Вечером застал у себя подвыпившего Б.К. Новикова, собирающегося играть в «Теркине» (загробном) в Театре Сатиры. «Это будет лежка» и т.п. Одарен и мил, но страшно мало начитан и, кажется, не очень умен. Собирается играть в спектакле «друга», а не самого Теркина³. —

В голове на ходу вполне сложившийся рассказ «Письмо Игната Белого». Неужели обычная иллюзия? Не откладывать⁴. —

Третьего дня — слушание статьи Маршака «Английскому читателю об А. Твардовском»⁵. Самое главное в ней — мысль об особенностях русской поэзии, где самая высшая тонкость и аристократизм формы сливается с народностью и демократичностью (в Пушкине). Остальное так себе, но все от души. —

Он очень худ, слаб, держится только этой неукротимой работяшностью своей и неутолимой жадной вниманием к себе (по праву, в конце концов!).

Диафильм (?) Милые заботы старости, черт бы их побрал!

Примечания

1.1.

1. 19–20 декабря 1962 г. проходила сессия Верховного Совета РСФСР, депутатом которого от Ярославской области А. Т. был в 1958–1962 гг.; на ней обсуждался государственный план развития народного хозяйства на 1963 г.

2. Поэма «Теркин на том свете».

3. «Мы им покажем кузькину мать» — выражение, употреблявшееся Н.С. Хрущевым по отношению к противникам советского строя.

16.1.

1. Речь идет о продолжении встречи партийного руководства с творческой интеллигенцией, состоявшейся 17–18 декабря 1962 г.

2. Так называемый академический особняк дома отдыха в Карачарове, где были все удобства. В нем обычно останавливался К.А. Федин.

3. И.С. Соколов-Микитов — русский писатель, многолетний друг А. Т.

4. Парк английского типа был разбит князем Г.Г. Гагариным, владевшим имением Карачарово в 1860–1870-е гг.

5. Имеется в виду Московское море, при образовании которого в 1937 г. были затоплены десятки деревень и город Корчевá.

6. Корпус в доме отдыха ВЦСПС «Карачарово». Его директором был Борис Петрович Розанов — племянник И.С. Соколова-Микитова. О пребывании в Карачарове см.: Соколов-Микитов И.С. Друг мой и земляк. // Воспоминания об А.Т. Твардовском. М., 1982. Сс. 415–433, а также в переписке А.Т. с Соколовым-Микитовым («Север», 1978, №№ 4–6).

20.1.

1. Продолжение декабрьской встречи с интеллигенцией партийных руководителей, неоднократно переносившееся, состоялось 7–9 марта 1963 г.

Речь Н.С. Хрущева на VI съезде Социалистической единой партии Германии в Берлине, посвященная проблемам международного коммунистического движения, остро ставила вопросы идеологической борьбы: «Мы вели и будем вести борьбу против всякого отклонения от марксизма. Мы убеждены, что только путем такой борьбы и можно добиваться подлинного укрепления наших рядов, творческого подхода к решению коренных проблем современности, обеспечить новый успех коммунистическому движению. («Правда», 1963, 17 января.)

23.1.

1. Это положение в качестве одного из аргументов защиты линии «Нового мира» вошло в редакционную передовую № 4 за 1963 г. и ряд выступлений А.Т. в 1963 г.

10. III.

1. Запись сделана под впечатлением «встречи» партийного руководства с творческой интеллигенцией 7–9 марта. В центре речей Н.С. Хрущева и Л.Ф. Ильичева — тезис об обострении идейной борьбы и невозможности мирного сосуществования идеологий социалистической и буржуазной. Грубому разному подвергся ряд значительных явлений в искусстве, в том числе постановка комедии Грибоедова Г.А. Товстоноговым в БДТ. Негодование Хрущева по поводу мемуаров И. Эренбурга и путевых очерков В. Некрасова адресовалось и «Новому миру». («И это пишет советский писатель в советском журнале», — возмущался Хрущев). Мрачные мысли А. Т. о судьбе поэмы «Теркин на том свете» вызваны были и отношением к сатире, уподобляемой «опасной бритве». Поучая, что «сатирой надо уметь пользоваться», Хрущев замечал: «Правильно поступают матери, которые не дают острых вещей детям, пока они не научатся пользоваться острыми вещами» («Правда», 1963, 10 марта).

22. III.

1. Запись — подведение итогов в ходе осмысления последствий «встречи» 7–9 марта и накануне Пленума правления ССП. Сложившаяся ситуация вызывает в памяти А.Т. события 1954 г., когда, будучи снят с поста редактора «Нового мира», он «выбыл» из Центральной ревизионной комиссии КПСС и из депутатов Верховного Совета РСФСР (в 1951–1954 гг. был депутатом от Владимирской обл.). (См. подробнее: Твардовский А.Т. Из рабочих тетрадей // «Знамя», 1989, № 7. С. 138 и след.).

2. Поэма «За далью — даль» завершена и полностью опубликована в 1960 г. В 1961 г. отмечена Ленинской премией. С 1958 г. А.Т. вновь на посту редактора «Нового мира». В том же году избран депутатом Верховного Совета РСФСР (от Ярославской обл.). В 1959 г. был делегатом XXI съезда КПСС, в 1961 г. — делегатом XXII съезда, на котором избран кандидатом в члены ЦК КПСС. Собрание сочинений поэта (в 4-х томах) вышло в Гослитгиздате в 1959–1960 гг.

3. Предполагалась командировка А.Т. на перекрытие Енисея.

4. Марию Митрофановну поместили в больницу с воспалением легких.

5. Судя по пометкам А. Т., при чтении очерков «Убежище Монрепо» и «Круглый год» его внимание привлекли размышления о поисках истины, о роли литературы и ее взаимоотношениях с властью. Особо выделено высказывание: «Истина — не клад, случайно находимый в поле, и не болид, падающий с неба совсем готовым; она дается ищущему ценой величайших жертв и усилий, ценой заблуждений» (курсив Салтыкова-Щедрина). (Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч. в 12-ти томах. М., 1954. Т. 8. С. 196.)

6. Перечисленные первым секретарем ЦК ВЛКСМ произведения опубликованы в «Новом мире» в 1960–1963 гг.

24. III.

1. См. записи 1962 г. — 11.IX. и 23.IX. и примеч. к ним.

2. По той же причине был задержан и № 2 «Нового мира». Цензурная история публикации 5-й книги мемуаров И. Эренбурга видна из докладных записок начальника Главлита П.К. Романова, секретаря ЦК КПСС Л. Ильичева и других архивных материалов, связанных с именами Ф.Р. Козлова, М.А. Сулова и самого Н.С. Хрущева. (См.: Документы свидетельствуют. // «Вопросы литературы», 1993. Вып. IV).

3. К публикации в этой рубрике была подготовлена подборка откликов на повесть А. Яшина «Вологодская свадьба» («Новый мир», 1962, № 12), резко отрицательно встреченную критикой. Появились заведомо организованные письма земляков Яшина, обличавшие его в очернительстве («Свадьба с дегтем». Открытое письмо писателю А. Яшину. // «Комсомольская правда», 1963, 31 января). «Известия» перепечатали письмо из Вологодской молодежной газеты, обвинявшее Яшина в искажении действительности. (1963, 30 января). В подборку откликов, самотекстом пришедших в «Новый мир», также были включены письма с Вологодчины, земляки благодарили Яшина за то, что затронул «столько важных вопросов жизни нашей деревни». Односельчане писателя свидетельствовали: «В записках Яшина так оно и есть, как происходит» (РГАЛИ, Ф. 1702. Оп. 10. Д. 84. Лл. 65–66).

4. Передовая № 4 вызвала раздражение цензуры уже тем, что в ее названии и тексте слово «реализм» употреблялось без обязательного эпитета «социалистический». «Судя по передовой, — доносил П. Романов, — журнал намерен по-прежнему акцентировать внимание своих читателей на произведениях, в которых критическое начало в изображении отрицательных явлений советской действительности будет пре-

обладающим». (Центральное хранение современной документации (далее — ЦХСД) Ф. 5. Оп. 55. Д. 4. Л. 33.)

5. Первую попытку напечатать антитоталитарный роман-притчу нобелевского лауреата А. Камю «Чума» А.Т. предпринял в 1960 г. Предвидя цензурные трудности, послал Луи Арагону — известному писателю, влиятельному члену французской компартии — телеграмму с просьбой о «двух-трех страничках предисловия» (ЦХСД. Ф. 5. Оп. 35. Д. 19. Л. 110). Арагон, отказав в предисловии, выразил в советском посольстве недоумение намерением печатать писателя, «выступавшего с антикоммунистических позиций». Отрицательный отзыв о романе дал редактор «Иностранной литературы» Б.С. Рюриков — в ответ на запрос ЦК, куда цензура переслала роман Камю. Отдел культуры ЦК КПСС указал А.Т. на ошибочность его позиции (ЦХСД. Ф. 5. Оп. 36. Д. 118. Л. 107). Однако А.Т. продолжал числить роман А. Камю в планах «Нового мира». (Журналы в 1963 г. Сообщение гл. редактора «Нового мира» А.Т. Твардовского. // «Литературная газета», 1962 г., 8 декабря). Роман «Чума» увидел свет в СССР лишь в 1969 г. (Камю А. Избранное. Прогресс. 1969). Высокая оценка романа, его антифашистской направленности дана в Послесловии И.А. Саца к повести А. Камю «Падение» («Новый мир», 1969. № 5. С. 155).

6. В рассказе Е. Ржевской цензура усмотрела «картины произвола, бесчеловечности... бессмысленности жертв» в Отечественной войне. (ЦХСД. Ф. 5. Оп. 55. Д. 4. Л. 33). Рассказ напечатан год спустя («Новый мир», 1964, № 6).

7. Имеются в виду «Рассказы о том, что прошло» Е. Габриловича, запрещенные за «неправильное, некритическое отношение к наследию Вс. Мейерхольда», а также за «изображение советских людей, в том числе коммунистов, как людей ограниченных, слепо подчиняющихся указаниям сверху». С конца 1963 г. рассказы Габриловича начали печататься в журнале «Искусство кино».

8. № 4 «Нового мира» за 1963 г. — едва ли не первый в истории советской печати журнал, запрещенный цензурой почти полностью. После длительной борьбы редакции пришлось заменить задержанные произведения другими и внести изменения в редакционную статью.

9. Повесть В. Тендрякова «Находка» опубликована в журнале «Наука и религия» (1965. №№ 1–2).

10. «Театральный роман» М. Булгакова снят из № 8 «Нового мира» как подрывающий авторитет мастеров МХАТа и учения Станиславского. А.Т. «тщетно уверял цензора Аветисяна, что это не пасквиль на Художественный театр; а шарж, добрый юмор». (Лакшин В.Я. «Новый мир» во времена Хрущева». М., 1991. С. 152.) Роман опубликован в № 8 за 1965 г.

11. Повесть Е. Герасимова «Семья Алешиных (Из рассказов о старых товарищах)» опубликована в № 9 «Нового мира» за 1963 г.

12. Две попытки редакции напечатать стихи Евтушенко в 1963 г. не удалось: после упоминавшихся «встреч» в верхах поэт, несмотря на признание своих «ошибок», подвергался массивным нападкам в печати, и цензура относилась к нему с особой настороженностью. Но с 1964 г. Евтушенко печатается в «Новом мире» достаточно регулярно.

13. Сообщение «От редакции» — «Новый мир» в 1964 году» заставило цензуру и Идеологический отдел ЦК КПСС обратиться в Секретариат ЦК. Гнев руководящих органов вызвал программный тезис редакции, провозглашающий основным достоинством произведения «непосредственную правду жизни». В перечне писателей, которых журнал собирался печатать, начальника Главлита П. Романова возмутили имена И. Эренбурга, В. Некрасова, А. Яшина, В. Дудинцева, К. Паустовского, А. Ахматовой, Е. Евтушенко. Руководители идеологического отдела (В. Снастин, В. Кухарский) добавили к списку нежелательных авторов А. Солженицына и В. Войновича. (ЦХСД, Ф. 5. Оп. 55. Д. 44. Лл. 124–125.) А.Т. после нелегкой борьбы удалось отстоять сообщение «От редакции».

14. Рассказ В. Гроссмана «Несколько печальных дней».

15. А. Т. имеет в виду статью В. Полторацкого «Матренин двор и его окрестности» («Известия», 1963 г., 29 марта), осуждавшую рассказ А. Солженицына за беспроцветность и ограниченный взгляд автора. Критик упрекал писателя в том, что тот «не заметил в сегодняшней деревне черт нового времени», воплощением которых является колхоз «Большевик», в том же Мещерском крае, что и деревня Матрены. Текст отосланного письма, датированного 1 апреля 1963 г. см.: Твардовский А.Т. Удел земной. Впервые — письма поэта другу, критику А.В. Македонову. Починок. 1998. Сс. 13–15.

16. Два последних абзаца, заключающих запись 24 марта — возможно заготовки выступления на предстоящем пленуме правления ССП. Речь здесь идет о повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

5.IV.

1. IV Пленум правления ССП проходил 26–28 марта 1963 г.

2. Выступая на пленуме, главный редактор журнала «Дон» М. Соколов требовал А.Т. к ответу: «Почему он, как редактор, позволяет себе то одно, то другое, то третье произведение печатать, читая которые... партийные, колхозные, государственные работники спрашивают: в чем дело?» (Архив СП СССР, Оп. 36. Кор. 27. Л. 72.) В опубликованном выступлении «Новому миру» вменялись в вину «...мемуары И. Эренбурга, записки В. Некрасова, рассказы Солженицына». И делался вывод: «Очевидно, не все у нас обстоит благополучно с партийным руководством в журналах...». (Соколов М. «Партия учит требовательности». // «Литературная газета, 1963, 2 апреля.)

3. В том месте выступления, где М. Соколов требовал А.Т. к ответу, тот, сидя в президиуме, непроизвольно рассмеялся, а за ним и весь зал. «Ты не представляешь, как ты всех подкупил тем, что рассмеялся, а не нахмурился, не рассердился», — говорил А.Т. в перерыве. (Лакшин В.Я. Указ. соч. С. 115).

4. В Кремле на мартовской встрече Н.С. Хрущева с писателями.

5. А.А. Прокофьев, выступивший на пленуме с резкой и желчной критикой поэзии «молодых», поставил в вину «Новому миру» поддержку В. Сосноры. («Литературная газета», 1963, 28 марта). Прежде дружеские отношения А.Т. с Прокофьевым становились все холоднее по мере того, как секретарь Ленинградской организации ССП высказывал все большую приверженность казенному патриотизму. А.Т. решительно осудил Прокофьева за участие в травле И. Бродского. В конце 1960-х гг. Прокофьев оказался в одном стане с самыми яростными противниками «Нового мира».

6. Речь идет о пленуме СП РСФСР, открывшемся 2 апреля 1963 г. Посвященный проблемам жанра рассказа, он, по сути, сосредоточился на обсуждении «Нового мира». На требование приехать на пленум и выступить с признанием ошибок. А.Т. ответил отказом. См. далее запись 30.4.

7. Л.Ф. Ильичев — секретарь ЦК КПСС по идеологическим вопросам.

8. «Встречи» Н.С. Хрущева с интеллигенцией и вызванное ими «похолодание» идеологического климата широко комментировались на Западе и справедливо оценивались там как откат от линии XX съезда. Потребностью сгладить это впечатление определялась заинтересованность партийного руководства в интервью А.Т. — признанного лидера демократической интеллигенции — одному из ведущих информационных западных агентств — Юнайтед Интернейшнл. А.Т., поначалу воспринявший «партийное поручение» как тяжкую обузу, вскоре увидел в нем способ укрепить положение своего журнала, оказавшегося после упомянутых «встреч» в положении критическом, о чем красноречиво свидетельствовало блокирование цензурой № 4 «Нового мира».

9. Еще летом 1962 г. К.И. Чуковский фиксирует в дневнике циркулировавший слух об обмене визитами Кеннеди и Фроста в СССР, Хрущева и А.Т. в США. (Чуковский К.И. Дневник 1930–1969. М., 1994. С. 313).

10.IV.

1. С.Я. Маршак, начиная с 30-х гг. оставался для А.Т. одним из высших судей в литературе. «Испытание Маршаком» в важных случаях (например, с Солженицыным, А.Т. считал обязательным. Впечатления Маршака от «Теркина на том свете» записал (18.IV), побывавший у него по следам А.Т. В.Я. Лакшин: «Маршак считает поэму вещь замечательной, совсем новой в сравнении с прежним вариантом»: «Прежде был немного фельетон против бюрократов, «а теперь вещь очень серьезная, и швов не видно». Маршак расхвалил Твардовского, а на другой день испугался, позвонил ему и уговаривал повременить, не давать читать «выше». (Лакшин В.Я. Указ. соч. С. 122).

2. Маршак был выдвинут на Ленинскую премию Союзом советских писателей и редакцией «Нового мира».

3. Другое объяснение отказу от статьи, посвященной особенностям поэтического мира А.Т., вряд ли возможно.

4. В.С. (Владимир Семенович) Лебедев — помощник Хрущева; Д.А. Поликарпов — зав. отделом культуры ЦК КПСС.

5. На втором всесоюзном съезде художников (10–12 апреля) в духе выступления Хрущева на встречах с творческой интеллигенцией критиковались молодые ху-

дожники, «отступившие от главной линии развития советского искусства». (Э. Неизвестный, Н. Андронов, П. Никонов и др.)

6. Имеется в виду «Письмо в редакцию» инженера-строителя из г. Горького Ю. Узюмова, резко критиковавшее рассказ В. Войновича «Хочу быть честным». («Новый мир», 1963, № 2). Автор письма посчитал порочной основную мысль писателя, что «в нашем обществе честному человеку, правде — нелегко пробить себе дорогу». (Узюмов Ю. Кочка и точка зрения. «Известия», 1963, 9 апреля).

7. Очерк Ф. Абрамова «Вокруг да около» («Нева», 1963, № 1) рассказывал о бедственном положении деревни, выход из которого автор видел в поощрении материальной заинтересованности колхозников. Обсуждавшийся 9 апреля на Секретариате ЦК КПСС очерк был признан клеветническим, разжигающим частнособственнические инстинкты. Его опубликование, как и первые положительные отклики на него, квалифицировалось здесь как грубая политическая ошибка. В печати развернулась травля Ф. Абрамова. Статья И. Виноградова — в поддержку очерка «Вокруг да около» — была снята в верстке из № 4 «Нового мира». («Вопросы литературы». Вып. 2. Сс. 236–241).

8. От А.Г. Деметьева, работавшего в ИМЛИ, А.Т. было известно, что В.В. Ермилов на Ученом совете института, т.е. открыто и публично, рассказывал о сделанном ему предложении возглавить «Новый мир», от чего он якобы отказался.

11.IV.

1. Речь идет о попытках работы над текстом интервью для Г. Шапиро.

2. Константин Дмитриевич Воробьев был автором «Нового мира», в № 2 за 1963 г. напечатана его повесть «Убиты под Москвой» — о роте кремлевских курсантов, попавших в окружение осенью 1941 г. Эпиграфом к повести К. Воробьев взял строки А.Т. из стихотворения «Я убит подо Ржевом...». Два года мыкался писатель по разным редакциям — повесть нигде не хотели печатать. В конце 1962 г. он «решился на дерзость» — послал рукопись в казавшийся ему недосыгаемым «Новый мир». Вскоре получил телеграмму от А.Т., вызывавшего в редакцию. Всего две встречи было у К. Воробьева с редактором, но А.Т. остался в его памяти человеком, который помог ему «писать и жить». (См. подробнее: Воробьев К.Д. «Вызывает Твардовский». // «Воспоминания об А.Т. Твардовском». М., 1973. Сс. 270–272).

25.IV.

1. Присутствовавший при телефонном звонке Л. Ильичева в редакцию В.Я. Лакшин отмечает независимость, с которой вел разговор А.Т. «Ильичев имел неосторожность сказать ему, что дня два разыскивал его. — Как Вы изволили выразиться, Леонид Федорович? Искали два дня? Да я уже двое суток сижу у телефона, в уборную не выхожу, жду Вас, — желчно и агрессивно сказал Твардовский». (Лакшин В.Я. Указ. соч. С. 125).

2. А.Т. написал, что ему близок «глубокий демократизм и реализм» поэзии Р. Фроста. «Приятно и лестно было встретиться с ним в моем доме в Москве» и «грустно думать, что если доведется быть в США», он «придет уже только на могилу Р. Фроста». («Правда», 1963, 12 мая).

3. Перечислив лауреатов Ленинской премии за 1963 г., А.Т. подчеркнул, что это авторы «Нового мира», и впредь собирающиеся с ним сотрудничать. Так, «Новый мир» познакомил читателей с Ч. Айтматовым и «ждет его новую повесть». С. Маршак готовит для журнала «статью-беседу о мастерстве писателя», Р. Гамзатов обещал новые поэмы. Напомним, что речь шла о планах журнала, находившегося под огнем критики, сама судьба которого была под вопросом. (Там же.)

26.IV.

1. А.Т. имеет в виду речь Н.С. Хрущева на совещании работников промышленности и строительства РСФСР 24 апреля 1963 г. Говоря о важности контроля масс, Хрущев призвал их самим выявлять антиобщественные элементы, не дожидаясь, пока это сделает милиция. «Долг каждого гражданина, образно говоря, чувствовать себя милиционером, то есть человеком, который стоит на страже обеспечения общественного порядка...» (Аплодисменты). «Все должны помогать органам партийного и государственного контроля и охраны общественного порядка, быть их агентами, так сказать». (Оживление в зале. Аплодисменты.) («Правда», 1963, 26 апреля).

2. В интервью А.Т. среди авторов «Нового мира» назван А. Яшин, опубликовавший отличный, полный поэзии очерк «Вологодская свадьба». В телефонном разговоре 25.IV. Л. Ильичев посчитал ненужным упоминание очерка, раскритикованного в

печати. «Но я не считаю, что «Вологодскую свадьбу» критиковали справедливо... Я не могу идти против себя», — отвечал А.Т. «Но тогда хоть скажите, что ее критиковали в печати.» — «Хорошо, я напишу после слов в тексте «поэтичная «Вологодская свадьба»... подвергшаяся несправедливым нападкам в печати». (Лакшин В.Я. Указ. соч. С. 125).

30.IV.

1. Обсуждения № 4 «Нового мира», переданного Идеологическим отделом ЦК КПСС на суд Секретариата ССП, по сути, не было: А.Т. не случайно берет это слово в кавычки. На заседании присутствовали кроме А.Т. только Г. Марков и К. Воронков. Руководство ССП просто проштемпелевало спущенное сверху решение: снятие Е. Ржевской, Е. Габриловича, А. Камю (см. запись 24.III. и примечания к ней). (Архив ССП. Оп. 36. Д. 8).

2. Вариация мысли Л. Толстого, которую А.Т. развивал в интервью Г. Шапиро: «Художник, чтобы действовать на других, должен быть ищущим. Если он полагает, что все нашел и все знает и только учит, он не действует, так как читатель не сливается с ним в поиске и остается безучастным». («Правда», 1963, 12 мая).

3. Речь идет о выступлении Вас. Смирнова на пленуме СП РСФСР 3 апреля 1963 г. (См. запись 5.IV.)

6.V.

1. Журнал «Иностранная литература», как и «Новый мир», печатался в типографии издательства «Известий».

2. Ссылаясь на одобрение Л.Ф. Ильичевым текста интервью А.Т. Г. Шапиро, куда А.Т. включил ряд положений передовой № 4, ее удалось провести через двойную (Главлита и ЦК КПСС) цензуру, что в ином случае было бы невозможно.

14.V.

1. Публикация в «Правде» (12 мая 1963) интервью писателя (хотя А.Т. тогда и был кандидатом в члены ЦК КПСС) представителю «буржуазной» прессы — случай беспрецедентный. Подобные интервью в органе ЦК КПСС были привилегией исключительно главы партии и государства, недоступной даже членам Политбюро. Интервью А.Т. Г. Шапиро заняло полтора подвала газеты. Оно никогда не перепечатывалось. Здесь, казалось бы, было все, что требовалось тем, кто дал А.Т. это «партийное поручение»: признание важности принципов социалистического реализма и партийности в литературе, подтверждения значимости для нее «встреч» партийного руководства с писателями и т.д. Но то, что удалось А.Т. сказать здесь с большой силой и искренностью «от себя», делало явным ритуальный характер этих заявлений. Опираясь на мысль Л.Н. Толстого (см. примеч. 2 к записи 30.4.) о постоянных поисках истины как сути творчества, А.Т. утверждал: «Советскому писателю менее всего пристала роль ментора, который все знает, нашел и намерен только поучать». А ведь именно на такую роль ориентировала партия литературу: «Единственно верное учение» не подлежало сомнениям и исключало какие-либо идейные поиски. Представив поименно блестящую плеяду авторов «Нового мира», А.Т. назвал и тех, кто подвергался разностной критике, — И.Г. Эренбурга, А. Яшина, В. Некрасова. Особо остановился А.Т. на ведущей роли А. Солженицына в литературном процессе. Повесть «Один день Ивана Денисовича» он охарактеризовал как «явление особо значительное и принципиальное», подчеркнув, что «всем своим художественным строем она утверждает непреходящее значение традиций правды в искусстве...». На страницах главного органа ЦК КПСС А.Т., по сути, подтвердил свои идейные и эстетические принципы, свою общественную позицию. Все это объясняет энтузиазм, с которым было воспринято его интервью демократической интеллигенцией.

2. Книга сохранилась в библиотеке А.Т.

3. А.Т. мог иметь в виду как договор с «Новым миром» на публикацию большой подборки стихов и прозы Б. Пастернака, напечатанной в № 1 за 1965 г., так и договор с редакцией «Библиотеки поэта», о котором он хлопотал в начале 1960-х гг. (см. примечание 1 к записи 27.3.1962).

4. Назвать в интервью всех достойных А.Т. не удалось — он упомянул в первую очередь авторов «Нового мира», находившихся под огнем критики. А.Т. остро ощущал предел отпущенных ему возможностей. Партийные консерваторы-догматики встретили интервью А.Т. с досадой и раздражением. Идеологическому отделу пришлось

оправдываться. В записке «О положении дел и настроениях в творческих союзах» (8 июня 1963) В. Снастин и Д.А. Поликарпов писали в ЦК КПСС: «Разумеется, не со всеми положениями и оценками, содержащимися в интервью, можно согласиться, но несомненно, что в целом оно имеет положительное значение и для нашей, и для зарубежной интеллигенции». (ЦХСД. Ф. 5. Оп. 55. Д. 41. Л. 236).

5. Стихотворение «Слово о словах» опубликовано в «Правде» 5 мая 1962 г. и в «Новом мире» (№ 5, 1962 г.).

6. В 1963–1965 гг. А.Т. — депутат Верховного Совета РСФСР от Коптевского избирательного округа г. Москвы. В житейских делах, с которыми шли к нему избиратели, он часто был бессилен помочь, что его крайне угнетало... «В претензии ко мне столько людей, жаждающих... пересмотра «дела», перемены жилья, устройства в больницу, назначения пенсии и т.д.» (Письмо А.Т. Твардовского В.В. Овечкину 28 февраля 1963. // Твардовский А.Т. Соч. Т. 6. С. 443).

28.V.

1. Речь, по-видимому, идет о книге М. Светлова «Ночные встречи» (М. 1927). Именно ей посвятил восторженный отзыв Асеев («На литературном посту», 1927, № 10).

2. Передовая «Правды» (19 мая, 1963) призывала деятелей литературы и искусства к «творческой смелости и самостоятельности». Отмечая, что они «искренне благодарны» партии «за неослабное внимание», газета заявляла, что партии нет надобности «опекать их каждый шаг». Утверждалась необходимость создать творческую атмосферу в организациях деятелей культуры, а то кое-где еще встречаются «проработки, критиканство, злопахательство». Как и интервью А.Т. Г. Шапиро, передовая 19 мая, была попыткой сгладить впечатление от «встреч» интеллигенции с партийным руководством и несколько смягчить их последствия.

3. 15 мая члену редколлегии Игорю Александровичу Сацу по случаю его 60-летия было устроено чествование в редакции «Нового мира».

4. Паперный З. Романтика человечности. // К 60-летию со дня рождения М.А. Светлова. // «Новый мир», 1963, № 6; в том, что говорится о светловской «иронии снижения высоких понятий», просматривается наблюдение А.Т., что не один Светлов «перебивает поэзию прозой». Цитируется М. Исаковский: «Ой, понравилась ты мне целиком и полностью». Суть не в самом приеме, а в окраске, какую он обретает у этого поэта, и интонации, присущей только ему, Светлову — доброй, с веселой и чуть печальной усмешкой, чаще всего направленной на самого себя». (Там же. С. 246). Позднее, в статье «Поэзия Михаила Исаковского» («Новый мир», 1967, № 8), А.Т. возвращается к этой же аналогии. Он приводит те же примеры. Симптоматично, что предшествующая статья З. Паперного о М. Светлове сосредоточена на высоком пафосе его поэзии, «рожденной революцией». Об иронии, снижающей этот пафос, лишь бегло упомянуто. Стих поэта, по выражению критика, «не опускает высоких крыльев». (Паперный З. «Высокий костер». // «Октябрь», 1961, № 1).

5. Как видно из этой записи, таябу по поводу А. Камю (см. записи 24.3. и примечание 5 к ней), А.Т. продолжал и после снятия «Чумы» из апрельского номера «Нового мира». В начале июня редколлегия журнала снова обсуждала вопрос о публикации Камю. (Лакшин В.Я. Указ. соч. С. 130).

6. 27 мая под шапкой «За идейность и социалистический реализм. В гостях у «Известий» редакция вместо обещанной перепечатки передовой № 4 «Нового мира» дала ее изложение, выделив места, где речь шла об упущениях и недостатках журнала, «Известия» не упомянули ни о его программной установке на жизненную правду, ни о планах, связанных с писателями, подвергнутыми критике, создавая тем самым впечатление капитуляции «Нового мира».

7. Имеется в виду неоконченный роман-эпопея Э. Казакевича «Новая земля», «гигантский», по определению автора, задавшего целью создать «энциклопедию советской жизни» 20–50-х гг. (Казакевич Э.Г. «Слушая время. Дневники. Записные книжки. Письма», 1990. С. 207). «Верные слова» А.С. Берзер А.Т. приведет в выступлении на Европейском форуме писателей: «Один из моих соредкторов, я считаю, очень удачно заметил на основании многолетнего опыта: когда человеку есть что сказать, он пишет роман в 2–3 печатных листа. Когда человек хочет быть романистом, он пишет роман в трех книгах, шести частях». (Твардовский А.Т. «Убежденность художника». // «Литературная газета», 1963, 10 августа).

8. Еще на XXII съезде КПСС А.Т. обращался к роману В.Д. Фоменко как примеру многотрудной работы над темой, связанной с крутой ломкой людских судеб, «со

строительством Волго-Донского канала, с переселением со дна нынешнего Цимлянского моря старинных многолюдных станиц на новые места в открытой степи». (Твардовский А.Т. Соч., Т. 5. Сс. 359–360). Опубликовав 1-ю книгу романа «Память земли» («Новый мир», 1961, №№ 6–8), В. Фоменко задерживал 2-ю. Сетуя, какой «Новому миру» попался «досадный автор», он сообщал, что «полоса неудач, зацепившая его семью», продолжается, не давая сосредоточиться на работе. (Письма В. Фоменко А.Т. Твардовскому 1962–1963 гг. Архив А.Т.). Полностью в двух книгах роман опубликован в кн.: Фоменко В.Д. «Избранное». Т. II. М., 1984.

9. Е. Мальцев — автор романа «Войди в каждый дом», на первую книгу которого «Новый мир» откликнулся рецензией Ю. Буртина (1962, №1). Наряду с поддержкой публицистической идеи романа в ней содержалась весьма сдержанная оценка его художественных достоинств.

10. Имеется в виду рассказ А.И. Солженицына «Для пользы дела». («Новый мир», 1963, № 6). Автор вспоминает, что написал «проходимый рассказ», который «был встречен в редакции с единодушным одобрением (недобрый знак). А все лишь потому, что укреплял позиции журнала». («Новый мир», 1990, № 6. С. 59). Между тем на рассказ сразу же обрушилась официозная критика, предъявлявшая претензии и «Новому миру». (Статьи Ю. Барабаша, М. Синельникова, А. Дымшица, В. Чалмаева и др.), который вновь встал на защиту Солженицына, опубликовав подборку читательских писем в поддержку рассказа (№ 10 за 1963 г.).

11. Роман Г. Николаевой «Битва в пути» выступал в критике той поры в качестве образца изображения «недостатков» советской действительности с партийных позиций.

30.V.

1. Речь идет о поездке в составе делегации советских писателей на заседания Европейского сообщества писателей, вице-президентом которого был А.Т.

8.VII.

1. Дагестанские впечатления связаны с поездкой в республику (25–30 июня) на торжества по случаю вручения Ленинской премии Р. Гамзатову. В состав делегации входили директор ИМЛИ И.И. Анисимов, режиссер Ю. Завадский, писатели Ч. Айтматов, К. Кулиев, К. Каладзе, редактор «Комсомольской правды» Ю. Воронов и др. 26 июня в театре им. Горького в Махачкале состоялось вручение Ленинской премии Р. Гамзатову. В своем выступлении А.Т. охарактеризовал лауреата как одного из крупнейших современных поэтов. Успешное развитие поэзии Гамзатова А.Т. объяснял тем, что, опираясь на национальные традиции, она осваивает богатство поэзии общесоюзной и общеевропейской. («Дагестанская правда», 1963, 28 июня). 27 июня состоялась встреча писателей со студентами Дагестанского университета. 28 июня — гости выступали в Дагестанской филармонии. А.Т. читал отрывки из поэмы «За далью — даль» и по просьбе слушателей — из «Василия Теркина». (Праздник литературы и дружбы. // Там же, 29 июня).

2. На пленуме ЦК КПСС, посвященном «Очередным задачам идеологической работы партии» (18–21 июня), с докладами выступили Л.Ф. Ильичев и Н.С. Хрущев. Подчеркнув невозможность мирного сосуществования идеологий, Ильичев призвал «привести в боевой порядок все виды идейного оружия». В речи Н.С. Хрущева снова обличались писатели-«дегтемазы», в качестве примера фигурировал В. Некрасов. Главной задачей пленум признал «обеспечить победу идеологии коммунизма» («Правда», 1963, 20 и 21 июня).

1.VIII.

1. Речь идет о поездке на сессию Европейского сообщества писателей, посвященную современному роману (5–12 августа). И.И. Анисимов — директор ИМЛИ, — принадлежал к непримиримым партийным ортодоксам. В 1954 г. он послал в ЦК КПСС доклад на польских писателей, поддержавших новомирскую статью В. Померанцева «Об искренности в литературе». («Дружба народов», 1993, № 11. Сс. 236–237.) А.Т. столкнулся с Анисимовым еще в Дагестане. Выступая на банкете в честь Р. Гамзатова, А.Т. произнес тост за доброе сердце поэта. Тут же последовала «поправка» Анисимова, славившего в своем выступлении «злое сердце Расула», полное ненависти к врагам. Ненависть, похоже, Анисимов считал необходимой чертой поэта (см. Анисимов И.И. «Сила любви и ненависти». // «Литературная газета», 1963,

18 июля). Зарубежных писателей он делил на сторонников и противников «социалистического реализма». Смысл европейского форума видел в противоборстве социалистической и буржуазной идеологий. (Анисимов И. «Ленинградский диалог о современном романе». // «Иностранная литература», 1963, № 11).

12. VIII.

1. Лакшин, приехавший в Ленинград днем позже А.Т., 3 августа, нашел его на Волковом кладбище, у могилы А. Блока. Возмущенный тем, что никто из руководства ССП не позаботился встретить И. Эренбурга, А.Т. вместе с Лакшиным, поехал на Московский вокзал встречать писателя. (Лакшин В.Я. Указ. соч. Сс. 145–146). Выступать на сессии А.Т. не собирался. Однако обстановка здесь складывалась неблагоприятная. Советские писатели выступали единодушно, доказывая, что роман гибнет в Европе, где капитализм загнивает, и процветает в странах социализма. Западные писатели грозили уехать, если их не перестанут воспитывать. Ортодоксы типа И. Анисимова требовали: «Хватит обороняться, надо наступать». Призываемый выступить и осознавая сложность обстановки, А.Т. вышел на трибуну без подготовленного текста. Он заговорил об общезначимых и близких всем проблемах романа, в основе которого — человеческая душа — предмет исследования художника. Полемизируя с некоторыми советскими писателями (К. Симоновым, И. Эренбургом) о природе творчества, А.Т. поддержал тех западных авторов, которые утверждали, что подлинный художник — первооткрыватель, что он «находится в поиске, в постижении действительности» и «ничего не может знать наперед»: «он высекает искру из неподвижного камня, не тронутого искусством». А.Т., единственный из советских писателей, остановился на творчестве А. Солженицына. «Я хотел бы слышать того, кто бы сказал, что это художник, обремененный узами социалистического реализма, несвободный в своей беседе с читателем, что он чем-то связан, что его ограничивают какие-то рамки. Ведь этого нет. И однако он свободен при полной «завербованности» в отношении человека, его мыслей, его помыслов, его чаяний и надежд». А.Т. закончил выступление строками своего стихотворения «Вся суть в одном единственном завете...» — о праве художника сказать то, что он хочет, и так, как он хочет. (Твардовский А.Т. «Убежденность художника». // «Литературная газета», 1963, 10 августа). Речь А.Т. на европейском форуме 1963 г. никогда не перепечатывалась.

18. VIII.

1. В «Известиях» опубликована поэма «Теркин на том свете» 17 августа — в московском вечернем выпуске, 18 августа — в основном тираже.

2. Имеются в виду мартовская и декабрьская «встречи» с интеллигенцией партийного руководства и июньский пленум КПСС по вопросам идеологии.

3. Просьба относилась к стихам о цензуре, завершавшим пассаж о номенклатурных дураках: «От иных попросишь чуру, // И в отставку не хотят. // Тех, как водится, в цензуру, // На повышенный оклад. // А уж с этой работенки // Дальше некуда спешить...»

4. См. примечание 10 к записи 24.III.

5. По свидетельству А. Аджубея, слушая А.Т., писатели «то хохотали в голос, то «переносились в далекие дали, вслед за мыслями автора». «Даже иностранные гости слушали, а вернее, наблюдали внимательно всю эту поучительную картину с особым настроением». (Аджубей А. «Те десять лет». // «Знамя», 1988, № 7, С. 99).

6. А.А. Сурков был одним из инициаторов запрещения первого варианта поэмы в 1954 г. Сейчас он писал: «И как прекрасное завершение этой встречи было чтение новой поэмы А. Твардовского». (Сурков А.А. «Ответственность художника». // «Правда», 1963, 18 августа).

7. Вот как рассказывает об этом А. Аджубей. «Прозвучали последние строки. Хрушев обратился к газетчикам: «Ну, кто смелый, кто напечатает?» Пауза затягивалась, и я не выдержал: «Известия» берут с охотой». (Аджубей А. Указ.соч. С. 99). Говоря о новой «сверхнеобычной» встрече читателей с Теркиным, Аджубей не сомневался, что она вызовет «споры и возражения». Такое преуведомление уже звучало как приглашение к критике.

8. Спустя год в «Новом мире» (1964, №№ 10–11) появится автобиографическая повесть Ж.-П. Сартра «Слова».

9. Ирина Федоровна Огородникова — переводчик с румынского, сотрудник Иностранной комиссии ССП.

10. Сотрудники «Известий».

11. По просьбе Н.С. Хрущева, которому скорее всего ее подсказало бдительное окружение Генсека, были сняты следующие строфы:

Пусть мне скажут, что ж ты, Теркин,
Рассудил бы, голова!
Большинство на свете мертвых,
Что ж ты, против большинства?
Я оспаривать не буду,
Как не верить той молве.
И пускай мне будет худо, —
Я останусь в меньшинстве.

Впервые восстановлены в тексте поэмы в издании: Твардовский А.Т. «Василий Теркин». — «Теркин на том свете». М., 2000. Изд. «Раритет».

19. VIII.

1. Строки из последней главы поэмы «Василий Теркин» — «От автора».

2. Издать такую книгу А.Т. не дали. Вообще, после 1963 г. и до перестройки поэма перепечатывалась в 5-томном собр. соч. (М. 1967) и посмертном 6-томном. (М., 1978). А.Т. не удалось включить ее ни в одно из изданий своих избранных произведений: том в серии «Всемирная литература» (М., 1968) вышел без «Теркина на том свете». Редколлегия «Библиотеки поэта» (Н.М. Грибачев, Н.С. Тихонов, А.А. Сурков, Е. Исаев, Р. Гамзатов и др.) отказалась печатать поэму в томе, подготовленном М.И. Твардовской к 70-летию поэта. М.И. Твардовская представила достаточно доказательств того, что А.Т. видел эту поэму в числе наиболее значительных своих работ. (Письмо М.И. Твардовской К.М. Симонову, председателю комиссии по литературному наследию А.Т. Черновик. б.д. (начало 1980 г.) Архив А.Т.) Замысел А.Т. осуществлен издательством «Раритет», а «Теркин на том свете» впервые опубликован без купюр. Благотворительное издание подготовлено к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне для ее ветеранов.

3. Имеются в виду торжества по случаю 1100-летия города и 20-летия освобождения его от немецкой оккупации.

22. VIII.

1. Речь идет о повести Е. Герасимова «Семья Алешиных» («Из рассказов о старых товарищах». // «Новый мир», 1963, № 9 и «Севастопольских дневниках» А. Ковтуна. Там же, № 8).

2. Имеется в виду недавний карибский кризис и ухудшение отношений с Китаем. 21 августа в «Правде» были опубликованы Заявления Советского и Китайского правительств по поводу договора, заключенного 6 августа 1963 г. СССР, США и Англией о запрещении испытаний ядерного оружия. Китай обвинял СССР в сговоре с американским империализмом, подтверждая, что будет развивать свой ядерный потенциал.

4. XI.

1. Павел Трифонович — брат А.Т., работник торговой «сети».

2. Почти все отрицательные отзывы противопоставляли нового Теркина старому, в пользу последнего. Сам А.Т. подчеркивал нерасторжимую связь двух поэм: «Теркин на том свете», при всей особливости и специфичности его идей и художественной задачи, неотрывен от «книги про бойца». Он взят оттуда для решения этих особых специфических задач... является на тот свет во всеоружии привычного слуху читателя юмора, своей словесности». (Черновик письма А.Т. читателю П-ну 7 января 1966 г. // Архив А.Т.) Обозревая отклики на поэму, пришедшие в «Известия», критик А. Сергеев заключает, что большинство восприняло поэму с энтузиазмом. «Поэт идет на бой, ненавидя всяческую дрянь, с гордостью пишет о силе простого советского человека», «Нужно иметь не только талант, но и мужество, — по мнению другого читателя, — чтобы критиковать, вернее, бичевать еще живых, а подчас и сильных культовых приверженцев, бороться за социалистическую демократию, за правду...» (Сергеев А. «О различных мнениях и объективности критики». // «Известия», 1963, 5 октября). Высоко оценили поэму В.Н. Орлов — в статье «Вторая встреча с Теркиным». («Литературная газета», 1963, 12 сентября) и С.Я. Маршак в предисловии к английскому переводу поэмы. (Маршак С. «Служба жизни». // «Юность», 1964, № 9.)

3. А.Т. отмечает здесь факты активизации сталинистской оппозиции, не встречающие официального отпора. В статье Н. Сергованцева пересматривалась высокая оценка Н.С. Хрущевым повести А. Солженицына. Герой повести предстает здесь тупым и ограниченным человеком, «жизненная программа которого не простирается дальше лишней миски баланды и жажды тепла». (Сергованцев Н. «Трагедия одиночества и сплошной быт». // «Октябрь», 1963, № 4). Отрицательным отзывом на поэму «Теркин на том свете» журнал снова «поправляет» Н.С. Хрущева, давшего ей «путевку в жизнь». Повторив все упреки поэме, которые А.Т. приписал будущему ее «критику-грамотею», критик «Октября» увидел в ней «недостаток социальной определенности позиции героя» и автора. (Стариков Д. «Теркин против Теркина». // «Октябрь», 1963, № 10.)

4. По словам А. Сергеева, поэма «Теркин на том свете» «не может не вызвать различных мнений относительно ее художественных и идейно-эстетических качеств». Критик не на стороне тех, кто «безоговорочно приемлет поэму». «Сергеев А. «О различных мнениях и объективности критики». // «Известия», 1963, 5 октября).

5. Поэма «Теркин на том свете» сдана в набор 24 сентября, подписана к печати 16 ноября 1963 г. (М., «Советский писатель», 1963.)

6. Как явствует из архивных документов, донос П. Романова на сообщение «От редакции» для № 10 «Нового мира» был поддержан и расширен в ЦК КПСС (см. примечание 13 к записи 24.III.1963).

6. XI.

1. Статья Вс. Кочетова «Не все так просто», воспринятая А.Т. как ответ «Известиям» на критику статьи Д. Старикова в «Октябре», по сути, отвечала и на выступление А.Т. на писательском форуме в Ленинграде (см. примечание 1 к записи 12.VIII.1963). Кочетов ополчился против «общечеловеческого направления» в литературе как противостоящего «социалистическому реализму». Если Д. Стариков намекал на отголоски в поэме «кулацких собственнических начал в нашей жизни», то Кочетов весьма определенно высказался о связи «общечеловеческого направления» с кулацкой идеологией. («Октябрь» № 11, Сс. 220–221.)

25. XI.

1. Ср. с записью 22 ноября в дневнике В.Я. Лакшина. (Указ. соч., Сс. 171–172).

26. XI.

1. Речь идет о книге «Рассказ о похищении и приключениях Джона Теннера (М., 1963). В основе статьи А.С. Пушкина «Джон Теннер» / («Современник», 1836, кн. 3). — французский перевод (1835) записки американского писателя (Нью-Йорк, 1830).

2. Л. Кудреватых вспоминает о совместном пребывании с А.Т. в 1963 г. в Барвихе: «Он не вливался в эти группы <отдыхающих>... встретившись или обгоняя «дискуссионников», он, молча кивнув головой, что означало приветствие, проходил мимо». (Кудреватых Л. Дом «Известий». // «Воспоминания об А.Т. Твардовском. М., 1978. С. 389 и след.)

3. Став в 1950 г. редактором «Нового мира», А.Т. искал способы опубликовать роман Гроссмана «За правое дело», отклоненный симоновской редколлегией как «непроходимый». После его публикации («Новый мир», 1952, №№ 7–10) роман, по указанию И.В. Сталина, был подвергнут уничтожительной критике. А.Т. пришлось — в первый и последний раз в его редакторской практике — признать напечатание романа Гроссмана ошибкой (См. Твардовский А.Т. «Из рабочих тетрадей». // «Знамя», 1989, № 7).

4. Имеется в виду книга И.П. Эккермана «Разговоры с Гете в последние годы его жизни». М., 1934. Сохранилась в библиотеке А.Т. с его пометками.

28. XI.

1. Александр Григорьевич Дементьев и Алексей Иванович Кондратович.

2. А.Т. писал К.А. Федину, что не считает его извинение «крайне необходимым», но неким «добрым молодцам» (авторам) — урок здесь будет полезен. Кроме того, дано будет понять, что наши обещания в проспектах не с потолка, а имеют под собой серьезную основу — обязательства авторов». (Письмо А.Т. Твардовского К.А. Федину 22 ноября 1963 г. // «Октябрь», 1990, № 12). «Костер» К. Федина — едва ли не единственное произведение, которое «Новый мир» печатал по соображениям такти-

ческим, принимая во внимание статус автора — внештатного члена редколлегии и первого секретаря ССП.

3. Имеются в виду изустные истории и предания о Сталине.

4. Невыдуманные рассказы адмирала И.С. Исакова печатались в «Новом мире» в 1959–1963 гг. Автор определял их как «полуистории, полурассказы». (Письмо И.С. Исакова А.Т. Твардовскому 24 декабря 1959 г. // Архив А.Т.)

5. С Акимом Васильевичем Горшковым А.Т. познакомился в 1951 г., став депутатом Верховного Совета РСФСР от Владимирской области. В том же 1951 г. Горшков стал Героем социалистического труда как председатель (с 1928 г.) выдающегося колхоза области «Большевик». А.Т. склонял А. Горшкова писать воспоминания. Заявляя о намерении журнала «предоставить свои страницы для воспоминаний председателя одного из крупных колхозов, возглавлявшего его со дня организации», А.Т. имел в виду Горшкова. (Твардовский А.Т. «По случаю юбилея». // «Новый мир», 1965, № 1, С. 8). Сергей Ксенофонтович Коротков руководил колхозом в Чувашии с 1945 г. до своей смерти в 1961 г.

29. XI.

1. В очерке Ф. Абрамова «Вокруг да около» («Нева», 1968, № 1) председатель обещает колхозникам 30% заготовленного сена, тем самым поднимая их на дружную и спорую работу, обеспечившую уборку сена в рекордные сроки. См. примечание 7 к записи 10.IV.1963.

1. XII.

1. Залыгин С.П. «На Иртыше». «Из хроники села Крутые Луки». // «Новый мир». 1964, № 2.

2. Сам А.Т. в «Стране Муравии» не обошелся без такого «внутреннего монолога» мужицкой души, отразившего тревогу, смятение и надежду: «Товарищ Сталин! Дай ответ, // Чтоб люди зря не спорили: // Конец предвидится ай нет // Всей этой суетории?..» // И жизнь — на слом, // И все на слом — // Под корень, подчистую. // А что к хорошему идем, // Так я не протестую...» (Твардовский А.Т. Соч. Т. 1. М., 1976. С. 253.)

3. Мысль о том, что отнюдь не «нужда крестьянского двора» была причиной коллективизации, как это утверждалось в литературе — давний вывод А.Т. Уже в 1953 г. он видел общий изъян книг о коллективизации в том, что авторы решали вопрос о вступлении мужика в колхоз «исходя из необходимости самого единоличного хозяйства. Мол, «из нужды не выйти» и т.п.... И это тогда как мужик имел Советскую власть, получил землю, построил хату из панского леса, пользовался с/х кредитом и т.п., но главное, конечно, земля. Он только начал жить, только поел хлеба вволю. И в этих условиях он мог, по моему глубокому убеждению, воздерживаться от «коммуний» еще лет этак 200–300. (Письмо А.Т. Твардовского А.Г. Дементьеву 18 декабря 1953 г., копия. Архив А.Т.)

4. С.Я. Маршак, рано заметивший талант А.Т., пристально следил за его творчеством. Свою книжечку о поэте (Маршак С. «Ради жизни на земле. Об А. Твардовском». М., 1961) он надписал А.Т. весьма многозначительно: «Я не то еще сказал бы, // Про себя поберегу, // Я не так еще сыграл бы, // Жаль, что лучше не могу». — Дорогому Александру Трифоновичу Твардовскому — с любовью, С. Маршак. Ялта, 15.XI.1961». В разговоре с А.Т. в декабре 1963 г., — за несколько месяцев до смерти, Маршак как будто стремился досказать это невысказанное.

5. Л. Кудреватых вспоминал, как А.Т. взял с собой к костру его и А.Я. Свердлова: «Устроившись на пенках, мы сидели молча, устремив взгляд на огонь». «С детства люблю жечь костры, — не обращая ни к кому, проговорил Александр Трифонович. — Люблю огонь костров. В нем есть что-то стихийное и вместе с тем успокаивающее. Вы заметили: люди у костров, как правило, стоят или сидят молча, точно слушающая музыка, уходят в свои думы...» (Кудреватых Л. Указ. соч. С. 389).

6. Повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича» была выдвинута на соискание Ленинской премии за 1964 г. только редакцией «Нового мира» и ЦГАЛИ. Списки кандидатов в лауреаты публиковались в феврале. Представить на премию повесть, напечатанную в ноябре 1962 г., в том же году было попросту невозможно. Выдвигая Солженицына на премию, А.Т., тем самым продолжал последовательно отстаивать значение его повести как идейно-художественного ориентира для советской литературы.

7. Речь идет о выдвижении на Ленинскую премию трилогии Г.И. Серебряковой

«Прометей» — романов «Юность Маркса», «Вершины жизни», «Похищение огня». Высоко оцененные в печати, они были представлены на премию Союзом писателей РСФСР, издательством «Художественная литература», редакцией журнала «Дон», Институтом литературы и искусства имени М. Ауэзова АН Казахстана, Новосибирским монтажным техникумом, Управлением Гидрометеослужбы центральных областей и т. д. и т. п.

8. А.Т. имел в виду воспоминания Г. Серебряковой об ее аресте в 1937 г. и пребывании в семипалатинской тюрьме. Набранные «Литературной Россией» в 1963 г., они не были пропущены цензурой. Г. Серебрякова предстает в них как убежденный коммунист, не усомнившийся в партии и после своего ареста. (Серебрякова Г.И. «Смерч». // «Подъем», 1988, № 7).

9. В. Тевекелян — один из руководителей парткома Московской писательской организации.

3.XII.

1. Лакшин В.Я. «Иван Денисович, его друзья и недруги». // «Новый мир», 1964, № 1.

4.XII.

1. Первый подступ к стихотворению «Мне сладок был тот шум сонливый...» (1964).

2. Большинство работ А.Я. Свердлова написано в соавторстве. В литературной записи А.Я. Свердлова изданы воспоминания К.Т. Свердловой, а также книга П.Д. Малькова «Записки коменданта Московского Кремля». (М., 1959, 1961, 1962). Своих воспоминаний А.Я. Свердлов не оставил.

6.XII.

1. набросок стихотворения «Есть книги — волею приличий...» (посвящено Михаилу Александровичу Лифшицу).

2. Николай Александрович Морозов жил не в Крыму, а в имении своего отца Борк Ярославской губернии, постановлением Совнаркома переданном ему за заслуги перед революцией и наукой в пожизненное пользование. В Борке было налажено рентабельное хозяйство, отчасти работавшее и на рынок. По инициативе Морозова здесь была создана Верхневолжская база АН СССР, ставшая основой для Института Биологии внутренних вод АН. До конца жизни (1946) Н.А. Морозов стоял во главе Естественно-научного института им. Лесгафта, руководил здесь работами по исследованию космоса. Пожить «растительной и инертной жизнью» он не успел.

7.XII.

1. Фрагменты воспоминаний Н.Г. Кузнецова печатались в 1965 г. в «Октябре», «Неве», «Вопросах истории». Отд. изд.: Кузнецов Н.Г. «Накануне». // «Воениздат», 1966. В опубликованных мемуарах нет многого из того, что зафиксировал А.Т. после чтения рукописи: конфликт Жданова и Ворошилова, цифры погибших в блокаде и т. д. Намерения печатать воспоминания Н.Г. Кузнецова, по-видимому, у А.Т. не возникало: образ Сталина — мудрого, волевого, справедливого — в обстановке «ползучей» реабилитации вождя мог способствовать усилению сталинских тенденций.

2. Ф.С. Октябрьский (Иванов) в годы, описываемые А.Т., был командующим Черноморского флота.

8.XII.

1. Имеется в виду усадьба М.А. Шолохова в станице Вешенской Ростовской области.

10.XII.

1. На пленуме ЦК КПСС (9–13 декабря) Н.С. Хрущев выступил с докладом «Ускоренное развитие химической промышленности — важное условие подъема сельскохозяйственного производства и роста благосостояния народа». Интенсификация (с помощью химии) объявлялась «коренным вопросом развития сельского хозяйства». («Правда», 1963, 9 декабря).

2. «У нас не должно быть приоритета для какой-нибудь одной культуры. Приоритет должен быть для урожая. Та культура, которая в условиях определенной зоны дает наиболее высокий урожай, лучше оплачивает вложенный труд, эта культура в хозяйстве и должна быть первой культурой. (Продолжительные аплодисменты.)» (Там же.)

3. Если бы в обеспечении хлебом действовать методом Сталина, — говорил

Н.С. Хрушев, — то и сейчас хлеб можно было бы продавать за границу. «Хлеб за границу продавали, а в некоторых районах люди пухли от голода. Да, товарищи, это факт, что в 1947 г. в ряде областей страны, например, в Курской, люди умирали с голоду. А хлеб продавали. Партия решительно осудила и навсегда покончила с подобным методом. (Продолжительные аплодисменты.)» (Там же.)

4. «Хлебозаготовки считали первой заповедью, семена — второй, а об удовлетворении нужд животноводства в кормах даже не вспоминали. Такое деление на заповеди порочно в своей основе». (Там же.)

5. Тема «расхуторизации» легла в основу стихотворений «На старом дворе», «На хуторе Загорье», «Поездка в Загорье», элегическая тональность которых, как и некоторых других стихов «загорьевского цикла» 1939 г., ощутимо контрастировала с оптимизмом более ранней лирики А.Т.

12. XII.

1. Михаил Григорьевич Михайлов писал о положении верующих и пороках советской антирелигиозной пропаганды, за что подвергался преследованиям властей. Изредка печатался в «Науке и религии». В «Новом мире» (1968, № 10) опубликован его обзор «Рекомендации, не сулящие удач». Михайлов сообщал в письме А.Т. о закрытии в Воронеже молеального дома баптистов, а также о высылке из Калинина секты «молчальников».

14. XII.

1. Дин Раск — в то время государственный секретарь США.

2. набросок главного мотива будущей поэмы «По праву памяти».

15. XII.

1. См. запись 18. XII.

16. XII.

1. Выписка из заключительной речи Н.С. Хрущева на декабрьском пленуме ЦК КПСС. Оценку этим соображениям см. в записи 14. XII.

17. XII.

1. А.И. Кондратович и В.Я. Лакшин привезли А.Т. подготовленный ответ на редакционную статью «Литературной газеты» «Пафос утверждения, острота споров», поставившую под сомнение объективность публикации в № 10 «Нового мира» писем читателей в поддержку рассказа А.И. Солженицына «Для пользы дела». Все они протестовали против оценки его как неудачи писателя в статье Ю. Барабаша «Что есть справедливость» («Литературная газета», 1963, 31 августа). Критик упрекал Солженицына в том, что он решает идейно-нравственные проблемы, «оперируя абстрактными, не наполненными конкретным содержанием категориями». Барабаш настаивал, что критерием справедливости должна быть государственная польза. Читатели «Нового мира» поддержали Солженицына, убеждавшего, что нравственность не должна зависеть от утилитарных соображений. «Трудно предположить, — заявляла газета, — что в редакцию «Нового мира» пришли только письма, превозносящие рассказ». («Литературная газета», 1963, 12 декабря). В ответе новомирцев сообщалось, что редакция «Нового мира» получила 58 откликов на рассказ Солженицына. Только в одном содержалась его отрицательная оценка. 12 писем пришли в виде копий: оригиналы были посланы в «Литературную газету». (Письмо редакции журнала «Новый мир». // «Литературная газета», 1963, 26 декабря). «Литературная газета», интересовавшаяся количественным соотношением положительных и отрицательных отзывов на рассказ Солженицына, отреагировала на ответ «Нового мира» по-своему: «Никогда еще арифметический подход к сложным явлениям литературы не приносил пользы ни читателям, ни художнику, ни искусству в целом». («От редакции». // Там же.)

2. «Политзагон» А.Т. составляли произведения, не пропущенные цензурой и оставшиеся в портфеле редакции.

3. Речь идет о статье М. Лифшица «В мире эстетики» («Новый мир», 1964, № 2), высмеивавшей «пустозвонство» и невежество пропагандиста официальной эстетики В. Разумного.

4. В выходных данных журнала тираж 1963 г. указывался от 113 до 120 тыс.

5. «Иногда, Саша, мне кажется, что писательству моему пришел конец. Что-то будто оборвалось в душе. Я не тот, каким был: другой человек, совсем другой, остатки чело-

века. Писать-то надо кровью, а из меня она как бы вытекла вся». (Письмо В.В. Овечкина А.Т. Твардовскому. 11 декабря 1963. // «Север», 1980, № 2. С. 91). В ответном письме от 17 декабря, успокоив тревогу Овечкина по поводу житейских дел (долг «Новому миру», хлопоты о пенсии), А. Т. пишет о главном: «...То, что ты говоришь о недостатке крови для писания, — это все вздор. Кому из нас, грешных, не приходила столько раз мысль о том, что, мол, «мог когда-то, а вот уж больше не могу». — Это законное чувство для каждого серьезного писателя... Бойся другого: когда вдруг поперет и станет все легко... Более того, особенно трудно бывает как раз перед взятием новой высоты. Это я знаю отчасти и по собственному опыту». (Письмо А.Т. Твардовского В.В. Овечкину 17 декабря 1963. // Твардовский А.Т. Соч. Т. 6. Сс. 444–445).

18. XII.

1. Герасимов М.М. — историк, этнограф, археолог, воссоздавший по черепным костям облик исторических деятелей древней и средневековой Руси.

2. Повесть А. Свердлова (в соавторстве с Я. Наумовым) со всеми «красотами» и штампами, отмеченными А.Т., была издана в серии «Библиотека приключений».

19. XII.

1. Дневники А.В. Никитенко (Т. 1–3. М., 1955–1956) — чиновника цензурного ведомства, литературного критика, сохранились в библиотеке А.Т.

2. По свидетельству М.И. Твардовской, Кронид Малахов сыграл большую роль в становлении А.Т. как писателя. Ему принадлежит одна из наиболее глубоких и серьезных статей о раннем А.Т., творчество которого он связывал не только с Некрасовской, но и с пушкинской традицией. (Малахов. «Александр Твардовский» // «Известия», 1939, 24 апреля).

21. XII.

1. В записи сказывается знакомство А.Т. с книгой М. Рузе «Роберт Оппенгеймер и атомная бомба». // М., «Госатомиздат», 1963). Мысль великого физика, что наука «становится собственностью незначительного коллектива специалистов», ускользая от всеобщего понимания, многократно варьируется здесь. (С. 87, 120, 130 и след.).

2. В поддержку статьи Ю. Барабаша «Что есть справедливость» («Литературная газета, 1963, 31 августа») (см. примечание 1 к записи 17. XII) редакция опубликовала письма за подписью И. Атаджанян. («Литературная газета», 1963, 1 октября.) и Н. Селиверстова (инструктора Дзержинского райкома КПСС) из Ленинграда // Там же, 19 октября).

25. XII.

1. Очередная сессия (2-я 6-го созыва) Верховного Совета РСФСР, утверждавшая государственный план и бюджет на 1964–1965 гг.

2. Имеются в виду объяснения директора издательства «Советский писатель» Н.В. Лесючевского по поводу задержки отдельного издания поэмы «Теркин на том свете».

3. Б.Н. Новиков играл Теркина в одноименном спектакле театра им. Моссовета, в спектакле Театра Сатиры «Теркин на том свете» (в постановке В.Н. Плучека) — драма Теркина, а роль Теркина исполнял А. Папанов.

4. Речь идет о замысле рассказа о смоленской послевоенной деревне. Игнат Белый — персонаж ранних очерков А.Т. (Твардовский А.Т. «Пусть Игнат Белый скажет». // «Рабочий путь», 1933, 30 декабря и «Игнат Белый». // «Наступление». 1934. № 3.) Игнат Белый «занимает в колхозе особое положение. Он знает почти всех. На его глазах прошли десятки лет жизни этих людей, он несет в себе полувековой опыт, их мечты и разочарования, историю каждого двора и хозяина». (Твардовский А.Т. Соч. Т. 6. С. 105.) Возможно, к образу этого настоящего хозяина, его представлениям, как поднимать деревню, А.Т. обращается под впечатлением декабрьского пленума.

5. Маршак С.Я. «Служба жизни». // «Юность», 1964, № 9. Статья написана как вступительная к готовившемуся в Англии изданию «Теркина на том свете». Поэзию А.Т. Маршак называет здесь «сильной, полнокровной, не боящейся грубой прозы жизни и в то же время сложной и тонкой».

Публикация В.А. и О.А. Твардовских.

Подготовка текста Ю.Г. Буртина и О.А. Твардовской.

Примечания Ю.Г. Буртина и В.А. Твардовской.

(Продолжение следует)

Теневая Россия

Рассказы о нелегальной экономике

«Посмотри, какие машины около нашего здания стоят — не на зарплату же они куплены!»

Б. — офицер ФСБ. Живет в Уфе. Материальный достаток — примерно 800 рублей на члена семьи. Благодаря бесплатным билетам, полагающимся по службе на всю семью, в отпуск может позволить себе поездку в Санкт-Петербург или на Черное море.

Сегодня коррупция в большинстве своем завуалирована. Ну, скажем, празднуется «юбилей» школы, где мои девчонки учатся, — 14 (!) лет. Во-первых, что это за дата такая для юбилея? — ну, это ладно. Вроде бы преподносятся подарки: было распределено, что один класс (родители) дарят компьютер, другой — видеомэгнитофон и пр. Но на самом деле это же все неоприходованное имущество, которое можно потом и присвоить.

Или еще один случай. Я в течение трех лет не платил квартплату, потому что у меня дом не нашего ведомства: мне положено 50% платить, а с меня требовали полную стоимость. Добиться ничего было невозможно. Еще за прописку паспортистка требовала по 15 рублей с человека, хотя положено по сколько-то копеек. Ну, я, конечно, не стал платить просто из принципа. Все же прописала. Летом мэр издал указ: взимать квартплату с военнослужащих и с сотрудников органов 100%. Мы обратились к прокурору, руководствуясь законом о военной службе, он признал Указ мэра¹ незаконным. Мэр указ отменил (спустя 3 месяца), но тем, кто уже успел заплатить по 100%, никто деньги не вернул.

У меня способ борьбы с коррупцией один: я беру закон и каждому чиновнику сую его под нос. Иначе ничего не добьешься ни в судах, ни где. А так, наш статус позволяет самостоятельно защитить свое имущество или жизнь. С помощью своих.

У нашей структуры очень узкие функции, поэтому возможности для «заработка» минимальны. На шпионаже если ты человека поймал — в лучшем случае орден получишь, но не деньги с него возьмешь. Есть такие формы, как кураторство. Еще недавно была такая практика: курируешь ты, например, нефтяное предприятие и помогаешь ему получить лицензии на вывоз. Естественно, не безвозмездно — ты тоже можешь у них попросить что-то, и они могут тебе не отказать. Ну, посмотри хотя бы, какие машины около нашего здания стоят — не на зарплату же они куплены! Стоят в основном «Жигули» (*Прим. интервьюера.*). Башкирской нефти очень мало, и качество ее плохое. Поэтому нефть закупают в Тюмени, причем создаются фирмы-посредники. Сделана сегодня нефтяная компания, АО, в совет директоров входит сын Рахимова (президента Башкортостана. — *Ред.*), директор — марионетка. Заводу оставляют всего процента 4, а так всем распоряжается компания. У сына Рахимова был коммерческий директор, какой-то еврей, они что-то там не поделили, и Рахимов его уволил с формулировкой «без права работы в республике». Такую формулировку можно по суду только записать. Жулики у нас уже все легализовались, все эти казино уже канули в Лету. В основном все наживались на лицензиях, после того как Рахимов ввел запрет на вывоз нефти за пределы республики. Лицензии выдает министерство

нефтяной промышленности. Это все равно что с водкой. Возьми сейчас лицензию на 100 ящиков водки, купи ее на заводе, а потом еще сделай 100 ящиков левой водки и раскидай ее по магазинам. И кто тебя проверит? Если проверка придет — лицензия у тебя на месте. Так же могло быть и с нефтью, хотя как мы ни пытались проследить эту цепочку, нам не удалось. Очень все закрыто. Были у нас сведения, что к директору завода дипломатами носили валюту за оформление лицензии на вывоз нефти. Но конкретных данных у меня нет. Сам-то я не связан ни с чем таким, у меня профиль такой — борьба с коррупцией и оргпреступностью, а с этим делом нельзя бороться с помощью взяток.

Есть еще такие своеобразные формы «гостеприимства», когда приезжают к нам, например, из Москвы с инспекцией. Мы их, конечно, принимаем на соответствующем уровне, причем это все делается за личные деньги сотрудников. У нас же нет статьи «представительские расходы», поэтому приходится искать тех своих знакомых, которые занимаются предпринимательством, в основном это наши ветераны, которые ушли в коммерческие структуры. Они и есть наши главные спонсоры. Подарки обычно делаются небольшие: например, книжки про Уфу (рублей на 200), или набор ликероводочный, или баночка меда (рублей 250). Плюс «гостей» надо кормить и селить. Это, конечно, они уже сами оплачивают, но тут задача в том, чтобы дать им возможность сэкономить. Сегодня на проживание положено 270 рублей в сутки. А у меня есть вариант — санаторий-профилакторий, где за 150 рублей им будет и кормежка, и ночлег. Все это на чисто дружеских связях делается. С этого месяца немножко подорожало, но все равно приемлемые цены. Когда мы сами в Москву едем — тоже всегда с подарками.

А так мы вообще не финансируемся, например, мне нужно ехать в командировку в Москву, — я деньги должен искать сам. У нас сотрудники выезжают на задание без командировочных.

Совместительство нам запрещено за исключением преподавательской деятельности, но таких буквально единицы, кто этим занимается. Единственная возможность — взять на генеральском складе, например, перчатки меховые по 25 рублей за пару. Ну берешь две-три пары в год на подарки. Но ведь больше мне их никто не даст, то есть бизнес на этом не сделаешь. Обмундирование нам положено — можно взять деньгами, если старое еще не износил.

У нас своя поликлиника, и семья там же лечится, там никаких поборов не бывает. Не дождутся они, чтобы я им коньяк или конфеты носил. Наша контора должна нам оплачивать все лекарства, но у них нет средств, поэтому не оплачивают — зубы, например, не могу вылечить.

Если что-то сломалось, не вызываю никого домой, краны чиню сам, а если с телевизором или другой техникой что-то случается, просто отвожу на работу, и ребята тут смотрят.

По степени коррумпированности, как я считаю, правоохранительные органы сейчас на первом месте, на втором — мощные производственные предприятия. Виноваты именно надзирающие органы, которые мало того, что не блюдают законность, еще и сами законы нарушают. В 90-е годы была изменена кадровая политика в органах, раньше подбирали людей более тщательно, проверяли каждого от трех месяцев до года. А сейчас, например, из деревни человек хочет в город перебраться. Ему легче легкого устроиться в правоохранительные органы, потому что, во-первых, его проверять не надо — он же всю жизнь корову за соски дергал. Приехал он в город, ему квартиру дали или общежитие — и он уже послушный своему начальнику. В подчинение у нас любят брать дураков. Потом он, поработав немного, хочет уже из общежития в квартиру перебраться — а где деньги? Вот он и начинает взятки брать. Раньше как говорили? «Кадры решают все». А теперь — «кадры решили — и все».

Сейчас такая установка: брать на работу молодых людей с квартирой, чтобы их не надо было обеспечивать жильем. Для того, чтобы положенные 25 лет к выходу на пенсию отработать, в органы надо приходиться в 20 лет. А если разобраться, кто из 20-летних сегодня имеет квартиру? Или тот, у кого родители богатенькие, или тот, кто сам ворует.

Разве это правильно, что у нас на юридические факультеты или в Академию уголовного полиции принимают учиться за деньги, причем за большие? 7–10 тысяч долларов в год надо заплатить. Это что значит? Значит, что в органы придут работать дети воров и бандитов. Их же нужды они и будут обслуживать.

Смена законодательства тоже сыграла негативную роль, хаос в законотворчестве.

Например, закон об оперативно-розыскной деятельности. Раньше право на прослушивание телефонных разговоров имела только наша организация, и то с санкции прокуратуры. Теперь могут слушать все, кому не лень, любой коммерсант может себе позволить купить такое оборудование. Нарушение прав и свобод сегодня идет в первую очередь со стороны правоохранительных органов. Зачем это устроили распыление сил и средств — налоговая инспекция плюс еще налоговая полиция, а работают обе не в полную силу. Вообще у нас сейчас просто полицейское государство. Мы все числимся в разных списках, базах данных, причем открытых! Из компьютерной избирательной системы можно про меня все узнать — не только имя-отчество и адрес, но и сколько у меня детей, сколько им лет, как зовут и пр. Разве это не вторжение в частную жизнь? И это в отношении сотрудников ФСБ, которые всегда были «засекречены».

Я бы предпочел работать в сфере, не связанной с теневым бизнесом. Я не верю таким вариантам. Где есть большие деньги, там есть и обман, и любимчики у начальства, я бы все равно в их число не попал. Так что мне бесполезно ходить в такие сферы.

О личном бизнесе мне еще рано думать, до пенсии шесть лет. Но по складу характера я не коммерсант, скорее всего, пойду в какие-то охранные структуры, буду все равно связан с правоохранительной деятельностью.

Что касается нашей налоговой системы, я считаю, что у нас поборы, а не налоги. И если людей уклоняться от налогов вынуждает государство, то они так и поступают. Когда в республике 14 лишних налогов, разве это нормально? Здесь вообще ситуация такая: если ты можешь выкрутиться — выкручивайся. Если мы налоги платим, то это не потому, что так хотим, а потому, что нет такой возможности — не платить.

Опираясь в борьбе с теневой экономикой и коррупцией государство должно на правоохранительные органы — и все. Не нужно никаких общественных организаций. Я не верю в демократию. Пусть каждый занимается своим делом.

Руководители большинства предприятий должны быть государственными служащими, а не акционерами этих предприятий. Сделать им большие зарплаты и государственные чины. Тогда у них не будет стимула воровать. А вообще пусть над этим думают большие государственные умы.

Чиновник должен получать нормальную зарплату, но при определенных условиях. Нужно с чиновника требовать как следует, организовать строгий контроль. Прежде чем человека наказывать, ему надо что-то дать, чтобы он не бедствовал. С другой стороны, у нас коррупция не от того пошла, что людям есть нечего, а от того, что у нас перемешаны все социальные слои.

Вообще борьба с коррупцией должна идти параллельно с подъемом экономики. иначе результата не добьешься.

Вузовская система современной России — сплошной гнойник

С. — преподаватель-почасовик в вузе Ростова-на-Дону. Ему 40 лет. С женой и ребенком живет в стандартной трехкомнатной квартире. По его словам, имеет возможность не экономить на необходимом питании и одежде и даже откладывать деньги на покупку товаров длительного пользования и на черный день. В последние 5 лет дважды выезжал отдыхать в восточноевропейские страны и дважды проводил отдых на Черноморском побережье Кавказа.

Не так давно один из наших родственников сломал ногу. Его привезли в больницу, но заниматься им ни у кого из медперсонала не было желания. Больных было много, и врачи, как мне казалось, формально исполняли свои обязанности. Нам объяснили, что в больнице необходимо иметь свое постельное белье, бинты, шприцы, системы для капельниц, само собой — лекарства. К этому мы были готовы, потому что так живет весь Ростов (да и вся страна): все покупают медицинские средства сами и содержат больного полностью. Это в том случае, если родственники больного заинтересованы в том, чтобы он поскорее выздоровел.

Однако для того чтобы наш родственник встал на ноги, недостаточно было обеспечить его содержание и необходимые лекарства. Врач сразу сказал нам (после осмотра больного), что перелом сложный (со смещением), что человек уже не молодой (больной) и пр. То есть нужна операция, но нет никаких гарантий того, что она пройдет успешно. Естественно, мы «все поняли» и к следующему визиту (проконсультировавшись со знакомыми, которые попадали в такие ситуации), подготовили 2000 руб-

лей. Я лично, оставшись один на один с врачом, продолжал с ним беседовать о «предстоящих сложностях операции», а потом положил на край его рабочего стола свернутый вчетверо лист бумаги, в который была вложена сумма. Это было в минуту прощания с врачом. Я уже выходил и видел, как он эти деньги засунул себе в брючный карман. Потом врач меня проводил и сказал: «Надеюсь, все будет хорошо». И действительно, операция прошла достаточно удачно. Все были довольны. В этом случае я не могу никого осуждать из медработников. За хорошую работу нужно хорошо платить человеку. Конечно, не у всех людей (и больных, и здоровых) есть деньги на лечение. Причем болеют чаще-то люди старшего возраста (пенсионного), у которых денег не хватает даже на жизнь.

Вот другой эпизод. Один мой знакомый (работник спецслужб) в течение года «возился» со своей тещей. У нее были проблемы с желудком, и мой знакомый поместил ее в больницу для проведения операции. Главврачу по «своим каналам» коллега моего приятеля сообщил, что операцию нужно сделать хорошо, так как пациент не простой (точнее, ее родственники). Ребята понадеялись на авторитет «конторы». Но операцию сделали «как обычно», т.е. через два месяца начались свищи и пр. Опять тещу положили в больницу — повторная операция. Опять надавили через «органы», но состояние больной стало ухудшаться — она потеряла в весе, ей дали инвалидность. Третий раз уже не стали никуда возить. Но она живет и поныне, хотя сильно сдала. Итог: лучше бы моему знакомому было заплатить сразу за операцию, а не надеяться на то, что авторитет «конторы» поднимет больного на ноги. Возможно, что такая суета вокруг врачей этой больницы пошла только во вред всему процессу лечения. Но в спецслужбах (как и у ментов) не любят платить за какие-нибудь услуги, а стараются все сделать на халяву. Но халява — халяве рознь. Хорошего специалиста не принудишь свое дело делать творчески (это только в сталинских шарашках получалось).

Недавно заболела моя жена. Не было времени и желания идти в муниципальную поликлинику. Туда, если придешь со своими проблемами, то выйдешь или с гриппом или с чесоткой, которую подхватишь от коллег по несчастью (это я утрирую). Да и там на самом деле работают далеко не лучшие специалисты. Вообще, как мне кажется, в некоторых городских поликлиниках работают некоторые врачи, которые отличаются от больных тем, что знают ассортимент местной аптеки и прописывают больному те лекарства, которые в ней наличествуют.

Мы обратились в Дом здоровья. Заплатили 60 рублей за визит. Без душещипательных сцен (которыми изобилует обычная поликлиника) посетила жена врача, он ей назначил лекарства, направил на анализы и пр. Болезнь ушла. Мы потратили, может быть, на 100 рублей больше, чем в обычной поликлинике (за прием врача, за «нормальные» анализы), но избежали потери времени, возможного хамства, неприятных зрелищ, которые бы нас постигли в случае посещения муниципальных поликлиник.

Мы в последнее время стараемся либо не болеть, либо (в крайнем случае) обращаться в платную поликлинику (или к знакомым врачам). Ведь сегодня, если человек хочет получить нормальное медобслуживание, он должен платить. Другое дело, что в мелких городах существует изощренная система вымогательства или «блатного» лечения — я это знаю не понаслышке. В Ростове можно найти хорошего специалиста, можно выбрать нужного или подходящего врача. И в Ростове процедуру с оплатой медуслуги можно пройти либо официально, либо достаточно безболезненно в муниципальных больницах-поликлиниках. Платить придется все равно, если ты сам заинтересован в излечении. К этому готовы все люди, которые имеют на лечение деньги. Вот у кого их нет — это другой вопрос. Но у меня пока есть возможность заработать и не думать о сложностях. Если возникнут какие-то большие сложности со здоровьем у меня или у родных, то я — фаталист: есть болезни, которые не вылечишь деньгами, то есть болезни, которые у нас в стране не лечат или лечение стоит очень дорого. Есть болезни, за лечение которых нужно платить, но в зависимости от своего кошелька. И вообще, многим людям нужно понять, что здоровье нужно беречь постоянно, потому что оно не восполняется. А сколько случаев, что кто-то пьет всю молодость до одури, а потом начинает жаловаться под старость, что врачи его плохо лечат.

Скажу теперь о моей собственной профессии. В вузовской системе я работаю почти 15 лет и могу сказать, что около 80% всех преподавателей, так или иначе, нарушают существующее законодательство (незаконная предпринимательская деятельность, сокрытие доходов, вымогательства, взятки, злоупотребления служебным положением). Я и сам причастен к некоторым нарушениям. Примерно каждый второй преподаватель имеет двух-трех (а некоторые и более десяти) абитуриентов каждый год, с кото-

рыми он занимается по предметам вступительных экзаменов. Ставки за репетиторство разные: от 100 до 150 рублей за час занятий на нашем факультете. (Кстати, и в советские времена занимались этим же.)

Но сейчас родители абитуриентов готовы платить репетиторам не просто за занятия, а за гарантию поступления в вуз. Именно эта гарантия и стоит денег. (В некоторых вузах за репетиторство платят отдельно, а за поступление — отдельно, так как во вступительной комиссии данный репетитор может и не быть, но делиться с коллегами ему придется.) Практически на каждом факультете у «деятельных» преподавателей есть свои «квоты» на количество абитуриентов, которые должны поступить. Например, один преподаватель в текущем году входит в приемную комиссию. Естественно, что он протолкнет «своих» абитуриентов и абитуриентов своих близких коллег. Но он обязан протолкнуть и абитуриентов, которых готовили и более дальние (по степени отношений) коллеги, потому что в следующем учебном году этот преподаватель уже не будет в составе комиссии (происходит ротация кафедр) и не сможет влиять напрямую на зачисление. Получается, что на дневное (бесплатное) обучение поступают «свои» абитуриенты, в которых за год занятий преподаватели вкладывают знания. Но потом студенту необходимо учиться самому, а он этого не умеет или не хочет. И начинается процесс преподнесения подарков к каждой сессии. В итоге государственная система образования получает самую коррумпированную и ненаказуемую систему в лице преподавательского корпуса, а также никчемных специалистов, которые получают первый жизненный опыт теневой экономики в стенах вуза.

На платных отделениях ситуация аналогичная. Правда, за подготовку к зачислению в вуз абитуриенты там платят меньше: главное для абитуриента — пройти собеседование. Но каждая сессия для «коммерческих» студентов — сезон расплат. Из студентов таких отделений получают специалисты еще худшего уровня, чем из бесплатных отделений. Это особенно касается таких факультетов, как экономический и юридический. На юридическом факультете не платить за экзамен — нонсенс. Таким образом, правоведа нашего города с молодых ногтей — потенциальные нарушители закона. Что-либо изменить в вузовской системе, по-моему, невозможно. Тысячи родителей готовы платить (давать взятки) за обучение своих детей и молчать. Особо это касается юношей, которым грозит призыв в армию.

И еще. Вузовскую систему разъедает как ржавчина система кумовства и семейственности. Это самое страшное последствие реформ последнего десятилетия. На работу в вуз принимаются только «свои» люди (родня, знакомые, «нужные» люди). «Вузовские дамы» в прошлом и настоящем своем — сплошь жены или любовницы различных чиновников. Удастся весьма успешно пристроить деятелям от науки и своих детей на работу в вуз (или в другой вуз — «по обмену»: мы пристроим ваших детей, а вы — наших). Конкурсы на замещение вакантных должностей в вузах, а также экзамены в аспирантуру или кандидатские экзамены — сплошная фикция. Я не побоюсь этого слова, но вузовская система современной России — сплошной гнойник, который удалить можно, наверное, только вместе с таким географическим понятием, как сама Россия.

Если преподавателям вузов не платить зарплату, то они все равно будут ходить на работу, потому что источники финансирования посредством вымогательств и взятки неиссякаемые.

Впрочем, мои негативные замечания касаются прежде всего гуманитарных факультетов. На технических или других факультетах ситуация может быть и иной, но только лишь в том, что касается масштабов теневой преподавательской деятельности.

Мне кажется, что неработающая система вузовской демократии (т.н. университетских привилегий) только во вред высшему образованию. Высшая школа осталась неререформированной за последние 10 лет (кроме платного варианта обучения). Вузы за государственный счет готовят специалистов, которые остаются невостребованными обществом. Происходит жуткая растрата госсредств — образование неэффективно. Специалисты (особенно гуманитарии) историки, филологи, экономисты, психологи не востребованы обществом в тех масштабах, в которых их выпускают. Но, повторяю, вузовская система если и будет реформирована, то в последнюю очередь (из всех российских реформ), так как у всех чиновников, предпринимателей есть свои дети, которых нужно пристроить на обучение. Эта гигантская «черная дыра» неподотчетных финансовых потоков еще долго будет кормить множество дельцов от образования, которые плавно перекочевали из райкомов партии или комсомола в кабинеты кафедр или лабораторий.

В идеале мне хотелось бы вообще не работать по найму, а работать на себя. Но не получается. Хотелось бы работать с теми руководителями, которые далеки от теневого бизнеса (хотя встретить руководителей, не причастных к теневому бизнесу, сложно). Но, по большому счету, хотелось бы иметь основную работу (с которой придется уйти на пенсию), относительно чистую от теневых отношений, и какую-нибудь работу, где платили бы хорошо, но не заставляли бы меня идти на явное нарушение закона.

Конечно, есть идеи в образовательной и издательской деятельности. Мешают прежде всего коллеги по цеху, но это неустранимо. Но главное, нет надежных партнеров, с которыми можно было бы организовать дело. Да и налоги довольно высокие на предпринимательскую деятельность.

Как вы уже поняли, в целом я стараюсь избегать соприкосновения с коррупцией, но могу рассказать о другом. Когда началась предвыборная агитация, одному из моих бывших студентов в администрации области подкинули работенку: организовать в одном из городов области сбор подписей за «Единство» и одновременно агитацию избирателей «от двери к двери». Оплата была сдельная, для работы привлекли некоторых малообеспеченных студентов. На одного избирателя в день выделялся для агитации 1 рубль. Пятьдесят копеек из этого рубля шли на оплату труда самого агитатора, а остальные 50 копеек делили между собой тот самый мой бывший студент (за организацию процесса) и лидеры местного отделения «Единства» — новоявленные представители казачества и местные чиновники. Арифметика простая — в городе 50 тысяч избирателей. 20 дней шла агитация. 500 тысяч дельцы от выборов положили себе в карман. Все это было организовано областной администрацией.

Со злоупотреблениями сталкиваешься невольно. Не так давно ушел из жизни наш родственник. Это случилось неожиданно. Мы вызвали спецмашину, которая занимается перевозкой тел (заплатили 350 рублей). Необходимо было сделать вскрытие в БСМП. После того как был получен отчет патологоанатома, мы заплатили в морге тем ребятам, которые приготовили покойника к похоронам (300 рублей). Уже на кладбище передали «старшему» могильщику 2 бутылки водки и закуски (это обряд такой). Особых изысков в погребении мы не предполагали, поэтому все обошлось официальной церемонией. Но я прекрасно знаю, что, если кто-то хочет немного изменить официальный обряд, например, устроить похороны на Старом кладбище (ранее закрытом), либо устроить подзахоронение на Северном кладбище, тот должен платить кладбищенскому начальству. Причем это делается практически в открытую, и никто в эти дела не вмешивается (из чиновников) и не обижается (из родственников).

Что же касается бытовых услуг, всевозможных ремонтных работ, я всеми силами стремлюсь найти хороших мастеров за умеренную плату (умеренную не по моим возможностям, а по городским раскладам). Мечтаю, чтобы у меня был свой сапожник, свой телерадиоаудио- и прочих «железных» дел мастер, свой электрик, сантехник и пр. Я хочу, чтобы у нас были долгосрочные отношения на взаимовыгодных условиях. Весь мой опыт общения с работниками таких специальностей в советские времена был, что называется, сплошной головной болью. Я удивляюсь тому, что у нас в Ростовской области есть целая Академия сервиса (бывший институт бытового обслуживания населения), а найти толкового мастера по ремонту отечественной стиральной машины я не могу. В мастерскую я не повезу машину по разным причинам:

- там работают очень часто молодые ребята, у которых нет опыта;
- провоз-отвоз техники влетит мне в копеечку;
- сроки ремонта могут быть безграничными;
- нет никаких гарантий, что я смогу получить нормально работающую вещь из той же мастерской на длительный срок.

Если моя стиральная машина опять сломается после ее починки в мастерской, я как нормальный человек должен искать другого, более квалифицированного мастера, а не везти (за свои деньги) эту машину опять в мастерскую только лишь потому, что мне дали гарантию на 3 месяца. Уверен, что за бесплатно ребята из мастерской мне хорошо вещь не починят.

Я считаю, что всех этих ремонтников-специалистов, которые работают частным образом и хотят продолжать работать официально, нужно перевести на лицензирование — и все. Заплатил 500 рублей (к примеру) в год за лицензию — и делай людям добро. Не нужно этих людей «хватать» за руку и делать из них дельцов теневой экономики.

С сантехниками-электриками и пр. сложнее — они привязаны к нашему участку, и приглашать на их территорию посторонних не рекомендуется. Я наладил отношения с такими специалистами из местного ЖЭУ. Вызываю их, когда мне нужно, они

приходят минута в минуту, покупают на рынке все детали и отвечают за свою работу передо мной.

У меня есть свой мастер по ремонту автомобиля. Если возникает поломка, которую он не может устранить, он мне рекомендует кого-либо из своих друзей-знакомых. И эти ребята тоже отвечают за свою работу. Они знают мою машину лучше, чем я, и дают мне советы, которые я не получу даже за деньги (для того, чтобы дать дельный совет, нужно быть либо суперавтослесарем, либо наблюдать за моей машиной долгое время).

Да, еще хочу сказать, что в мастерских по ремонту (любых предметов) помимо того, что платишь в кассу, всегда приходится платить на руки исполнителю, для того чтобы «все получилось хорошо». А это, простите, двойные расходы.

Ремонт квартиры по возможности делаю сам, но если возникают сложные работы, вызываю специалистов через знакомых. Плачу, естественно, на руки.

Вообще, если говорить не о том, что я читал или чему склонен верить, а о том, что реально наблюдал или слышал от лиц, которым доверяю, то получается такая картина. Во взятках больше всего замешаны налоговые службы и работники милиции, которые берут взятки, и владельцы предприятий (и крупных, и мелких), которые их дают. А это, как мне кажется, уже не отношения преступника и потерпевшего. Просто существует тенденция «приплачивать» за услуги чиновникам или ответственным работникам по обоюдному согласию сторон. Вымогают больше других налоговые службы, чиновники администраций, которые регистрируют что-либо, и работники здравоохранения. От уплаты налогов чаще всего уклоняются владельцы предприятий, потому что у них есть средства, подлежащие налогообложению, а также руководители сельхозпредприятий и председатели колхозов, фермеры — продукция сельского хозяйства очень трудно поддается учету, мелкий бизнес (челноки, владельцы торговых точек, работники сферы обслуживания и транспорта и т. п.), работники сферы образования и здравоохранения. А вот в нелегальном производстве, насколько я знаю, задействованы не только владельцы этих предприятий, но и работники правоохранительных органов, которые делают крышу таким предприятиям.

У всех этих явлений есть организаторы и исполнители. Организаторы — чиновники, причем чем выше его ранг, тем шире сфера его злоупотреблений (это касается всех разрешительных процедур и контрольных функций чиновников). Работники МВД высокого уровня, которые покрывают разнообразную незаконную деятельность. Хозяева предприятий, которые активно сотрудничают и с чиновниками, и с представителями МВД в дележе прибыли, полученной от своей хозяйственной деятельности.

Всем известно: любой глава администрации — хоть крохотного поселка, хоть мегаполиса — связан с теневой экономикой. Кристально чистые работники администрации в природе не водятся, и, может быть, какая-то часть претендентов на это звание находится в психиатрических спецлечебницах. Речь здесь идет не о том, связан он или нет, а насколько он связан и с кем конкретно.

Я на местные выборы вообще не хожу, потому что ростовский тип чиновника любого масштаба мне органически неприятен. Более того, если выборы в центральные российские органы власти еще хоть как-то напоминают некое шоу, то местные выборы — это материал для работы современных Гоголей и Салтыковых-Щедриных, которые так хорошо описали провинциальных самодуров. За представителей явно криминального происхождения я мог бы проголосовать только в одном случае: будучи в числе присяжных и только лишь в случае вынесения постановления о пожизненном заключении такого представителя.

Конечно, в жизни всякое может случиться. И если в отношении меня будет принято какое-то несправедливое решение, я буду обжаловать его в вышестоящей инстанции, причем с личным присутствием и с получением какого-либо официального решения этой организации по моему вопросу. Возможен и суд, хотя я не люблю таких делопроизводств. Вдобавок, если я и выиграю в конкретном случае дело, то, возможно, в дальнейшем подвергнусь преследованиям. Безусловно, на всех этапах такого разбирательства мне придется консультироваться со знакомыми специалистами.

Что касается взятки... Ох, как не хотелось бы ее давать. Но если ее размеры будут несоизмеримо меньшими в сравнении с пользой, которую принесет положительное решение моего вопроса, то я согласен.

А вот угроза имуществу может исходить и от государственных органов, и тогда я не смогу ничего поделать. Насчет же физического насилия. Скорее всего, я обращусь

к знакомым, которые работают в правоохранительных органах или буду просто прятаться или прятать имущество.

Если подробнее говорить об уклонении от налогов, то, перефразируя, по-моему, Локка, я могу сказать, что я против неуплаты налогов, но ничего не имею против законного уклонения от их уплаты. Желание уклониться от уплаты налогов — такое же естественное желание человека, как и его стремление больше зарабатывать. Я согласен с тем, что новая экономическая система (постсоветская) предполагает процедуру налогообложения. Но за 10 лет, которые прошли в т.н. постсоветских условиях, в Ростове не было построено ни одного нового кинотеатра (закрыто, продано — штук семь), ни одного здания соцкультбыта, ни одного корпуса вуза или техникума и пр. Куда уходят деньги — так до сих пор и неясно. Их даже не хватает пенсионерам для выплаты смехотворных пенсий.

Впрочем, если от уплаты налогов уклоняются те люди, которые не используют наемную рабочую силу в своей трудовой деятельности, пусть это будут так называемые рядовые граждане, то я отношусь к этому явлению с пониманием. Рядовые граждане в современной России вынуждены работать дополнительно, чтобы уплатить налоги. А кто сегодня захочет работать бесплатно? Если вам нужно уплатить с доходов 30–40% в виде налога, то это не просто деньги, а бесплатная отработка на государство. (Я повторяю, что речь идет о простых гражданах, которые не используют наемный труд). Допустим, вы заработали как частный предприниматель 1000 рублей и вам по закону нужно отдать 35% в форме различных выплат (допустим, вы занимаетесь репетиторством). Получается, что из 8 часов дополнительного рабочего времени (при всем при том, что вы еще работаете на основной работе в вузе или техникуме) 2,5 часа вы работаете бесплатно. Интересно, а если для своевременной и полной уплаты налогов попросить вас поработать эти 2,5 часа бесплатно «на дядю», как вы к этому отнесетесь? Я думаю, что более халтурное выполнение работы трудно будет найти (если вы все-таки согласитесь отработать бесплатно).

Таким образом, я полагаю, что уплата налогов рядовым гражданином — бесплатная отработка на государство (вот вам и трудовая теория стоимости). Вообще наш средний заработок в 1200 рублей (для доцента) по нынешним меркам — зарплата рядового в МВД (1200 рублей на момент интервью были равны \$42. — *Ред.*). Вот так нас оценивает государство. Я согласен был бы уплатить с репетиторства 10% налогов и готов был бы показать открыто свои заработки. Но на это вряд ли пойдет большинство моих коллег: подготовка абитуриентов к поступлению в вуз — это самый честный заработок в высшей школе. Но кто захочет рассказать о махинациях с зачислением на обучение по блату и взятках за оценки на экзаменах? Поэтому я с пониманием отношусь к тем гражданам, которые укрывают от налогов деньги, заработанные своим трудом (или своим горбом), но не одобряю тех, кто урывает приличные суммы от использования служебного положения.

Понятно, что двойную бухгалтерию по выплате зарплат ведут практически все реально работающие предприятия, иначе бы они не были работающими. И я отношусь к этому явлению с пониманием. Скорее всего, у руководителя предприятия нет иного выхода, как скрывать реальный фонд заработной платы, чтобы платить людям более или менее достойную зарплату. А иначе люди бы не стали работать на таком предприятии. Это сплошь и рядом происходит в коммерческих учреждениях. И особенно в фирмах, занимающихся торговлей. Агенты работают «на процентах», то есть получают свои 2–3% от сделки (или оборота). Честно говоря, меня это не очень волнует. Если поймали такого руководителя за руку, я скажу: не повезло. А если у него получается, то и пусть себе работает. А вот брокеры на бирже должны платить налоги по полной программе (и риэлторские конторы).

Вы спрашиваете, как я отношусь к уплате налогов? Вообще, если с человека снять последнюю рубашку, то он просто замерзнет (а именно так и будет, если заплатить налоги полностью). Вы поймите: я ведь плачу налоги еще и косвенно, они заложены в любом товаре, который продается достаточно легальным образом. У нас в Ростове долго дискутировался Закон о вмененном налоге. Челноки и мелкие торговцы на рынках (мелкооптовых, розничных) просто взвыли, когда власти решили снабдить их кассовыми аппаратами и поставить на государственный счетчик. Если бы у налоговиков это получилось, то цены на таких рынках взлетели бы как минимум в 2 раза, а кто бы выиграл в такой ситуации? Ясно, что не я как рядовой покупатель...

«Остается надеяться только на милость Божию...»

Б. — второй священник небольшого храма в областном центре. Определяет свой уровень жизни как «средневозможный для проживания», то есть на скромную жизнь ему вполне хватает.

Я не водитель, но знаком со многими автомобилистами, часто езжу в машинах. Сажу я обычно на заднем сидении, оттуда как раз очень хорошо все видно. Ведь милиционер, остановивший машину, обычно не подходит к передней дверце, а ждет, пока водитель подойдет к нему. Делается это, видимо, как раз для того, чтобы не было свидетелей, но с заднего сиденья все видно и слышно. Процедура переговоров очень простая, повторяется с ритуальной частотой и заканчивается, как правило, тем, что водитель отдает без всякой квитанции примерно половину изначально требуемой суммы и убирается восвояси. Причем в половине случаев гаишники сами провоцируют нарушения. Например, очень распространен такой маневр. Машина, которая, как потом выясняется, принадлежит ГАИ (она обычно заляпана грязью, так что опознавательные надписи издали не разобрать), идет впереди тебя по шоссе с предельно допустимой скоростью, а когда тебе надоедает за ней тащиться и ты начинаешь ее обгонять — дает сигнал остановиться или передает по радиации сигнал на ближайший пост, где тебя и штрафуют. И таких способов масса. ГАИ (теперь их называют вовсе непроизносимо — ГИБДД) мне кажется наиболее коррумпированной структурой.

А так, в повседневной жизни, достаточно часто приходится сталкиваться с разнообразными теневыми формами отношений. Причем это уже воспринимается людьми как нечто само собой разумеющееся. Вот последний поразивший меня случай. Я пошел на рынок за овощами. Вижу, продавщица меня пытается обвесить, причем делает это довольно нагло и топорно, то есть просто придерживает одну чашку весов рукой. Я ей делаю замечание: нехорошо, мол. А она мне в ответ: «Ну, ты ж поп, постыдился бы! Рясу надел, а туда же!». Я так и не понял, чего я должен стыдиться, но ее реакция меня настолько поразила, что я даже забыл, за чем пришел.

В вузах, как я понимаю, основная коррупция вертится вокруг вступительных экзаменов. Самый запомнившийся мне случай здесь, наверное, такой. Дочь моих хороших знакомых поступала в московский институт. Вместе с ней поступала девушка, которая была удалена с экзамена за явное списывание. Через некоторое время эти две девочки встречаются, и выясняется, что обе поступили. Одна спрашивает другую: «Как ты сдала? Тебя же удалили с экзамена!». На что вторая отвечает: «Ты знаешь, меня привели в комнату, там лежали ответы, и я все списала». Впрочем, мне знакомые преподаватели рассказывали и о том, что в некоторых вузах уже освоили прием вообще без экзаменов. То есть ты платишь деньги, а уж оформить ведомости и прочие документы — это проблема тех, кому ты эти деньги дал. Один мой знакомый, обучающийся в одном из вузов экономики, рассказывал другую историю. У них официально ввели платные пересдачи, если не ошибаюсь, это стоит теперь 100 долларов. В результате на экзаменах преподаватели стали откровенно валить студентов. Могут, например, задать вопрос, который не просто не рассматривался на занятиях, но и вообще не относится к данной дисциплине.

Или возьмем ситуацию в медицине. Мне доводилось наблюдать, как делается анализ на белок для реанимационного отделения, где любой анализ исключительно важен. Медсестра взбалтывает две пробирки, смотрит на свет и говорит: «Ладно, у этого две единицы, у этого три единицы. Все равно они мне ничего *не заплотот*». У многих врачей, в общем-то, такое же отношение. Естественно, что если больные или их родственники на всех стадиях обследования оплачивают дополнительно труд врачей и медсестер, то дело идет совсем по-другому.

Я вижу, что сейчас для любых услуг наиболее частая форма оплаты — это оплата наличными мимо кассы. В последнее время я так и телефон устанавливал, и обувь ремонтировал. Тебе все делают, ты даешь деньги, и все.

Ну и когда я увидел в официальном прейскуранте «Ритуал-сервиса» отдельной строкой услугу «снятие гроба со стеллажа и погрузка его в автокатафалк», за которую предусматривалась отдельная оплата, мне все с этой сферой услуг стало понятно. При таких прейскурантах можно обойтись и без коррупции. Но оказалось, что и без прямого вымогательства там не обходится.

Есть такая специфическая форма коррупции в ритуальных бюро, с которой мне пришлось столкнуться, когда я служил в храме, при котором раньше было кладбище.

Если священник находит на территории храма кости и хочет их захоронить по-христиански, он, естественно, идет в ритуальное бюро за небольшим гробиком. Там ему объясняют, что гроб продается только по предъявлении справки о смерти. Никакие письма настоятеля их не убеждают, им нужны доказательства, что кости мертвые. Я говорю: «Я могу вам их привезти». Они отвечают: «Это излишне, вы нам справку предоставьте». «А если, спрашиваю, он в XVII веке помер?» «Это ваши трудности», — говорят. И при этом всем видом показывают, что не хватает одного маленького аргумента, при наличии которого дело можно уладить очень быстро. В итоге после вмешательства епархии и их ритуального начальства конфликт удалось разрешить и без этого аргумента. Потом мне пришлось убедиться, что и в более стандартных случаях воровства в этой сфере не меньше. Официальной справки о смерти, конечно, достаточно, но особую убедительность она обретает, если к ней приложено несколько крупных купюр. В противном случае гробов может не оказаться в «Ритуал-сервисе» целый месяц. То же и со всеми остальными необходимыми покойнику вещами, как то: тапочки, венки и т.д.

К сожалению, даже церковь сегодня вовлечена в теневой бизнес. Ведь она сейчас находится в очень тяжелом экономическом положении. Это происходит вследствие открытия новых приходов, часто нерентабельных. Ведь как строится церковная экономика? Приход платит процентов 15 своего дохода епархии, епархия примерно столько же платит Патриархии. Если приход беден, он не только освобождается от уплаты епархиальных взносов, но и сам нуждается в дотациях сверху. А ведь у нас есть приходы, где доход составляет 100 руб. в месяц, то есть 1200 руб. за год. На этих приходах в принципе отсутствуют прихожане. Настоятели таких приходов едут в Москву и живут там за счет треб, освящая машины, офисы. На приходе их просто не видят. И их можно понять: надо кормить себя и свою семью. Или есть еще у нас такая категория духовенства, которую архиереем содержит за счет своих доходов, перечисляя им ежемесячно какие-то суммы. Так как официальная зарплата у архиерея очень невелика, то деньги эти берутся из тех пожертвований, которые регулярно направляются лично нашему архиепископу настоятелями крупных монастырей или богатыми представителями духовенства.

Ни для кого не секрет, что на каждом приходе существует двойная бухгалтерия. Епархиальный взнос платится с суммы, внесенной в официальный отчет. Чтобы платить меньше денег, настоятель храма занижает сумму доходов прихода. По моим впечатлениям, в документах часто указывают только процентов 20 от реальной прибыли. Я был на одном приходском собрании, где в присутствии благочинного* бухгалтер с радостным видом зачитывала годовой отчет своего прихода. «На зарплату священнику, говорит она, за год было израсходовано 300 рублей (около 10 долларов — *Ред.*)». При этом было известно, что у священника неработающая супруга, двое детей-школьников, а сам он живет в пригороде и каждый день ездит в город к месту службы. Благочинный приехал с какого-то праздника, всю дорогу просидел, не поднимая головы, спорить ему совсем не хотелось, и он сказал: «Я вам это подпишу, но если придет налоговая — они вам не поверят». Люди поняли, что зарвались, годовой отчет тут же переписали, в нем уже были теперь совершенно другие цифры, но это никого не смущало. Бухгалтера этого, кстати, в итоге уволили, но уволили только после смены благочинного. Когда новый благочинный пообещал приехать и проверить все финансовые документы храма, бухгалтер срочно заболела, проболела три месяца и в результате уволилась. Есть и более сложные комбинации. В Церкви идет борьба за посты, за влияние, и здесь, конечно, денежные потоки играют большую роль. Скажем, известно, что у нас большинство храмов епархиальному управлению ничего не платит. Но если священник назначен настоятелем богатого прихода и если он хочет там остаться, то он должен регулярно деньги в епархию переводить. То же самое благочинные. Почему благочинными назначают обычно настоятелей самых богатых храмов? Потому что если ты благочинный, то ты будешь деньги в епархию платить и еще что-то сверх положенного туда переводить. А если нет, то можешь потерять и благочиние, и свой храм богатый. Или вот еще один момент. Все знают, что у нас в епархии идет борьба за то, кто будет следующим епископом. Я уж не говорю, что при живом архиерее это как-то нехорошо выглядит, не об этом речь. Борются секретарь епархии и настоятель нашего самого крупного мужского монасты-

* Благочинный — священник, осуществляющий руководство клириками нескольких храмов.

ря. Каждый промах одного другой тут же использует. Отцу настоятелю легче, у него монастырская казна под рукой. Вот, скажем, когда у нас православная школа чуть не закрылась из-за огромных долгов и епархия не могла оплатить энергию и прочие расходы, этот настоятель монастыря взялся погасить все долги. И долги он действительно погасил, только отец секретарь, который до этого школу курировал, потерял туда всякий доступ. Школа в итоге перешла в ведение одного из городских храмов, который известен своими теплыми отношениями с этим монастырем. То есть деньги как бы обмениваются на влияние.

Деньги платить священнику должен приход, но при этом приход должен быть рентабелен. Для этого надо не открывать лишних храмов. В некоторых епархиях перед тем, как открыть храм, архиерей посылает туда комиссию, которая должна установить перспективность прихода. Эта комиссия должна проверить степень разрушенности храма (если от него осталось один фундамент, какой смысл его восстанавливать?), оценить потенциальное число прихожан, узнать, имеется ли там жилье для священника, есть ли возможность его детям обучаться в школе, если он женат и т.д. И только после доклада этой комиссии архиерей посылает на приход священника. Причем для женатых священников выбирают более богатые приходы, для монахов — более бедные. Смотрят на количество детей у этого священника, на его возраст, склонности, хозяйственные способности. Если приход нерентабелен, не надо открывать там храм, его можно просто приписать к другому храму, который сможет потянуть этот приход. Есть, в конце концов, дореволюционная традиция приписных храмов, когда за крупным приходом числилось до десяти мелких. Во Франции, например, у католиков сегодня в каких-то областях есть только один священник на десять храмов, и он служит во всех по очереди. Если кто-то умер, кого-то надо причастить, его вызывают по телефону. Естественно, десять храмов его прокормить могут. Надо такую же систему вводить и у нас. Система, существующая сегодня, вынуждает священника идти на канонические нарушения и искать вторую работу. Священнослужители работают преподавателями, врачами, подрабатывают в ритуальных бюро. Эту систему надо менять.

Государство должно пойти навстречу Церкви в том, что касается налоговых льгот для священников. Сегодня священник из своей зарплаты должен выплачивать взносы во всевозможные фонды: пенсионный, медицинского страхования и т.д. Насчет Пенсионного фонда существует даже специальный указ Патриарха: поскольку епархии не в состоянии платить священникам пенсию из своих средств, священник должен отчислять взносы в Пенсионный фонд. Все это приводит к ведению на приходе двойной бухгалтерии и получению священником основной части зарплаты мимо ведомости. Никто не хочет отдавать большую часть своих денег разным фондам. Кроме того, государство должно помочь Церкви решить ряд спорных вопросов с музеями. В запасниках музеев находится множество священнических облачений, предметов церковной утвари, не имеющих не только исторической, но и материальной ценности. Надо помочь Церкви получить это. Необходимо также передать Церкви бывшие церковные здания. Вот у нас в пригороде областного центра храм был взорван, но осталось три бывших священнических дома. Ни один из них Церкви не передан, так как сейчас в законе речь идет только о культовых сооружениях. Дома причта местные власти нам предлагают выкупать и назначают за них несусветную цену.

Исходя из вышесказанного, вы можете понять, почему я прекрасно понимаю людей, которые уклоняются от налогов. Ведь если с зарплаты удерживать большую ее часть, то какой тогда смысл в зарплате? Если государство берет у человека все, а потом приходит и говорит: «Вы знаете, нам не хватило, добавьте» — как можно относиться к такому государству?

Сам я работал коммерческим директором фирмы, торговавшей церковным товаром и состоявшей из трех человек: генерального директора, коммерческого и бухгалтера, по совместительству зав. складом. Но ни рэкетеры, ни налоговики чрезмерного интереса к церковной торговле не проявляют, никаких проблем в этом смысле у нас не было. Когда выяснилось, что два бедных продавца, торгующие с выездных лотков, не в силах прокормить трех начальников, фирма тихо закрылась.

Мое отношение к коррупции таково: она была, есть и будет. В наших условиях борьба с ней бесполезна, потому что если с коррупцией начинают бороться те же, кто в ней участвует, то эффект обычно нулевой. Мне кажется, что важный источник разворывания денег — это средства, выделяемые именно на борьбу с коррупцией. Так что в нынешних условиях борьба с коррупцией нужна прежде всего тем, кто борется. Таким структурам, как ФСБ, коррупция просто необходима. Если вдруг не станет

коррупции, чем же они будут заниматься? Поэтому летят для виду нижние головы, верхние никогда не полетят. Если они полетят — у нас не будет страны.

Ни суд, ни силовые структуры сегодня не способны защитить человека. Остается надеяться только на милость Божию.

Повсеместно, например, говорят о коррумпированности тех или иных руководителей, их причастности к теневому бизнесу. Я же думаю, что до тех пор, пока это не доказано судом — это его личное дело. Откуда я знаю об этих отношениях? Я свечку не держал, а ведь существует презумпция невиновности. Я знаю, что у нас во время выборов мэра одного из кандидатов обвиняли в неуплате налогов в Пенсионный фонд, причем обвиняли те же люди, которые этот фонд и разворовали. Так что в таких вопросах я доверяю только суду.

О мерах борьбы с коррупцией могу точно сказать одно: повышать зарплату чиновникам бесполезно — аппетит приходит во время еды. Пока человек имеет маленькую зарплату, он думает о том, как бы ему выжить; когда он начинает получать большую зарплату, он думает, как ее увеличить. Мне известно всего два примера успешной борьбы с коррупцией. Оба имели место в Киевской епархии и связаны с именем епархиального духовника, схиархимандрита Зосимы. Однажды в машине он ехал для исповеди в один из монастырей. Машина была с тонированными стеклами, ее остановили, гаишник привычно взял взятку. Заднее стекло медленно опускается, старец подзывает к себе молодого милиционера, указывает на свою сидушку, расшитую крестами и черепами, и говорит: «Я к тебе не приду. А вот ты ко мне (указывает на один из черепов) — придешь». Взятка, насколько мне известно, была возвращена. В другой раз в аналогичной ситуации старец вышел из машины, взял горстку земельки возле ноги милиционера, аккуратно упаковал ее в свой носовой платок, а на вопрос удивленного милиционера: «Батюшка, что это вы делаете?» ответил: «А я как раз на кладбище еду. Вот, касатик, отпою тебя заочно с этой земелькой». Гаишник ошарашенно отпустил машину, но потом по номерам нашел ее, и не только вернул взятку, но и пожертвовал большую сумму на храм, лишь бы батюшка вернул земельку. Но кроме таких исключений, других примеров успешной борьбы с коррупцией у нас нет и быть не может. Если кто-то всерьез этим займется, его просто уберут.

Национальная специфика литературы — анахронизм или неотъемлемое качество?

В эпоху романтизма наличие национальных традиций, национального своеобразия каждой из литератур, составлявших мировую литературу, не подвергалось сомнению. Да и позже — вряд ли, скажем, можно было спутать английскую литературу времен Диккенса или Голсуорси, французскую времен Бальзака или Золя и русскую времен Достоевского или Чехова. Но в уходящем XX веке по нарастающей развивались процессы глобализации мира. Коснулись они, бесспорно, и культуры в целом, и литературы. Уже в середине века процесс взаимовлияния ощутимо сказывался даже в творчестве крупных авторов. В наши дни вопрос о национальной специфике литературы, кажется, может вызвать лишь улыбку. Многие считают, что мировой литературный поток ныне абсолютно однороден, и его маяки и ориентиры — произведения Умберто Эко, Милорада Павича, Кингсли Эмиса, Джозефа Майкла Кутзее и других — имеют лишь качественные, а не национальные отличия. Причем если в середине века, при всем ощутимом влиянии, какое оказывала, скажем, проза Фолкнера или Хемингуэя на отечественных авторов, описываемые ими реалии все же оставались разными и хотя бы этим способствовали своеобразию, то теперь и бытовые реалии нашей жизни все более становятся похожи на общемировые...

И все же, рискуя показаться «несовременными», мы предлагаем поразмышлять о том, сохранилось ли по сию пору и сохранится ли в будущем веке национальное своеобразие литературы? Понятно, что главным образом нас интересует отечественная литература, ее настоящее положение и перспективы. При этом речь идет, безусловно, не о внешних атрибутах; как говорил классик, национальность не в покрое сарафана, а в духе народа...

С таким предложением редакция обратилась к нескольким отечественным писателям, критикам, переводчикам.

Лев Аннинский

Глобальное и национальное: чья возьмет?

Гете не знал слова «глобализация». Однако первым, насколько я знаю, употребил словосочетание «мировая литература». Так что есть соблазн предположить, что тогда она и началась. Хотя она началась раньше. Всегда, во все времена была соотнесенность частей человеческой культуры — при всей нерегулярности прямых контактов и переключек; мы теперь, составляя и изучая историю «мировой литературы», эту общую историю достаточно логично «вычитываем» из невообразимо далеких текстов: что-то заложено, что-то таится, что-то общечеловеческое присутствует в замысле о человечестве, и существует столько же, сколько сама человеческая культура.

Вы скажете, что именно и только теперь прямые контакты и непрерывные переключки ощутимо привели ко «всемирному процессу», к «мэйнстриму», к «общему потоку», на фоне которого барахтанье отдельных национальных организмов может вызвать у знатока лишь улыбку.

Я отвечаю, что улыбки будут взаимными, потому что всякое усиление интегральных тенденций в культуре сопровождается усилением локального им сопротивления под любыми флагами. Взаимоупор противоположных факторов неизбежен, иначе — системный коллапс.

Вы скажете: а Интернет?! Разве можно сравнить скорость почтовой клячи, двести лет назад тащившей воз взаимоперевода, — и нынешние электронно-синхронные молнии, доставляющие прямо пред мои очи все, что в этот момент пишется на той стороне Атлантики?

Я соглашусь, что электроника, конечно, способна в считанные мгновенья доставить все, что сочинено на берегах мирового литературного океана, пред мои очи, да очи не вместят. Общение ограничено не техническими возможностями, а потенциями человеческого организма, который живет все-таки не десятью, а одной жизнью.

Вы скажете: но масштабы и рост словесного самовыражения на рубеже третьего тысячелетия христианской эры беспрецедентны, и это факт.

Я замечу, что на всякий упрямый факт найдется другой упрямый факт, и на всякий рост имеется своя пробка, которая отключит энергию при фатальном перевесе литературоцентризма. Весь этот буквенный край возьмет да и отколется, и отплывет во тьму архивов, то есть люди просто перестанут читать. Что сейчас, кстати, и происходит.

Я способен воспринять столько, сколько способен переработать, освоить, присвоить. Разумеется, читая Умберто Эко или Милорада Павича, я могу вычленить то общее, что у них есть и что отходит на уровень «глобальности», точно так же, как я могу уловить, где там итальянское, а где югославянское. Ну и что? А то, что по-настоящему я в этот опыт вникну не тогда, когда соотнесу его с теми или иными умопостигаемыми сущностями, а лишь тогда, когда переживу его — как свой. То есть когда он станет моим — русским опытом. Когда я введу его в контекст моей культуры.

Какой — «моей»? Национальной, наконец?

Только «наконец», не раньше. И без конца уточняя этот термин.

Копится национальное, местное, локальное, конкретное, почвенное, непосредственное, низовое — всегда. И всегда пытается охватить его — интегральное. Когда есть то, что можно соединить воедино, возникает объединительная тяга. Империи — попытки соединить пестрое в единое. Все великие культуры созданы если не на почве империй, то в рамках империй.

Что обрамляется?

А то самое, локальное, что подымается «снизу» и ищет контекста, в последнем пределе — контекста вселенского.

Вопрос в том, как «метить» это частное и особенное при его вхождении в общий поток и сопротивлении потоку. Мета — это уже знак судьбы, след обстоятельств, клеймо события, технология истории, зарубка бога. Метилось конфессионально. Метилось социальное. Метилось государственно. Метилось антигосударственно, то есть партийно: по интересам.

Сейчас метится — национально.

Спорить с этим все равно, что спорить с дождем. Национальная разметка так же преходяща, неизбежна, реальна и эфемерна, как все до нее. Силятся люди определить «свое», а оно ускользает.

Конечно, природа может помочь: одним кожу вычернит, другим носы вытянет. Но для того, чтобы носы сработали, дух должен придать им значение. И цвет кожи именно дух должен сделать «признаком». А если духу это без разницы, так и нос никого не заденет. Какое кому было дело, что артиллерийский начальник у Петра Великого был арап: он служил России, значит, был русским.

Тогда почему эти клейма так живучи?

Потому что другим «признакам» веры нет. Цвет кожи, форма носа и родословие дедушек-бабушек — это ж такое свое, природное, неотъемлемое, автоматически полученное, без усилий!

Так потому в конце концов для духа и безразличное, что без усилий получено! Потому «национальное» и не укладывается в «родовое», не совпадает с ним, что на духовный вопрос пытаются дать материальный ответ.

Глупо спорить и смешно бороться с тем, что сейчас именно «нация» — мета всего того конкретного, что противостоит решаему в виртуальных высях глобализму. Борьба происходит на другом уровне — на уровне трактовок самой «нации». Вон братья-украинцы как отделились, так и бьются над вопросом, кто они: то ли братья по крови, то ли сограждане, опора единого государства, независимо от того, от каких корней и колен. Нация — бесспорный фаворит в теперешней духовной тяжбе «верха» и «низа». А вот борьба этнического и культурного внутри нации — настоящая и еще не решенная проблема.

Этническое может стать национальным только на уровне культуры, если окажется сопряжено со всеми другими ценностями: государственными, общественными, мировыми... Пароль здесь — не голос крови и не состав генов, а культурный код. То есть поведенческий код, нашедший для себя язык.

Пропустив говоря, язык — это и есть пароль. Это и есть знамя, под которым собираются эти общности. Язык — средство общения, концентрат духовного опыта, залог того, что этот опыт не будет забыт или растрочен впустую.

Пример Израиля, раскрученного из ивритских письмен на глазах человечества, — уникально-обезначим. По чистоте эксперимента. И по убедительности результата.

Только не надо на этот опыт уповать как на умозрительно-волевое задание. Нация реализуется, только когда сила накапливается, и жажда усиливается, и энергия ищет выхода.

Никакой специально национальной культуры и словесности не создашь. И никакой специально глобальной. Из этого патентованного глобализма не вытрясешь ничего, кроме звездной пыли. Но и национальное не выжмешь из этнического, даже если будешь писать слово «русский» через два «р» и три «с».

Надо жить тем, что есть в реальности и на духу История решит, куда это вписать: в социум, в нацию, в космос, в этнос...

Если, конечно, будет, ЧТО вписывать.

Георгий Гачев

9.7.2000.

Сохранятся ли в будущем национальные литературы?

В этом вопросе содержатся еще под-вопросы: что понимать под литературой? какова судьба национальных миров? в каком будущем: близком, отдаленном?

Но и вообще: почему возник сам общий вопрос? Очевидно, от вовлеченности стран и народов и их культур в процесс единой мировой истории и цивилизации, которые связуют всех: взаимодействуют, выравнивают, но и разнообразят. Все стали читать всех: японцы — мексиканцев, — и влиять. Но на что? На авторов, индивидуальные манеры их: кому ближе Пруст, кому — Маркес, кому — Солженицын... Так что при том, что единое поле каждой национальной литературы размывается, унифицируется со всемирной литературой, в нем разнообразятся писатели, творческие индивидуальности.

Но это — итог, когда на мировой рынок литературы поступают уже изготовленные произведения. А вот откуда они ИЗВОДЯТСЯ? Из родников, не иначе. Как и воды великих рек — Волг или Амазонок национальных литератур, а потом океана всемирной, где смешиваются все и вся, — из ключиков бьющих, пульсирующих сердечек.

А род-ник на род-ине, ее предполагает: место, корень и вертикаль Земля — Небо, проходящую транзитом через сердце — «я» творческого сосуда. И тут родной язык, как материнское лоно, первообразующ в высказывании человека (сперва); а потом уж — писателя. Muttersprache = «материнский язык», «мать-язык» — так в немецком языке именуется родной язык. Он — естественный, или природный, Логос (Бог-Слово, как дух и ум), в отличие от приобретаемого через труд образования, искусственного, «тварного» (ибо «сотворенна», «не рожденна») Логоса всемирной цивилизации. Последний — идет, налетает из горизонтали поверхности Земли, где разные и стороны света, и страны, общества, социумы.

И вот человек, который прибегает к Слову, «писатель», оказывается сразу в поле сверхличных энергий: Вертикаль Земля — Небо, Матерь (я) — Дух (Отец, мужское). проходящая как ось через «я», мою душу. В этом аспекте человек = растение. Горизонталь мировой цивилизации и всемирной литературы, где Дух, как «вольный сын эфира», летает и «дышит, где хочет». И — Шар, целостность данной страны и ее истории, культуры, судьбы. Тут протекает жизнь, а человек — животное, самодвижное существо. И все эти три (по крайней мере) силы-тенденции тянут в свои стороны: так и распяливают, но и питают-формируют индивидуальность творца.

А зачем пишут? «Писатель» — это потом тебя назовут так. А сперва-то — голосит начинаешь, как птичка на заре — утренней или вечерней (мемуары в старости вдруг писать начинает человек, как исповедаться накануне...). Душу излить. Слово тому — ближайший материал, инструмент: голос-логос.

11.7.2000. Слово, Язык — это ведь не собственность художественной литературы, но всякая. На его территории толкуются и бытовая речь, и философия, и наука, и религия, политика... На пространстве русского языка, кроме русских, и киргиз Айтматов, и казах Сулейменов, чукча Рытхэу... Какую литературу они пишут: киргизскую? казахскую? чукотскую?.. Они выразили жизнь, душу и судьбу народа киргизского, чукотского... — но напитали литературу русскую, ее обогатили, а свои родные — умалили, отощали они из-за бегства их талантов в инородный язык.

Или ныне — в Израиле эмигранты из России пишут на русском языке: Игорь Губерман, Дина Рубина и много... Так что они пишут? Еврейскую литературу на русском языке?.. Или — общечеловеческую литературу на русском языке? Ибо как личности, индивидуальные «я» прибегают к Слову-Логосу русскому как родному для них, естественному, хотя не скажешь про них, что «с молоком матери» в них вошло, ибо кровь и плоть в них нерусская...

В таких авторах — диалог Логоса и Этнуса, и в силовом поле напряжений меж ними — и идет творчество, сюжеты, проблемы, оригинальность образуется — и неповторимый вклад в мировую литературу. На ее рынок-базар... Несут туда личные варианты Логоса, ибо индивидуально пишутся книги. Но так же индивидуально и консультируются: читатель наедине своими глазами, как своим ртом ест. Как особь внутри на-Рода людского, киргизского, еврейского... Вертикаль-радиус внутри шара... На уровне личностей, «я», идет встреча писателя и читателя. Тет-а-тет... Tête-à-tête.

Тут — как в сложноподчиненном предложении: слово, каждый оборот-элемент соподчинен разным уровням: голос как Личность, как глас Народа, как Логос Человечества. И то, и другое слышится в нем, выражается.

Так вот: исчезнет ли краска национальная в живописи литературы будущей? — вот в чем вопрос. При динамизме современной цивилизации, при ускоряющемся общении и поездках все так перемешивается, некая вселенская смазь образуется и в душах, и в речениях.

Скоростная жизнь влечет за собой и ускоряющуюся речь. Послушайте, как быстро-быстро стараются по радио и на теле-информаторы произносить слова! Как пулеметные очереди или скоропись машинистки или на компьютере. Слово — средство информации, а не мысли и чувства — все более. И если для этого можно без слова, то и лучше: прямое изображение или число-формула... Лексикон упрощается...

Виртуальный стиль современной цивилизации: кино, телевидение, всякие «видео»... — уменьшают пространство и время для чтения: все менее в нем надобность... в тебя напрямую летит образ готовый даже персонажей литературы (в экранизациях): Пьера Безухова, Князя Мышкина — без того, чтобы ты внутренней работой воображения продуктивного — породил-представил их из себя, как это при чтении, когда ты сперва должен умом понять смыслы слов, потом слагать из них сии воз-духовные замки во Логосе, Боге-Слове. То есть упражняя в себе сию божественную субстанцию... Визуальный же стиль сообщения атрофирует ее, заменяя на «похоть очес», уплощая человека, забывая в нем внутреннего человека, объем души. Коллапс нутру.

Так что судьба литературы сопряжена с судьбой личности в человеке, с внутренней жизнью его «я». Американизированному индивиду в гонке за успехом предаваться внутренней жизни — потеря времени, которое = деньги. А такой тип человека — лидер в современной цивилизации, что ведет к унификации и энтропии-поравнению — и человек, и душ, и языков, и стран-народов.

Потому — ради самосохранения своего художественная литература заинтересована в том, чтобы не растаяли нации и языки, матери-родины, традиции и особые судьбы, истории, пути, души стран. Чтоб человек остановился, задумался, в тишине и медитации пребывал, ценил бы время, уделяемое этому. А это все — в прошлом стиле бытия человечества. Потому нам, писателям, естественно быть консерваторами — ныне. И две опоры нам — Природа и Личность, ее потребность во внутренней жизни, напрямую выходящая на Бога-Слово. А «слова, слова, слова» национальных литератур — посредники тому и со-общники. Как духи при Духе. Ангелы-«вестники» при Боге-Духе. Но и демоны — тоже духи...

Так что проблема — остается. Ведь как понимающие (друзья и супруги) общаются душами без слов, так и святые молчаливники — минуя «слова, слова, слова», обитают в Слове.

Художественная литература, выходит, — промежуточное состояние-вид в Слове-Логосе. И религия, и цивилизация современная высокомерны к ней, с разных сторон ее размалывают, упраздняют. Как высокие религии отменяют народы («несть эллина

и иудея» во Христе», или как в «Докторе Живаго» понято: с христианством перестали быть значимы народы, а лишь личности), так и современная индустриальная цивилизация имеет вектором упразднить При-РОДу, заменить искусственными изделиями Труда, а с тем и наРОДы, слова же — знаками, идеограммами. Слово — слишком телесно, плотско, вещественно: звучит, чувственно, прокатывается в горле, его можно вкушать, наслаждаться им, произнося — губами, языком совокупляясь с ним, ласкаясь о звук... И Бог как чистый Дух, и абстрактный ум-разум Науки и Техники — встречаются в Ноо-сфере, минуя «слова», слова, слова» художественной литературы, оставляя ее где-то внизу, как рудимент и плюсквамперфект.

Так что — что будет, «что сбудется в жизни со мною?» — Бог весть.

Однако, еще надежда — Боговоплощение: что «Слово плоть бысть». Что Богу-Духу потребовалось воплотиться в материю, чтоб состоялась Жизнь в полноте Бытия. Чувственность (она же — национальность) слова художественной литературы — на тех же правах, что и Бого-человек, единство Духа и Природы, искусства и естества.

Виктор Гольцев

Вопрос стоит о стирании национальных границ в литературе? По-моему, преждевременно. Такие обобщения лучше делать с некоторой дистанции. Рано говорить о стирании границ в век, ознаменовавшийся вспышками национализма — национал-социализмом, попытками истребления целых народов, национально-освободительной борьбой, распадом империй. Мне кажется, что такое наследие не может быстро забыться. Но предпочел бы обойтись примерами.

Социальный опыт в разных странах был настолько различен, что даже перво-классные писатели не пересекали национальных границ. Платонов не стал мировым писателем не потому, что его нельзя перевести, а потому, что его гражданский опыт непонятен западному человеку (и, наверно, юго-восточному). Артем Веселый, по дарованию точно не уступающий Дос Пассосу, известен, кажется, только славистам.

С другой стороны, Солженицын, писатель действующий и всемирно известный. Швейцарец не мог написать его книги. Своей мировой известностью он обязан, конечно, таланту и масштабу задачи — но и тому, что был Советский Союз, и наша жуть и наша сила стали понятнее человечеству после войны. То есть границы опять присутствуют — и, как это называлось, «ошетилившиеся».

Говорят, что реалии унифицируются. Унифицируется ширпотреб (так было всегда), в том числе политика. Главные реалии — история страны, уклад, детские сказки, топография — не унифицированы.

Больше того, «плавильный котел» США съезжает к «мультикультурализму», и результатов этого процесса надо еще подождать. О том, что происходит в наших бывших частях, могу только догадываться.

Что до литературного потока, хотя это предмет скорее социологии, то и тут, избегая обобщений, я обошелся бы двумя-тремя примерами. Наши постмодернисты, начинив свои произведения соцреализмом с обратным знаком и вообще отечественным художественным материалом б.у., гарантировали себя от широко раскрытых глаз границы. Во второсортной американской литературе я заметил тенденцию называть вещи не по их назначению — рубашка, ручка, стол, — а по брэндам: индуцированный фетишизм. Типа: «покушал микояновской колбасы» — представляю, как честный коллега-переводчик ищет людоедской подоплеки. Так теряется множество значащих оттенков.

С другой стороны, есть писатели, работающие на экспорт, скажем, ввиду расчлененности их гения, малости родной аудитории и, следовательно, гонорарных ожиданий. Всечеловечность их банальна, язык плоский. Транснациональные писатели вроде Павича и Эко, конечно, есть — охотников забить литературного козла среди читательниц всегда хватает.

Еще один случай, отдельный от предыдущих. Пелевина, который разбирается в технике и хорошо чувствует английский язык, многие критики причисляют к таким глобализированным поп-литераторам. Но ни у кого из иностранных авторов я не встречал именно такой особой тоски, которой проникнуты его книги. И тут с этими границами неясность.

Короче, цельной картины мне не видно. Видно другое. Первая половина века

(чуть больше) дала писателей, перешагнувших границы. В Гамсуне выдает скандинава разве что (внешний) темперамент. Кто Кафка — немец, еврей, чех? Одинокая несчастная душа — принадлежность не одной Австро-Венгрии. Что нас больше занимало в Фолкнере — хлопок, мулы или то, что он думает о человеческом уделе? Сейчас властителей дум нет, и Фолкнер, кстати, чем дальше, тем меньше говорит нынешним американцам. Не связано ли это с отступлением литературы перед визуальными делами, символизмом низшего порядка, спринтерским мышлением? Эта тема мне кажется более важной.

Юрий Кублановский

... Несмотря на всю глобализацию мира в 60—90-е годы, никак не могу сказать — на примере русской литературы, — что вижу резкое усиление «взаимовлияния» литератур: Как англосаксы и континентальные европейцы влияли на наших писателей от золотого века — по серебряный, говорить не надо: вся наша литература пропитана ими насковзь — и французами, и англичанами, и немцами, позднее и скандинавами. Наши писатели свободно черпали отсюда все, что им было надо, все, что им импонировало и было дорого — и при этом органично сохраняли свою национальную физиономию. Нашу литературу как ахматовскую «настоящую нежность не спутаешь ни с чем», и слава Богу.

А литература заокеанская? Какая своеобразная мощь, свой эпос, драматургия, свой большой стиль, своя национальная психология, при безусловном влиянии и европейцев, и русских. Литературы «взаимопроникали», сохраняя своеобразие; любой высокоуровневый творческий мир амбивалентен: в своем конечном совершенстве он дитя и национального духа, и человечества в целом, ведь культура — это единство в многообразии. Он не может не быть национален хотя бы в силу языка и его секретов, не дающихся напрокат иностранцам. Это особенно верно по отношению к поэзии, где язык задействован полностью, без остатка, не только лингвистически, но и духовно. То, что у нас появились ныне поэты, словно прямо ориентирующие свой текст на подстрочник, скорее свидетельствует о их слабости и карьерности, чем о серьезной культурной тенденции. Язык же не автономная и полностью поддающаяся до дна освоению область, но производное народного духа и истории. Соответственно поэзия не может не быть национальной.

Тут мне приведут — в возражение, — Набокова и Бродского. Ничего не могу с собой поделаться: не люблю написанных на английском романов Набокова. Исключение — «Лолита», но писатель, как известно, сам эту книгу перевел и тем согрел ее теплом своего русского мастерства. А его гигантские романы-шарады на английском пусть читают те, кому это интересно.

Бродского — русским поэтическим гением никак не назовешь, хотя он и крупнейший, очевидно, отечественный поэт послевоенного времени. Отечественный — без Отечества. Но тут для меня как раз то исключение, которое подтверждает правило. Его творческая психология — в значительной мере продукт нашей неконформистской культурной устремленности 50-60-х годов, которая над болотом соцреализма пыталась — и как теперь видим, безуспешно — вернуться в цивилизацию. Вообще, в Бродском, судя по его интервью и эссе, причудливо уживалось настоящее «идолопоклонство» перед языком с «космополитизмом»; при этом я не совсем, честно говоря, понимаю, что он имел в виду собственно под «языком», обожествляя и секуляризируя его разом.

... Но — все же «глобализация» литературы действительно налицо. Как рыбки пираньи, плодятся в мире даровитые авторы, пишущие «интернационально» — верное свидетельство культурной энтропии цивилизации. По-своему эта литература очень идеологическая. Не менее идеологическая, чем был соцреализм. Она дает пищу уму и сердцу потребителя рыночной цивилизации, усредняя запросы его духа и притупляя мировоззренческую бдительность. В конечном счете — такая литература суть верхушка гигантского айсберга масскультуры и шоу-бизнеса, культурной коммерческой индустрии. Все больше литераторов, которые могут жить где угодно и писать о чем угодно, и лучше сразу уж по-английски. А ведь в прежние добрые времена даже и писатели-кочевники, вроде Гоголя, живя на чужбине, творчески и «сакрально» оставались на родине.

Русская классическая литература, к примеру, суть не просто эстетический феномен, но и повод для мобилизации культурных и моральных возможностей читателя, в этом смысле — так ее, в основном, и понимали, в конце концов, ее создатели — она веский «повод» задуматься о *главном*, шагнуть к нему. Русские писатели — проводя через все ужасы бытия и небытия, через свидригайловские баньки с пауками или архипелаги ГУЛАГа — работали *на* Творца, обязывая читателя к лучшему, понимая, по слову Баратынского, дар свой как задание *свыше*. Творчество великих наших прозаиков и поэтов — при всем многообразии идей и стилей — не допускало двусмысленности и «онтологической» порчи.

...Нынешние писатели-глобалисты работают в расчете на потребителя. И, кажется, всерьез убеждены, что будущее за ними. Так ли это? Я в этом не убежден. Затратная цивилизация, частью идеологического обеспечения которой, повторяю, является творчество глобалистов, вещь преходящая, укорененная в эксплуатации природных ресурсов и биосферы. Рано или поздно, но очень скоро, жизнь на земле или совершенно деградирует и погибнет — либо рыночной идеологии придется «перепрофилироваться» со стимуляции потребления на самоограничение.

Этого не сделать без поддержки талантливых и высокопробных людей; человечеству потребуются новые моральные и духовные ресурсы для выживания. (Писатели же глобалисты, — при внешнем лоске — как правило, эдакие среднеарифметические середнячки, повязанные нынешнюю культурной и житейской ситуацией полностью.) Окажется востребован и качественно новый и добросовестный культурный ресурс. Но ведь новое — это хорошо забытое старое. Так вернут себе значение традиционные ценности; национальное своеобразие литературы — одна из них.

Мне особенно тревожно за нашу поэзию. Под коммунистами всем нам — и советским поэтам и самиздателям — казалось, что уж у нас-то в России поэзии ничего не грозит, уж где-где, а тут сорви только тоталитарный намордник — и зацветут сто цветов. Теперь-то мы понимаем, что поэзия вещь хрупкая, аристократичная, легко вымываемая из цивилизаторской культурной толщи... Поэтический слух — это сперва врожденное, а потом — развитое. И людей с таким врожденным поэтическим слухом, оказывается, катастрофически мало. У русского стиха, разом простого и таинственного, совершенного и сыроватого, достаточно тонкая «душевная организация» — нельзя дозволить захватать ее стилизаторам и хохмачам, чуждым отечественным заветам, оглупляющим все и вся.

И художественная литература в целом не должна доставаться на окончательный разграб мародерам-глобалистам, а остаться тем же, чем и была в пору расцвета: духовной и эстетической школой, окормляющей человека. Надо ли говорить, что это не должно быть внешним, пусть и самым благородным «заданием»: заданная литература — литература неполноценная. Но — органически прорасти в душе и творческом мире русского литератора. Мечталось бы, чтоб наша литература не плодила бесов, а споспешествовала скорейшему изгнанию их — из измученного до предела тела России.

Поймите правильно: это, повторяю, отнюдь не идеологическая установочная задача. Это задача художественности как таковой.

Валентин Курбатов

Своими словами

Видно, все, как у нас обыкновенно бывает, зависит от того, с какой ноги встать и где о предложенном предмете думать. В стенах Библиотеки иностранной литературы или в редакционном кабинете посреди Москвы покажутся безусловны одни имена, а в деревенском углу дальней русской губернии — совсем другие. И, слава Богу, те и другие будут правы своей правдой.

Конечно, столичные-то погромче и в средствах поизобретательнее, и оттого может примерещиться, что с национальной литературой и правда кончено. Они и в журналах потиражнее, и в Интернете не на последнем месте, и на рынках повиднее. Даже если брать не уличные лотки, на которые без головокружения и стыда и смотреть нельзя, а элитные книжные магазины, где «литературный процесс» отражается в высших зеркалах обдуманной мысли.

Там будет много прекрасных русских книг литературного наследия, там чередой встанет классика русской литературы, там религиозная мысль устыдит своей так нами и не усвоенной высотой, там найдется место и хорошим изданиям нынешней русской поэзии и прозы крепкой традиционной закваски, но они уже будут уравнены, а то и потеснены великой мировой и европейской философской мыслью, классической и современной западной литературой, к которой будет лепиться брезгующая домом литература нынешней эмиграции и последние книги здешних законодателей — В. Пелевина, Л. Петрушевской, С. Гандлевского, А. Кима, А. Слаповского, Д. Пригова, В. Со рокина.

«Дом Облонских»...

Какая там «национальная литература»? Все текуче, сплавлено, все оглядывается друг на друга и властно утверждает «всеединство и всечеловечество» — увы, совсем не достоевского свойства. Даже если взять одну только эту литературу сегодняшней разговорчивой эмиграции, которую мы равноправно, а то и не без подобострастия вводим в обиход здешнего литературного процесса. Поневоле задумаешься — не нарочито ли она вводится в этот обиход, не с хорошо ли обдуманном умыслом растворить «мешающие» границы духовного Отечества, сделать их неотчетливыми, вывести наконец русского человека на просторы «просто человека».

Может, оно так и есть. К тому же русский человек любит иногда покомплексовать, что «приотстал», а литератор, особенно из московско-питерских молодых, подсу етиться, начать «косить» под европейца формой и шегольской отвлеченностью мысли — благо русский язык внутренне подвижен и безграничен в возможностях, отчего порой обманчиво кажется, что наши эко, кундеры, павичи или борхесы не уступают оригиналам в глубине, в игре, в свободе. Так что, может, и правда ну ее, эту «национальность».

Да только это не вся правда. Конечно, у нас уже не будет новой «деревенской литературы», которая была последним целостным национальным явлением (отчего ее читали интеллектуалы и «простецы» с одинаковым чувством любви и единства), но и закрывать занавес рано. Достаточно посмотреть провинциальные журналы России — «Русская провинция», «Горница», «Север», «Куликово поле», «Подъем», «Волга», «Гостинный двор», «Сибирь», чтобы увидеть, что все идет своим чередом и родная муза не забывает своих детей и не торопится за журналом мод. Даже, кажется, напротив, — мы только-только начинаем слушать свое предание и осмысливать его, вглядываясь в минувшее, в истории дворянских и крестьянских родов, в родное былое со страстью совсем не отвлеченного интеллектуального любопытства.

Достаточно посмотреть общерусские вершины — романы Д. Балашова, В. Личу тина, В. Бахревского, Л. Бородина, но ведь они являются не в чистом поле, а на живой почве всеобщего интереса к своей колыбели.

Да и разве одни исторические романы? А, к примеру, «Словарь расширения русского языка» А.И. Солженицына — это-то что? А это знак удивления тому, что нара ботала русская литература в последние десятилетия самого как будто мертвого свое го бытия, потому что слова-то чаще всего берутся из книг этой несчастной поры.

А горькая и вместе покойно уверенная проза Б. Екимова, А. Варламова, П. Крас нова, а возвращающаяся православная ветвь нашей культуры, ухватившаяся за истая вшую было лесковскую или шмелевскую традицию, — в рассказах Н. Коняева и отца Ярослава Шипова, в ошеломляющих стихах отца Вячеслава Шапошникова?

Нет, именами тут не возьмешь. Не все они на виду, но, как малые русские реки, текут себе родными лесами и долами и собирают по пути деревни и малые города и нет им истощения. Только раньше реки той и другой литературы текли в единое море, а теперь в разные стороны и их воды не смешиваются.

Простите за некорректную параллель. До Второго Ватиканского собора папский Престол был уверен во всемирности католичества и неизбежной победе его, а после Собора, услышавшего в православной Литургии и изгнаннической русской религиозной мысли животворную правду и равносильную глубину, заговорил о «свете с Востока» и о «единстве в многообразии», утверждая, что в Господнем саду копты прекрасны именно как копты, православные как православные, протестанты как протестанты и в этой своей разности они есть оттенки единой Христовой истины. Оказалось, всеобщности-то единой веры в принудительном понимании не только не надо, а она и нежеланна, потому что тогда уж будет не сад, а колхозное поле.

Вот и в литературе, я думаю, мы скоро догадаемся, что общемировые тенденции к глобализации есть уничтожение в себе Господня Лица, живого единичного националь-

ного ответа на всеобщие вопросы, и услышим старую, но все юношески свежую и надолго вперед животворящую правду — единство в многообразии, только бы основой этого единства действительно был Господень Лик, и с гордостью отдадим лучшие силы *своему*, которое будет знаком любви и памяти о всеобщем.

Псков

Александр Эбаноидзе

О национальном своеобразии — с улыбкой

Вопрос о национальной специфике литературы вызывает у меня улыбку, но, кажется, совсем не ту, которая подразумевается в преамбуле нашего заочного обсуждения.

До сих пор помню ошеломляюще сильное и свежее впечатление от первого знакомства с эпосами и сказками разных народов: для меня грузинские сказки пахли старой дубовой давиленьей, заваленной кукурузной соломой, а в русских мерцала прохладная ландышевая свежесть и где-то далеко разливался пасхальный благовест. В фольклоре национальная специфика выражена с безупречным вкусом — минимальными средствами, но так сильно, что впечатляет даже в переводах. На всю жизнь остались моими просторы киргизских нагорий, обдуваемые майским маковым ветром, и войлочная духота «Манаса»; избыток солнца на базарах Багдада и Дамаска с раскаленным песком на зубах и в складках одежды; мокрые булыжники бременской мостовой под грубо подбитыми башмаками и натужный скрип старой ветряной мельницы, разящей мукой и мышами...

Все это можно было бы объяснить детской впечатлительностью, если б не открытие, сделанное через десятки лет: оказавшись в странах, о которых было читано в адаптированных изданиях «Тысяча и одной ночи» или у братьев Гримм, я с удивлением обнаружил, что знал их, знал давно и, я бы сказал, интимно — ритм и темп жизни, голоса и звуки, запахи и вкусы и то неуловимо общее, что ученые люди называют менталитетом.

Этим же свойством (обогащать жизненный опыт читающего, удесятерять его не только нравственно и эстетически, но и в смысле физического познания) обладают произведения художественной литературы. На этот раз вместо своих впечатлений сошлось на Хемингуэя и Генри Джеймса, высказывавшихся по поводу толстовских «Казачков» и прозы Тургенева. Слава Богу, примеров множество, в том числе хронологически близких, и у каждого из нас — свои.

Еще на памяти предыдущего поколения мир был велик и разнообразен, и в его освоении, узнавании, литература играла далеко не последнюю роль. Функция выявления национального своеобразия и пред-явления ее миру подсознательно входила в задачу писателя, сопутствовала ей, была органичайшим свойством литературы. В преображенном виде она, думается, навсегда останется ей присуща, поскольку литература неразрывна с языком. Национальной литературы нет вне национального языка, в определенном смысле она продукт языка, его глубоко мудрое дитя и как таковое несет в себе генетический код, символы и знаки национальной прапамяти. Поэтому даже в наиболее отвлеченных, изощренных и «продвинутых» сочинениях новейших «властителей дум» не может не сказаться (хотя бы в общем «звуке» или интонации) итальянский темперамент Умберто Эко, славянская размашистость Милорада Павича, английский сарказм Кингсли Эмиса. (Не тот ли это К. Эмис, что в начале 60-х дебютировал романом «Счастливчик Джим»? Если в связи с ним возник вопрос о национальной специфике, значит, за прошедшие годы он сильно изменился.)

Здесь же уместно припомнить знаменитый цикл притч Эрлома Ахвледзиани «Вано и Нико», написанных в конце 50-х годов и далеко опередивших время. Эти притчи («чудо бесстыльности», по выражению А. Битова) «невывразимо, неуловимо, но глубоко национальны, как линия в орнаменте». Сильное подкрепление моей мысли: оказывается, даже чудо бесстыльности может быть глубоко национально!

Однако нельзя не признать и того, что заявлено в преамбуле обсуждения в нашем конференц-зале: процессы глобализации развиваются по нарастающей, они коснулись не только литературы, но и ее основы — языка. Постепенно и неуклонно границы размываются, национальное своеобразие нивелируется. Оставаясь в прежних физических параметрах, мир стал меньше по причине возрастания скоростей, — ско-

рости передвижения, передачи информации, ее поглощения и пр. Глобализация — свершившийся факт; процесс, как говорится, пошел и идет полным ходом. Поэтому уместно обсуждать не причины глобализации, а подумать о ее последствиях.

Прежде всего — положительный ли это процесс?

Далеко не во всем. Для литературы он даже может оказаться губительным в силу органически присущей нашему делу избирательности, обособленности, неторопливости.

«Идея скорости соединилась с идеей прогресса без всяких к тому оснований... Следует спросить себя, не является ли так понимаемый прогресс свидетельством того, что наша эпоха ниже веков невежества, оставивших нам нетленные памятники своего терпения, из которых рождались разум и знание?» Это высказывание Гийома Аполлинера почти столетней давности сегодня во сто крат актуальней. Проиллюстрирую его примером из градостроительства: прекрасная разница между Самаркандом, Равенной и Суздалем — продукт медленных «веков невежества», без которых мы видели бы вокруг сплошное Чикаго.

Если причиной глобализации, так сказать, ее «материальной базой» стал технический прогресс, то формой ее проявления в литературе оказалась нарастающая ее усложненность и изощренность, обнажение «каркасов», усиление условности и игрового элемента. Многие называют это интеллектуализацией. Не думаю, что термин точен, поскольку вряд ли авторы бестселлеров, названные в редакционном вступлении, интеллектуальней Стендаля, Достоевского и Манна. Скорее, в их книгах сказываются некие компенсационные усилия, вызванные усыханием корней, отрывом от почвы.

Тут же следует отметить, что западной литературе, где всегда был силен элемент условности и интеллектуальной игры («Божественная комедия», «Дон Кихот», «Фауст»), легче освоиться в новом психологическом климате эпохи. Потому-то именно с Запада поступают импульсы обновления и модные поветрия. Но при всем сходстве, всемирном сродстве и глобализации сохраняются различия: если на Западе издавна замечательного писателя определяют как «виртуоза пера», то в России ищут и ценят совсем иные качества и свойства:

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба.
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

Нужно ли говорить, что диктат чувства едва ли не исключает интеллектуализацию, а где «дышит почва», непременно присутствует национальная специфика.

Оговорюсь: восприятие новой ситуации, вернее, новой тенденции и в России, и в других литературах двояко; писательство — дело настолько штучное, индивидуальное, что каждый решает дилемму самостоятельно, за своим письменным столом. (Нынче, кажется, следует говорить — за своим компьютером). Есть не чувствующие дыхания века, есть подхваченные поветрием и даже бегущие впереди него, а есть бережно прививающие тенденции к национальным традициям. Если вдуматься и припомним, то увидим, что последние наиболее значимы и продуктивны. Пример — южноамериканский и южнославянский подвой в мировой литературе. Что до меня, я охотно сослался бы на грузинский — Отар Чхеидзе, Чабуа Амирэджиби, Отар Чиладзе, Гурам Дочанашвили. В русской же блестящей удачей в этом смысле представляются две небольшие вещи — давняя поэма Ерофеева и недавняя повесть Владислава Отрошенко «Двор прадеда Гриши». Впрочем, может быть, то, что я назвал успешным подвоем, плодом прививки, точнее было бы определить как продукт сопротивления сильной национальной традиции процессу глобализации. Но это большая тема, в коротком высказывании ее разве что обозначишь.

В целом же создается впечатление, что литература интуитивно угадывает опасность, таящуюся для нее в процессе глобализации, и ищет стратегию противостояния. Противостояния сколь обязательного и неизбежного, столь, по-видимому, и безнадежного.

Остается надеяться, что вечерняя заря литературы будет такой же прекрасной, какими были ее рассвет и цветущий полдень.

Без многообразия красок, неуловимо, но глубоко национальных, такая красота немислима.

Михаил Эпштейн

О будущем языка

Национальные особенности литературы будут исчезать — и возвращаться уже на уровне мета-: игры, ностальгии, иронии, невозвратности и неотторжимости. Национальная принадлежность будет становиться делом вкуса, стиля, эстетического выбора. В каком стиле ты работаешь? — «Металлически-русском», «виртуально-русском», «метареально-русском», «индоевропейско-русском» и т.п. Американцы, озабоченные вопросом идентичности, прибавляют к своему самоназванию национальности своих далеких предков: «итальяно-американец», «германо-американец», «ирландо-американец» и т.д. Возможно, со временем появится гордое «русско-россиянин» наряду с «татаро-россиянин», «евро-россиянин»... Судьба литературы зависит от судьбы языка: останется ли он русским или, по прошествии нескольких веков, олатинится по алфавиту, или по лексике, или даже и по грамматике — вольется в мировой язык, составленный, скорей всего, на базе английского и испанского. Латинизация русского алфавита — перспектива хоть и пугающая, но вполне осязаемая уже к концу нашего нового века, по крайней мере, для нехудожественной словесности. Стандарты письменного общения, нормы внятности задаются электронными средствами коммуникации, а кириллица мало того, что маленький островок в море электро-письмен, она еще сама раздробила себя на несколько кодировок, из-за чего многие русские переписываются на латинице. Этот период «новофеодальной» раздробленности вряд ли пройдет без тяжелых последствий для кириллицы: латиница ее начинает вытеснять даже среди русскоязычных. Даже сербы, у которых особые причины не любить латиницу, постепенно на нее переходят. Так что, возможно, через сто лет кириллица останется именно азбукой художественного письма, отличительным эстетическим признаком, хотя одновременно появятся и произведения, созданные на «живой», разговорно-деловой латинице (как Данте перешел от литературной латыни к живому, хотя и «вульгарному», итальянскому и стал одним из основоположников новоевропейских литератур). Латинская версия русского начнет эстетизироваться, появится дополнительная возможность многозначной игры со словами других языков... Говорю это с ужасом, но представляю неизбежность такого поворота вещей.

Возможен и другой способ развития русского языка — не через заимствование (алфавита, лексики), а через развитие индоевропейской системы корней, которую славянские языки делят с романскими и германскими. Может быть, на основе русского будет построен такой язык, по отношению к которому современный русский будет только частным случаем. Из 500 слов на «люб», которые будут в языке, в нынешнем русском есть только одна десятая. Это не просто заполнение лакун, а воссоздание того языкового объема, словомысленного пространства, которое охватит и русский, и другие индоевропейские языки. Воссознание-воссоздание индоевропейской основы современных языков, но уже не как праосновы, а как мыслимого и «рекомого» будущего, — такова одна из возможностей «поступательного возвращения» русского в мировую языковую семью. Мне представляется, что будущий мировой язык должен быть не пананглийским или паниспанским, но ново-индоевропейским, — должен восстановить те формы корневой, лексической, грамматической общности, которые все индоевропейские языки имели в истоке своего развития и дифференциации. Быть может, перед переходом от живых языков к машинным настала пора и потребность доразвить до конца, спроецировать во все мыслимые стороны «корне-кронную» систему русского языка, охватить древо развития языка как единое целое, от ныне обозримых ветвей — не только к индо-европейским корням, но и к тем кронам, над которыми уже вскоре полетит искусственный интеллект, вовсе оторвавшись от национально-исторической почвы языкозложения.

Я пытаюсь участвовать в этом процессе своим проектом «Дар слова», где предлагаются альтернативные, расширительные модели словообразования: древнейшие индоевропейские корни начинают ворочаться в почве русского языка, заново прорастать и разветвляться, а тем самым и сплетаться с другими языками индоевропейской семьи.

Кто я по своим культурным корням? Да тот же, кто и по языковым: индоевропейец. Не западник и не восточник, не русский, не американец, не еврей — это все более частные характеристики, которые необходимы, но недостаточны. У всех этих куль-

тур — общее индоевропейское наследие, которое сохранилось прежде всего — и почти единственно — в языках (отчасти и в мифах, архетипах). И значит, по мере того как будет объединяться человечество и вырабатываться общий язык, индоевропейские корни начнут заново обнажаться в сходящейся перспективе разных языков. Сейчас, возможно, назревает грандиозная реформа русского языка: не горизонтальное вхождение в современность, через заимствования, подражание — а по вертикали: не англизация, не европеизация, а индоевропеизация, т.е. восхождение к первородным корням, а через них — к общепонятным производным, с ясными индоевропейскими корнями и ответвлениями. У нас, русскоговорящих, разъехавшихся по всему миру: россия, американцев, израильтян, австралийцев, канадцев, германцев, язык — единственное общее наследие. Напрасно искать общности на каких-то политических платформах или в культурных программах — здесь нас разделяют возраст, воспитание, место жительства, вкусы и т.д. Но язык, знаковая система, которая сформировала наше мышление, культурный генофонд, у нас один, и, значит, первейшая забота и точка схождения — не дать вымереть и угаснуть языку.

Нынешний русский «вянет на корню». Самое тревожное — что корни русского языка в XX веке замедлили и даже прекратили рост, и многие ветви оказались вырубленными. Общий взгляд на состояние языка приносит печальную картину: от глубинных, первородных корней торчат несколько разрозненных веточек, и не только не происходит дальнейшего ветвления, а, наоборот, ветви падают, происходит облысение словолеса. У Даля в корневом гнезде «-люб-» приводятся около 150 слов, от «любить» до «любошедрый», от «любушка» до «любодейство» (сюда еще не входят приставочные образования). В четырехтомном Академическом словаре 1982 года — 41 слово. Выходит, что корень «люб» за сто лет не только не дал прироста, новых ветвлений, но, напротив, начал резко увядать и терять свою крону. Далевские слова в языке не восстановить, потому что многие связаны с кругом устаревших, местных значений, церковно-славянизмами и т.д.; но в живом языке и корни должны расти, ветвиться, приносить новые слова. Знаменательно, что Солженицын, который пытается расширить современный русский язык введением слов из Далевского словаря, вынужден был проредить в своем отборе не только состав слов, но и сокращать их толкования, сужать значения (см. мою статью «Слово как произведение. О жанре однословия», «Новый мир», № 9, 2000). Во всех словарях русского языка советской эпохи в общей сложности приводятся 125 тысяч слов — это очень мало для развитого языка, тем более с огромным литературным прошлым и потенциалом. Тем более что значительную часть этого фонда составляют однообразные и малоупотребительные суффиксальные образования типа «судьбинушка, спинушка, перинушка, детинушка, калинушка, долинушка, былинушка...». Почти 300 слов только женского рода с суффиксом «ушк» внесли составители в семнадцатитомный Большой Академический словарь (1960-е), чтобы представить развитие и богатство языка; а между тем из языка выпало множество полных значимых ответвлений от действительно плодотворных, смыслоносных корней.

С языком происходит примерно то же, что с населением. Население России чуть ли не втрое меньше того, каким должно было быть по демографическим подсчетам начала XX века. И дело не только в убыли населения, но и в недороте. 60 или 70 миллионов погибли в результате исторических экспериментов и катастроф, но вдвое больше из тех, что могли, демографически должны были родиться, — не родились, не приняла их социальная среда из тех генетических глубин, откуда они рвались к рождению. Вот так и в русском языке: мало того, что убыль, но еще и недород. Мертвые слова вряд ли можно полностью воскресить, хотя солженицынская попытка заслуживает большого уважения, — скорее нужно народить новые слова, не на пустом месте, а произрастить их из древних корней в соответствии со смысловой потребностью.

Я почти ничего не сказал о литературе — но сейчас как никогда ясно, что литература в узком смысле слова — не письменность вообще, а художественная словесность — есть лишь один из способов и даже один из этапов в жизни языка. Насколько национальным будет язык — настолько же национальной будет и литература.

Дмитрий Бавильский

Утопия Б.Д.

1

Борис Владимирович Дубин — очень важная персона. Буквально, если вспомнить первоначальное значение латинского слова *persona* — «актерская маска».

У Б.Д. их несколько. Плодовитый переводчик, социолог-ученый, литературный критик. Следы творческой активности Б.Д. в разных областях и жанрах рассыпаны, встретиться им в одном месте не дано. Конечно, статьи и исследования можно собрать в сборник, но никто не станет затевать выпуск собрания сочинений переводчика, пусть даже и самых выдающихся качеств (впрочем, кажется, это идея с неплохим потенциалом!).

В нынешних заметках хочется осуществить точку сборки, собрать распыленные по разным, не связанным между собой изданиям части уникального проекта в одну папку. Составить «подробную, хоть и отдаленную карту» возводимого воздушного замка.

Первое, что бросается здесь в глаза — оригинальная, продуманная и безукоризненно осуществленная стратегия. Существенно и важно, что, во-первых, Б.Д. не переводит больших, объемных текстов. Во-вторых, старается бежать жестких жанров, предпочитая всякие промежуточные образования. Чаще всего — эссе или стихотворения в прозе. Также встречаются интервью, письма, лекции (элиотовские мемориальные Шеймаса Хини), подписи к рисункам, фотографиям.

Казалось бы, что тут такого — взять и перевести роман или, на худой конец, повесть.

Ан нет: не то, что мните вы, природа.

2

Итак, бисер Б.Д. рассыпает по разным информационным полям. Форма подачи неотделима от смысла, фермообразующа. Когда, по наблюдению Флобера, форма рождает идею. У Бонфуа есть важные, в этом смысле, заметки «Живопись и ее дом»: «Да, если дорожишь живописью, от места пребывания ее не оторвать. Нужно помнить живой свет и подлинные залы, если хочешь по-настоящему вдуматься в солнце и мрак живописи, скажем, в «Бичевании» Пьеро делла Франческа или в «Осквернении гостии», ведь свет и залы Урбино — такие же участники этого бракосочетания цельности и расчета».

Так возникает многоэтажная конструкция: проникновение в реальность осуществляется на разных уровнях, в самых разных модификациях — эссе и отрывки публикуются в ежедневной газете, встраиваются в контекст ежемесячного журнала, собираются в отдельные, на века, книги.

То, что по названию одной из статей Октавио Паса можно назвать «воплощением и рассеянием».

3

Эксперимент с газетой произошел ошеломляюще. Кажется, именно эта часть индивидуального многополюсного проекта Б.Д. имела наиболее глубокие и широкие последствия. По крайней мере, для меня фамилия его стала манком с момента появления переводов в ежедневной прессе.

Сначала полигон «Независимой газеты», где небольшие заметки сюрреалистов

или фрагменты из Тракля, выставленные среди новостей, естественно выглядели сколами актуальной культуры-литературы.

Однако в полной мере сила переведенного слова проявилась в газете «Сегодня». Здесь все сошлось просто идеально: от сорта бумаги, макета и размера кегля до круга авторов и публикуемых текстов. Гений газеты воплотился на несколько лет в уникальном для русского искусства (по мне — так вершинном, никогда уже более не достигаемом, недостижимом) модернистском проекте. Провозглашенная авторами утопическая идея борьбы с языком как таковым и с языками культуры, мобилизовала переводческую работу Б.Д., поставила на передовой край этой борьбы.

Пресловутый эссеизм, вменяемый кругу единомышленников, объединившихся вокруг тогдашнего редактора отдела искусств газеты «Сегодня» Бориса Кузьминского, расширял рамки доступных стилистических и, потому, идеологических возможностей. И примеры такого сорта, в изобилии трансформируемые с подачи Б.Д., вплетенные в венок общего дела, делали картину преобразований *как бы законченной*. Западный опыт казался естественным и родным: наконец пришла пора первоисточников и было приятно осознавать подобное изобилие нормальным. Не пересказ из книги «По ту сторону рассвета», но живое дыхание мысли. Луи Марлен и Мишель Деги, Мишель де Сюрто и Анри Мишо: и сейчас звучит, завораживает как музыка. Попадая под влияние пленительных созвучий, раб фонетики, остаешься с ними навсегда.

Напомню, как это было. Помимо отдельных текстов на дежурных полосах в ежедневной и достаточно объемной «Сегодня» выходила субботняя полоса «Антология», отдаваемая отделом под одного автора. Время от времени Б.Д. публиковал здесь подборки странных, в жанровом смысле, образований, чаще всего посвященных соотношению живописи и поэзии. Мишо о линии у Клее. Роже Каюа и Жорж Дюби об Алешинском. Франсис Понж об Оливье Дебре. Рене Шар о Джакометти.

Понятно, почему во главу офсетного угла Б.Д. ставил визуальные эффекты. Страницы тех подборок не надо листать, они являлись сразу, — как выставка, — и целое это можно было охватить взглядом. Плюс «картинки», изящные, изысканные иллюстрации мало известных в России модернистов.

4

Ив Бонфуа. «Невероятное». Избранные эссе. «Carte blanche». Москва. 1998. 255 с. (в компании с М. Гринбергом).

Судя по содержанию сборника, более всего Бонфуа интересуют поэзия и живопись. Слова и камни. Топография насыщенных непроявленными смыслами пространств. Опыт переживания времени, сквознячком возникающего в перспективе кватроченто. «Обозначая глубину, художник вносит в живописное произведение не что иное, как вещественность, мрак чувственного мира. Глубина замещает несомненность сомнением, божественное — экзистенциальным, то есть временным...»

Овеществление мысли — вот, кажется, главный лейтмотив «Невероятного»: смутные тени интуиций и интенций; бледные тени затемненных уголков восприятия; обратная перспектива рассеивания. Текст оказывается путешествием из зазеркального мира эйдосов сюда, к нам — в «театр тела» (выражение Бонфуа из эссе про Бодлера).

Копия, как Гамлет в стихотворении Мандельштама, еле заметными шажками подбирается к правде и полноте; она, как любой последыш, более конкретно и четко очерчена, потому что мысль, уже описав один круг, идет на повтор, на ходу обкатывая и уточняя формулировки. «Копия с копии, безымянная работа мастеров той или иной школы — и как раз потому, что она безымянная, что в заимствованную форму здесь проникло что-то неведомое, — может, в сравнении с работами более сознательными, оказаться куда ближе к недостижимому средоточию, которого ищет любое искусство».

Между тем, поэтическая репутация автора книги служит алиби для зело необязательных рассуждений, главное в которых — поиск не истины, но красоты. Никаких установок и оргвыводов, одна только легкость скольжения остро отточенного конька. Нам это внове и потому — бодрит. Излишняя субъективность, призванная сокрыть «нехватку бытия», недостаточность бытийного накала, обескровленного социумной надобой. Важный урок для погрязших в злобе дня горожан.

Мостиком к следующим главам вспомним девиз, найденный в одном из кенотафов Бонфуа: «Я люблю более тонкие связи между искусством и местом».

5

Да, другой уровень проникновения — журнальные подборки, рубрика «Портрет в зеркалах» в «Иностранной литературе». Участие в проекте «Классика XX века» журнала «Знамя». Или, к примеру, осколки все той же «Антологии», опубликованные в малоизвестном толстом челябинском журнале «Уральская новь».

В случае с журналами стратегия чуть меняется. Произведения, предложенные переводчиком, представляют внутри журнального вещества, материала, связующего все остальные публикации в единое целое. Когда книжка оказывается не сборником разрозненных текстов, но точно дозированным салатом обоюдно важных ингредиентов. Потому что проза слишком уж громоздка и самодостаточна, а поэзия, напротив, легко заменяема и излишне легковесна.

Подборку в журнале необходимо сыграть, точнее, разыграть, как по нотам. Провести не прямой, неявный лейтмотив. Прошить белой ниткой замысла. Особенно тщательно выстраиваются портреты любимых (особо ценимых?) переводчиком авторов в «Иностранке». Стилистическая стертость (принципиальная переводимость) Кавафиса (№ 12 за 1995). Голос-логос в коллекции материалов про Пауля Целана (№ 12 за 1996); метафизическая топография Вальтера Беньямина (№ 12 за 1997); «ключевые слова» для Самюэла Беккета (№ 1 за 2000).

Большая часть «Портретов в зеркалах» выпадает на первые или 12-е номера «Медальонами» этими в «ИЛ», видимо, принято (приятно) открывать и/или закрывать год. В традиционном здесь разделе «Авторы номера» Б.Д. помещают отдельно от переводчиков, — но среди авторов.

Кстати, однажды я уже писал о том, что не каждый пишущий одновременно является автором.

6

Анри Мишо. «Поэзия. Живопись». К выставке во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М.И. Рудомино. Москва. 1997. 156 с. (в компании с В. Козовым и М. Гринбергом).

Камни и слова, следы мысли и оттиски ошумных видений — снова задача: как запечатлеть невидимое. В сборнике этом (как и в книге Жакоте) Б.Д. уступает стихи другим, от себя добавляя **прозаические** тексты. Брюссельские кружева эссе уже сами по себе легко ложатся в какие-то априорные, то есть заранее существующие поэтические формы. Даже если рядом — **собственно** поэтические тексты и даже рисунки. Лирическое здесь, в поэтических текстах, выглядит на фоне крепкого концептуального фона, как **риторическое**. И конкуренция, если она имеет в каталоге место, переносит центр тяжести на сопоставление биографической (библиографической) прозы и иероглифов. То есть рефлексий и рефлексов. Десятки попыток разгадать «беспощадную сейсмографию тела» (Дюпен), много больше по объему, чем рисунки и, тем более, поэмы.

Еще один урок современной словесности, страдающей от полноты и почти уже — немoty и; потому, нуждающейся в подпорках контекста. «Как если переживаешь весь кусок земли, — скажет Б.Д. в интервью, — с корнями, с землей, с самим ростком».

7

В весьма разнообразном массиве всего, Б.Д. переведенного, четко выделяются два направления. Условно говоря, их можно разделить на эссе «лирические» и эссе «рациональные».

В первом случае стилистически сложно организованные поэтические потоки, неудержимо несущиеся мимо читателя и увлекающие логикой *инополагания*, когда правила не объясняются, но вырабатываются (реконструируются) по ходу чтения. Расширенный вариант стихотворения в прозе, уже давно лишившийся, лишенный даже вторичных поэтических признаков. Но, тем не менее, опознаваемый именно как поэзия.

Во втором случае Б.Д. дополняет ландшафт выстраиваемого им контекста жестко функциональными параллелепипедами логически выстроенных, выверенных рассуждений суховатых подчас (блеск мысли заменяет техническую изощренность) Зонтаг или Милоша.

Разновекторность этих двух направлений, в конечном счете, синтезируется в столь чаемую нами гармонию четко работающей системы сдержек и противовесов. Сила примера не только заразительна, она — формообразующа. Когда пример — другим наука; и многие вещи делать становится просто неприлично: установленная планка вкуса не позволяет.

Честная функциональность не оставляет возможности для многозначительных, легко достижимых лирико-философских спекуляций — всевозможных безграничных боговдохновенных медитаций про «духовность». «Все духовное конкретно», написал Гегель и, разумеется, был прав. Примеры, извлекаемые Б.Д. из чужого культурного опыта, показывают отработанность тех или иных методик. Изобретение велосипеда: уже давно сделано и забыто.

Иная, рационалистическая крайность не позволяет снимающим оттиски дискурсивных практик намертво высушить свой стиль. В. Курицын где-то написал, что после опыта М. Эпштейна любая литературоведческая концепция обязана быть остроумной. После опыта, представленного нам Б.Д., любой размышляющий текст должен не только иметь эссеистический разбег, но и некоторую изящность изложения.

Легкие для усвоения Фуко или Деррида предпочтительнее наукообразного Лакана или плохо переведенного Делеза.

8

Филипп Жакоте. «Стихи. Проза. Записные книжки». Москва. «Carte Blanche». 1998. 205 с. (в компании с М. Гринбергом).

Стиль Жакоте — воплощенное простодушие: разреженный воздух синтаксических колоратур; складки на поверхности любовной размолвки с эпохой. «Дождь, пение птиц, первые цветы миндаля: от всего этого исходит ощущение счастья...» Зелень переплета и заглавных шрифтов переползает внутрь, кажется, автономные сгустки его «Самосева» (из записных книжек 1954–1979 гг.) действительно произрастают на салатово-нежном лугу. Запахи цветов («вдыхая ирис или розу, я тут же переношусь в детство»), рисунок гор, наваянное облаками. Будто автор хочет потерять границы перехода от внутреннего к внешнему, раствориться в природе, стать прозрачным.

Самое важное здесь: соотношение отрывков между собой, их расположенность на страницах и постепенное превращение прозы в стихи. Технически и стилистически между ними нет особой разницы. Ближайшая аналогия — не Розанов, но Хайдеггер с глубокими медитациями типа «Торных троп».

*Вот что важно: контекст, встающий за отрывками. Огромные массивы текстов, дожидаящихся своего часа. «Самосев», как и творчество других фаворитов Б.Д., насчитывает многие-многие тома. Нам явлен лишь первый эскиз, очерк, буквально несколько штришков. **Study languages!***

9

Мне важны именно эти интуитивно-мерцательные построения. Событие в них происходит уже на уровне текстуры, плотности полотна, особенности письма — и Милош отличается от Зонтаг не только маршрутами рассуждений, но — индивидуализирующим изгибом судьбы, излучается и передается русскому читателю, со спецификой оригинала не знакомому, по-русски. Встает за текстом в полный рост: высший пилотаж.

Про специфику оригинала — не метафора и поэтическое преувеличение: для себя давно делю переводы и переводчиков на легких и спотыкалистых. Мысль первых усваивается в полете безоблачного чтения, она выстраивается, опережая курсор зрачка; для того, чтобы понять перевод вымученный и сложный, нужно перечитывать каждую фразу дважды. Трижды.

Некоторые переводят, точно высекая тексты из грубых горных пород (гранит, мрамор), другие — точно лобзиком выпиливают из дерева. У Б.Д. произведение кажется изначально написанным на русском — у него нет изнанки и узелков на ней.

На законном основании Б.Д. присваивает чужой текст, выращивая его в себе, и только потом, затем, выпускает, птицей, наружу. Он — тоже автор, прошу это учесть, соучастник.

Так часто бывает: встретишь у другого важную, уже давно живущую в тебе, но пока точно не сформулированную мысль — радоваться ли этому, или смущаться?

Как если подглядели или опередили, ничего, бывает. Творческий метод Б.Д. существует в предельно плотном поле культуры, которая ведь и есть — обмен потоками информации, — не мудрено выпадение, кристаллизация ничейного (уже не авторского, но и не твоего) смысла.

Можно сказать, система Станиславского: вживание не только в образ любимого здесь и важного сейчас автора, но и сживание с переводимым эссе, стихотворением в прозе, лирическим потоком. Поэтому все подопечные Б.Д. разные и узнаваемые. Подобно соответствиям из стихотворения Рембо («А — черный; белый — Е; И — красный; У — зеленый; О — синий...»), Милош кажется мне отчетливо сумрачным и, как сосновый бор, могучим, мощным. Пас — песчаным, а Зонтаг — какой-то стеклянной. Бонфуа пузырится взбитыми сливками, слабо подкрашенный розоватыми отсветами фресок Джотто.

А, быть может, все эти стилистические различия оказываются продиктованы разницей языковых структур? Ведь те же Жакоте и Лима принадлежат к разным языкам и уже хотя бы поэтому различны?

10

Чеслав Милош. «Личные обстоятельства». Избранные эссе о литературе, религии и морали. Москва. «Дом интеллектуальной книги». 1999. 348 с. (в компании с В. Британишским, С. Дубиным, С. Муравьевым, В. Кулагиной-Ярцевой).

Проза Чеслава Милоша основательна и тяжеловесна. Но менее всего можно было бы назвать ее статичной — мощное подспудное внутреннее движение организует «огромный, неуклюжий, скрипящий поворот руля», медленный водоворот, воронку черной водяной толщи.

Вероятно, ощущение неповоротливости вызвано сознательной борьбой с русским языком: «Я бы сказал, что на мой язык повлияло противодействие соблазну восточноевропейских языков, в первую очередь, русского, и поиски регистра, в котором я мог бы соперничать с восточнославянскими элементами — особенно в ритмических модуляциях. Не знаю, как сопротивление русскому языку воздействует на твой литовский. Знаю только, что для меня и для каждого, у кого слух чувствителен к русскому, подверженность сильному ритму русского ямба вредна, потому что польский язык ритмически иначе поставлен».

Милош претендует не на эстетическое, но этическое первородство — по извечной старославянской традиции «давит авторитетом». В этом смысле важна его переходность — Восточная Европа входит в общеевропейское пространство с грузом нерастраченного мессианства. А там уже своего Томаса Стернза Элиота в избытке. Поэтому для Милоша важны связи с русской литературой-культурой. Борются нужно с языком и замком тоталитаризма, из него сооруженным, однако и Запад — не панacea, но «Порабощенный разум» (название книги размышлений с предисловием Ясперса). Остается существовать — между, в зазоре, на окраине окраины. В чужом языке, который никогда не станет окончательно родным.

11

Важная характеристика таких эссе — их плотность, и, отсюда, научение медленному чтению подробного, складчатого письма. Ровные ряды строчек все время хочется перепрыгнуть, прикладываешь целое усилие, чтобы двигаться параллельно напечатанному — в том темпоритме, который автором и задуман. Урок синтаксиса, который — сам по себе — живой и дышит. Ну и звукопись: целиком на совести Б.Д., его важнейший вклад в логику раскрытия произведения.

Пас подобным образом характеризует творческий почерк Гонгоры: «Да, у него диковинный синтаксис, мифологические и исторические намеки глубоко запрятаны, значение каждой фразы, а часто и каждого слова двойится; но стоит одолеть эти шероховатости и головоломки, и смысл у вас в руках».

То, что В. Подорога в беседе с Ж. Деррида назвал топологическим языком (реальность, не приручаемая реальностью стиля, мерцающая за скобками написанного), а Бонфуа определил каскадом вопросов: «Существует ли понятие шагов в темноте, которые звучат все ближе и ближе? Понятие крика, понятие камня, сорвавшегося с кручи и сминающего кусты? Понятие чувства, возникающего в опустелом доме? Куда там: мы сохраняем от реальности только то, что не смущает нашего спокойствия».

12

Октавио Пас. «Поэзия. Критика. Эротика». Москва. Русское феноменологическое общество. «Пирамида». 1996. 192 с. (в компании с В. Резник, Н. Богомоловой, А. Матвеевым).

Милош и Пас — чемпионы опущенных звеньев: их мыслительные цепочки не имеют точки отсчета, зависят в воздухе и, далее, пунктиром вычерчивают отметины на поверхности текстуальных волн. Отсюда: неожиданность, непредсказуемость не только выводов, но и приводящих к ним лестниц аргументов.

Отсюда, вероятно, парадоксальность названия сборника. В поисках широко объявленной эротики торопиться к концу книжки, где, как самое сладкое, она, по всем законам логики, и должна быть припрятана. Но здесь ее обнаруживается не слишком много. Зримой — вообще нет. Меньше всего ее в эссе с завлекательным заголовком «Стол и постель», которое Пас, стремясь к наукообразности (чего только стоит название одной из глав — «Гигиена и репрессивность»), сочинял в Кембридже, анализируя обычаи и нравы (прежде всего, кухонные) американского общества. Темпераментная и страстная книжка эта, между тем, вся проникнута чувственными токами. Прием вскрывается в финале одного небольшого эссе, в котором Пас характеризует стиль Гонгоры, превращая описание его творческой методики в автохарактеристику одержимого эротикой языка человека. Ибо только «поэты сумели создать такой язык, который — может быть, из-за своей сложности — сам ощущается как живая плоть».

На финал с удовольствием цитирую эссе «О критике»: «Критика и порождает эту так называемую литературу — не сумму произведений, а систему связей между ними, поле их притяжений и отталкиваний». В этом смысле творчество Б.Д. вполне подпадает под рамки сугубо критического. Ведь он деятельностью своей реально организует в нынешнем русском, русскоязычном, культурном контексте совершенно новые связи и весьма оригинальные измерения.

Слово наконец найдено: называться только лишь переводчиком в случае с Б.Д. слишком мало. Плоско. Именно что — устанавливающий связи не только с внешним миром, но и внутри мира родного, родственного. Значит, по Пасу, критик вполне.

И потому вполне достоин звания действительного члена Академии современной российской словесности (АРС'С), которую (был такой случай) язвительно критиковал в «Независимой газете» в соавторстве с Абрамом Рейтблатом.

13

Благодарность — вот, видимо, что во многом движет переводческим марафоном Б.Д. Вполне понятно желание подарить соотечественникам радость узнавания, восполнить явную нехватку витаминов, заполнить бреши в периодической системе литературных элементов. Он и авторов — все время эксплуатирует каких-то восторженных — перед бытием, искусством, словом, друг другом. Многие хвалят кумиров, высокопарно выражаются про соседей, любят прекрасное. Точно встретились старые знакомые, встреча выпускников, каждый делится нажитым опытом. Без грусти. Без ностальгии.

Кульм дружбы переходит в легко переносимое вечное соавторство. Дисциплина позволяет идти на разные сочетания. Автора и его переводчика. Дубина и Гудкова: в социологических исследованиях пара эта стала такой же идиомой, как Ильф и Петров или Вайль и Генис в изящной словесности. Борис Дубин и Сергей Дубин, отец и сын, одной стезей идущие. Сюда же — завидные компании коллег-переводчиков, чьи фамилии — всегда рядышком в оглавлении совместно нажитых книг.

Взаимозависимость, но не вторичность: в интервью Б.Д. признался, что с какого-то момента чисто стихотворное существование текста кажется голым — «оно должно быть с чем-то, в чем-то... Поэтому и нужно переводить поэтические произведения так — с откликами на них, с комментариями, которые перемежаются с попытками перевести то, что комментируешь уже ты сам...» («Вечерний Челябинск», 08.09.1997.)

14

Сюзан Зонтаг. «Мысль как страсть», Избранные эссе 1960–1970 годов. «Русское феноменологическое общество», Москва, 1997. 205 стр. (в компании с В. Голышевым, В. Кулагиной-Ярцевой, С. Дубиным, С. Кузнецовым, Н. Цыркуном).

Здесь — предельный рационализм (все ж таки «феноменологическое обще-

ство!»), желание все объяснить до донца. Выпаривание воды, голая суть. Кожа да кости, одни аналитические хрящики и склеротические бляшки непроходимого, плотного кальция.

При первом касании теории Зонтаг кажутся едва ли не банальными. Правда, потом, взглянешь на дату написания — и тогда оценишь прозорливость взгляда, предугадавшего пути развития современного искусства. Следствие этой прозорливости — растворение в теле мировой культуры и, в конечном счете, естественный отказ от оригинальности.

Другое дело, что душу можно отвести в пантеоне родственных душ: Чоран и Беньямин, Барт и Вайль. Все те же. Плюс к ним примкнувший Канетти. Б.Д. пользуется статьями Зонтаг, дабы еще раз отдать должное. Оглянуться.

Да, высказанный Зонтаг в «Против интерпретации» принцип (не толковать содержание, но только лишь любоваться формой) лег в основание этих записок.

15

В том, что стратегия утопического проекта имеет серьезную научную основу, убеждаешься, ознакомившись с многочисленными социологическими изысканиями Б.Д. Ведь переводчиком он, как мистер Джекил, «работает» только ночью; днем Б.Д. — вполне респектабельный сотрудник ВЦИОМ, участник многочисленных дискуссий о судьбах интеллигенции и культуры, автор (вместе с Л. Гудковым) популярных статей и книг. Социологические выкладки пестрят таблицами и методологически корректны, дотошны и подозрительно убедительны, они — *правильны*, как закон тяготения или правило буравчика.

Социология и переводы соотносятся, как базис и надстройка, инь и янь, биография и судьба. Интуиция и тяга к прекрасному одеты в железные латы рациональных мотивировок, научно просчитанных доводов и аргументов. Лакуны вычисляются опытным путем. И заполняются — практическим. Выходит, что Б.Д. — объект и субъект собственного описания одновременно.

Одни названия библиографии чего стоят — «О массовом восприятии социальных перемен», «Интеллигенция: Заметки о литературно-политических иллюзиях»*, «Постсоветское искусство в поисках идеологии», «Журнальная культура постсоветской эпохи», «Литературные журналы в отсутствие литературного процесса».

Именно там, в них мы и отлавливаем программу минимум и задачи максимум: «Поиски собственной культурной и профессиональной идентичности» с помощью «устройства подобного поля, совокупности взаимодействующих фигур и форм их работы», необходимых для исправления ошибок, зарывания рвов и перехода границ. Ибо «отечественная филология отстранялась и продолжает оставаться в стороне от теоретических проблем и методологических дискуссий XX столетия — от неокантианских споров о методе в Германии начала века до, скажем, французской полемики о предмете и методе истории в 70-80 гг. в связи с проблематикой «устного» и «письма», затем — «повседневного», затем — «воображаемого и т.п...»

Литературная ситуация, меняющая с середины 80-х привычные очертания, нуждалась в дополнительных интеллектуальных инвестициях со стороны. Вливание потаенной литературы, авангарда и андеграунда произошло механически и, как теперь ясно, малопродуктивно. Весь корпус подпольных текстов, несмотря на разницу этических и эстетических подходов, оказывался завязанным на взаимоотношения человека с социальными организмами и механизмами (отечественная наша словесность без проблематики этой вроде как и не существует вовсе).

Культура внутренней, экзистенциальной жизни (иррациональной, трудно выражимой в словах) — вот мимо чего русское сознание проскочило, не заметив отчаянного недостатка. Мы как Монголия (от феодализма сразу к социализму) перешли от «реализма» к постмодерну, миновав школу модерна — творения индивидуальных мифов и индивидуалистического самосознания (когда, в том числе, от себя — и к *Другому*).

«В подобной ситуации становится необходимым, появляется и доказывает свою

* В этой (совместной с Л. Гудковым) книге содержится очень важная (хотя и оспариваемая многими) для нынешнего контекста — а для самих авторов, вероятно, программная — мысль: о разрушении интеллигенцией традиционной советской идеологической «надстройки» «до основания» и пришествии *на это* «затем» людей другого уровня и образования — может, менее идеологизированных.

эффективность такое доныне пугающее отечественные умы направление работы, как философия литературы, философская ее критика (включая критику языка), опять-таки воздействующая как на собственную философию, так и на литературу и философию».

Здесь и возникает во всей своей красе утопический проект по ускоренному созданию внутри контекста прецедента накопления текстуальной массы, «открывающей, среди прочего, представления о слове и словесности (прежде всего, видимо, в поэзии и неповествовательных жанрах прозы) как смысловом действии, семантическом событии, «работе» по созданию, внесению, удержанию, передаче субъективного смысла».

Считайте это декларацией о намерениях.

16

Хорхе Луис Борхес. Собрание сочинений в трех томах. Рига, «Полярис», 1994 (2-е изд. — 1997).

Самые разные линии (мотивы) утопии Б.Д. сходятся в Борхесе. Стихи и вполне сюжетная проза, лирические авторские отступления и графика идеально отточенной мысли. Может быть, потому Б.Д. не перестает Борхеса переводить, постоянно возвращается к нему, дополняя и наращивая плотность от тома к тому.

А все достаточно просто: Хорхе Луис Борхес, как точно заметила Анжела Картер, прежде всего, классификатор. В своем исследовании она ссылается на предисловие, которым Борхес предварял переиздание «Всемирной истории бесславья» 1954 года, называя свои творения «безответственной игрой стеснительного человека, который не решался писать собственные рассказы и развлекается тем, что подделывает и перекраивает... чужие истории».

Вполне постмодернистская ситуация переживания чужого слова как своего — очередное, запланированное воскрешение автора в эпоху смерти читателя и традиционной литературы: тир логоцентризма во время медальной чумы. Вот почему столь необходима именно авторизация перевода — буквальное почти присвоение не тобой написанного. Б.Д., как борхесовский Пьер Минар, вынужден делиться с иностранными писателями собственной жизнью, золотым запасом собственной экзистенции оплачивая открытие Другого.

Это не Борхес современный писатель (лично мне он кажется архаичным, пыльным каким-то), но Б.Д., запуская механизм присвоения, передавая через вторые руки, гальванизирует его бранные останки, невообразимые груды ветоши и хлама, разложенные по полочкам Вавилонской библиотеки.

17

Вообще-то явление Б. Д. можно уподобить значению (влиянию) Д.А. Пригова: после такого впрыскивания витаминов пейзаж радикально меняется. Так, как раньше, оказывается, более нельзя. Неприлично. Сначала глобальное потепление климата сказывается на оперативных, подвижных жанрах (критика), затем просачивается в большую прозу (роман-эссе — это не В. Чивилихин, но, скорее, Р. Барт). Бархатная революция ползучих, переходных форм, как сорняк, прокралась в сады изящной словесности; изменила вектор цветения с центростремительного (социально активного, общественно подвижного) на центробежный.

В чем главный урок эссе как жанра? Отсутствие явной сюжетной канвы выпячивает формальную составляющую. Как оказывается так же важно, как и *что*. Именно приключение мысли, чужой, непредсказуемой, делает путешествие вдоль произведения единственно увлекательным. Вот она — столь чаемая нами свобода перемещения. И — научение ей: ответственность перед собой (правда знаний и убеждений) и перед читателем (никакой разболтанности, водянистости стиля, который здесь — мысль): все завитушки и завитки работают на раскрытие сверхзадачи, да?

Так в актуальной русской литературе вновь появляется, проявляется полузабытый за годы советского беспамятства аппарат для работы с языками культуры внутренней (внутри каждого отдельного индивидуума) жизни.

Отдельных слов заслуживают скромность и достоинство, отзывчивость и высокая простота, с которой Борис Дубин воплощает свою утопию, дирижируя машинерией бумажных чудес, всем этим культурологическим джазом, значение импровизаций коего нам сегодня сложно оценить.

Челябиск

Наблюдатель

рецензии

Превращения превращенного

Владимир Гандельсман. Цапля. — Париж — Москва — Нью-Йорк: «Третья волна», 1999; Ирина Евса. Наверное, снилось... — Париж — Москва — Нью-Йорк: «Третья волна», 1999; Иосиф Гальперин. Щепоть. — Париж — Москва — Нью-Йорк, 2000.

В двух из этих поэтических сборников помечено: «Библиотечка поэзии «Стрельца». Поскольку третий оформлен совершенно аналогично, будем считать и его частью этой библиотечки.

«Стрелец», если кто забыл, — альманах, редактор и издатель которого Александр Глезер известен в России (даже в глубинке) и за ее пределами как поэт, переводчик и — особенно громко! — как устроитель альтернативных выставок изобразительного искусства в те достославные года... В одной газете мне попала статья Глезера, подписанная: искусствовед. В январе этого года я видел в Москве в магазине «Гилея» том «Стрельца» за 1998 год, из чего делаю предположительный вывод, что в 1999 году альманах не выходил. Неужели он тоже отправится вслед за славной газеткой «Русский курьер» (главный редактор — Александр Глезер), пытавшейся в годы перестройки укрепить культурные связи между русским зарубежьем и Россией? Внебытие, стало быть...

Может, библиотечка — все-таки знак того, что «Стрелец» скорее жив, чем мертв? Тут невольно вспоминается «Библиотечка избранной лирики» комсомольского издательства «Молодая гвардия»: цена — копейки, ценность — когда величайшая, а когда — никакая. Замысел господина Глезера хорош тем, что невероятно прост: книжка должна быть доступной — автору, издателю и, естественно, читателю. Хотя... что мы про читателя: у двух брошюр тираж — 300, у третьей — 500 экземпляров... Художественная задумка просматривается менее четко. Разве что этакий фразеологизм на язык просятся: пусть расцветают разные цветы. На нашей клумбе.

Кстати, в «Стрельце», № 2(80) за 1998 год, семь стихотворений Гандельсмана. Хороших стихотворений.

И хотя параллельно с «Цаплей» в Питере вышел более основательный сборник поэта, хочется сказать и об этом — в этой наивной и почти детской по замыслу (ибо размах чересчур наполеоновский) серии.

Итак, первый сборник. Тот, что без обозначения библиотечки.

*Вот остановка мира,
пориней его, цепей.
Лучшее место — квартира.
Крепкого чая попей.*

*Мне никто не поможет
жизнь свою превозмочь.
Лучшее, что я видел —
это спящая дочь.*

В самом первом стихотворении — отказ от бытийности — в пользу хорошо отлаженного быта (а когда он у нас был хорошо отлажен?). И потом этот наклон делается вроде бы преобладающим (*ни о ком я, / ни о чем... о маленьком мирке* — как, кстати, много воздуха в маленьком мирке!). Даже и боги делаются домашними, знающими, где бакалейная, а где — зеленная, хотя речь может вестись уже о лавочках для умерших покупателей.

Если считать, что быт — это элементарно, то кстати цитата из советского академика М.А. Маркова: «...Существование данной элементарной частицы — это лишь момент бесконечных превращений в шкале больших, вселенских перемен»*. Вот где, как говаривал Ленин, дорога к поповщине! Быт — часть бытия, но у Гандельсмана — все проще и все сложнее. Тут нет никакого перехода к большим, вселенским превращениям. Они и есть — повседневность. Или же: она и есть еже-

* М.А. Марков. О природе материи. — М.: «Наука», 1976. С. 84.

мгновенные превращения. Этакая двойственность, при которой ничто не двоится, но лишь говорится — легко и точно.

Легко ли?

*Пострашим — и тогда постигнем,
что иные не живут нигде
так давно, что более —*

*«пусти к ним!» —
и не просятся к земле, — к земле,
к воде,*

(Речевая четкость тут оставила нашего поэта! Дранный синтаксис.)

*к виноватым превосходствам жизни,
тем, где копошится божья тварь
в табака душистой горловине...
Но Эдип ещё ребенок. Царь.*

Еще один параметр, ведомый и физике, и лирике, — красота. Стареть — значит переставать быть красивым, выцветать. Легко ли?

Мир населен, наравне с живыми, мифологическими персонажами. Не убивайте отца, не женитесь на собственной матери, а для того — не взрослейте, не старейте, не расставайтесь с красотой — царствуйте! Легко ли?

Все вселенские превращения уже описаны на земных языках, и потому

всякое слово живое — есть реквием.

Какой реквием? Кому реквием?

Сквозь Моцарта уже прорастает Малер, и даже Ахматова, если угодно (все-таки петербургская закуска чувствуется у Гандельсмана — нет ничего точнее решетки Летнего сада!).

Кому? Жизни? Смерти? Их непрерывному-неразрывному единству. *Антигона стирает пыль*, и никакие осуждающие взоры спокойных загорелых баб на нее не действуют: она защищена от взоров вечностью, сколько ее ни три тряпкой.

*потому что выцветает даже горю
удаётся со временем и на склоне
снится Исмине поездка к морю
и могила прибранная Антигоне*

А в другом месте:

*Ни о чём не спрашивай
Не заглядывай за
край. Закрашивай
холст. Не мучай глаза
бездной.*

Иначе говоря, пчела, георгин, зрачок. Искусство обмена наблюдениями —

с вами, со мной, с самим собой, сегодняшним, завтрашним, вчерашним.

Второй сборник.

Он, конечно, женский, но, слава Богу, не дамский. Это — уже-сборник. Потому что зачин у него очень серьезный:

*Уже не успеешь отречься
от юности бражной,
от рифмы классической,
от немоты окаянной,
от Кришны и Канта,
от влажной сирени овражной,
от хвойного шороха
по черепице багряной.*

Интересен тут не только интеграл, соединяющий воедино или расставляющий по полюсам Кришну и Канта — Запад, сиречь, и Восток... По-моему, овражная сирень — более интересна. Тем, что красота происходит снизу, поднимает этот низ, возвышает его. Овраг не становится пригорком, но может им стать.

*...Манна небесная сухо скрипит
под ногами.*

Профессионально измеренная мера любительства. Ничто не падает с неба. Все достается стараниями и страданиями. Любительство — от любви: мы многое и многих уже в этой жизни любили. И теперь остается «проверять посты».

*Вот и свиделись. На те же
круги, как трамвай по рельсам.
И далее:
Прошлое, как пыль за шкафом, —
ужаснёшься, отодвинув.*

Каков уровень точности житейских наблюдений, таков и уровень поэтичности. Если бы можно было вытереть прошлое, как пыль за шкафом. А после — вдохнуть всей грудью свежий ветер свободы от миновавшего!.. А надо ли нам это?

Нам нужны те пятнично-субботние радости в квартире, заполненной метками. Дотронешься пылесосом до шкафа, а он, музыкальный, распахнет свои дверцы — и вернется на пять минут давно прошедшее. Коснешься тряпкой книжной полки — а оттуда свалится толстенный фотоальбом.

*И даже не любовь, но дрожь руки,
роняющей ключи...*

И вдруг они найдутся за диваном, сто

лет назад оброненные ключи к уже прошедшему счастью?

Лично я очень люблю подобные стихи и не собираюсь встречать в дискуссии на тему, поэзия они или нет. Человек поделился со мною сокровенным, дорогим — и я очень благодарен автору за волнение, пережитое мною при чтении. Может, волновался я немного не о том. У каждого ведь свои воспоминания...

Третий сборник.

*Бемоли грубого помета,
зато высокого полёта.
От зёрен отошла полова,
от земляница — запах пота, —*

так Иосиф Гальперин слышит музыку Шнитке.

*Кто овладел, как плугом, страхом —
заронит в сердце зёрна боли,
чтобы вошли они из праха
любовью, —*

так он осмысливает услышанное. Уровень стихотворства не вполне соответствует уровню этой метафизической диалектики. Ясно, что для автора важнее техники соединения слов противоречивые смыслы. Хотя, что значит — важнее? Наверное, нужно сказать: привычнее. Склонность к публицистичности у Гальперина — профессиональная (его основное занятие — журналистика). Автор делит мир на части (правое — левое, Бог — человек, добро — зло), чтобы потом мучаться с их воссоединением.

Воссоединяется поделенный мир не всегда.

Вот несколько ироничный, но вполне достойный образец:

*Однажды правое Ничто
влюбилось в левое Ничто.*

*Из точки взаимовселения
возникла новая Вселенная.*

*Но крылья бабочки с тех пор
всё ловят лопнувший простор.*

Если поэзия — раздел математики, то перед нами — маленький шедевр. С посылкой и выводом, а также перечеркиванием вывода при помощи крыльев бабочки.

Правое — и левое. Правые — и левые. Соединение как форма неслиянности.

Узор ковра видней с изнанки.

Иной раз общественно-политическая изнанка действительно всерьез интересует автора, но он старается не подавать вида и строит оппозиции, меняя эпитеты перед понятием. Например, перед «врагом».

Я наследник своих врагов...

Дальше:

Я — наследник прежних врагов...

И еще:

Я наследник древних врагов...

Что можно получить, наследуя врагам? По смыслу стихотворения — речь не о личном наследстве, а о той роли, которую евреи, враждовавшие с греко-римской цивилизацией, стали играть в европейской культуре.

*побеждённые динозавры
мне оставили страх на завтра,
в клетках тела дремлет зараза
побеждённых амёб и мхов.*

Код — пожалуй, глубже и возвышеннее кодируемого содержания. Указание на первобытные страхи уводит от рассуждения о цивилизаторской роли вражды в нецивилизованное далёко. Наш философ шагает не в ногу с самим собой, но художником.

*Мощная зелень ещё не ослабла
ни в чём,
и равновесие трётся о грани воды.*

«Он стал поэтом — для математики ему не хватило воображения!» — сказал о своем ученике-неудачнике кто-то из великих ученых. Я читаю стихи Гальперина, и мне боязно за то, что он хочет успеть и в естественных науках, и в гуманитарных, а поэзия — все-таки искусство. Труднее до грань воды равновесие — доведенное до предела отчаянье. Отчаянье не успеть в рисовании словами, а не схемами. И чем же утешить отчаявшегося? Его же собственными строчками?

*Держится лист,
но прорежутся жилки на нём —
и шелкопряда не спрятать следы.*

Все — вовне. Человек превратился

в наблюдателя — то ли с микроскопом, то ли с телескопом. «Сквозь волшебный прибор Левенгука» можно зреть не только микроскопическое настоящее, но и гигантское прошлое-будущее...

Резюме.

Библиотечка поэзии — дело, конечно, хорошее. Наши, достаточно разные, авторы доказали нам это — не только своими стихами, но и несуетным отношением к реальности. В том числе и литературной.

Александр Касымов

Душа и танец

Борис Фальков. Тарантелла. — М.: Вагриус, 2000. — 448 с.

«Дальние близкие друг другу здесь и тут сейчас ограничивают край человека, они ему — стороны света, весь его мир, земля и небеса... Дальние близкие человеку, они вьют вокруг него свои хороводы, они — его дни и ночи, запад и восток, север и юг... Ад и рай, земля и небеса, ограненные друг другом, упираются в человека, и кружась вокруг него — гранят его краем своих жестких краев, ущербляют его изначально бесформенную самодовольную окружность...»

В маленький южноитальянский городок, где почти ничего не изменилось со Средних веков, приезжает молодая женщина, представляющая исследователем средневековой музыки. Сцена — площадь с гостиницей, собором и парикмахерской-кабачком. Все пропитано подозрительностью, приезжая даже в душ ходит с газовым баллончиком, а горожане считают ее агентом налоговой полиции. Мир под огромным давлением, как на дне океанской впадины. «Тяжелая крышка — распятый над площадью черный зонтик неба — уплотнила в коробке воздух, придушила слишком громкий хлопок...» Цвет ночи — черно-желтый, «сдавленный поверхностями предметов, он изливался наружу сквозь них, против их воли. Их плоскости, углы, грани и ребра, весь навязывавший себя взгляду скелет ночи лишь мешал его излианию, но помешать ему вполне — не мог». Ночь прижимается к телу вплотную. Но не легче и сжигающий день: «Самого адского солнца не

видно, и не угадать, где оно. Но оно, без сомнения, где-то есть, ведь есть же его ослепительное сияние, только оно дано глазам не как свет, а как давление на них».

Каждый жест приезжей рассчитан, облик тщательно подобран, всякое душевное движение, свое или чужое, немедленно анализируется.

«Сочтя именно так, она, несмотря на всю неожиданность укуса, сумела довести до конца, не сбилась, свой выработанный жест: поставила ладонь на бортик конторки и оперлась щекой на ладонь. В целом — заняла удобную для атаки позицию. Замедленный жест сопровождался шуршанием жилета на ее груди». Саморефлексия и учет внешнего взгляда не прекращаются ни на мгновение, тем более что другие — источник опасности, — от которых держится неослабевающая оборона. Человек, стремящийся быть полновластным автором самого себя, постоянно демонстрирующий свою независимость и сильный характер.

Столкновение с медленным миром городка порождает конвульсивные и бесполезные словесные дуэли, напоминающие разговоры Сеттембрини и Нафты из манновской «Волшебной горы» (но без Ганса Касторпа и мадам Шоша). Приезжая сыплет феминистскими клише о грубой мужской религии и шовинистической мужской культуре, учит священника теологии, а хозяйина гостиницы — правилам обслуживания. Ее собеседники не лучше. И аккомпанемент дискуссий — стук копыт полудохлой лошади, пытающейся ущипнуть ссохшуюся траву в трещинах между плитами мостовой. Приезжая всех провоцирует, а потом удивляется грубости и отпору. Напряжение сгущается, тем более что тема расспросов — прообразы тарантеллы, пляски, которую исполняли то ли безумные, то ли укушенные пауком, а горожане говорить об этом вовсе не склонны. «Вы, в сущности, требуете, чтобы вам исповедовались... Пытаетесь урвать кусочки чужой добротной жизни, за неимением своей, и пользоваться ими хотя бы в воображении...» Нарастает усталость. «Нет, поддержки не жди, ты по-прежнему одна, сама. И это тоже застывшая в камне данность, тяжесть, данная тебе навек.»

И тут самоуверенный современный человек оказывается под нажимом чужой воли. Бога ветхозаветного, творящего и не прощающего? (Библейских цитат и интонаций в романе достаточно.) Или — бога с маленькой буквы, похожего на

ужасных ангелов Рильке? «В иной раз захочу иного, а сейчас я хочу тебя, как может хотеть лишь пламя. Ты сама виновата: подняла меня и заставила носиться по ветру, подобно языкам пламени». Эта воля тоже нуждается — в человеке. «Твоей рукой я ищу себя». А человек и должен сопротивляться ей, если он действительно достоин зваться человеком, если он — хороший материал.

И давление ночи и дня, жителей и зданий оказывается нужным.

Даже бестолковые стычки вдруг обретают смысл — как начало выхода из равновесия, начало роста. Потому что Бог — не оправдание порядка, но тревога и разлом. «И я отвергаю от себя то, что не я: мое будущее, в которое наряжают меня, куда отсылают меня от себя самого — в историю и судьбу. Там меня наряжают вразнообразные шкуры, поселяют во множестве фальшивых папочек, что ж неестественного в том, что я оттуда возвращаюсь к себе, сюда!» Бог, творящий себя посредством людей. Нагнетающий давление, добиваясь взрыва (название городка — Сан Фуриа, святая ярость). Тело теряет устойчивость. «Нога, чтобы сохранить равновесие и не дать телу упасть, выдвигается вперед, попутно ударив в стойку коленом, как в громадный тамбурин... И вот, одна поза сменяется другой так быстро, что сама перемена их рождает подобие не знакомого тебе, но совершенно необходимого тебе движения. Еще немного — и оно наладится вполне, наладится весь пляс».

Это рассказ о перемене. Как из человека уходит сосредоточенность на самом себе, поглощенность собой. «В растущей бедности внутренних ощущений она теперь замечала то снаружи, что раньше проходило мимо нее — богатой... Будто невидимые пальцы лепили прямо у нее на глазах». Как современная женщина — интеллеktуал и индивидуалист — оказывается способной понять женщину заолудного городка.

«Эта беспомощная женщина — ты, а ты — я, надвинемся друг на друга, обнимемся и вдвинемся друг в друга, и будем мы. И нас, триединых: тебя, меня и белую плясунью вознесет наш общий гнев, как пушинки с ощипываемой куры, дорогуша ты моя гадкая, мерзкая ты скотина». Как перестают воспринимать культуру неизменной, понимают, что она может твориться в том числе и в пляске на городской площади. «Это опускание с небес обшего, присваивание его каждым через свое

здесь и сейчас, устраивание все новых и новых различий, мигов и мест — серьезная работа». Работа различения, понимания того, что люди различны, и даже когда читают одну и ту же книгу — это разные книги, поскольку взаимодействуют они с разными телами и разной памятью. Работа освобождения от схематизма.

Повествователь тоже под взглядом, под ударом, ему тоже тяжело говорить. Потому Фальков и опирается на пластику и музыку, речь в этих областях во многом бесполозна. Пластика движений воспроизводится очень подробно, настоящая балетная партитура для каждой мышцы. «Она с грохотом захлопывает дверь и пятится назад на полупальцах, не разворачивая корпус, но вывернув голову по направлению движения. Сосцевидная мышца..., сплетенная из закрученных вокруг общей оси канатиков, затягивается на шее удавкой». Это именно то, что может дать пластика слова, кино не способно уловить множество рефлексий за каждым жестом. Мысли ощутимы пластически, физиологически даже. Слова тоже ощущаются и на уровне движений гортани. «Именно так и принято произносить его имя, вдохом и выдохом, астма, не произнести — высвистать и выхмыкнуть его».

А голос продолжает греть: «Вот, теперь я сдавливаю тело у порога, со всех сторон накатив на его берега, взламываю его внутренние и внешние края, как яичную скорлупу...» Так в человеке прорывается голос свободы, ее ярость. Безумная пляска — вторжение Бога в мир. «Распростертое на полу комнаты тело пляшет в раскукливающейся ночи души, подобно личинке ночи. Это я пришел и напал на него, ибо терпение мое истощилось... От моих ударов сотрясается и раскрывается глиняная матка тела, выбитые из нее фонтаны едких кислот вмиг разлагают единый горчичный спектр впрыснутого раствора на чистое золото и черный фиолет». Пляска — корчи тела на костре, вылезавшей из куколки бабочки. Неоформленность становящегося и уничтожаемого, лишь угадываемая, как в руинах — очертания разрушенных зданий, или в чертежах зданий — их будущее. Это — смешение кипящих воздуха и крови. И это — проветривание сердца. «Подобно лопнувшему яблоку раскрывается твое сердце, подобно обожравшемуся соками яблока, вползшему в него червь, опившейся его кровью змее... И это вполне будничное, малозначительное дей-

ствии: всякую комнату неплохо бы проветривать каждый день.»

А потом — тихое завершение. Приезжая — не доцент, не агент, а просто сумасшедшая с манией побегов, отец находит ее и забирает домой. Бог оставляет человека — до следующего раза. «Потрясение от столкновения с ним выбивает из глаз слезы, но продолжают они течь от непомерной тоски разлучения с ним». Бог уходит «назад в свою тьму, чтобы устроиться там в своей прежней, совершенной и потому единственной позе. Эта темная поза — дрожь неподвижной позы, сама дрожащая тьма». Человек обо всем забывает. «Дела как-то двигаются, спасибо. Все хорошо».

Что это? Преображение (тут вспоминается «огненное преображение» Введенского, «Бог, посетивший предметы»)? Или безумие? Человек, ощутивший в себе мощь и тяжесть Бога? Душа европейской индивидуалистической культуры, бегущая и не знающая, куда? Попытка понять пророчество, человека как инструмент Бога? Попытка заглянуть в безумие? Попытка понять, как человек открывается миру? Ведь на место Бога можно подставить мир в его многоветии и тяжести.

Одна из составляющих романа — эссеистичность, традиция Музиля и Т. Манна, разговор о будущем и прошлом, иерархии и рациональности, женщины и мужчины, теле и душе. А рядом — пророческие интонации ницшевского Заратустры. Если музыка — то Бах, от чьих произведений прихожане, говорят, разбегались из церкви в ужасе.

Однако именно современная женщина, рефлектирующий индивидуалист, оказалась способна вместить большее, чем она сама, — для жителей городка все пройдет так же бесследно, как и очередная ведьма/святая, сожженная на площади. Пусть все это очень тяжело, на грани безумия, а порой и за гранью (в предисловии к книге Александр Зиновьев говорит о предчувствии войны, не конкретной, а всякой). Но говорить об угасании энергии не стоит. Она просто меняет форму.

«Будущее закроется, если не освободится от себя для мира, а мира не станет, если он не освободится от себя для будущего, если его будущее не пресуществится в него самого, не перестанет быть будущим, а станет тут и теперь». Будущее остается собой, пока открыто для настоящего, пока готово стать им и перестать быть собой. Возможность остается.

Александр Уланов

Восстание символов

Мишель Турнье. Лесной царь. СПб.: «Амфора», 2000.

Мало кому из европейских авторов удалось выявить глубинную сущность феномена, именуемого фашизмом. Исследуя социальные, исторические, психологические, садомазохистские и прочие корни явления, художники добивались подчас впечатляющих результатов, но что-то важное просачивалось сквозь крупную ячею таких подходов, оставляя чувство неудовлетворенности. Между тем очевидно, что в фашизме оживают древние духи, оживает миф; и пусть «мифологический» подход тоже не является последней истиной, он все-таки дает возможность хотя бы приблизиться к ней и не впасть в дурное упрощение далеко не простой реальности XX столетия.

Книга Мишеля Турнье «Лесной царь» (оригинальное название, взятое у Гете, — «Ольховый король») — из произведений не упрощающих, отмеченных глубиной проникновения в тему. Надо сказать, вначале при чтении романа возникает ощущение, что рассказывается еще одна история про «монстра». «Парфюмеры», «Коллекционеры» etc. — зашагали по страницам прозы второй половины века, обнажая зловещую патологию человеческой природы и одновременно выдавая страх обустроенного западного мира перед сидящим в человеке зверем. Вот и Турнье делает акцент на противоположной любви Авеля Тиффожа к плоти, к распоротым ранам и сырому мясу. Больше того — герой нередко именует себя «людоедом», так что читатель ждет, так сказать, перехода от теории к практике, заранее содрогаясь от воображаемых каннибальских сцен. Содрагаться, однако, приходится от другого. Тиффож так и останется «виртуальным» людоедом, зато вокруг и около будут мельтешить каннибалы вполне реальные, пусть и не в физиологическом смысле.

Судьба героя разворачивается на фоне второй мировой войны, отголоски которой постоянно долетают в леса Восточной Пруссии; но пока вермахт катится на Восток, жизнь в Роминтене и Кальтенборне — не столько фронтовая, сколько потаенно-мистическая. Охоты «людоеда» Геринга напоминают гекатомбы древних, когда в жертвы богам-идолам приносились сотни животных. Отто Блаттхен, ищущий с линейкой в руках «Ното Judaeus Bolchevicus» (человека еврейско-

большевистской расы), похож на чудовищного жреца, а откровения генерала Кальтенборна имеют очевидные апокалиптические мотивы. Сама атмосфера северного края пронизана тайной, которую пытаются разгадать вначале военнопленный, а впоследствии — служащий Третьего рейха Авель Тиффож.

Его ведет идея «фории», восходящая к легенде о Святом Христофоре, и осознание особой миссии, уготованной заурядной вроде бы персоне. Выявлению этой интуитивно осознаваемой миссии посвящена вся первая часть — довоенный дневник Тиффожа, в котором он вспоминает детство, друга Нестора, примеряет на себя мифы и предания, чувствуя при этом свою избранность. И даже начавшаяся война его не очень пугает, больше того — она в чем-то подтверждает интуиции этой странной личности. В Тиффоже удивляет сочетание полярных вещей: нежность к детям, например, и противоестественные импульсы природы, замороженность языческим прошлым места, где в болотах находят загадочных «лесных царей». Находка из болота еще аукнется парадоксально-символическим финалом, но пока Тиффож служит в «наполе» — школе для юнгштурмовцев, — видя в учениках прежде всего детей — свою радость и крест, ношу под стать легендарному «Христонсцу». Тиффож одновременно и жертва (пленный все-таки), и хозяин леса; он и ждет краха всей этой зверской машины, и вроде как желает стать ее преемником. «Великий Егерь со своими охотничьими утехами и оленьими рогами безнадежно упал в его глазах, преобразившись в нестрашного людоедика из бабушкиных сказок. Его полностью затмил другой — людоед из Растенбурга, тот, что требовал со своих подданных ко дню рождения их самое драгоценное сокровище — пятьсот тысяч девочек и пятьсот тысяч мальчиков десяти лет» (тут, уточним, идет речь о массовом приеме в «Гитлерюгенд» ко дню рождения фюрера).

По некоторым меркам, Тиффож — коллаборационист, но это было бы важно в другом случае и в другой прозе. А Мишеля Турнье именно эти противоречия и интересуют. В пределах одной личности (равно как и пределах немецкой, допустим, нации) у Тиффожа причудливо сочетается восторженное христианство и древние лесные культы с их человеческими жертвоприношениями. И в Кальтен-

борне язычество побеждает, оно в конце концов вырывается на свободу, руша протестантскую дисциплину и укладывая немецких мальчишек в гекатомбу, схожую с теми, которые устраивал в прусских лесах одуревший от крови рейхсмаршал. Сцены финального штурма замка — мало сказать впечатляющие, они заставляют вспоминать Армагеддон, это — фреска со стены средневекового храма.

Хотя не только пробужденная древность вызывает интерес автора — он прекрасно осознает контекст уходящего века и делает акцент именно на его болезнях. Этот век подарил нам «восстание масс», уравнив личность с «винтиком» и сделав индивидуальную судьбу — серийной, роевой, мелкой. А именно такой судьбы желает избежать Авель Тиффож, которому даже в собственном имени чудится символ. Не принимающий серийного существования, Тиффож болезненно сосредоточен на символах судьбы, избранности, завещанной погибшим когда-то школьным приятелем. Он меняет гражданскую жизнь на военную, французскую армию — на немецкий плен; потом служба, карьера, и все время его влечет неведомая звезда, приводя в конце концов к генералу Кальтенборну. А тот говорит странные вещи: мол, «тот, кто грешит с помощью символов, от них же и погибнет». И что в Германии знаки оторвались от вещей, которые символизировали, и теперь пожирают сами эти вещи. Чувствуете поворот темы? Так и хочется вспомнить «означающее» и «означаемое», «отсрочку понимания» и прочий постмодернизм, — однако рамки краткой рецензии не позволяют развернуться в этом направлении.

В финале Тиффож, несущий на себе еврейского мальчика Эфраима, постепенно погружается в болото, чтобы утонуть и воистину стать «Лесным царем». «Вы любите Пруссию, месье Тиффож, — говорил незадолго до катастрофы генерал, — ибо под северным солнцем, как вы мне говорили, знаки блестят несравненно ярче. Но вы еще не знаете, куда ведет это жуткое, непрерывно разрастающееся обилие символов. В насыщенном знаками небе зреет буря, которая разразится с безжалостной силой апокалипсиса и поглотит всех нас!» Поэтому можно сказать иначе: Авель Тиффож всю жизнь погружался в болото символов, и вот оно захлестнуло его с головой, соединив-таки с искомым ипостасью.

Владимир Шпаков

История как область свободы

Леонид Люкс. История России и Советского Союза от Ленина до Ельцина. Регенсбург (Германия), 2000. — 574 с.

Leonid Luks. Geschichte Russlands und der Sowjetunion. Von Lenin bis Jelzin. Verlag Friedrich Pustet. Regensburg, 2000.

В своих «Размышлениях о всемирной истории», вышедших посмертно, швейцарский историк культуры Якоб Бурхардт посвятил целый раздел несколько странному для академического ученого вопросу о счастье и несчастье. По аналогии с нашей собственной жизнью мы можем говорить о счастливых и несчастных событиях в жизни народов. Например: счастье (с всемирно-исторической точки зрения), что греки одолели персов. А вот то, что Афины проиграли Пелопонесскую войну Спарте, это было несчастьем. То, что Рим сохранил первенство в борьбе с Карфагеном, — счастье, а то, что Цезаря убили заговорщики, — несчастье. Ужасно, что во время великого переселения народов погибли бесценные сокровища человеческого духа; несчастье и невезенье, что германские императоры потерпели поражение в борьбе с папством или что Реформация восторжествовала не на всем континенте; зато какое счастье, что Западной Европе удалось отразить вооруженный натиск ислама, и так далее.

Правда, чем ближе к нашему времени, тем судить все труднее. Не хватает исторической дистанции, объективности, невозможно учесть отдаленные — гибельные или благоприятные — последствия событий; то, что кажется удачей, завтра, того и гляди, обернется бедой, и наоборот. Как современный романист избегает рассортировывать своих героев на положительных и отрицательных, так историограф новейшего времени осторожно расценивает всё, что вслед за Бурхардтом можно называть счастьем и несчастьем, если не вовсе релятивирует эти понятия.

Октябрьский путч 1917 года был великим несчастьем для России, — тут как будто не может быть двух мнений. Правда, уже через несколько лет кое-кто из тех, для кого целостность и неделимость Российской империи были сверхценной идеей, стал поговаривать о том, что власть большевиков — единственная сила, способная скрепить железными болтами чуть было не рассыпающуюся империю. И дейст-

вительно, Ленин и его наследники сумели на добрых три четверти века продлить ее существование.

Была ли эта власть легитимной? Разумеется, нет, — с точки зрения общепринятых критериев законности, выборности, представительности. Эту власть никто не выбирал. Но существует то, что можно назвать исторической легитимностью, о чем поэт сказал: «рок событий». Другими словами — то, о чем, вздохнув, мы будем вынуждены сказать: увы! Судя по всему, что мы знаем, иначе и не могло случиться. Появившийся только что на европейском книжном рынке обстоятельный, охватывающий 80 лет политической истории нашей страны труд немецкого историка, уроженца России Леонида Люкса открывается двумя разделами, которые носят характер пролога и одновременно предвосхищают все последующее. Они озаглавлены: «Почему большевики пришли к власти?» и «Почему большевики остались у власти?»

Второй вопрос представляется более интересным — уже потому, что на него труднее ответить. Противников нового режима (который в прежних учебниках именовался «молодой Советской республикой») было более чем достаточно. Есть сведения, что уже летом или осенью 1918 года верхушка партии планировала уход в подполье на случай поражения (которое, по-видимому, представлялось весьма вероятным). Заявление, приписываемое кремлевскому диктатору: «Мы — всерьез и надолго!» оттого и стало крылатым, что выглядело парадоксом. Тем не менее оно подтвердилось. Убедительность, с которой автор книги «История России и Советского Союза...» отвечает на поставленный вопрос, заставляет не только сызнова задуматься над ним, но, пожалуй, переформулировать его: *Почему большевики не могли не остаться у власти?*

Федор Степун (его слова цитирует автор книги) писал в 1917 году, что Ленин хорошо усвоил важную истину: чтобы победить, вождь должен в некоторых случаях склониться перед волей масс. Революция — это как раз то время, когда «воля масс» выходит на поверхность. Первыми постановлениями после захвата власти были, как известно, с помпой провозглашенные декреты о мире, о земле, о рабочем контроле на предприятиях, о праве народов России на самоопределение. Ни одно из этих постановлений, подчеркивает Л. Люкс, не отвечало ортодоксально-марксистской программе партии. Складывать оружие, когда борьба только началась,

когда нам предстоит превратить русскую революцию в мировую? Нонсенс. Раздать просто так землю беднякам, чтобы они, в свою очередь, превратились в собственников? Не лезет ни в какие ворота. Как согласовать рабочее самоуправление с национализацией банков и промышленности, с централизованным плановым хозяйством? Непонятно. Наконец, самоопределение наций не вяжется с требованием Ленина, чтобы национально-освободительные движения были подчинены классовым интересам пролетариата. Нечего и говорить о том, что очень скоро от этих декретов ничего не осталось. Но цель была достигнута: они произвели огромное впечатление. При этом реальные, не отвечающие декларациям преобразования имели и другую сторону.

«Перед лицом распада и разложения почти всех политических, социальных и экономических структур старой России большевистская партия... стала центром кристаллизации новой российской государственности, — пишет Л. Люкс. — Убежденные, что они совершили полный разрыв с дореволюционным прошлым, большевики, сами того не сознавая, подключились к определенным тенденциям исторического развития страны». На это, конечно, можно ответить: тем хуже для страны; ибо все эти тенденции, которым упорно сопротивлялись царь и близкие ко двору правительственные круги, в Советской России получили извращенное развитие. Можно припомнить и многое другое, что обеспечило в своей совокупности победу и консолидацию режима. Неспособность белого движения, чьим лозунгом была реставрация и только реставрация, противопоставить популистской программе большевиков сколько-нибудь привлекательную для народной массы альтернативу; организованность большевиков, этой «партии нового типа»; выдающиеся способности и выдающаяся беспринципность ее вождей; brutality военного коммунизма и официально провозглашенный красный террор; власть и очарование утопии; общеевропейский кризис демократии и успехи политического экстремизма, левого и правого, во многих государствах старого континента.

Мы остановились более или менее подробно на первых разделах книги Леонида Люкса отчасти потому, что еще живы в памяти яростные споры — сначала в эмиграции, а затем и в постсоветской России — о том, кто виноват в случившемся, была ли революция привезена в Россию в запломбированном вагоне или

созрела и прорвалась в национальном организме, «какую Россию мы потеряли», было ли все это делом рук заговорщиков или так уж всем нам на роду написано. Контroversы, которые могут быть приняты во внимание, но во всяком случае представляются наивными, однобокими, изжившими себя.

Мы были свидетелями того, как пропагандистский миф о Великой Октябрьской социалистической революции и новой эре чуть ли не за одну ночь сменился другим мифом или даже целым набором мифов. Работа Леонида Люкса, основанная на многолетнем изучении источников, учитывающая достижения науки последних десятилетий (библиография только избранных трудов насчитывает 298 названий), принадлежит к числу очень немногих, к сожалению, книг, предлагающих взамен идеологической ангажированности и дилетантской историософии трезвый взгляд историка, пронизательность стороннего наблюдателя и основательную эрудицию специалиста. Вот почему было бы так желательно, чтобы книга стала известной в России.

Можно предъявить некоторые претензии к автору по поводу дальнейшего расположения материала. Например, Отечественной войне, которая (не вполне оправдывая свое название) расширила сферу международного военного и политического господства Советского Союза до пределов, не снившихся ни одному из авторитетов старой России, и вместе с тем, как это бывает с большими выигранными войнами, причинила победителю такой урон, от которого он не оправился до сих пор, — Отечественной войне, на наш взгляд, уделено очень мало места. В анализе политической структуры советского строя явно недооценена роль тайной полиции, под всеми ее сменявшимися друг друга вывесками, — характернейшего, созданного сразу же после захвата власти и определявшего на протяжении многих десятилетий облик государства и общества контрольно-репрессивного механизма.

Время Ельцина — конечная остановка. Время, которое у всех еще перед глазами; о котором можно сказать, что в известном смысле оно еще продолжается. Вместе с тем веха поставлена правильно: мы чувствуем, что наступил конец межвременья, короткой эпохи-расщелины между советским прошлым и будущим, может быть, совсем нерадостным, которое, однако, уже ломится в дверь. Как бы то ни было, заключительные разделы книги — «Горбачевская перестройка» и «Постком-

мунистическая Россия при Борисе Ельцине. В поисках идентичности» — принадлежат к числу самых захватывающих. Здесь, однако, историк испытывает особые трудности: дистанция, необходимое условие его работы, становится слишком короткофокусной. И никто не может поручиться за то, что его вердикт уже завтра покажется скоропалительным, близоруким, несправедливым. (Та же судьба, впрочем, грозит и сегодняшним оценкам его работы).

Заголовок этой краткой рецензии заимствован у недавно умершего, весьма популярного в Германии историка Голо Манна, младшего сына Томаса Манна. Как всякий ученый, историк не притязает на владение истиной во всей ее полноте. Как всякий ученый, он верит в истину. Пафос его работы — интеллектуальная честность. То, к чему он стремится, — это свобода — от предвзятости, от партийности, от национальных и племенных предрассудков, от фатализма и... от претензий на непогрешимость.

Борис Хазанов

Введение в русскую историю XVIII века

А.Б. Каменский. Российская империя в XVIII веке: традиции и модернизация. М.: Новое литературное обозрение, 1999.

А.Б. Каменский От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII века. Опыт целостного анализа. М.: Издательство РГГУ, 1999. — 1500 экз.

Александра Каменского не нужно представлять читателю: первая его книга о Екатерине II давно вошла в списки обязательной литературы для поступающих в вузы, в Интернете полно ссылок на его работы по вспомогательным историческим дисциплинам, даже на радио «Эхо Москвы» в прошлом году шел цикл передач о русской истории XVIII века с его непосредственным участием. И вот в конце 1999 года появляются сразу две новые книги историка (одна в издательстве «НЛО», другая в издательстве «РГГУ») с удивительно похожими по смыслу названиями.

Разобраться в том, какая между ними разница, совсем не трудно. При всей безбрежности заявленной в заглавии темы первая книга вдвое тоньше второй и пред-

ставляет перевод (!) учебника, написанного Каменским в первой половине 90-х для американских студентов. Пафос этой книги глубок и нетривиален и, безусловно, способен до глубины души потрясти американского студента: несмотря на модернизацию (европеизацию) в промышленной, управленческой и культурной сфере, наша страна все равно пошла своим, особым путем. В предисловии автор приводит список неучтенной литературы, которая была недоступна к моменту начала работы. Всем, кого интересует подробный разбор этих работ и аргументированная полемика с их авторами, а главное — развернутое обоснование позиции самого Александра Каменского, мы советуем отложить «черновик» и обратиться к окончательному варианту, то есть ко второй книге.

Ее задача остается прежней: Каменский стремится определить характер социального развития России в XVIII веке и ставит под вопрос расхожее представление о том, что российская история складывается из чередования кратковременной реформистской активности и длительных периодов контрреформ, застоя. Главная посылка, из которой исходит ученый, — отечественная историография рассматривает лишь пики реформаторской деятельности (Петр I, Екатерина II). Остальное — во мраке, но не по причине контрреформ и застоя, а в связи с тем, что времена Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны недостаточно изучены.

Прежде всего Каменский считает необходимым провести ревизию традиционного понятийного аппарата. Опираясь на труды ряда предшественников, Каменский убедительно доказывает, что в России конца XVII столетия ничего похожего на феодализм, сословное общество, или борьбу классов не наблюдалось. Поэтому сам Каменский прибегает к багажу западной социологии и политологии. В его арсенале — «кризис традиционализма», «структурный кризис», «модернизация». Иными словами, понятия, по причине всеупотребительности несколько «стертые», но проверенные и вполне надежные.

Метод Каменского предельно прост, но можно с уверенностью утверждать, что более совершенного в исторической науке еще не изобрели. Он заключается, во-первых, в сплошном просмотре законодательных актов с петровского времени по павловское и, во-вторых, в анализе менталитета и социальной структуры российского общества на каждом из этапов его реформирования. В результате мы получа-

ем не хаотическое нагромождение фактов (хотя иные подробности, вроде петровского запрета на игру в бильярд для пажей, можно было бы и опустить), а развернутую характеристику возникшей при Петре I социально-политической системы и подробное описание ее дальнейшего развития на протяжении столетия. Обнаруженный Каменским парадокс заключается в том, что возникновение первого и долгое время единственного в России сословия (дворянства), способного к осознанию своих интересов и к политической борьбе, оказалось «побочным» эффектом осуществленной Петром великой «мобилизации» всех социальных групп российского общества. Ликвидируя отсталость в сфере промышленности и государственного управления, великий реформатор прежде всего опирался на институт крепостничества, превратив его в краеугольный камень местного управления, налоговой системы и промышленности. В результате мечтавший благоустроить Россию на голландский манер император упустил историческую альтернативу (возможность уничтожения крепостничества) и в зародыше задушил третье сословие.

Детальное рассмотрение петровской системы и ее дальнейшей эволюции создаст необходимый контекст для анализа екатерининских реформ. Каменский доказывает, что смысл, вкладываемый Ека-

териной в слова «республика», «конституция» и т.д., сильно отличался от современного и рассматривает реформаторскую деятельность Екатерины в соответствии с теми задачами, которые ставила перед собой сама императрица. Анализируя самые различные законодательные акты, Каменский показывает, как, не имея возможности кардинально изменить систему (отменить крепостное право), императрица прививала русскому законодательству новые для него принципы вроде презумпции невиновности. Собственно, сам системный, всеохватывающий характер екатерининского законодательства был принципиально нов для тогдашней России. Весьма интересно истолковывает Каменский отсутствие законов, касающихся крепостного права: считая это базовое социальное установление антиправовым, но будучи не в состоянии его отменить, Екатерина сознательно отказалась узаконить существующее положение.

Предпринятое Каменским последовательное описание законодательных российских актов XVIII столетия в сочетании с систематизацией историографии делает книгу «От Петра до Павла...» — в отличие от предыдущей работы («Российская империя в XVIII веке...») — почти полноценным и, увы, единственным на настоящий момент введением в русскую историю XVIII столетия.

Василий Костырко

фестиваль

Фестиваль и немного магии

Рождественский фестиваль искусств. Новосибирск.

В субботу к шести вечера улицы Новосибирска — даже в самом центре — уже почти пусты, и потому оживленная театральная толпа особенно радовала глаз. Тем более что под финал III Рождественского фестиваля искусств город сковал вдруг совершенно непредставимый гололед, заставивший растеряться и привычных к зимним страданиям московских критиков. А уж французские артисты впади в полнейший шок: «Никто уже не попадет в театр!» — восклицали они трагически. Опасения оказались, разумеется,

напрасными: зал на «Сиде» был не просто полным, но переполненным — как и все вообще фестивальные залы.

Новосибирск, похоже, сохранил (хотя бы отчасти) то возвышенно-трепетное отношение к Искусству, которое до свободы было свойственно нам всем — и которое врезавшиеся в капитализм столицы явно утратили. «Золотая Маска» и «Балтийский Дом» — мероприятия по преимуществу тусовочные, предназначенные для «своих»; Рождественский фестиваль собирает энтузиастическую публику, которая готовно и естественно встает для финальных аплодисментов. А аплодировать есть кому (и чему): здесь видели спектакли Доннеллана, Някрошюса, Стуруа, Додина, Женовача; дважды привозил свои

работы Фоменко, во второй раз приезжает Фокин, который, кстати, даже предпочел в этом году дать первые представления «Старосветской любви» не в Москве, но в Новосибирске. Его спектакль и открывал фестиваль — и от него начал раскручиваться интересный концептуальный сюжет.

С начала дней и доныне магнитное поле театра образуется притяжением двух полюсов: игрового лицедейства и трагедийного действия. В последнее время эти полюса явно активизировались, а с тем вместе парадоксально сблизились: театральное пространство, как бы взяв пример с современной физики, причудливо вывернулось и сомкнуло высокую трагедию с карнавальным празднеством. Какую тенденцию и продемонстрировала новосибирская программа, которая легко и отчетливо раскладывалась на два полярных направления, стыкующихся в начале и в конце. Самое любопытное, что расклад возник, как говорят устроители, вполне случайно; любопытно и то, что первым этот стык (или, может быть, синтез?) осуществил Валерий Фокин, в последних спектаклях категорически избегавший веселья.

А «Старосветская любовь» начинается именно как комедийная игра — затейливая и занятная. Хозяйство старосветских помещиков живет своей собственной, весьма активной жизнью — пузатые корзины бойко разгуливают по площадке, из них словно бы вылупляются пестрые девки: гоголевский фантазматический быт переводится на язык театральности... Однако всем нам заранее известно, что история малороссийских Филемона и Бавкиды имеет горестный финал — а соответственно, их уютный мир изначально омрачен тенью ожидаемых смертей, исподволь меняющей тональность действия.

Открывшись таким декларативно «синтетическим» сюжетом, фестиваль затем как бы раздвоился: игровая и трагедийная линии разошлись самым решительным образом. Первую представили спектакли «Лес» Петербургского театра на Литейном (постановка Григория Козлова), сатириконовский «Квартет» (постановка Константина Райкина) и «Беда от нежного сердца», поставленная питерцем Григорием Дитятковским в новосибирском «Глобусе» (являющимся, кстати сказать, устроителем фестиваля); различные и по стилистике, и по уровню, они устремлены к одной и той же цели — театризации. «Театр в театре», обращенный на

самое себя, обнажающий и подчеркивающий свою условную природу, сегодня вообще популярен: во-первых, публика жаждет праздника; во-вторых, обветшал сам принцип правдоподобия — нынче артисты и режиссеры уже не рассчитывают, что зритель действительно поверит в «жизненность» происходящего на сцене, а потому работают на выявление иллюзии.

В «Квартете», соединившем две одноактовки Мольера, четверо «комедиантов» исполняют два десятка ролей, стремительно перепрыгивая из костюма в костюм и из образа в образ; «Беда от нежного сердца», сложенная из трех старых русских водевилей, напротив, насчитывает вдвое больше артистов, чем действующих лиц: легконогие балерины и тяжеловесные пожарные, составляющие живой, подвижный и контрастный фон, пританцовывая, заинтересованно наблюдают за ходом событий и вообще ведут некую собственную сценическую игру... В «Лесе» игровая стихия вроде бы не стремится к активному самовыражению: лишь в начале и, понятно, в конце артисты показывают публике, что они именно артисты, собирающиеся играть или уже отыгравшие спектакль. Но поскольку сама история Островского есть гимн театру, то и театральность, театризация суть значимые ее компоненты. Тем более что Александр Баргман и Алексей Девотченко — Несчастливец и Счастливец — играют лучше всех и вообще блистательно: темпераментно, ярко, азартно, сочетая (редкий случай) безусловную психологическую достоверность с безудержным, упорным и демонстративным актерством. И да здравствует театр!

...Трагедию представлял, конечно, Шекспир: абсолютное воплощение самой трагедийной стихии; естественно, что все какие ни есть кризисные и/или переломные времена пытаются соотнести себя с ним, а времени рубежа это свойственно вдвойне — магия чисел усиливает желание вписаться в вечность. Два спектакля, привезенные в Новосибирск, предъявили два варианта обращения с вечно актуальными сюжетами. Номинировавшийся на «Золотую Маску» «Король Лир» в постановке Андрея Борисова (Театр им. Йокунского, Республика Саха) — жесткое и суровое действие, которое переводит Шекспира на язык иной культуры: более молодой и потому отдающей глубокой древностью, адекватной трагедии. А «Гамлет» в постановке Автандила Варсимашвили (Тбилисский театральный центр) являет собой образец пресловутого режис-

серского своеволия, прущего поперек текста. Но магическое зеркало пьесы отражает запросы времени даже через искажения — в странном финальном воскрешении персонажей и их ничем не оправданном примирении слышен отчаянный утопический призыв, вопреки всему дарующий надежду...

А надежда не вопреки была оставлена на фестивальный финал: ее явил «Сид», развивавшийся в направлении, противоположном тому, что задала «Старосветская любовь», — от трагедии к игре. Спектакль, поставленный британцем Декланом Доннелланом для Авиньонского фестиваля, блистательно сочетает достоинства его режиссуры с достижениями французской актерской школы. Стремительная, как мелькание дуэльных клинков, отточенная и отчетливая речь французов поражает тем сильнее, что при таком фантастическом темпе они еще успевают переживать — и вот это уже заслуга постановщика, который умеет настолько тонко и точно разобрать психологи-

ческую суть драмы, что добивается от артистов правды чувств, даже если сами эти чувства кажутся сегодняшнему зрителю не вполне правдоподобными. Именно это происходит в «Сиде»: насквозь условный классицистский конфликт любви и долга наполняется живой эмоцией, и терзания обливающегося слезами героя — великолепного Уильяма Надилама — захватывают до слез. Но сохраняют притом свою театральную, игровую условность: постановщик все время подчеркивает «ненастоящность» происходящего, разводя, к примеру, дуэлянтов в противоположные концы сцены, устраивая параллельное действие и много чего еще; на мой взгляд, именно такому театру принадлежит будущее. Правда, режиссура Доннеллана существует скорее отдельно от общего процесса. Но я склонна доверять таинственному духу театра, выстроившему (коль скоро устроители ни при чем) такую концептуальную программу фестиваля и постаравшемуся закольцевать ее столь оптимистическим образом.

Алена Злобина

ВЫСТАВКА

Эксперименты с оптимизмом

Архетипы экспериментального оптимизма. Живопись. Наталья Ховстёнкова. Галерея «Манеж», 15-30 июня 2000 г.

Пасмурный июньский день, «Манеж» о двух концах. В одном конце «Playboу» открывает выставку фотографии, в другом — тоже выставка, тоже открытие. «Мерсы» с затемненными стеклами, толстяки с дипломатами — нет, это в тот конец, перед которым протянулся бульвар, и тинейджеры на платформах-котурнах, с мороженым и запотевшим пивом, зябко жмутся друг к другу на скамейках перед фонтанами. А здесь, где тупичок очерчен загогулиной шоссе, сорокапятiletние женщины тихо ходят по залу. Все пришли? Нет, одной нет. Той, у которой муж спонсор, которая и сама может снять любой зал и показать Москве, что натворила за все эти годы.

Жизнь в искусстве — и жизнь в жизни. А разные ведь это жизни, взаимовытесняющие. Когда они вместе учились в Московском текстильном институте, когда за-

щищали дипломы в Театре мод у Славы Зайцева, что они думали о себе? Писать картины многие хотели. Ведь тогда многие поступали учиться на прикладников потому, что в Суриковку из народа не брали. Туфли и платья кроили для жизни, грунтованный картон закрашивали для мечты. Мечтали о свободе творчества, о славе... О мужьях и детях... О хорошей жизни... О счастливой жизни... Что они думали о Наталье Ховстёнковой? Бесстрашная была, это помнится. Пока училась, родила двоих детей. Ходила защищать выгоняемых, если знала, что несправедливо, — прямо к администрации вуза. Сама потом дивилась: как уцелела после этого?

Но кто бы мог подумать, что дальше будет все чудесней. До середины восьмидесятых все они уже имели собственную жизнь: мужей, детей, рабочие места на фабриках пошива. А Наталья-провинциалка с мужем-провинциалом уехали в провинцию, писали там картины, сворачивали в рулоны, в квартире — ни пройти, ни проехать, мальчишки красками перепачканы — и никакой надежды, что мечта может существовать иначе. Не безумие ли — вести себя так? Надо думать о том, как де-

тей прокормить, а они, оба художники, холсты покупают. И краски. И наборы кистей. До середины восьмидесятых главное было — не голодать и не горевать.

А потом пошли выставки, в основном зарубежные. Шведский триумф — горожане приморского Мальмё скупили всю выставку, галеристы заключили контракт на дальнейшее сотрудничество. Влюбившись в «японскую» графику Натальи на выставке в Вене — иероглифические мотивы, — австрийский бизнесмен и меценат Йозеф Оттен сделал на своей фабрике тканей именной шелк с ее графикой. Нью-Йоркская галерея Абнеу выставила сделанное уже там, в США. Живя и работая в Нью-Йорке, Наталья не видела, как росли ее сыновья, — только слышала по телефону, как голоса у них менялись. На эту свою выставку она прилететь не смогла.

Живопись Натальи Ховстёнковой не зря так далеко хранила себя от контекстов сегодняшнего искусства Москвы: в ней нет ничего аналитического, ничего от Малевича, дотянутого до сего дня московским концептуализмом.

Музыкальная абстракция в духе Кандинского, побежденная в свое время супрематизмом, нашла здесь свое продолжение и преломилась во что-то совершенно иное, положенная на культурный подтекст. *Чаша Грааля* — не ради постмодернистской цитатности, а собственное прочтение мифа в современном контексте. И в современном понимании мифа как какой-то истории, легендарной или придуманной — организующей хаотический жизненный опыт нашей нынешней жизни без ритуалов. *Даная* — женщина, которая одна, всегда одна, потому что она предназначена не мужу и детям, а своему равному богу и золотому дождю.

Примечательна собственная мифография: все, что касается оптимизма. Архетипы — наиобщие модели, потому и работает она широкой кистью или флейцем на больших и огромных (2x3 м) холстах, снимая мастихином излишки краски. Фигуры, намеченные вольными, размашистыми мазками, всегда в движении и всегда рассечены. Отсеченные конечности, рассеченные торсы пытаются двигаться, жить и тянутся друг к другу. Много крови — струйки, потоки, фонтаны, — секущие плоскости ломают и их. И все это невероятно красиво и оптимистично, все участники трагедии о невозможности целого спасены колористическим даром художницы и декларированным оптимизмом. Здесь все говорит о несостоятельности общего, о драматической замкнутости в субъекте, об апокрифичности человеческих прикосновений. Частный мотив — обнимаются двое, но руки, если не снесены шальной плоскостью, проходят сквозь искомую плоть, не найдя ее. Сквозь фигуры всегда виден фон: космический — вихрение широких, свободных мазков, где лидируют черный, белый и фиолетовый; белая плоскость стены или мерцающие очертания интерьеров.

Одна из выпускниц факультета моделирования одежды МТИ 1980 года принесла с собой фотографии. Старые черно-белые фотографии, на которых вполне можно узнать просветленные юности лица.

Другая приехала из Брянска на поезде: драла сорняки у себя в огороде — и вдруг как вздумалось: возьму и поеду на Наташкину выставку. В кои-то веки!

Посидели еще на крыльце, потухшими, усталыми, — какие есть. Попозировали для цветных фотографий с улыбками: все-таки, жизнь — огромное поле для проявления оптимизма.

Анна Кузнецова

незнакомый журнал

Описания и дефиниции

«Диаспоры» (Москва), 1999, № 1, № 2–3.

Появление нового журнала — это правильно. Хороший журнал мы будем читать, а плохой покритикуем и на гонорар купим два-три экземпляра каких-либо но-

вых журналов. Важно, чтобы среди купленных оказался хотя бы один плохой, а то цепочка оборвется. Впрочем, про цепные реакции физики знают все. Призывные девочки «Стрипа» и «Махаона» играют роль замедлителя в реакторе — чтобы релятивистский мюон, со свистом летящий по городу, затормозил у лотка и углядел-таки хороший новый журнал.

Возникновение, эволюция и гибель журналов дают возможность сочетать приятное с полезным — чтение и просмотр с изучением общества. Результаты иногда бывают неожиданными: возникновение перед августовским кризисом нескольких интересных журнальных проектов и даже нескольких хороших журналов и их гибель под развалинами известной пирамиды говорят об упущенных культурных возможностях. Значит, было в этой грязной истории что-то еще, кроме банков и иностранных инвесторов, которые погнались за легкой прибылью (это знают все), и государства, которое внедряло ГКО, чтобы нашими с вами деньгами оплатить безумную политику и воровство (а об этом молчат — приятнее считать виноватыми злые банки, чем власть, которую сами выбирали).

Журналы свидетельствуют об истории, не только падая под колеса делающей новый вираж экономики. Экстрасистема у главного редактора при очередном думском попури на таможенную тему — нормальное явление. «Льготы для СМИ», сюита для депутатов, третье чтение, «траурно» и «сколь возможно быстро». Журналы, возникая, свидетельствуют своим первым криком о том, что интерес общества к тому или иному вопросу достиг уровня, при котором фанатик, бегая по фондам и прочим хорошим дядям, сумел наскрести денег на попытку издания. Первый крик новорожденного (как, впрочем, второй, третий и все прочие) будет об одном. «Где деньги, Зин?!».

Диаспора — явление в истории человечества новое. Можно начинать прямо с Навуходоносора; кто предпочитает примеры из отечественной истории, будет довольствоваться меньшей древностью, но большими масштабами. Диаспоры могли возникать не только как простой выбор между изгнанием и смертью, но и в результате более сложной ситуации, когда человека ожидала смерть медленная (от голода или болезней) или смерть с некой вероятностью (при погроме). Позже ситуация стала еще сложнее — возник выбор между тоталитарной страной и либеральной, между культурой своей и чужой, и так далее. Так или иначе, а диаспоры нынче в мире предостаточно. И количество их растет.

Люди едут отсюда, где им плохо, туда, где им хорошо. А приехав и оказавшись в инокультурной среде, собираются в диаспору, чтобы стало еще лучше, чтобы на лестнице встречать такие знакомые — или раско-

сые, или печальные карие — глаза. А если они не собралась? Диаспора они или нет?

Затаните дыхание — мы присутствуем при историческом процессе: люди распределяются по планете так, чтобы жить оптимально. Во-первых, при такой экономике, при которой они, с их конкретными способностями и отношением к делу, смогут жить лучше всего. Во-вторых, при такой государственной системе ценностей (т.е. политике), которая им симпатична. И в-третьих, рядом со «своими» в той мере, в которой это нужно им для душевного равновесия. Поэтому, выбрав страну (в трюме разваливающегося парохода — через океан, или пуше того — на плоту, лишь бы выйти из территориальных вод), они по приезде сбиваются в диаспору. Не будет ли человечество состоять через столетия из маленьких национальных государств, живущих воспоминаниями и запрещающих иммиграцию, и огромного открытого мира с почти прозрачными границами, но состоящего из диаспор и общин? Ключ — в решении старой проблемы «двойной лояльности» (чем две тысячи лет попрекают классическую — еврейскую — диаспору): кому принадлежит твое любвеобильное сердце, о американский китаец, хозяин прачечной в Сан-Франциско или физик, нобелевский лауреат? Индейке, ножу и вилке или рису и палочкам? Люди понемногу умнеют, т.е. научаются решать все более сложные проблемы. И общество на наших глазах начинает решать (конечно, не везде) и эту проблему.

Первый выпуск журнала имеет объявленную «главную тему» — еврейская диаспора. Две статьи, которыми открывается номер (В. Дятлова и А. Милитарева), носят основополагающий характер — авторы делают попытку определения понятия «диаспора». Эти статьи интересны не только исследователям диаспор, но и исследователям науки — ибо являются хорошими примерами начала построения теоретического описания на основе многочисленных наблюдений. Стадия Линнея. Противоположный подход демонстрирует статья М. Членова, в которой особенности еврейской диаспоры исследуются не на пути построения теории диаспор вообще, а на пути объявления явления уникальным и введения для него специального термина (в данном случае евреи объявляются цивилизацией, а поскольку этот термин не менее мутен, нежели «диаспора», то заодно дается ее определение).

Шесть статей имеют демографичес-

кий и описательный характер. Они посвящены евреям Томской губернии XIX века, дореволюционного Иркутска, Западного Забайкалья XIX — начала XX века, Харбина, Биробиджана, истории ассимиляции евреев России. Эти шесть статей, как и статьи В. Дятлова и А. Милитарева, вполне могли бы быть опубликованы где-то в 60-е или 70-е годы в уважающем себя научно-популярном журнале — для их понимания не требуется специальных знаний и они вполне интересно написаны. Правда, их чтение требует некоторой работы мозга, так что нынче круг возможных публикаторов несколько сузился. Последняя статья — М. Тольца — обстоятельный анализ демографической динамики евреев России в XX веке.

Главная тема второго выпуска — русские в ближнем и дальнем зарубежье. Большинство статей имеет описательный характер. Их темы: формирование русской диаспоры в Прибалтике, русские в Монголии, Казахстане, Средней Азии, Киргизии, Молдавии, Германии.

В теоретическом разделе — три статьи. Статья В. Шнирельмана посвящена «мифам диаспор» — той мифологии, которая складывается в диаспорах как реакция на их особое социальное положение. Например, миф о том, что мы здесь жили еще раньше, что мы создали всю культуру региона, что без нас вы бы вообще вымерли, что мы — прямые потомки Леды и Лебеда, ну и так далее. Признаться, читать без смешков трудно. Статья С. Градиrossoго посвящена российской политике в отношении диаспор. Несколько беловатой воронкой выглядит статья М. Гайнер «Численная мультиэтническая демографическая модель диаспоры» — как, впрочем, и статья М. Тольца из первого выпуска. Впро-

чем, диаспоры так все не похожи одна на другую... Выпуск содержит сообщения о прошедших конференциях и обсуждение материалов первого выпуска.

«Теперь позвольте пару слов без протокола». Заявленная периодичность два или три номера в год — в либеральной стране возможно и такое, почему бы и нет, — но журнал ли это? Тем более что второй выпуск сдвоенный. Тем более что оба выпуска тематические. Почему периодичность «два или три»? Потому что в первом выпуске написано «два», а во втором — «три». Подзаголовок «независимый научный журнал» обсуждать не будем. «Не смейте ругаться, когда хлеб на столе». Под хлебом в данном контексте понимается этот, все-таки хороший журнал. В первом выпуске одна статья опубликована по-английски, но нет английских аннотаций (во втором они появились). Первый номер иллюстрирован симпатичными картинками, не относящимися ни к какой конкретной статье, но относящимися к теме номера в целом. Для журнала — неожиданное решение, и уж если редакция на него пошла, то можно было использовать его и во втором выпуске (поскольку и во втором выпуске есть «главная тема»). Но все это мелочи, они не меняют сути и вообще лежат ниже уровня опасности для выживания журнала. Кроме одного — периодичности и наличия «главных тем». Поиск денег на тематический номер журнала, выходящего три раза в год, и поиск денег на журнал — разные задачи. Психология читателя, выраженная в психологии спонсора, и определит в данном случае будущее этого симпатичного создания на журнальной ветви СМИшного эволюционного древа.

Леонид Ашкинази

конференция

На другой стороне земли

От Москвы до Нью-Йорка всего десять часов полета. После 25-градусной апрельской московской жары аэропорт JFK обошелся вполне милостиво — всего 60, правда, по Фаренгейту. Нас встретили петербургский поэт Аркадий Драгомощенко в плаще и панаме и русские поэты в Аме-

рике Вадим Месяц и Мадлена Розенблюм в автомобилях.

Путь из аэропорта в гостиницу на Манхэттене оказался возвращением в Москву. Видимо, окраины любого крупного города похожи, как близнецы, даже в другом полушарии. В самой середине американского дня (который соответствовал началу позднего московского вечера,

когда зажигаются весенние фонари над первыми одуванчиками) в Нью-Йорк прибыла основная часть российской делегации на конференцию «A New Language: Russian and American Poetry Today», организованную Stevens Institute, Хобокен, Нью-Джерси, 28–30 апреля 2000 года.

Хобокен находится напротив Манхэттена через Гудзон. Stevens Institute расположен так, что в одном из его уголков с высокого берега небоскребы Нью-Йорка видны, как на картинке в журнале «Америка» — поздним вечером, в разноцветных огнях. Первый день конференции начался довольно поздно (после пяти вечера) просмотром документального фильма «Letters Not About Love», в основе которого — переписка между Аркадием Драгомошенко и Лин Хеджинян, и продолжился выступлениями американских поэтов — Эдварда Фостера, Джозефа Донахью, Джона Хая, Джексона Маклоу... Примерно после десяти часов усталых поэтов увели спать. В России в это время наступало раннее утро.

В гостинице на Манхэттене уместились не все, и часть прибывших была приглашена американцами к себе «на постой». Нам довелось пожить у двух поэтов. Их дома были такими же разными, как и они сами.

Эдвард Фостер, один из организаторов конференции, — преподаватель Stevens Institute, издатель (издательство «Талисман»), поэт, начинавший с битничества, живет здесь же, в Хобокене, в 3-этажном доме, где на стене висит герб Фостеров, у крыльца припаркован мотоцикл, протекает кран, не работает звонок, а на кухонный балкон прибегает завтракать маленькая белка, оставшаяся без мамы. В комнате на третьем этаже живет свинья, которую и свиньей-то назвать неудобно, — похожая на маленького черного бульдога, а в ванной в большом стеклянном шкафу — два зверя, страшно скрежещавших, если постучать днем по крышке их домика, а вечером оказавшихся милыми пушисто-полосатыми сумчатыми ненамного больше мыши. День в доме Фостера начинается в семь утра, а заканчивается иногда за полночь. Так здесь работают.

Леонард Шварц, преподаватель Bard College, переводчик, поэт, философ, говорящий в стихах то о Гераклите, то о гностиках, живет на Верхнем Манхэттене на 10-м этаже. В этой квартире улыбаются все — сам Леонард, его жена-китаянка (тоже поэт), крошечная дочка и огромный меланхоличный удав, ползающий перед завтраком по изгибам и планкам деревян-

ного стула, как в джунглях по дереву, и норовящий забраться под мышку, когда его берешь на руки. И только рыже-полосатый кот гордо сохранял нейтралитет, необидно, но твердо уклоняясь от попыток его погладить.

Второй день был самым заполненным и разнообразным. С утра продолжились выступления американских поэтов — Мишель Мерфи, Леонард Шварц, Джоэл Льюис... — и русских поэтов, живущих в Америке, — Анастасия Коралова, Ирина Машинская, Мадлена Розенблоу, Виктор Санчук, Игорь Вишневецкий. Послушать их пришли и американцы, но были разочарованы отсутствием английских переводов, и только двое из них дослушали чтения до конца. Наверное, звучание понравилось.

Разумеется, была и рефлексивная часть. Замечательное эссе Шамшада Абдуллаева о положении на гранях языков и переводов, доклад Андрея Грицмана о поэзии в межкультурном пространстве (Целан, Бродский), лаконичный и четкий доклад Александра Уланова об общих идеях в различных направлениях современной поэзии. Потом все переместились в соседнюю аудиторию на действо под названием «Translated visions», направляемое Томасом Эпштейном, Аркадием Драгомошенко, Михаилом Эпштейном и Джоном Хаем. М. Эпштейн, как всегда, провозируя, предлагал пользоваться возможностями обоих языков и создавать стереоскопические стихотворения из двух (а может быть, и более) равноправных и различных версий на разных языках, позволяющих увидеть предмет под углами зрения разных языков, разных стилей мышления, которые эти языки определяют. А Джон Хай прочитал (и Аркадий Драгомошенко перевел) главу из новой книги «The Desire Notebook».

Вечером состоялись самые продолжительные выступления российских поэтов, включенных в антологию «Crossing Centuries: The New Generation in Russian Poetry», подготовленную Джоном Хаем, Виталием Чернецким, Томасом Эпштейном, Лин Хеджинян, Патриком Генри, Джеральдом Янечекком, Лаурой Викс, Вадимом Месяцем и Леонардом Шварцем. Перед началом выступил Джон Хай и прочитал стихи поэтов, ушедших из жизни, — Нины Искренко и Василия Кондратьева.

Чтения оказались интересными и для американцев, так как стихи сопровождались переводом (впрочем, многие из американских поэтов и были переводчиками), и большой зал институтского амфитеат-

ра был заполнен. В чтениях участвовали: Шамшад Абдуллаев, Евгений Бунимович, Полина Барскова, Аркадий Драгомощенко, Владимир Друк, Галина Ермошина, Елена Фанайлова, Владимир Гандельсман, Андрей Грицман, Юлия Кунина, Мария Максимова, Вадим Месяц, Ярослав Могутин, Александра Петрова, Александр Уланов, Дмитрий Воденников, Дмитрий Волчек. А за стенами учебного корпуса длилась первая со времени приезда теплая ночь, и с высокого берега Гудзона огни нью-йоркских небоскребов отражались в реке.

Третий день оказался воскресеньем. В России была Пасха, в Европе — канун Вальпургиевой ночи. Ни о том, ни о другом на конференции не вспомнил никто: утро началось дискуссией «What does Russian Poetry Do That American Poetry Doesn't?» Наверное, хорошая поэзия делает одно и то же во всех странах — становится сложнее, индивидуальнее, разнообразнее. При этом отдельные ее направления расходятся, у автора становится меньше читателей в его стране — но может прибавиться читателей в другой. Вероятно, в этом и заключается основной смысл подобных конференций. А закончился день выступлением поэтов в литературном кафе на Корнелия-стрит. Подвальчик с тесными рядами столиков и эстрадой, и так же, как и в России, примерно через час после начала поэты и слушатели разбрелись по уголкам и столикам прямо на улице, обозначив свои симпатии и интересы более индивидуально. (Российскую поэзию в Нью-Йорке ценят. При мне после чтения в кафе восторженный американский человек предлагал Евгению Бунимовичу 20 долларов за обладание сборником его стихов.)

Конференция закончилась, оставив сожаление о том, что не все удалось послушать, не обо всем поговорить. Здесь встретились те, кто долгое время был знаком только по текстам и письмам. Не видевшие раньше Шамшада Абдуллаева приняли его за стопроцентного американца. Александр Уланов, переведивший Мишель Мерфи семь лет, безошибочно распознал ее в компании американцев за столом в студенческом клубе. Джозеф Донахью оказался удивительно молодым, и не знаящие о его 46, уверенно говорили, что ему 25.

Кто-то завтра улетал домой, у кого-то оставалось несколько дней, чтобы еще раз увидеть Манхэттен с Бруклинского моста, пройти по Central Park, зайти в Метрополитен музей, обменяться улыбками с привратником гостиницы, помахать Lady Liberty с набережной у Battery Park или просто покормить орехами американскую белку в скверике. И вспоминать ироничного Аркадия Драгомощенко, интеллигентнейшего Михайла Эпштейна, спокойно-уравновешенного Евгения Бунимовича, приветливого и радужного Джона Хая, молниеносного Леонарда Шварца, держащих на себе всю конференцию и держащихся в тени Эдварда Фостера и Вадима Месяца, динамичную Мишель Мерфи, загадочную Марию Максимова, молчаливого и мудро улыбающегося Джозефа Донахью, сдержанного Шамшада Абдуллаева, таинственную Александру Петрову.

А потом нас ожидала короткая двухчасовая ночь в «Боинге», летящем через Атлантику, а в Москве уже наступало утро самого длинного дня, и еще предстояло около недели блуждать во времени, продолжая жить по нью-йоркским часам.

Галина Ермошина

главный редактор

Сергей ЧУПРИНИН

редакция

Александр АГЕЕВ
Ольга ЕРМОЛАЕВА
Наталья ИВАНОВА *первый зам. гл. редактора*
Карен СТЕПАНЯН
Елена ХОЛМОГорова *ответственный секретарь*

редакция

Ольга Трунова, Елена Хомутова, Александр Шиндель

общественный совет редакции

Сергей Аверинцев, Григорий Бакланов, Игорь Виноградов,
Вячеслав Иванов, Фазиль Искандер, Евгения Кацева,
Владимир Маканин, Марк Масарский,
Михаил Ульянов, Юрий Черниченко.

**Из общего тиража журнала Институт «Открытое общество»
выписал и направляет в российские библиотеки
и библиотеки ряда стран СНГ
3850 экземпляров журнала «Знамя».**

Электронная версия журнала: www.infoart.ru/magazine/znamia

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. Никольская, 8/1.

Телефоны: главный редактор — 921-24-30,
первый зам. главного редактора — 921-08-09,
ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82,
отдел публицистики — 923-76-33, отдел критики — 928-94-45,
отдел библиографии — 923-62-61, отдел поэзии — 921-59-67,
производственный отдел и отдел распространения — 921-32-72,
для справок — 924-13-46, факс — (095) 921-32-72,
E-mail: znamlit@dialup.ptt.ru

Редакция рукописи не возвращает и в переписку не вступает.
Рукописи, поступившие по e-mail, не рассматриваются.

Корректор Елизавета Полукеева.
Компьютерная верстка: Елена Кот.
Художник Татьяна Вахлипа.

Сдано в набор 5.07.2000. Подписано к печати 14.08.2000. Заказ № 2223.
Тираж 10000 экз. Формат 70x108 1/16. Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 23,17.
Печать офсетная.

Отпечатано с готовых диапозитивов в
полиграфической фирме «Красный пролетарий».
103473, Москва, ул. Краснопролетарская, 16.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя».
© Журнал «Знамя», 2000.

Журнал современной литературы и общественной мысли “Знамя” во второй половине 2000 года и первой половине 2001 года — романы и повести Георгия Владимова “Долог путь до Типперэри”, Владимира Войновича “Замысел” (книга вторая), Юрия Волкова “Книга Ависаги”, Андрея Дмитриева “Аполлония”, Елены Долгопят “Тонкие стекла”, Леонида Зорина “Трезвенник”, Сергея Ильина “Конспект романа”, Александра Кабакова “Поздний гость”, Нины Садур “И тогда я прыгну”, Владимира Рецептера “Ностальгия по Японии”, Владимира Шарова “Воскрешение Лазаря”, Александра Чудакова “Ложится мгла на старые ступени”, новые произведения Анатолия Азольского, Василия Аксенова, Дмитрия Бакина, Григория Бакланова, Андрея Волоса, Олега Ермакова, Фазиля Искандера, Анны Кузнецовой, Инны Лиснянской, Владимира Маканина, Людмилы Петрушевской, Виктории Фоминой, Николая Шмелева, Асара Эппеля.

“Знамя” — месяц за месяцем, год за годом создаваемая на журнальных страницах галерея русской поэзии.

“Знамя” — продолжение рабочих тетрадей Александра Твардовского, дневники Константина Паустовского, воспоминания о Сергее Есенине, Корнее Чуковском, Борисе Чичибабине, мемуары Алексея Кондратовича, Виталия Сырокомского.

“Знамя” — публицистика, эссеистика, экспертизы, культурология, критика, разговор о роли России и российской культуры в современном мире.

И, наконец, “Знамя” — развернутая панорама сегодняшней литературной и общекультурной жизни.

Подписаться на журнал “Знамя” можно по Объединенному каталогу Федеральной Почтовой Службы или непосредственно в редакции — Никольская ул., 8/1, тел. 924-22-88.

Отдельные экземпляры журнала можно купить в редакции или в магазинах “Библио-Глобус” (Мясницкая, 6), “Графоман” (ул. Бахрушина, 28), “Мир печати” (2-я Тверская-Ямская, 54), “Ad marginem” (1-й Новокузнецкий пер., 5/7), “Гилея” (Б. Садовая, 4), “Эйдос” (Чистый пер., 6) и “Летний сад” (Б. Никитская, 46).